Д. ЖУКОВ

НУШИЧ

СЕРИЯ «ЖИЗНЬ В ИСКУССТВЕ»

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Книга посвящена жизни и творчеству замечательного сербского писателя Бранислава Нушича, комедии которого «Госпожа министерша», «Доктор философии», «Обыкновенный человек» и другие не сходят со сцены театров нашей страны.

Будучи в Югославии, советский журналист, переводчик Дмитрий Жуков изучил богатейший материал о Нушиче. Он показывает замечательного комедиографа в самой гуще исторических событий. В книге воскрешаются страницы жизни свободолюбивой Югославии, с любовью и симпатией рисует автор образы друзей Нушича, известных писателей, артистов.

Автор книги нашел удачную форму повествования, близкую к стилю самого юмориста, и это придает книге особое своеобразие и достоверность.

И вместе с тем книга эта — глубокое и оригинальное научное исследование, самая полная монографическая работа о Нушиче.

- Д. Жуков Бранислав Нушич
  - ○ ПРЕДИСЛОВИЕ
  - ○ ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
    - ■ ГЛАВА ПЕРВАЯ
    - ■ ГЛАВА ВТОРАЯ
    - ■ ГЛАВА ТРЕТЬЯ
    - ■ ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
    - ■ ГЛАВА ПЯТАЯ
    - ■ ГЛАВА ШЕСТАЯ
    - ■ ГЛАВА СЕДЬМАЯ
  - ○ ЧАСТЬ ВТОРАЯ
    - ■ ГЛАВА ПЕРВАЯ
    - ■ ГЛАВА ВТОРАЯ
    - ■ ГЛАВА ТРЕТЬЯ
    - ■ ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
    - ■ ГЛАВА ПЯТАЯ
    - ■ ГЛАВА ШЕСТАЯ
    - ■ ГЛАВА СЕДЬМАЯ
    - ■ ГЛАВА ВОСЬМАЯ
    - ■ ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
  - ○ ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
    - ■ ГЛАВА ПЕРВАЯ
    - ■ ГЛАВА ВТОРАЯ
    - ■ ГЛАВА ТРЕТЬЯ
    - ■ ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

- ГЛАВА ПЯТАЯ
- ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
  - ГЛАВА ПЕРВАЯ
  - ГЛАВА ВТОРАЯ
  - ГЛАВА ТРЕТЬЯ
  - ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
  - ГЛАВА ПЯТАЯ
  - ГЛАВА ШЕСТАЯ
- ЧАСТЬ ПЯТАЯ
  - ГЛАВА ПЕРВАЯ
  - ГЛАВА ВТОРАЯ
  - ГЛАВА ТРЕТЬЯ
  - ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
  - ГЛАВА ПЯТАЯ
  - ГЛАВА ШЕСТАЯ
  - ГЛАВА СЕДЬМАЯ
  - ГЛАВА ВОСЬМАЯ
- ЧАСТЬ ШЕСТАЯ
  - ГЛАВА ПЕРВАЯ «HALT! WIR FAHREN FALSCH!»[20]
  - ГЛАВА ВТОРАЯ «Я ПАЛ В БОЮ…»
  - ГЛАВА ТРЕТЬЯ
  - ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
  - ГЛАВА ПЯТАЯ
- ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ
  - ГЛАВА ПЕРВАЯ
  - ГЛАВА ВТОРАЯ
  - ГЛАВА ТРЕТЬЯ
  - ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
- ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ
  - ГЛАВА ПЕРВАЯ
  - ГЛАВА ВТОРАЯ
  - ГЛАВА ТРЕТЬЯ
  - ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
  - ГЛАВА ПЯТАЯ
  - ГЛАВА ШЕСТАЯ
  - ГЛАВА СЕДЬМАЯ
  - ГЛАВА ВОСЬМАЯ
  - ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
- ПРОЩАЛЬНОЕ СЛОВО
- БИБЛИОГРАФИЯ
- ИЛЛЮСТРАЦИИ

- notes
  - 1

- ○ 2
- ○ 3
- ○ 4
- ○ 5
- ○ 6
- ○ 7
- ○ 8
- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33

Д. Жуков Бранислав Нушич

ПРЕДИСЛОВИЕ

«Если у человеческой жизни и есть какое-либо предисловие, то оно имеет настолько интимный характер, что об этом вообще писать не принято». Так сказал Бранислав Нушич, который был убежден, что писать предисловия к биографиям нет смысла.

И тут же поступил вопреки своему утверждению, написав предисловие к своей знаменитой юмористической «Автобиографии». В нем он жестоко высмеял биографов, сравнив их с модистками и закройщиками, которые кроят и подгоняют факты таким образом, чтобы биография «как можно лучше сидела на том, о ком они пишут».

Поэтому я, его биограф, садясь за стол и пододвигая к себе стопу бумаги, всякий раз невольно как бы ощущал на себе насмешливый взгляд Нушича и видел, как топорщатся в иронической улыбке его густые усы. «Знаю, все знаю, — говорила его улыбка. — Все, в ком пробуждался писательский зуд, считали

своим долгом почесать об меня свои языки…».

Наш читатель и зритель знает юмориста Бранислава Нушича по нескольким книгам, сразу же после издания ставшим библиографической редкостью, а также по комедиям «Госпожа министерша», «Д-р» («Доктор философии»), «Обыкновенный человек», «Покойник», «Опечаленная семья», которые в постановке театров страны уже много лет делают полные сборы. Это много и мало.

Много, если принять во внимание, что лишь считанному числу зарубежных драматургов (даже классиков) удалось, говоря военным языком, завоевать нашу сцену таким массированным ударом. Мало, если учесть, что ведет бой лишь авангард пьес Нушича, свидетельствующий, впрочем, о подходе главных сил, не менее великолепно обученных и вооруженных.

Бранислав Нушич был остроумнейшим собеседником, превосходным оратором и очень плодовитым писателем — им написано несколько романов, почти полсотни пьес и около полутысячи рассказов и фельетонов. Если кого-нибудь удивит последовательность, в которой я перечислил его дарования, то на это есть свой резон…

Принято считать, что в жизни юмористы — мрачноватые люди и что шутки их рождаются в тоскливых муках. Не верьте этой басне. Придумали ее сами юмористы (кажется, Марк Твен). Опровергнуть ее призвана сама жизнь Бранислава Нушича.

Современники комедиографа утверждают, что он не записал и сотой доли тех блестящих выдумок, которые они слышали от него. Нушич и о себе рассказывал так, что теперь уже трудно разобраться, где кончаются истинные события и начинается остроумная выдумка. Он каждодневно творил легенду о себе, эту лучшую из его комедий. В Белграде, да и в прочих городах Югославии, рассказывают о нем бесчисленные анекдоты, половину из которых придумал он сам.

Узнавать подробности жизни Бранислава Нушича — увлекательный и веселый труд, но писать о ней мучительно тяжело. Это все равно что пускаться в соревнование с великим остроумцем и проигрывать ему этап за этапом. Поэтому я старался, чтобы читатель почаще слышал голос самого юмориста. Там, где говорит о себе Нушич, ни один биограф не мог бы сказать лучше. Прикрываясь обаянием его личности как щитом, я питаю слабую надежду выбраться из этой переделки целым и невредимым.

Как и Дюма, его обвиняли в том, что он забавен, плодовит и расточителен. Вместе с Моруа мы спросим: «Неужели для писателя лучше быть скучным, бесплодным и скаредным?»

Говорят, что только гений мыслит естественно, а остальные упрямо загромождают голову вещами, не относящимися к делу. Нушич — не гений. Он был обыкновенным человеком, наделенным множеством слабостей и загромождавшим свою жизнь деяниями, которые не имели ни малейшего отношения к тому, что требовало от него призвание.

Но все слабости искупаются редчайшим даром — умением идти по жизни с улыбкой. Много ли вы знаете юмористов, оставивших заметный след в истории литературы? Их можно пересчитать по пальцам — Марк Твен, Гашек, Чехов, Чапек… считайте, считайте!..

Нушич — великий юморист, и я готов бросить перчатку всякому, кто станет утверждать, что это не так. И ручаюсь, что не окажусь в положении одного неаполитанского дворянина, который, по словам Нушича, четырнадцать раз дрался на дуэли. Причина поединков всегда была одна: дуэлянт твердил, что Данте более велик, чем Ариосто, а его противники — обратное. Умирая, он горестно воскликнул: «Ах, господа, я не читал ни того, ни другого!»

Проштудировав почти все, что когда-либо и где-либо публиковалось Бранимиром Нушичем, двадцать пять томов его сочинений и добрую толику литературы о нем и его творчестве (число названий книг и статей уже достигло десяти тысяч), я понял, что этого недостаточно и что мне не миновать прискорбной участи биографов, осмеянных великим юмористом.

Нушич писал, что «в деятельности биографов есть один недостаток, который необходимо если не изжить вовсе, то по крайней мере ослабить. У них сложилась привычка после смерти великого человека врываться в его квартиру, с полицейским рвением выворачивать ящики столов, копаться в бумагах и бумажках, которые только найдут в доме…».

Что было, то было.

Я отправился в Югославию и, умудрившись в такой маленькой стране проделать путь в три тысячи километров, побывал почти в каждом городе, селе и даже в питейном заведении, которые удостаивал своими посещениями Бранислав Нушич. Я глотал бумажную пыль в десятках архивов, был допущен в недра большого кожаного сундука, в котором почтенная дочь комедиографа[1] хранит рукописи и заметки отца, исписанные таким мелким нечетким почерком, что от него уже на второй час работы воспаляются глаза. Я расспрашивал сотни стариков, видевших Нушича, и чаще всего слышал от них уже знакомые мне анекдоты. Странно устроена память человеческая — легенды она сохраняет прочнее, чем быль. Я смотрел

нушичевские спектакли в разных городах, сидел на стульях, на которых, возможно, сидел он, интервьюировал актеров, писателей, метрдотелей, журналистов, монахов, режиссеров… Я даже совершил поступок, не вполне совместимый с некоторыми законоположениями, а именно влез через разбитое окно в чужой заколоченный дом, в котором несколько лет жил Нушич. В эту авантюру я вовлек известного актера и нескольких сердобольных соседей, которые после бесплодных поисков хозяина этой недвижимой частной собственности стояли «на стреме» и с сочувствием взирали на чудно́го «руса» (русского), выкарабкавшегося из дома в костюме, пропитанном пылью и облепленном паутиной. Теперь о моем неблаговидном поступке знаешь и ты, читатель, но я надеюсь, что это останется между нами…

В конце концов я снова оказался за своим письменным столом и только тут понял, что жестоко наказан за свое любопытство. Я утонул в море бумаг и бумажек: многих тысяч документов, книг, заметок, писем, карикатур, фотографий… Лишь изредка мне удавалось разгрести их и высунуть голову, чтобы хлебнуть свежего воздуха. И я уже стал жалеть, что решил придерживаться строго документального повествования, а не пошел по пути беллетризации.

Теперь, когда книга уже написана, я с благодарностью думаю о тех, кто помог мне ее написать, и выражаю им свою признательность. Дочь комедиографа Гита Предич-Нушич уделила мне немало дней, рассказывая о своем отце; ее любезность была настолько велика, что она прервала свой отдых и вылетела в Белград, чтобы познакомить меня с бесценными документами, заметками и письмами Бранислава Нушича, а также с неопубликованными воспоминаниями своего покойного супруга драматурга Миливого Предича. Директор белградского Музея театрального искусства Милена Николич и ее молодые сотрудницы, писатели и литературоведы Божидар Ковачевич, Милан Джокович, Драголюб Влаткович, Бора Глишич, актрисы Любинка Бобич и Леа Джачич, десятки других югославов в Белграде, Смедереве, Новом Саде, Скопле, Битоле, Охриде, Цетинье, Дубровнике, Сараеве, Загребе делились со мной воспоминаниями, помогали мне в моих поисках. Особую благодарность за дружеское участие и помощь я приношу журналисту Ненаду Царичу.

Сошлюсь еще раз на классика биографического жанра Андре Моруа, сказавшего, что «самые значительные события в жизни творца — это его произведения», но нас всегда интересует и сама жизнь творца. В ней мы часто ищем и находим самих себя. Творец

поднимается над обыкновенными людьми чаще всего в каком-нибудь одном роде деятельности, оставаясь с нами во всем прочем, если, конечно, он не маньяк. Это-то и дорого нам. Нушич не был человеком одной-единственной страсти. Об этом он и сам сказал очень выразительно, и его слова могут стать предисловием к жизнеописанию:

«Трое нас жило в одном сердце с самого рожденья. Когда мать впервые взяла меня на руки, я заулыбался, и от этой улыбки возник во мне веселый человек, зашагавший по жизни своей дорогой; потом я скорчил серьезную, озабоченную мину, и тотчас народился во мне другой, серьезный, человек; наконец, я заплакал, и плач этот воззвал к жизни еще одного, третьего, меня.

У всех нас троих пути были разные.

Тот, которого воззвал к жизни плач, так всю жизнь и заливался горькими слезами. В мире он видел только зло и горе; вечно он был мрачный, угрюмый, хмурый. Небо над ним всегда было пасмурным, а земля орошена слезами. Он был полон сострадания к любому горемыке, бедняге, несчастному. Он плакал, прослышав о чужом горе, рыдал над чужими могилами.

Тот, который народился, когда я скорчил серьезную мину, весь век свой сгибался под тяжким бременем забот. Все-то он беспокоился: а с той ли стороны солнце всходит, а правильно ли, что земля по-другому вертеться не может, что реки текут по земле вкривь и вкось, что море глубокое, а горы высокие? Глубокие морщины избороздили его чело — он старался разрешить неразрешимые задачи, застревал перед всяким препятствием, еле-еле брел по жизни, придавленный заботами.

А тот, который возник во мне от первой моей улыбки, так и прошагал по жизни с улыбкой на устах, с легким сердцем, с веселым взглядом. Он смеялся и над недостатками и над достоинствами, так как достоинства часто оказываются у людей такими пороками, перед которыми меркнут их недостатки. Он смеялся и над ничтожествами и над гигантами, ибо гиганты часто оказываются ничтожнее тех, на кого они посматривают свысока. Он смеялся и над глупостью и над мудростью, так как человеческая мудрость очень часто представляет собою коллекцию глупостей. Он смеялся и над ложью и над правдой, так как для большинства людей сладкая ложь приятнее горькой правды. Он смеялся и над истиной и над заблуждениями, так как истины в наш век обновляются чаще, чем заблуждения. Он смеялся и над любовью и над ненавистью, так как любовь очень часто эгоистичнее ненависти. Он смеялся и над печалью и над радостью, так как радость редко бывает без причины, тогда как печаль очень и очень часто беспричинна. Он смеялся и над

счастьем и над несчастьем, так как счастье почти всегда изменчиво, а несчастье почти всегда постоянно. Он смеялся и над свободой и над тиранией, так как свобода часто просто фраза, а тирания всегда истина. Он смеялся и над знанием и над незнанием, так как всякое знание ограниченно, а незнание не имеет границ. Одним словом, он смеялся над всем, смеялся, смеялся, смеялся…»

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ОТ АЛКИВИАДА НУШИ ДО БРАНИСЛАВА НУШИЧА

Давай, милый, давай! Давно я так не смеялся!

О ничтожные создания, вы замахнулись и на саму природу… Но почему ваши ножницы, которыми вы стараетесь подстричь природу, напоминают мне наши школьные программы и методы воспитания?

И все же математике как науке я бы хотел выразить здесь свою глубокую признательность. Ведь это она дала нашей молодой литературе много замечательных талантов, а нашему молодому театральному искусству — целый ряд знаменитых актеров, которыми оно гордится и по сей день. Если бы не было математики, все эти талантливые люди, теперешние поэты и артисты, продолжили бы свое учение и, может быть, стали бы большими и уважаемыми чиновниками.

«Автобиография»

ГЛАВА ПЕРВАЯ
И ПЕРВОЕ НЕДОРАЗУМЕНИЕ

При крещении его нарекли пышным греческим именем Алкивиад. Сострадательные школьные товарищи стали звать его Алка. Отец его, Георгиес, носил фамилию Нуша. Годам к двадцати из Алки получился писатель Бранислав Нушич. К старости в кругу близких его звали коротко и почтительно — Ага.

«О своих предках я почти ничего не знаю, — писал он впоследствии, — известно одно — фамилия у них была не та, что у меня…

Фамилия у меня не своя. Это фамилия одного бакалейщика — ее взял мой отец, не имея собственной…

Мало того. Не знаю, кто я… Во всяком случае, балканец. Есть во мне и албанская кровь, и греческая, и сербская. Мать моя по происхождению сербка. Значит, скорее всего, я серб!

Я путешествовал по Македонии… откуда родом мои предки по отцу. И ничего не мог разузнать…».

Правда, кое-что отец его помнил. Бабушку будущего писателя звали Гоча. Родилась она в цинцарском селе Влахоклисуре возле города Битоля. Совсем молоденькую ее умыкнул какой-то албанец. Кажется, его звали Бело. Неизвестно, сочетались ли они законным браком. Во всяком случае, в 1822 году Гоча приехала в город Салоники одна и в том же году родила сына Георгиеса. Вот и вся родословная.

Георгиес Нуша прожил девяносто шесть лет и был свидетелем блестящей карьеры сына, ставшего знаменитым писателем, высокопоставленным чиновником и дипломатом.

Откуда же появилась фамилия Нуша, переиначенная впоследствии на сербский лад? Гоча с внебрачным ребенком Георгиесом бежала от злых языков из Македонии в Белград, где работала прислугой в разных домах, пока не попала в услужение к старому бакалейщику, своему единоплеменнику — цинцарину Герасиму Нуше.

Это было в 1830 году. Старый кир-Герас не только пригрел мать, но и позаботился о будущности ее восьмилетнего сына, определив его в свою лавку учеником. Старый бакалейщик любил маленького Георгиеса, заменил ему родного отца и даже дал торговое образование, послав в Вену учиться бухгалтерскому делу. Благодарный Георгиес, став самостоятельным торговцем, взял фамилию благодетеля.

Цинцарина Герасима Нушу считают прообразом героя

знаменитого рассказа классика сербской литературы Сремца «Кир-Герас», тем более что сюжет его был подсказан Нушичем.

Цинцары — это древнее балканское племя скотоводов, потомки фракийцев, смешавшихся с римлянами. Но сами они считали себя греками. Родное село Гочи — Влахоклисура — славилось красотой своих женщин. Они носили белые платки, выгодно оттенявшие живые черные глаза и черные как смоль волосы. Именно из-за женщин в селе не было житья. Албанцы-арнауты и турки то и дело совершали набеги на Влахоклисуру, пополняя свои гаремы цинцарскими красавицами. Многие цинцарские семьи были вынуждены уходить на север, в Сербию. Шли они группами по пять-десять семей, женщины и дети ехали на ослах.

Подобно Герасиму Нуше, они селились в Белграде и других городах и занимались торговлей. Так из одной Влахоклисуры в Белграде поселилось тридцать два семейства. Цинцар в белградской общине было так много, что одно время они составляли большинство в совете общины, заседания которого велись на греческом языке. По описаниям, цинцарин был немыслим без фески и четок. Он был исправным христианином, но в доме у него можно было найти и книгу греческих языческих мифов. В белградской чаршии — торговом квартале — почти все лавки держали цинцары. Их предприимчивость и трудолюбие вошли в пословицу.

Сремац весьма красочно описал лавку цинцарина. «Очень трудно было определить, чем он торговал, — в лавке у него продавалось решительно все. G первого взгляда ее можно было принять за бакалейно-галантерейную, но, приглядевшись к товарам, легко было принять и за овощную и за кондитерскую; если же учесть, что хозяйки только здесь покупали лекарства, она сошла бы и за аптеку; с другой стороны, судя по огромным вьюкам, козлам и пилам, которые часто можно было видеть перед лавкой, да глядя на сидящих в лавке подвыпивших банатчан, приходилось признать, что заведение кир-Гераса больше всего смахивало на харчевню».

Можно себе представить, что и у кир-Гераса и у его питомца и ученика Георгиеса от многолетнего стояния за прилавком ноги были «широкими, как утиные лапы».

В белградских церквах богослужение велось на сербском языке, но цинцары обычно подпевали по-гречески, испытывая особенное удовольствие, когда хор мальчиков, славословя архиерея, тоже переходил на греческий: «Исполла эти деспота…»

О скупости цинцар ходили легенды. «И долго еще хозяева, упрекая подрастающее поколение приказчиков в роскошестве,

предсказывали, что никогда им не достигнуть того, чего добился кир-Герас благодаря своей скромности и бережливости.

Каждый вечер кир-Герас, заперев лавку, разводил в жаровне огонь и при свете этого огня нарезал маленькими и тонкими, как ремень, кусочками черствый хлеб для похлебки. Затем заливал их кипятком. После этого брал копеечную свечку, сломанную, конечно, которую уже никто не купит, и делил ее пополам. Из одной половинки извлекал фитиль и угощал им своего любимца кота, а сало бросал в бурно кипящую похлебку, которая жадно расплавляла эту половинку свечи, после чего кир-Герас тщательно перемешивал варево, чтобы похлебка равномерно и хорошо промаслилась. Только покончив с этим, он зажигал вторую половину свечки».

Вряд ли можно полностью отождествить Герасима, описанного Сремцем, и Герасима, взявшего на воспитание Георгиеса. Во всяком случае, последний не был столь феноменально скуп. Он принял в свой дом Гочу, считая своим долгом помочь землячке и ее сыну. Известно, что он был председателем эснафа (цеха), имел жену и сыновей, Петра и Николу. Новое поколение цинцар, к которому принадлежал и Георгиес, уже не хотело жить так, как жили отцы, — ее собирало богатство по крохам, не сторонилось сербов и меняло свои роскошные греческие имена и фамилии на славянские.

Исчезали Георгиесы, Мильтиады, Фемистоклы, Леониды, Аристиды и Алкивиады. Появлялись Джордже, Ненады, Милоши, Будимиры и Бранислав. Паскалис становился Паскалевичем, Христопулос — Христичем, Гуша — Гушичем, а Нуша — Нушичем. В торговле евреи и сербы вытеснили цинцар, и они впоследствии полностью растворились среди сербского населения, дав молодому государству и культуре множество выдающихся деятелей.

* * *

Джордже Нуша, овладев в Вене бухгалтерской премудростью, занялся в Белграде оптовой торговлей. Вывеска на его конторе, для солидности выведенная немецкими готическими буквами, гласила: «G. Nusha. Speditions — Comissions & Inkasse — Geschäft». Короче говоря, он посвятил себя комиссионно-посреднической деятельности. В частности, он скупал чернослив и кожи и вывозил их в Австрию. Поначалу дела шли неплохо. Вскоре Джордже женился на боснийской сербке Любице Каснар, а еще через несколько лет в домике на улице царя Лазаря зазвучали

детские голоса. В семье было пятеро детей. Алкивиад родился четвертым.

Это событие случилось ровно в полночь 8 октября 1864 года под трезвон колоколов старобелградского собора, рядом с которым находился крытый турецкой черепицей домик Пуши. Еще при жизни Алкивиада этот домик был снесен, а на его месте построено здание Народного банка.

Мемориальной доски на внушительном сером здании банка нет и, наверное, никогда не будет. Хотя бы из опасений, которые высказывал сам Бранислав Нушич. С комическим ужасом писатель представлял себе, что бы случилось, если бы благодарные потомки захотели отметить мемориальной доской место его рождения. Ее пришлось бы повесить как раз «над мрачными окнами с толстыми железными решетками, за которыми стоят несгораемые сейфы с золотым запасом». И неуемная фантазия юмориста уже рисует себе смущение будущего биографа, который решит, что новорожденный был плодом преступной связи директора банка со вдовой швейцара, и напишет, что инспекторская комиссия, обнаружив «плод» в одном из сейфов, занесла его в государственный баланс, в графу приходов…

Заранее ограждая себя от произвольного толкования событий, сопутствовавших его появлению на свет, писатель спешит сообщить одну смешную подробность (будем надеяться, что это факт, почерпнутый из семейных преданий):

«Не по моей вине и без моего участия рождение мое произвело в нашем доме самый настоящий переполох. Бабка-повитуха, дежурившая у постели моей матери и подкреплявшаяся ромом, объявила, что родилась девочка. Услышав об этом, мой отец плюнул, почесал за ухом и выругался, чего я тогда, не зная еще в достаточной мере родного языка, не понял. Позднее я узнал, что мой отец был одним из передовых людей своего времени и всеми фибрами души ненавидел пережиток варварского обычая — давать за невестой приданое…»

При свете следующего дня ночное недоразумение рассеялось. Но не было ли оно предзнаменованием феноменальной способности юмориста нагромождать одно недоразумение на другое в комедиях и попадать из одного недоразумения в другое в жизни?

В том же 1864 году скончался великий писатель, фольклорист и реформатор сербского литературного языка Вук Караджич. Кстати, в начале XIX века он предвосхитил дерзновенный замысел некоторых наших соотечественников, собиравшихся подвергнуть реформе русскую орфографию, — он

ввел принцип: «как слышишь, так и пишешь». Однако, в отличие от наших «новаторов», Караджич произвел реформу до бурного расцвета литературы и всеобщей грамотности. В юности это случайное совпадение, по словам Нушича, наполняло его гордостью, хотя он «никогда не претендовал на то, чтобы какой-нибудь литератор умирал специально для того, чтобы освободить ему место в литературе».

* * *

В 1864 году в Белграде было 17 тысяч жителей, 318 чиновников, 19 священников, 7 монахов, 12 начальных школ мужских и столько же женских, 12 учителей и 7 учительниц, 3300 домов, 5 церквей, 1578 лавок, 30 трактиров и кофеен… О водопроводе еще и не слышали — питьевую воду брали в колодцах и фонтанах. Воду для стирки белья возили в бочках из реки Савы. Во избежание пожаров на улицах было запрещено курить цигарки и чубуки.

Белград, в то время заштатный городок на окраине Турецкой империи, был застроен домами турецкого типа — чаще всего глухой стеной на улицу и окнами во двор. Быт тоже во многом был похож на турецкий. Жили уединенно. Женщины выходили на улицу редко. В домах ковры, лари — миндерлуки, служившие сиденьями, жаровни — мангалы…

На высоком мысу, у слияния Савы с Дунаем, торчали башни старинной крепости, по которым расхаживали турецкие часовые. Сам Белград тоже был окружен стенами и валами.

Домик Джордже Нуши находился всего в пяти минутах ходьбы от стен крепости.

На третьем году жизни Алкивиад вместе со всей семьей стал свидетелем символического действа, вылившегося во всенародный праздник.

6 апреля 1867 года сербский князь Михаил Обренович получил ключи от белградской крепости из рук турецкого наместника Али Риза-паши. Под гром пушек и завыванье горнов на башне крепости турецкого часового сменил сербский солдат.

Это событие осталось в памяти Нушича на всю жизнь. Он запомнил толпы крестьян, сошедшихся со всех окрестных деревень, и турчанок на стенах крепости, выпущенных из гаремов поглазеть на торжество.

Сербский военный оркестр играл патриотический марш «Дрина, вода холодная…». На трибуне появился князь в окружении свиты и гвардейцев, а с другой стороны на нее взошел

турецкий паша…

— Смотри, сынок, Белград свободен! — воскликнула мама Любица, подняв высоко маленького, таращившего любопытные глазенки Алкивиада.

Крепко обхватив друг друга за плечи, сербы вытянулись в нескончаемую цепочку «коло». Так они приплясывали и распевали песни, празднуя конец пятивековой власти «злого турчина».

Пять веков берегли они под турецким игом свою веру, хранили обычаи и носили национальную одежду. Пять веков они считались рабами, «райей» — скотом — только потому, что не хотели принять мусульманство. Давно уже слова «православный» и «серб» стали синонимами. А сколько славян «потуречилось»! Сколько бежало на север, за Дунай, в Австро-Венгрию! Сколько отдали своей крови — самых красивых десятилетних мальчиков — в войско янычар! Их воспитывали фанатичными защитниками султана и Османской империи.

Теперь империя пообветшала. Но еще не выпускала из своих лап славянских земель — Македонии, Боснии, Герцеговины, Старой Сербии. Только черногорцы, свившие гнездо в неприступных горах, так и не склонили головы. За Дунаем, напротив Белграда, тоже живут сербы. Как и хорваты-католики, они подданные австрийского императора.

Собственно Сербия очень мала, это совсем крохотное княжество, клочок земли рядом с Белградом. Но она как бельмо в глазу у турок и австро-венгров. Отсюда растекаются идеи свободы и объединения славян по всему Балканскому полуострову.

И уже не благородные разбойники-хайдуки подстерегают турок на дорогах, а обученная русскими офицерами армия принуждает их постепенно покидать страну.

Еще в начале XIX века вся Сербия встала под знамена вождей-хайдуков Карагеоргиевича, Катича, Ненадовича, Обреновича. Турок выкинули из страны. Но вожди поссорились, и враги вернулись. Однако править они стали по-иному: сделали вождей повстанцев вассальными князьями и тщательно разжигали между ними вражду.

Один из князей, Милош Обренович, действуя подобно московскому государю Ивану Калите, притворялся верным подданным султана, расширял свои владения, копил богатства.

В 1817 году он изменнически убил другого вождя повстанцев, князя Карагеоргиевича, и голову его послал турецкому султану. С этого и началась кровавая вражда династий Карагеоргиевичей и Обреновичей.

Дальновидный Милош Обренович рассчитывал на то, что

турки, гордые и медлительные, не выдержат мирной конкуренции с энергичными сербами. Так оно и вышло — имущество бедневших турок постепенно переходило в руки сербов.

В 1815 году в Белграде было всего около шестидесяти христиан всех национальностей, в 1830-м — одних сербов шесть тысяч человек, а в середине века — более пятнадцати тысяч.

Власть турок стала призрачной. По сути дела, у сербов создалось собственное государство с княжеским троном, свой парламент — скупщина и даже зародыш собственного университета — Великая школа. Трон захватывали то Карагеоргиевичи, то Обреновичи. К тому времени, когда родился Алкивиад Нуша, в Сербии правил Михаил, сын Милоша Обреновича. Князь добился ухода турок из белградской твердыни и других крепостей. Правда, султан сделал хорошую мину при плохой игре — крепости будто бы передавались сербскому князю на сохранение.

Через год после ухода турок из Белграда четырехлетий Алкивиад Нуша, сидя на руках у матери, смотрел на медленно двигавшуюся печальную процессию… Это были похороны князя Михаила Обреновича. Больше всего Алкивиаду запомнился барабан военного оркестра, покрытый черным сукном, и княжеский конь, которого вели два офицера.

Князя убили во время прогулки в парке. Убийц подослали сторонники Карагеоргиевичей, но они просчитались. На престол был немедленно возведен несовершеннолетний Милан Обренович.

Это событие запомнилось Нушичу во всех подробностях. «Одели нас, всех детей, в праздничную, новую одежду, которую нам купили к вербной субботе и пасхе, и повели на Теразии[2]… Развевались знамена на крышах и в окнах всех домов этой улицы, народ теснился по обе ее стороны… Люди высовывались из окон, заполнили крыши, а детвора взобралась даже на ветки конского каштана, которым: были засажены Теразии с обеих сторон. Мы кое-как протолкались к фонтану и заняли места на ступеньке. Меня, как самого маленького, взял на руки наш домашний слуга, которого мать прихватила с собой специально для этого. Я с любопытством озирался, но больше всего меня занимали флаги… и ребятишки, сидевшие на каштанах… И вдруг откуда-то со стороны нынешней улицы Князя Михаила закричали: „Живео! Живео!“, толпа заволновалась и подхватила здравицу. Немного погодя появились гвардейцы на конях, а затем целый ряд экипажей. В первом экипаже стоял толстощекий четырнадцатилетний мальчуган в гвардейском мундире и весело махал рукой то вправо, то влево, приветствуя толпу, которая

разражалась радостными воплями. Это был маленький князь Милан Обренович, которого наместники привезли из Румынии, дабы он занял сербский престол. Все остальное я помню не очень хорошо, а вот смеющееся лицо круглощекого подростка как сейчас вижу…».

Нушич ошибся. Юного родственника князя, погибшего бездетным, привезли не из Румынии, а из Парижа, где он учился. Злые языки поговаривали, что мать его, румынка Мария Катарджи, родила его через тринадцать месяцев после смерти своего супруга, урожденного Обреновича. Возможно, что это было не так. К тому же подробности придворных не интересовали. Эмиль Катарджи стал князем, а потом и сербским королем Миланом I.

Для нас же важно то обстоятельство, что на жизненном пути будущему писателю еще не раз придется иметь дело с этим могущественным и оставившим о себе недобрую память человеком.

Достойно упоминания и еще одно событие, имевшее место 18 августа 1868 года. На месте снесенных Стамбульских ворот в Белграде князь Милан Обренович торжественно положил камень в фундамент здания будущего Народного театра.

В камне было углубление, заполненное медной шкатулкой со стеклянной бутылкой. В бутылке — пергамент:

«Во имя Отца и Сына и святого Духа, этот дом предназначен для Сербского народного театра в Белграде, первого театра в столице нашей…»

ГЛАВА ВТОРАЯ
БУДУЩИЙ КОММЕРСАНТ

Джордже Нуше не помогло знание бухгалтерского дела, полученное в Вене заботами доброго хозяина Гераса. Может быть, ему вовсе не надо было ездить в Вену, а торговать себе понемногу в лавке, экономить каждый грош по обычаю цинцар-торговцев и иметь верный кусок хлеба.

Но где там! Положение «ученого» торговца обязывало. Джордже Нуша не мог удовлетвориться вывозом кожи и слив в Вену и Будапешт. Ему хотелось поскорее «оборачивать» капитал, и он стал браться за дела, в которых ничего не смыслил. Частенько ему просто не везло. Так, в 1867 году он вместе со своим партнером Йованом Панджелом приобрел в Австрии для турецкого гарнизона в Смедереве крупную партию табака. Но в апреле гарнизон внезапно покинул Смедерево. Табак тотчас был обложен большим таможенным сбором, и партнеры продали его с убытком для себя.

В отчаянии Джордже задумал большую спекуляцию на земельных участках и к семидесятому году прогорел окончательно, потеряв доверие чаршии (так назывались городские торговые кварталы и те, кто в них обитал).

Сохранился портрет родителей Бранислава Нушича: они сидят в напряженных позах, поисками которых провинциальный фотограф явно занимался старательно и долго. Мать красивая, спокойная, домовитая. Иное дело — отец. Аскетический склад лица и напряженный взгляд глубоко сидящих глаз, который нельзя считать целиком следствием «фотографической процедуры», наводят на мысль о некоторой неуверенности в себе этого оптового торговца. Ну, конечно же, торговцем он стал силой обстоятельств. Были у него неуместные в торговом деле черты — мечтательность и одухотворенность, передавшиеся сыну и на благодатной почве возросшие в яркий талант.

Мать воспитывала маленького Алкивиада в сербском духе. У нас мало сведений о матери Нушича, однако известно, что женщина она была веселая и остроумная…

В 1870 году разорившийся Джордже Нуша с женой Любицей, сыновьями Константином (Костой), Леонидом, Алкивиадом, Периклом (Петром) и дочерью Анной переселился из Белграда в Смедерево. Ныне это крупнейший промышленный центр Югославии, некогда — княжеская столица, а во времена детства Алкивиада Нуши — зеленый городок на Дунае, расположенный

под сенью тяжелых крепостных башен.

Джордже Нуша не хотел сдаваться, он страстно желал реабилитировать себя в глазах белградских торговцев и вернуться с победой в белградскую чаршию. Официально Нуша стал представителем крупной венской фирмы по импорту товаров. Неофициально он снова пустился в рискованные операции. По мелочам ему везло, но, когда он в 1874 году закупил большую партию пшеницы для вывоза в Австрию, оказалось, что там в тот год был великолепный урожай, и покупателя на пшеницу не нашлось.

Как бы то ни было, семья считалась в Смедереве зажиточной. Звание торговца ставило Джордже Нушу на довольно высокую ступень смедеревского общества. Он был коротко знаком с окружным начальником и прочей городской головкой.

В Смедереве детей определили в начальную школу. По обычаю, существовавшему в цинцарских семьях, каждому из них заранее определили профессию. Но родительские упования сбываются редко. Старшего, Константина, прочили в чиновники, а стал он аптекарем. Леониду тоже предстояло сделать чиновничью карьеру, однако он учился прескверно и всю жизнь был мелким служащим, едва сводившим концы с концами. Самые большие надежды возлагались на Алкивиада. Как самый способный среди братьев, он должен был пойти по стопам отца и стать торговцем. О том, как он оправдал надежды отца, речь еще впереди. Самый младший, славный Перикл, так часто оставался на второй год, что его в конце концов исключили из школы и он с грехом пополам освоил ремесло часовщика. И только любимая старшая сестра Алки, веселая Анна, Анка, совершила то, что от нее ожидали, — вышла замуж, когда приспел срок.

Трудно сейчас сказать, чем руководствовался Джордже Нуша, определяя призвание своих детей. Возможно, его подвел один старинный обычай. Над головой ребенка, только что начавшего ходить, разламывали лепешку, на нее клали разные предметы и подсовывали младенцу. По тому, что хватал ребенок, истолковывалось его призвание. Бранислав Нушич по этому поводу шутил:

«На лепешке, которую положили передо мной, были книга, монета, перо и ключ, символизирующие науку, богатство, литературу и домашний очаг. Разумеется, я прежде всего бросил взгляд на монету, и надо вам сказать, что и до сих пор я не изменил своих вкусов. Но пока я ковылял к тарелке, чтобы взять монету, какая-то магическая сила унесла ее с лепешки. Искали ее, искали, так и не нашли. И только позднее выяснилось, что в тот момент, когда я направился к лепешке и внимание всех было

обращено на мои подвиги, мой старший брат (это был Леонид. — *Д. Ж.)* стащил монету, хотя не имел на это никакого права, поскольку он давно научился ходить. Пришлось положить другую монету, ибо я поднял такой страшный визг, словно кто-то опротестовал мой вексель. Предсказания, связанные с этой сценой, действительно сбылись в моей жизни: с раннего детства и до сих пор стоит мне протянуть руку к деньгам, как они бесследно исчезают».

* * *

Итак, мы познакомились с семьей нашего героя, и думается, пора бы уже перейти к описанию его детских увлечений, к обрисовке характера… Но что-то останавливает бег пера по бумаге. Да, некоторые обстоятельства ставят биографа в затруднительное положение и могут привести в смущение любого читателя.

Напрасно читатель ждет трогательных строк о бледном, задумчивом мальчике не от мира сего, привычки которого выдавали бы ранние признаки гениальности. Увы! Наш маленький герой был сорванцом и двоечником. Еще в Белграде он целыми днями пропадал на улице, неустрашимо дрался со своими сверстниками и возвращался домой оборванный и замурзанный. В Смедереве родителям хлопот прибавилось. Маленький, юркий, он стал главарем шайки озорных разбойников, совершавших лихие налеты на сады и виноградники. Дома и в школе его немилосердно драли, поэтому он предпочитал частенько не появляться ни здесь, ни там. Школьные летописи хранят записи о наказаниях его «за недисциплинированность в школе и церкви».

Впоследствии для писателя Нушича собственное детство, школа и провинциальный быт стали неисчерпаемым кладезем сюжетов, уморительных историй и шуток.

Сотни страниц он посвятил описанию своих детских проказ и школьных неприятностей. Никто не поручится, что все происходило именно так, как изображено, например, в «Автобиографии» и «Хайдуках», созданных на склоне лет. Однако источники, которыми бы мог воспользоваться биограф, чрезвычайно скудны, и он, зная, с какой легкостью заносило в сторону перо юмориста, все-таки отсылает читателя к названным книгам.

Вполне возможно, что отец выражал беспокойство о будущем своего непоседливого сына часто повторявшимся криком: «Ты

кончишь на виселице!»

Вполне возможно, что ученье в школе было непрерывной и неравной борьбой учителей и их наук с маленьким, но шустрым Алкивиадом. Впрочем, отныне милосердные школьные товарищи называют его просто Алкой. По мнению Алки, борьба эта велась не самым честным образом — на уроках и на экзаменах его всегда спрашивали именно то, чего он не знал. «В начальной школе мы выучили „Отче наш“, азбуку и цифры до ста». С грехом пополам Алка овладел арифметикой, научился читать и писать.

Нравы были патриархальные. Учителя отечески пороли учеников. Отцы посылали учителям подарки: колбасу, битых гусей, солонину, связки репчатого лука… Алке приходилось передавать от отца небольшие белые пакеты. Это нередко служило смягчающим вину обстоятельством и уменьшало число взбучек. Дети бедных родителей вынуждены были добиваться тех же результатов усиленной зубрежкой.

«Я окончил начальную школу благодаря не столько своему прилежанию, сколько отцовскому вниманию к учителям. На протяжении четырехлетнего пребывания в школе я старательно ловил мух, ставил в тетрадях огромные кляксы, резал парты перочинным ножом; каждый день к концу занятий руки мои были так испачканы чернилами, словно я провел это время не в школе, а в красильне».

Наконец начальная школа окончена. Нушу-отца не оставляет мысль сделать из сына торговца, и он записывает его не в классическую гимназию, а в смедеревскую «реалку», среднее учебное заведение с практическим, торгово-техническим уклоном.

Но и тут отцовские наставления, подкрепленные березовой кашей, мало действовали на Алку.

— Ты должен учиться так, чтобы мне не было стыдно за тебя, — говорил отец.

Однако мальчик был слишком непоседлив… По-прежнему на улице его ждала ватага сорванцов, рыскавших по огородам, чердакам и крышам. Это было счастливое время, когда все, что происходило вокруг, можно было превратить в игру. Если в городе шел набор в армию, они играли в новобранцев. Если в горах объявлялись разбойники-хайдуки, они тотчас организовывали собственную шайку и совершали вылазку в ближайший лес, в который приходилось посылать за ними стражника. Если в город приезжал цирк, то уже на следующее утро все мальчишки превращались в цирковых артистов, ломали стулья, обрезали бельевые веревки, выкатывали из подвалов бочки и причиняли тысячу других убытков во имя того, чтобы

овладеть цирковым искусством. Если приезжал театр…

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ТЕАТР ПРИЕХАЛ!

Алке было одиннадцать лет, когда он встретился с театром. И эта встреча окончательно погубила его школьную репутацию.

Первыми о прибытии бродячей труппы «Косово», как обычно, узнали мальчишки. Они толпились возле группки статных бритых мужчин, сгружавших с повозок свои пожитки и декорации во дворе кафаны[3] «Зеленый венок». Сорванцы внимательно наблюдали, как неизвестные приступили к сколачиванию подмостков. Один из пришельцев сунул под мышку какие-то свернутые в трубочку бумаги и направился к центру городка, ребятня стайкой устремилась за ним. Вскоре они уже читали вывешенную на стене афишу, в которой население Смедерева извещалось, что вечером странствующая труппа начнет свои представления исторической трагедией «Бой на Косове». Лучшее место стоило двугривенный.

«Театр приехал!» — эта весть мгновенно разнеслась по городу, и вечером к кафане «Зеленый венок» потянулись все видные и просвещенные горожане, дражайшие половины которых остались у домашних очагов, поскольку присутствие женщин в общественных местах по полувосточным понятиям считалось неприличным.

Школьники, разумеется, заняли самые выгодные места — на заборе, а когда их прогнали оттуда, взобрались еще выше — на деревья.

Среди зрителей не было ни единого человека, который бы не знал содержания трагедии «Бой на Косове», хотя никто, пожалуй, не видел ее прежде на сцене. Она была написана по мотивам народных песен, а именно с них и посейчас начинается воспитание всякого серба, крестьянина ли, городского жителя. Вся сербская литература и даже разговорная речь пронизаны красочными образами эпоса, который по праву считается одним из богатейших в мире. «Многие из этих песен в своей грубой мощи чудесно соединяют наивность народа цельного, живущего простой, близкой к природе жизнью, с восточной яркостью красок и чисто греческой пластичностью образов», — восторженно писал один из исследователей сербской народной поэзии. Тщательно собраны песни о народном герое Марко-королевиче, славных хайдуках… Больше всего песен народ сложил о гибели сербского царства на Косовом поле. Там 15 июля 1389 года султан Мурад с тремястами тысяч турок в жестокой битве победил царя Лазаря,

стоявшего во главе ста тысяч сербов.

Маленький Нуша чуть ли не с пеленок слышал эти песни — «лазарицы». Ему сказывала их речитативом мать, пели их и гусляры на базарах. И даже читать он учился по сборникам народных песен, составленным Вуком Караджичем.

Теперь Алка увидел своих любимых героев на сцене. Уж турки близко, а славные воеводы, зятья царя Лазаря, ссорятся меж собой, похваляются происхождением, и в драке Милош Обилич выбивает два зуба Вуку Бранковичу. Дорого обходятся Сербии эти два зуба. Накануне битвы Вук обвиняет Милоша в измене, а Милош клянется, что убьет во время битвы самого султана Мурада. Изменил не Милош, изменил Вук Бранкович, увел свое войско, и одолели турки сербов числом. Милош Обилич проникает к султану и говорит ему:

«Отступился я от сербов и от Лазаря-владыки,
И пришел сюда сегодня, чтоб помочь тебе в сраженье».
Услыхав такие речи, говорит Мурад юнаку:
«Есть закон в земле турецкой: кто придет ко мне, султану,
Должен в землю поклониться, облобзать мое колено».
Подошел к султану Милош, чтобы в землю поклониться,
И нагнулся, чтоб колено облобзать ему десное;
Тут он выхватил кинжал свой и ударил им султана…

А другие герои? Юг-Богдан с девятью сыновьями, Страхиня-Бан, девушка, которая поит водой студеной раненых на поле битвы… Всю жизнь Бранислав Нушич будет делать попытки написать великую трагедию о героях Косовской битвы, он назовет детей своих именами героев. Исторические драмы Нушича будут ставить сербские театры, но не это, не это станет его призванием…

В своих песнях народ осуждал воевод, погрязших в распрях в то самое время, когда над родиной нависла опасность иноземного нашествия. В песнях он черпал силу для борьбы против турок. Ламартин, путешествовавший в 1835 году по Сербии, восхищался песнями сербских крестьян и писал, что «слава и свобода всех сербов были гордостью каждого из них». Он предрекал стране с таким народом свободу и величие.

Кочевые труппы, воплощая героические образы народного эпоса на сцене, занимались, в сущности, национальной пропагандой. Актером в те времена мог стать лишь человек, склонный к подвижничеству. Турецкие и австрийские власти относились к актерам с недоверием. Очень часто стражники

забирали их прямо с подмостков и отправляли за решетку.

Известен случай, когда славянские жители города Темишвара обратились к губернатору за разрешением организовать театр. Тот наотрез отказал. И в ответ на вопрос, почему он не разрешает, догадливый губернатор заявил:

— Я прямо скажу почему. У вас, сербов, театр не просто бродячее общество, которое из нужды, чтобы прокормиться, ходит из города в город. У вас есть цель воспитывать народ в героическом духе, пробуждать сознание и гордость, воодушевлять его во имя всего сербского и народного, а этого допустить нельзя.

«Бой на Косове» настолько поразил воображение Алки и его товарищей, что уже на следующий день они вооружились палками — мечами и стали разыгрывать целые сцены из трагедии. При распределении ролей дело едва не дошло до драки — всем хотелось быть героями, никто не желал играть роли врагов.

Кафана «Зеленый венок» находилась на той же улице, что и дом Джордже Нуши, и ныне жители Смедерева называют эту улицу Нушичевой. И здесь Алка увидел странную процессию. Из калитки его дома появился вчерашний «царь Лазарь», тащивший на голове отцовское кресло, потом — «Милош Обилич» с разобранным ларем и, наконец, «Юг-Богдан», сгибавшийся под тяжестью громадного турецкого ковра.

Недоумение Алки прошло очень скоро. Нет, актеры, игравшие героев, не совершили грабительского набега на дом Нуши. Просто им понадобился реквизит для нового спектакля, и Джордже по доброте душевной предложил свои услуги.

В тот вечер играли знаменитого «Скупца» — пьесу классика сербской драматургии Йована Стерии Поповича. Роль скупца-цинцарина Кир-Яни, получившего добрый урок за свое скопидомство, играл сам Димич, актер, режиссер и руководитель бродячей труппы.

Впоследствии Нушич вспоминал: «Димич по происхождению был цинцарином; во всяком случае, такое мнение было у чаршии. Возможно, оно существовало еще и потому, что Кир-Яня была одной из любимых его ролей. Димич — это настоящий тип актера старого театра. Одет всегда в серое, по моде времен Вука Караджича, всегда свежевыбритый, сухощавый, с длинными волосами, рассыпавшимися по плечам…»

Димич, человек уважаемый, широкоизвестный, был женат на Гине, дочери сподвижника Вука Караджича, поэта Йоксима Оточанина, сборники стихов которого, написанные в духе народных песен, читались в свое время всеми. Димич и сам писал пьесы.

В его труппе было двенадцать человек. Актеры, перевоплощавшиеся по вечерам в прославленных героев, не смели разочаровывать своих зрителей и днем. Они вели себя с необычайным достоинством, хотя скудных сборов хватало только на полунищенское существование. Ели они из общего котла, а стряпней занималась жена директора, режиссера и премьера милая Гина.

Алка не пропускал ни одного спектакля. В награду за «реквизит» Джордже Нуша и его сыновья получили право бесплатного посещения театра, приютившегося у «Зеленого венка». Но Алка никогда не сидел с отцом на почетном месте, а, прильнув к подмосткам, над которыми едва возвышалась его голова, напряженно следил за развертывавшимся действием.

И однажды вечером произошло событие, сыгравшее немаловажную роль в жизни будущего комедиографа.

> «…Поднялся занавес, и я увидел на сцене людей без мечей и доспехов; таких же людей, какие сидели рядом со мной; таких же мужчин, какие приходили к моему отцу по делам; таких же женщин, какие приходили к моей матери на посиделки. И все эти люди на сцене ходят, едят, смеются, разговаривают, как в жизни. „Да разве это театр? — удивленно спросил я себя. — Да разве не надо, чтобы сражались два народа, два государства, две армии, чтобы люди кричали, гибли и убивали? Разве достаточно небольшого недоразумения; потерянного письма или неправильно написанного адреса?..“
>
> В тот вечер я впервые смотрел пьесу Косты Трифковича. Тот вечер был для меня откровением: театр — это жизнь, обыкновенная жизнь».

Алка увидел комедию мастера запутанного и смешного сюжета Косты Трифковича «Любовное письмо», а строки, приведенные нами, взяты из статьи, которую прославленный драматург Бранислав Нушич написал через пятьдесят с лишним лет.

Театр поглотил мальчика совершенно. Отравленный пряным запахом кулис, потрясенный великим таинством перевоплощения, он ходил за актерами по пятам, считая великой честью дозволение помочь расклеить афиши, зажечь лампы или подмести подмостки — сделать любую черную работу, которую актеры-бедняки выполняли сами.

Театральные впечатления были так сильны, что Алка уже не мог думать ни о чем ином. На уроках он отвечал невпопад, а

когда подошли экзамены, провалился по трем предметам и остался в первом классе «реалки» на второй год. Отец избил его и был рад услышать, что театр отбывает.

Несмотря на то, что смедеревцы ценили талант Димича, театр стал «прогорать». Ходили тревожные слухи о предстоящей войне с турками, и народ начал экономить. Однажды Алка заметил, что Димич долго не выходит из кабинета его отца. И вскоре актеры стали перетаскивать декорации в склад Джордже Нуши. Выяснилось, что Димичу потребовалось перебраться с труппой в город Ягодину, а денег у актеров не было ни гроша.

Джордже Нуша заключил еще одну невыгодную сделку. Он дал денег под залог декораций, которые, в сущности, не представляли никакой ценности — дешевле было сделать новые, чем везти их в Ягодину.

Димич погрузил в два фургона актеров, гардероб, тетрадки с ролями и отбыл искать счастья в другом месте. За декорациями он так и не вернулся.

Так Алка стал обладателем «настоящих» театральных декораций. С одной стороны полотна была намалевана комната, которая изображала и обиталище скупца и роскошный дворец царя Лазаря, а другая сторона, вместе с рейками, представляла собой лес. Тот же лес одновременно выполнял функции еще и улицы и тюрьмы.

Все маленькие друзья Алки завидовали ему. Еще бы — теперь он мог играть в настоящий театр! А как упоительны были запахи декорации! «О тех пор, — говорил Нушич, давно уже став знаменитым драматургом и театральным деятелем, — я не могу отрезветь от этого соблазнительного запаха».

И Алка уже собирался создать детский театр, когда отец решил спасти его от театральной лихорадки.

Джордже Нуша продолжал надеяться, что сын его когда-нибудь станет процветающим коммерсантом. Позорное банкротство уронило его в глазах чванливых белградских торговцев. Не он, так сын его должен вернуться с триумфом в Белград. Живость мальчика, его быстрый ум обещали многое. Он неусидчив. Ну что ж! Сам Джордже начинал изучение своего дела в лавке. Пусть и сын постигает торговлю с азов. Пусть станет учеником в каком-нибудь почтенном торговом доме. Но только не в Белграде с его невзрачными домишками, туретчиной, «неевропейским» образом жизни.

На семейном совете решено было везти Алку в Панчево. Этот большой сербский город находился на другом берегу Дуная, в Австро-Венгрии.

В Панчеве жили многие известные деятели сербской

культуры, здесь печатались книги на сербском языке и даже издавалась своя газета «Панчевац».

Для Джордже на Панчеве лежал отблеск сияния, исходившего от великолепной Вены, раз и навсегда ослепившей преемника Кир-Гераса. Отец с сыном добрались до Панчева на единственном в то время сербском пароходе «Делиград».

> «Привел меня отец в большой магазин, — рассказывал Нушич своему зятю Миливое Предичу, — и, пока я понурившись стоял в углу, он тихо разговаривал с приземистым господином, сидевшим за чем-то вроде кафедры, которая находилась у самого входа, — такой я никогда не видел в наших лавках. Я заметил, что этот господин во время разговора то и дело поглядывает в мою сторону. Потом он поманил меня пальцем и протянул руку для поцелуя. Хоть я и привык целовать руки пожилым людям, но тут почувствовал, что это неспроста, что сейчас вершится какое-то важное дело, и вдруг заметил слезы на глазах отца. Не знаю, то ли это были горькие слезы родителя, расстающегося с малым дитятей своим, то ли слезы радости, что я стану великим торговцем и спасителем его торговой репутации, но зато в ту минуту я узнал, что стал учеником господина „М. Чурчина и сына“. Отец встал и протянул руку. Я поцеловал ее, а он сунул мне три серебряных форинта „на всякий случай“. Он еще сказал несколько утешительных слов и надавал кучу советов, из которых я не слышал ни одного, потому что в это время смотрел на полки, глазел на покупателей… Как только отец закрыл за собой дверь, подошел старый приказчик и отвел меня на место, где я и должен был стоять. Только тогда я почувствовал всю тяжесть своего нового положения „далеко на чужбине“, и начало мне теснить горло, но странно — в ту минуту я думал не об отце с матерью, а о Евте Угричиче, который теперь, во время школьных каникул, организует детский театр в Смедереве, а ведь я всегда был уверен, что играю лучше него…».

Ученичествовал Алка недолго. Уже через несколько дней он решил убежать. «С того дня, как я принял это решение, ничего не помню, — рассказывал Нушич. — Помню только, как сквозь сон, какие-то коробки, которые валились от моих неловких движений, какие-то ящики, тюки, бочки с железными обручами, метлы и… одну оплеуху! Если отец меня не примет, думал я, уйду в Боснию, поступлю добровольцем в повстанческую армию и погибну…»

Это было летом 1875 года.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ОТ ПЕРВЫХ СТИХОВ ДО ПЕРВОЙ КОМЕДИИ

Отец воспринял возвращение Алки из Панчева довольно спокойно. Поразмыслив несколько дней, он, возможно, решил, что образование в эти новые времена не повредит и торговцу. Во всяком случае, Алка был прощен, и осенью ему предстояло повторно пойти в первый класс «реалки».

И пока не кончились летние каникулы, он был предоставлен самому себе. Тут бы ему и заняться детским театром, о котором он мечтал у «Чурчина и сына». Но театр временно заслонили другие интересы…

В Боснии и Герцеговине бушевало пламя народного восстания против турок. Целый корпус Дервиша-паши не мог справиться с повстанцами. Турецкие солдаты (башибузуки) вырезали целые селения, четвертовали, выкалывали глаза, сажали на кол тысячи крестьян. Из Сербии, Черногории, Далмации повстанцам переправляли оружие. Из всех славянских стран прибывали добровольцы.

В то лето Смедерево, как и любой другой сербский город, жил этими событиями. В кафанах цыганским оркестрам без конца заказывались патриотические песни.

Чуть ли не еженедельно в городе устраивались манифестации, на которых верховодили экспансивные молодые люди в народной одежде. Это были члены «Омладины» — патриотической организации, которая объединяла сербов, живших в турецких и австрийских владениях, а также и в самом сербском княжестве. Не признаваемая никакими властями, даже сербскими, «Омладина» создавала клубы, читальни, хоровые общества. Она исповедовала славянофильские идеи и стремилась к объединению всех сербов в единое государство, а для этого старалась пробудить в народе национальную гордость. Молодежь стремилась быть как можно ближе к народу — говорить, как он, одеваться, жить, как он, быть «чистыми, настоящими сербами».

Смедеревское певческое общество, читальня и другие организации устраивали концерты, весь сбор с которых шел в пользу повстанцев Боснии и Герцеговины. Концерты начинались с «бесед» — последователи «Омладины» пользовались каждым случаем, чтобы предать гласности свои патриотические идеи. Алка вместе с товарищами принимал деятельное участие в этих концертах, читал патриотические стихи Якшича и Змая, «довольный, — как он рассказывал, — до глубины своей детской

души, что помогает Боснии ж Герцеговине».

Особенно запал ему в память один концерт, который открыл беседой учитель Никола Мусулин, позднее отправившийся в турецкие владения и прославившийся там как борец за национальную идею.

Незадолго перед концертом он остался вдовым и сам растил своих маленьких детей. Он стал на возвышение и напомнил о своей беде и заботе о сиротах, а потом сказал: «Но насколько больше несчастны дети в Боснии и Герцеговине, родители которых погибают в борьбе за свободу своего народа. Забудем-ка все про свою беду и протянем братскую руку помощи тем, кто оказался в той большой, общей беде. У меня нет денег, жалованья моего не хватает, чтобы прокормить детей; я бы отдал все, если бы у меня что-нибудь было. Впрочем, у меня есть редкая драгоценность, святыня для меня, и вот, возьмите, жертвую ее. Это золотое обручальное кольцо — память о матери моих детей. Покойная жена простит меня». И учитель, сняв с тонкого пальца кольцо, положил его на блюдо. «Я остаюсь венчанным с нею, просто я от ее и своего имени отдаю все, что имею!» У всех навернулись слезы на глазах. Мусулин взял блюдо и пошел по рядам слушателей, и блюдо наполнилось серебряными талерами и австрийскими дукатами.

* * *

Помимо встречи с бродячим театром в жизни Алкивиада произошло еще одно событие, окончательно утвердившее его симпатии и увлечения.

Пришла осень. Алка снова сидит за партой первого класса «реалки». Но на сей раз он не предоставлен самому себе. Джордже Нуша нашел домашнего учителя, призванного сдерживать порывы его «резвого» отпрыска.

Джура Конёвич принадлежал к известной среди сербов сомборской семье и был настолько активным «омладинцем», что в один прекрасный день ему пришлось бежать из австрийских владений в Сербию. В Смедереве, охваченном патриотическими настроениями, его приняли с распростертыми объятиями.

Это был картинный молодец, принципиально носивший народный костюм. Заняв скромное место учителя в смедеревской гимназии, эмигрант тотчас с головой окунулся в общественную жизнь. Его густой красивый бас нашел применение в местном хоре. Джура верховодил на «беседах», похоронах и пиршествах, произнося страстные националистические речи.

На занятия с Алкой он являлся регулярно. Однако, если бы кто-нибудь посторонний заглянул во время этих занятий в дом Джордже Нуши, он увидел бы мальчика и его молодого учителя, распевающих песни. Вероятно, сначала Джура был преисполнен благих намерений — решал со своим подопечным задачки и вдалбливал в него школьную премудрость, но очень скоро стал сбиваться на свою излюбленную тему. Лукавый Алка охотно поддакивал ему и с удовольствием слушал народные героические песни, «закаляющие сердце серба». За довольно короткий срок Алка уже знал на память около тридцати героических поэм, которые потом с успехом декламировал перед своим классом. Разучивали они и патриотические стихи Змая, Джуры Якшича…

Бывало, в комнату заглядывал отец, и один из обманщиков, только что декламировавший:

«Грянь, гром! Сильней звон сабель!
Круши все острием!
Ведь не страшны юнаку
Ни молния, ни гром», —

начинал бубнить:

— Есть три неопровержимых доказательства того, что земля круглая. Во-первых…

Именно Джура Конёвич привил будущему писателю вкус к языку и литературе. Бранислав Нушич до глубокой старости с благодарностью вспоминал своего репетитора и знал наизусть все тридцать юнацких песен, выученных не по школьному принуждению в ту пору, когда ум воспринимает все полюбившееся искренне и страстно, а память особенно цепка.

* * *

В доме Нушей произошел переполох. Исчез двенадцатилетний Алка. На столе осталась записка, в стиле которой ясно прослеживался ее пропагандистский источник.

«Прощайте, дорогие папа и мама, я ухожу на войну освобождать порабощенных братьев».

Шел 1876 год. К тому времени Джура Конёвич был уже далеко от Смедерева. Очевидно, там же, куда отправился маленький Алка.

Через Смедерево проходила старая дорога на Царьград. Со стороны Белграда время от времени подходил длинный караван барж, влекомый пароходом «Делиград». С барж высаживались

солдаты, строились в колонны и с песнями маршировали дальше, на юг. Сербское княжество решило вступиться за своих единокровных братьев и объявило войну Турецкой империи.

В России с сочувствием следили за этой неравной борьбой. И не только следили. Русские славянофилы подняли и возглавили мощное движение в помощь сербам. По всей стране создавались славянские комитеты, устраивавшие собрания, на которых пожертвования лились рекой. Русские организовали в сербских городах госпитали, в которых кроме врачей работало много знатных женщин, пожертвовавших во имя идеи благополучием и комфортом.

Преодолевая препятствия, чинимые царским правительством, в Сербию устремились добровольцы. За короткий срок в сербскую армию вступило 2400 русских солдат и около шестисот офицеров всех чинов, сосредоточившихся главным образом при Моравско-Тимокском корпусе, которым командовал отставной генерал-майор русского генерального штаба Михаил Григорьевич Черняев.

Личность эта была незаурядная. Он сражался на Малаховом кургане в Крымскую войну, отличился на Кавказе. В 1865 году, имея всего две тысячи солдат и проявив безрассудную храбрость, взял штурмом Ташкент, в котором насчитывалось тридцать тысяч защитников. На другой день после взятия Ташкента объехал город почти без охраны, а вечером отправился в общую баню, будто у себя в России, заслужив своей смелостью уважение даже самых фанатичных мусульман. Местное население полюбило его, но вскоре он был уволен со службы за строптивость. Став штатским человеком, Черняев занялся журналистикой и примкнул к московскому кружку патриотов-славянофилов, группировавшихся около Ивана Аксакова, разделяя их ненависть к бюрократизму и иноземному засилью. С началом войны на Балканах он сразу же увлекся движением в защиту славян и вступил в сношения с сербским правительством, которое пригласило его в Белград. Русское министерство иностранных дел приняло меры и поставило его под надзор петербургской полиции. Тогда Черняев переехал в Москву и оттуда тайком отправился в Сербию. В июне 1876 года он уже был в Белграде.

Федор Михайлович Достоевский писал о Черняеве, что генерал «служил огромному делу, а не одному своему честолюбию, и предпочел скорее пожертвовать всем, — и судьбой и славой своей, и карьерой, может быть, даже жизнью, но не оставить дела. Это именно потому, что он работал для чести и выгоды России и сознавал это»[4].

Один из сербов, свидетелей приезда русских добровольцев,

вспоминает: «Столица Сербии имела необычный вид. В Белграде яблоку негде было упасть от русских солдат — пехотинцев и кавалеристов, казаков в высоких меховых шапках и с чубами, падавшими на глаза. Посреди города в одну ночь возникла кондитерская, где, помимо всего прочего, подавали водку и другие русские напитки. Наши штабы заполнились многочисленным русским офицерством. Генерал Черняев, прибывший в качестве посланца Славянских комитетов, стал во главе добровольческого войска и в своей ставке сразу создал особую атмосферу. Говорили только по-русски, пили французские вина, стены в домах обили, ухаживали за красивыми напудренными женщинами — это была широкая и вольная жизнь, к которой привыкли на войне русские офицеры, воины аристократической державы».

Лев Толстой недаром отправил умирать в Сербию аристократа Вронского.

Русские офицеры быстро сблизились с сербской интеллигенцией. Сам Черняев нередко бывал в доме поэта-романтика Йована Илича, сыновья которого, впоследствии прославленные литераторы и друзья Бранислава Нушича, учились у офицеров русскому языку. В Сербии появилось много русских книг. Возник горячий интерес к стихам Пушкина, Лермонтова, Жуковского, Державина…

Вместе со всеми Алка неистово аплодировал казакам, проезжавшим смедеревскими улицами, но сильнее всего его воображение поразил «ученический легион», набранный и возглавляемый поэтом Миланом Абердаром-Куюнджичем. Алка уже познакомился с его стихами, был наслышан о легендарных подвигах поэта, прославившегося в схватках с турками. Теперь же безусые воины поэта, студенты и гимназисты-старшеклассники, шагавшие с песней по смедеревской мостовой, вызывали у него острое чувство зависти и жажды подвига.

Ровесников Алки в ученическом легионе не было, но он твердо решил ступить на путь воинской славы. В тот же вечер он нашел мешочек, сунул в него тайком немного хлеба и двинулся по Царьградской дороге вслед войскам. Однако далеко он не ушел. Обнаружив исчезновение сына, отец бросился к общинному начальнику, в погоню за Алкой был послан конный стражник. Он догнал мальчика лишь на другой день. В сердцах отодрав его за уши, стражник доставил Алку в смедеревскую чаршию, где его со снятым ремнем уже ждал отец. Порка состоялась перед многочисленными зрителями, среди которых были солдаты и добровольцы, и запомнилась на всю жизнь.

Блаженны поэты, находящие успокоение, выплескивая свой

гнев и горечь на безвинную бумагу! Алка тайком трудился над стихотворением, в котором, явно подражая Абердару, бичевал турецкого злодея. При любом неосторожном движении пострадавшую часть тела пронзала боль, и тогда образ абстрактного турка начинал принимать вполне конкретные черты отца. Это было первое стихотворение Бранислава Нушича, оно не сохранилось.

* * *

А театр? Тот самый детский театр, по которому тосковал Алка во время своего кратковременного ученичества у «Чурчина и сына» в Панчеве? И кто такой был Евта Угричич — предполагаемый соперник Алки на сцене?

Нет, декорации бродячей труппы «Косово» не напрасно занимали место на складе торговца Джордже Нуши. Можно пойти дальше и сказать, что именно эти декорации толкнули Алку на крестный путь драматурга и тем самым внесли свою лепту в развитие сербского театра.

С Евтой Угричичем они были неразлучны. Школьные товарищи и родственники (бабушка Угричича — сестра матери Алкивиада) так и не осуществили своей мечты — создать первый смедеревский детский театр. Такого театра не было и во всей Сербии. Но спектакли друзья ставили. И приглашали на них сорванцов со всей округи.

Это были грандиозные спектакли. В дело пошли не только димичевские декорации. Страдали бумаги из отцовской конторы, исчезали ковры и подушки из дома, доски из сарая, мука из кухни, шерсть из подушек, а кроме того, юбки, старые пальто и многие другие предметы, которые юные актеры тащили из дома.

Представления устраивались в подвале дома Джордже Нуши, а потом в саду у одного из приятелей. Среди актеров лучшим считался Евта Угричич. Вторым — Чеда Попович. (Кстати, оба стали известными в Сербии литераторами-юмористами.)

Зато пьесы сочинял сам Алка. Он восстанавливал по памяти диалоги, которые слышал в пьесах, разыгрывавшихся труппой Димича, дополняя их так, как подсказывала ему собственная фантазия. Занятия с Джурой Конёвичем, героические песни, заученные впрок, пригодились Алке уже теперь.

И вот на сцене первая трагедия юного драматурга — «Бой на Любиче». Ударов деревянными мечами о деревянные же ятаганы в ней было больше, чем слов.

Но еще больше привлекли Алку волшебники Йован Стерия

Попович и Коста Трифкович. В подражание «Любовному письму» Трифковича была написана одноактная комедия «Рыжая борода». И хотя она не сохранилась, содержание ее все же дошло до нас.

Есть в народе поверье, что рыжебородые злы. Молодая жена удивлена тем, что ее добродушный чернобородый муж ежедневно запирается в комнате. Измученная ревностью и подозрениями, жена силой врывается в комнату и обнаруживает, что ее муж подкрашивает черной краской свою рыжую бороду…

Стоит ли уточнять, на что пошла шерсть, которой были набиты подушки в доме отца?

Итак, первая комедия, основанная на недоразумении. Автору ее шел тринадцатый год.

* * *

Джордже Нуша разорился окончательно. Неудачливость его стала притчей во языцех не только среди торговцев белградской чаршии, но и смедеревской. Уже никто не расписывался на его долговых обязательствах, не ручался за должника. За векселя его едва давали половину их номинальной стоимости. «Свое дело» пришлось свернуть и искать место счетовода у какого-нибудь ловкого, но безграмотного воротилы. Венский диплом, висевший в аккуратной рамочке на стене смедеревской конторы, был снят и упрятан в сундук, отправленный вместе с другими вещами в Белград, где в 1877 году Джордже нашлось место у бывшего компаньона, мясоторговца Панджела.

Новый учебный год Алка начинал в третьем классе старобелградской «реалки». В Белград же переехала и семья его закадычного друга гимназиста Евты Угричича.

Право же, лучше бы отец определил своего сына в классическую гимназию, больше подходившую к Алкиному складу ума, да и дружил реалист все больше с учениками Первой белградской гимназии.

Все оставшиеся пять классов «реалки» (а всего их было семь) Алка протащился с весьма посредственными успехами. В архиве министерства просвещения по сию пору сохранились свидетельства неусидчивости нашего героя. Его формуляры дают представление и о знаниях, которые получали ученики «реалки». Читаем отметки за шестой класс: французский — 3, немецкий — 3, тригонометрия — 3, начертательная геометрия — 3, ботаника — 3, механика — 3…

3…3…3… С трудом мы находим две четверки — по общей истории и… поведению.

В седьмом, и последнем классе положение несколько лучше: бухгалтерия и корреспонденция — 4, по языкам по-прежнему тройки, общая история — 4, космография — 4, механика — 4, технология и история изобретений — 3, алгебра — 3…

В шестом классе «реалки» с Алкивиадом училось девять человек, в седьмом — уже восемь. Алекса Карамаркович, Драгутин Степанович, Джордже Анастасьевич… Об их взаимоотношениях с Алкой ничего не известно. И дальнейшей судьбе тоже. Кого-то из них Алка однажды привел домой, представив как «лучшего» ученика в классе. Старший Нуша попросил гостя поднатаскать сына в математике, с которой Алка всегда был не в ладу, обязавшись при этом платить тридцать грошей ежемесячно. «Лучший» ученик учился еще хуже Алки, и, разумеется, приятели сговорились — вместо занятий они играли в ушки, а в конце каждого месяца честно делили гонорар.

В старших классах Алка вел себя более степенно. Но результат был все тот же. Впрочем, теперь он из класса в класс кое-как переползал. Впоследствии он сравнит себя и своих однокашников с ротой добровольцев, отвоевывавшей у неприятеля траншею за траншеей. Порой школьная наука казалась ему неприступной крепостью, располагавшей самыми современными орудиями уничтожения учеников.

«Стены и башни этой крепости были сплошь покрыты всевозможными синусами, косинусами, гипотенузами, катетами, корнями, логарифмами, склонениями, спряжениями и другими смертоносными неизвестными величинами. Можете себе представить, сколько нужно было смелости и готовности к самопожертвованию, чтобы с голыми руками идти на штурм крепости…

Но мы не трусили: мы падали и поднимались, получали ранения, в продолжение каникул залечивали их и набирались сил для нового наступления, попадали в плен и по два года томились в рабстве в том же классе, но в конце концов наша долгая семилетняя война привела нас к решающей битве за аттестат зрелости».

Этой комической гиперболой можно, пожалуй, и завершить рассказ о годах, проведенных в стенах старобелградской «реалки». А вот о том, что происходило в те же годы вне ее стен, стоит рассказать поподробнее…

* * *

У читателя не могло не сложиться впечатление, что

Бранислав Нушич в юности был отъявленным лентяем. И в самом деле, в повестях, рассказах, воспоминаниях и предисловиях к пьесам он не раз мистифицировал читателя, выставляя себя то вечным должником, которого по пятам преследуют кредиторы, то невероятным лентяем, который берется за перо лишь в силу жесточайшей необходимости, то беззаботным ловеласом, насмешливым, а порой и циничным. Оговоримся сразу, ни тем, ни другим, ни третьим он не был никогда. Грех за ним числился единственный — за красное острое словцо он был готов… прозаложить черту душу. И работал всегда как вол, прослыв плодовитейшим писателем своего времени. Учиться ему мешала необыкновенная живость и нежелание забивать себе голову тем, что, как подсказывала ему интуиция, не могло стать его призванием. Такой же грех числился за самим Львом Николаевичем Толстым, который ходил далеко не в лучших студентах Казанского университета, а завершив второй курс с пятерками только по любимым предметам и с двойками по остальным, вовсе покинул стены «альма матер», так как предпочел заняться самообразованием. И, помнится, за короткий срок овладел такими знаниями, которые не дал бы ему ни один университет мира. Достоверно известно также, что многие исторические личности в школе имели по истории двойки. Но это еще не значит, что делать историю легче, чем учить ее.

В Смедереве у Алки состоялась первая встреча с театром, там были написаны первая пьеса и первое стихотворение. Там он впервые почувствовал вкус творчества. Склонности маленького Алки определились. Но многие в его годы увлекаются театром, пишут стихи и не становятся ни актерами, ни литераторами. Кроме желания нужны еще и благоприятные условия, в которых бы развивалось то, что заложено в человеке природой.

Неблагополучие семьи, заставившее ее переехать в Белград, обернулось для Алки величайшей удачей. Белград — столица, в Белграде уже почти десять лет существует Народный театр, в Белграде кипят политические и литературные страсти.

Написав первое стихотворение после неудачного побега на войну (о чем стало известно из сообщения того же Евты Угричича «Мое интервью с живым писателем», опубликованного в газете «Политика» в 1906 году), он уже исправно поставлял в детские и юношеские издания сентиментальные подражательные стихи, о которых впоследствии не любил даже вспоминать.

Я не совсем уверен, имеют ли биографы моральное право вытаскивать на свет божий то, что не хотелось вспоминать их героям… Впрочем, сам же Нушич иронизировал по поводу попыток биографов приукрашивать жития «великих».

Постараемся же убить одним выстрелом сразу двух зайцев — во-первых, проявить добросовестность и, во-вторых, оправдать бездеятельность Алки в школе его кипучей деятельностью на литературном поприще — и полистаем старые журналы.

Начал Алка с ребусов[5] которые послал в изданьице для детей «Голубь». Ему вежливо ответили, что в свое время они будут опубликованы. А 1 мая 1880 года появился его перевод с немецкого:

«Из тех запредельных
Небесных полей
Господь видит землю
И грешных детей».

Вдохновленный успехом, 1 июня Алка публикует в «Голубе» свое первое оригинальное стихотворение «Луч солнца»:

«Чуть утро проснется,
Заря зацветет
И бодрое солнце
Мрак ночи сметет»[6].

И впрок заготавливает все новые стихи. Морализаторско-религиозные. Патриотические. Описания природы…

Первый рассказ «Мой ангел» (1 марта 1881 года) был тошнотворно сентиментален.

Маленькому герою рассказа мать дарит новые штаны. За успехи в школе. (Обратите внимание на это обстоятельство, ибо оно свидетельствует о том, что юный автор-троечник уже понимал воспитательное значение литературы.) В кармане новых штанов оказался еще и новенький динар. На эти деньги тут же была куплена книга «о боге, об ангелах, о рае». А штаны подарены бедняку, который продал их, чтобы купить лекарство больной матери. Преисполненный сознания собственной добродетельности, герой рассказа потребовал награды — захотел увидеть своего ангела. Но тот не явился. И доброты как не бывало. Мальчик прогнал с порога своего дома бедного хромого старца, в другого бросил грязью. И вот тогда-то во сне ему явился ангел, говорящий стихами, и категорически потребовал, чтобы герой свернул с грешного пути на праведный.

Приблизительно в то же самое время он печатается в «Невене» и других изданиях для детей.

«Невен» издавал знаменитый поэт-патриот Йован Йованович-

Змай, стихи которого Алка знал наизусть. В 1881 году в «Невене» были опубликованы два стихотворения Алки: «Первые капли пота, или В первый раз на пахоте» и «Пчела и мальчик». Автор их подражал… Змаю. И Змай во втором номере «Невена» поместил короткое извещение:

«Алкивиад Дж. Нуша. Напишу вам отдельно, как только будет немного времени».

Редактор сдержал слово и напрямик написал подростку, что, хотя стихи напечатаны, они очень слабые. Алка рассердился на Змая, но совета послушался и перестал публиковать детские стихи в «Невене» и «Голубе». Печатался Алка под самыми разными псевдонимами, среди которых стал мелькать «Бранислав Нушич» (Бранислав — это славянский перевод греческого имени Алкивиад).

Еще менее обнадеживающими были успехи на сценическом поприще. Тайком от родителей он вместе с Евтой Угричичем хаживали в Народный театр и нанимались статистами в надежде, что там заметят и оценят по достоинству их актерское мастерство, о котором оба были самого высокого мнения.

Зданию театра, похожему в то время по своей архитектуре на арбатский дворянский особняк, предстояло на многие десятки лет стать родным домом Бранислава Нушича. А пока Алка с Евтой лишь изредка выходили на сцену, изображая вместе с другими реалистами, гимназистами и студентами «толпу», чаще всего приветствовавшую героя-государя в какой-нибудь исторической трагедии. Тут из-за кулис приятели с замиранием сердца и даже в каком-то восторженном испуге следили за игрой ослепшего трагика Александра Бачванского. В 1881 году состоялась премьера трагедии «Людовик XI», в которой слепой Бачванский играл слепого короля. Впечатление было настолько сильным, что многие в публике плакали.

Алка все добивался, чтобы ему дали какую-нибудь, хоть маленькую роль. Но и здесь Евта опередил его. Высокий, осанистый Угричич явно становился любимчиком постановщиков. Малорослый, худенький и невидный Алка так и не пошел дальше амплуа «кушать подано».

И только однажды ему «повезло». Это было уже в последнем классе «реалки». Евту Угричича за частые и необоснованные пропуски исключили из гимназии. Он скрыл это от родителей. Мало того, никого не известив, он бежал в Воеводину и поступил в труппу Марка Суботича, с большим успехом дававшую спектакли в австро-венгерских владениях.

Вскоре из города Шида пришла весть, что Евта тяжело ранен. Старший Угричич и слышать не хотел о своем непутевом сыне.

Мать Евты попросила Алку поехать с ней в Шид.

Голова Евты была обмотана бинтами, скрывавшими все лицо. Из-под бинтов глухо доносились вздохи и стоны.

— Дурак я, дурак. Это в Белграде актеров ни во что не ставят, а здесь, в Воеводине, нас чуть ли не на руках носят. Пригласили нас после спектакля на пир. Напились, пошумели, захотелось пострелять. Набил я старый пистолет порохом, поднял вверх, и… осечка. Я посмотрел в дуло и дунул, а пистолет возьми и выстрели мне прямо в лицо! Не знаю, как жив-то остался…

Мать Евты плакала. Алка жалел друга, зная, что изуродованное порохом лицо помешает его сценической карьере. Врач предупредил, что ранее чем через месяц раненого нельзя забирать.

Оставшись без актера, глава труппы Суботич попросил Алку заместить Евту на сцене. В тот же вечер давалась историческая драма, и Алка предстал перед публикой в роли Гргура, сына деспота Бранковича. В широченном костюме воеводы, скроенном на большого Евту, тщедушный Алка выглядел так комично, что зрители буквально корчились от смеха.

— Откуда мне на голову свалился этот недомерок! — хватаясь за голову, орал директор театра.

Алка пал духом и наотрез отказался от дальнейших выступлений, но актеры все-таки уговорили его сыграть роль слуги Йована в «Любовном письме» Трифковича. На сей раз все обошлось благополучно, и Алка заработал немного денег, что было подспорьем обедневшей семье.

* * *

Детская литературная дружина «Нада» («Надежда») была основана при Первой белградской гимназии еще в 1868 году. Вскоре она стала самым популярным литературным кружком в Сербии. Выучку ее прошли десятки будущих литераторов и ученых.

Реалиста Нушича ввел в гимназическую «Наду» его новый приятель Миленко Веснич. Нушич, видимо, был тогда еще в шестом классе. Во всяком случае, учась в седьмом классе, он уже был самым активным членом дружины. Из тринадцати произведений, прочитанных на ее заседаниях в это время, три принадлежало перу реалиста. И даже известно, что он читал. Сентиментальные притчи, вроде тех, которые Алка публиковал в газетах, были категорически отвергнуты. Выспренная баллада «Ледяной крест» встретила ледяной прием. Благосклонно были

приняты его первые юмористические рассказы «Муро» и «Дон-Кихот наших дней», которые, к сожалению, не сохранились.

В семнадцать лет Нушич уже сотрудничал в редколлегии журнала «Маленький серб», который стал выпускаться с февраля 1882 года. В альманахе «Нада», организованном при «Маленьком сербе», появляется юмореска Нушича «Фрак». Пожалуй, это первая юмористическая проза Бранислава Нушича, увидевшая свет. Сюжет рассказика незамысловат. Юноша, ухаживающий за девицей из «хорошей» семьи, приглашен ею на день рождения. Ему не в чем идти, и приятель его достает через слугу одного профессора на время господский фрак. Расфранченный юноша является к девице с букетом цветов и… о ужас! Профессор оказывается отцом девицы и узнает свой фрак…

С точки зрения властей, «Нада» была не совсем безобидным кружком. Там увлекались демократическими идеями Светозара Марковича, заражались панславистским и славянофильскими идеями. В 1880 году кружок запретили. В гимназии завели строгие порядки. Гимназисты подняли настоящий бунт и расклеили по городу отпечатанные листовки — «Террор в белградской гимназии». Зачинщиками бунта были гимназисты класса, в котором учился поэт Воислав Илич. Именно к тому времени и относится знакомство Бранислава Нушича с Воиславом Иличем, переросшее в крепкую дружбу, продолжавшуюся до самой смерти поэта.

Поскольку мы заговорили о политике, придется, пожалуй, дать кое-какие пояснения, что само по себе дело очень и очень нелегкое. У сербов существовала поговорка: «Когда сходятся двое русских — это уже хор, а когда сходятся два серба — это уже три политические партии»…

ГЛАВА ПЯТАЯ
ПОЛИТИКА

22 февраля 1882 года в Белграде послышались пушечные выстрелы. Сербия была провозглашена королевством. Князь Милан IV превратился в сербского короля Милана I.

Король был на десять лет старше Алкивиада Нуши, учившегося в то время в последнем классе «реалки». Довольно красивые черты лица короля портила тонкая, как бы втянутая верхняя губа и массивный подбородок, выдававшие несносный характер. В юности Милан любил оружие и жестокие игры. Подростков из своего окружения заставлял выпрыгивать в окна и бывал предоволен, если кто-нибудь вывихивал ногу. Своих опекунов-регентов ненавидел. Одного из них подозревал в претензиях на княжеский престол. Хладнокровие и вельможность другого, либерала Йована Ристича, так раздражали его, что он схватил того за бакенбарды и крикнул: «Эй, ты! Не забывайся, что я государь, а ты мой слуга…»

В восемнадцать лет Милан взял власть в свои руки и… стал развлекаться как мог. Часто сменявшиеся фаворитки помыкали министрами. Так продолжалось до тех пор, пока в Белграде не побывал проездом со своей красавицей дочерью Натальей полковник русской службы, богач бессарабец Кешко. Они получили приглашение явиться ко двору. Наталья была блистательна, молодой князь танцевал с ней весь вечер. Тотчас из Белграда была выслана хорошенькая француженка-актриса мадемуазель Риго. Милан обвенчался с Натальей, и через год она родила ему наследника, получившего имя кума — русского царя Александра.

Князь женился на двадцать первом году жизни. В Боснии и Герцеговине в то время было в разгаре восстание против турок. Воинственно настроенные сербы иронизировали, повторяя шутку, напечатанную в «Панчевце»: «Милан больше любит Наталию, чем баталию».

Во время войны с Турцией генерал Черняев провозгласил Милана королем. Великие державы, наверное, согласились бы с этим провозглашением, если бы Милан победил в войне. Но крохотному княжеству было не по силам бороться с Турецкой империей. Милан послал телеграмму императору Александру II, умоляя спасти Сербию. Ультиматум русского посла в Константинополе генерала Игнатьева подействовал на турок отрезвляюще.

В 1877 году Россия вступает в войну. Шипка… После Плевны прокламация Милана: «Сербы! Мы тоже беремся сегодня за оружие и встаем за святое народное и христианское дело. Вперед, герои, следом за победоносными знаменами Царя-освободителя, с верой в Бога, всемогущего защитника правды, и во имя освобождения всех порабощенных братьев, во имя Независимости нашего дорогого Отечества Сербии». У Сливницы сербы соединились с русскими.

Петербург и Белград ликовали и обменивались изъявлениями любви и дружбы. Но вскоре все переменилось.

Россия пошла на уступки Австро-Венгрии. По Берлинскому трактату Сербию обделили. Боснию и Герцеговину оккупировали австрийские войска. Сербы сразу заметно охладели к России.

После войны Милан решил управлять Сербией самовластно, подобно своим предшественникам, один из которых начертал на проекте конституции: «А в общем все будет так, как государь решит», а другой сравнивал Сербию со стаканом родниковой воды и преследовал всякую оппозицию, боясь, как бы она не замутила эту чистую воду.

Однако времена были уже не те, да и сам Милан не очень годился на роль абсолютного монарха. Он предпочитал занятиям делами в Белграде бурные похождения в Вене. Содержание его обходилось в три тысячи дукатов ежемесячно. Костюмы, выписываемые из европейских столиц, он надевал только дважды. Вскоре Милан заложил дедовскую саблю, усыпанную драгоценными камнями, и попросил у Австрии заем в 60 тысяч дукатов. Сербский король оказался в зависимости от венских банкиров, которым приходилось платить проценты, а следовательно, и от собственного парламента — скупщины, которая платила княжеские долги. Скупщину к тому времени заполняли представители трех партий.

Вот эти партии.

Консерваторы во главе с Николой Христичем, «феноменальным полицейским», считавшим для себя и своих сторонников законом верное служение династии. Он был министром еще до рождения Алкивиада Нуши, и предшественник Милана князь Михаил говаривал, что с таким, как Христич, он «мог бы управлять Сербией даже из Америки».

Либералы во главе с Йованом Ристичем, программа которого укладывалась в слова: «Династия Обреновичей и конституционность». Поскольку в партии было много бывших последователей «Омладины», либералы любили называть себя знаменосцами сербской свободы, славянофилами и даже русофилами. Они не раз формировали правительства.

Напредняки (прогрессисты), которых Милан, сблизившись с австрийцами и использовав недовольство русской политикой, призвал к власти на смену либералам. Возглавляли партию богачи-торговцы Милан Пирочанац и Милутин Гарашанин.

«Люди этой партии, — писал русский дипломат С. С. Татищев, — воспитанники Запада, воспринявшие в немецких школах зачатки его культуры, усвоившие его идеалы, государственные и общественные, и вполне отрешившиеся от заветов, преданий и верований своего народа. Общее благо Сербии усматривают они в насаждении в ней гражданственности по западноевропейским образцам — тем более что это вполне согласуется с их частными выгодами».

А выгоды были немалые — в руках напредняков была сосредоточена вся торговля свиньями и хлебом, которые они поставляли Австрии.

В 1881 году началось строительство железной дороги. Правительство Пирочанца связалось с французским банком Эжена Бонту; вскоре парижские Ротшильды, скупив его акции и пустив их по низкому курсу, пустили Бонту по миру. В результате этой аферы Сербия осталась должна 100 миллионов франков. Тогда-то пришлось обратиться за милостью к венским… Ротшильдам. Милан заключил с Австрией на двадцать лет тайную военную конвенцию, окончательно оторвавшую Сербию от России.

Русофилов стали преследовать. Эмигранты из Боснии и Герцеговины выдавались австрийским властям. Летучие жандармские отряды подавляли всякое выражение недовольства. Без австрийского посланника графа Кевенгюллера не принималось ни одно решение. Ротшильды и другие денежные бароны затянули Сербию в свои хитрые сети и высасывали из нее все соки. Налоги увеличивались. Немецкий язык слышался всюду — в Белграде появилось множество еврейско-немецких предприятий. В народе напредняков стали называть «назадняками», а их печатный орган «Видело» («Свет») — «мрачилом» и «слепилом».

В свое время Ф. М. Достоевский в своем «Дневнике писателя» внимательно прослеживал процессы, происходившие в политической жизни славянских стран. Он писал:

«Есть две Сербии: Сербия верхняя, горячая и неопытная, еще не жившая и не действовавшая, но зато страстно мечтающая о будущем, и уже с партиями и с интригами, которые доходят иногда до таких пределов (опять-таки вследствие горячей неопытности), что не встретишь подобного ни в одной из долго живших, безмерно больших и самостоятельных, чем Сербия, наций. Но рядом с этой верхнею Сербией, столь спешащей жить

политически, есть Сербия народная, считающая лишь русских своими спасителями и братьями… любящая русских и верящая им»[7].

Милан и его правительство опирались на бюрократию, которая образовалась в свое время из представителей партий консерваторов, либералов, напредняков, уже давно забывших о своей партийной принадлежности.

Проблема сербской бюрократии особенно интересна. На ней, можно сказать, вскормлена сербская критическая и реалистическая литература. Ей посвящены многие пьесы Нушича, так остро воспринимающиеся и сегодня.

Турки за время своего пятисотлетнего господства не допускали в Сербии формирования интеллигенции. Аристократию они либо вырезали, либо «потуречили». В новом свободном государстве сербов жили одни крестьяне — равноправные и свободные, но неграмотные. Князья, и Обреновичи, и Карагеоргиевичи, которые тоже выдвинулись «из простых», часто приглашали в чиновники австрийских «письменных» (грамотных) сербов, проникнутых идеалами австрийского государственного строя, основами которого служили централизация и бюрократия. На народ и его обычаи они смотрели с пренебрежением, как на нечто, требовавшее бдительного надзора в попечения со стороны правительства. Народ называл их «швабами».

Уже выросло и собственное чиновничество, но оно сразу ступило на проторенную дорогу. Чиновничье сословие было настолько чуждо народу, что еще при выработке конституции 1869 года народные представители потребовали, чтобы чиновники не могли быть избираемы в скупщину.

Казалось бы, должны были иметь успех лозунги либералов. Например, их лидер Йован Ристич говорил: «Мы можем вступать с Западом в разнообразные отношения, перенимать его культуру, посылать своих сыновей учиться туда, делать займы, но ничего в отношении осуществления своих народных идеалов, объединения и освобождения наших племен, мы не можем сделать без России».

Но народ уже не верил ему, предпочитая идти за новой партией, появившейся в 1881 году, — партией радикалов.

Идея создания такой партии возникла у великого сербского революционного демократа Светозара Марковича. Он умер в 1875 году, но еще задолго до своей смерти писал друзьям: «По моему мнению, надо организовать радикальную партию, и тогда начнется борьба против всего, что устарело… Организовать партию, которая бы опиралась не на какие-нибудь монархические имена, а на народ и его интересы. Пусть в этой партии будет пять

человек (если больше не найдется), но пусть она будет партией с самого начала… и будущее за ней».

Светозар Маркович был внуком разбойника-хайдука и сыном полицейского. В юности он входил в «Омладину» и исповедовал идеи национальной самостоятельности. Как и многих других сербов, для получения высшего технического образования его послали в Петербург. Здесь вместе с молодым офицером Саввой Груичем он зачитывался статьями Добролюбова, Писарева и Чернышевского, с восторгом посещал собрания молодых нигилистов. В Сербию он возвратился овеянный идеями «разумного эгоизма», и своим острым пером, по словам знаменитого сербского критика Скерлича, «с разрушительной беззаботностью молодого человека начал бить по идеализму в философии, по романтической сентиментальности в литературе, по пустой и велеречивой „эстетике“, проповедуя истину, трезвость, необходимость серьезной работы без фраз, требуя создания живой, реальной, „прикладной“, „обличительной“, боевой литературы…».

Светозар ставит в пример русских реалистов. Призывает молодую интеллигенцию «идти в народ». В 1869 году, перебравшись в Швейцарию, он зачитывается Луи Кланом, Лассалем, Прудоном, Бакуниным и, разумеется, Марксом и Энгельсом.

Вместе с ним наблюдает за полемикой Маркса и Бакунина молодой студент-архитектор Никола Пашич. Однажды в Цюрихе Бакунин сказал:

— Из всех молодых людей, которых я вижу здесь, наверное, только молчаливый Пашич сыграет большую политическую роль у себя на родине.

Бакунин оказался пророком.

Три молодых человека стояли у колыбели радикальной партии — Никола Пашич, Савва Груич и Пера Тодорович. Они подхватили идеи рано умершего Светозара Марковича.

Пера Тодорович был сыном богатого торговца. Все свое наследство он истратил на создание газеты «Самоуправа» («Самоуправление»), ставшей рупором новой партии. Блестящий журналист, пров ванный впоследствии «сербским Жирарденом», он писал преядовитейшие памфлеты, разоблачая австрофильскую политику Милана, Офицер Савва Груич вел пропаганду в армии.

Но подлинным создателем партии стал Никола Пашич. Он оказался прирожденным организатором, хотя говорил лишь намеками, а то и вовсе молчал. После возвращения из Швейцарии он только раз попробовал применить свои познания в архитектуре. В его родном городе Заечаре гордившиеся Пашичем

земляки поручили ему построить двухэтажную больницу. Когда здание почти возвели, рабочие обнаружили, что в чертежах Пашича не предусмотрены лестницы. После этого он навсегда посвятил себя политике.

Первая программа радикалов была проста. Они выступили за уменьшение числа налогов, за рассредоточение власти, за расширение прав местного самоуправления и народных представителей, за освобождение всех сербов из-под власти турок и австрийцев и создание Великой Сербии, за тесный союз с матерью-Россией.

Буквально за год партия стала одной из сильнейших в стране. В нее вступали те, кто больше других общался с простым народом, — учителя и священники. Голоса крестьян были обеспечены, и после ближайших выборов радикальные депутаты появились на трибуне скупщины. Радикальные журналисты во главе с Перой Тодоровичем, разоблачая королевскую политику, не стеснялись в выражениях.

По сербской конституции 1869 года личность короля была неприкосновенна и неответственна, и в то же время провозглашалась свобода печати. В выступлениях депутатов при обсуждении проекта конституции встречается интересное соображение: зло можно сотворить и пером и рукой, но ведь не связывают же руки всем людям подряд во избежание возможного преступления.

Объявив себя в 1882 году королем, Милан и его напредняцкое правительство решили сделать так, чтобы личность короля и в самом деле была неприкосновенна и неответственна. Ровно через двадцать дней после коронации был обнародован закон о печати. Этот закон долго потом опустошал ряды сербских журналистов и литераторов, знакомя их с распорядком в королевских тюрьмах. Поскольку мы еще будем встречаться с толкованием этого закона применительно к деяниям Бранислава Нушича, познакомимся с ним.

Начинался он хорошо. Всякий серб имел право высказывать свои мысли устно или письменно. Всякий совершеннолетний гражданин мог открыть типографию, книжный магазин или основать периодическое издание. Далее надо было известить об этом полицию. Никакое сочинение или повременное издание не могло быть задержано полицией… за исключением тех случаев, когда в них встречались выражения, оскорбительные для короля, королевы, наследника и королевского дома, или призыв граждан к поднятию оружия для ниспровержения существовавшего порядка правления.

Вот тут уж к суду привлекались: 1) автор, 2) ответственный

редактор, если автор был вне досягаемости, 3) собственник типографии, если неизвестен ни автор, ни редактор, и 4) тот, кто продает, распространяет или вывешивает на улице какое-нибудь печатное произведение, подлежащее каре закона, если не известны ни автор, ни редактор, ни типография. А кара была весьма существенная — каторжные работы до десяти лет.

Много лет спустя, познакомившись не с одним законом о печати и пройдя не одно судебное чистилище, Бранислав Нушич напишет в повести «Божественная комедия» о попытке издания газеты в раю:

«Ах, это было полезное чтение. Можете представить себе, каков был этот номер, если полиция сразу же запретила его, и в тот же день вышел закон о свободной печати, в котором было всего две статьи:

Ст. 1. Печать в раю совершенно свободна.

Ст. 2. Никто в раю не имеет права издавать газет».

Борьба радикалов с самовластьем и бюрократией захватила и Нушича. Более того, ученик седьмого класса «реалки» стал участником крупнейшей противоправительственной демонстрации, состоявшейся 28 апреля 1882 года, тотчас после помпезной поездки по стране новоиспеченного короля Милана Обреновича.

Демонстрация была организована белградскими студентами и школьниками по поводу постановки на сцене Королевского Народного театра комедии французского драматурга Викторьена Сарду «Рабагас». Это довольно слабая пьеска, высмеивавшая политических карьеристов и выставлявшая в выгодном свете героя-монарха. Французская печать характеризовала комедию как «покушение на достоинство литературы». Считалось, что это памфлет на деятелей типа Гамбетты. Пьеса ставилась по предложению известного в сербской истории напредняцкого журналиста и государственного деятеля доктора Владана Джорджевича, которого оппозиционные газеты того времени называли «доктор Красный нос». Его близкий друг Коста Христич не только перевел, но и внес в сербский текст множество выпадов против деятелей радикальной оппозиции в Сербии.

Поскольку даже последующее полицейское следствие не могло установить истинных организаторов демонстрации, сейчас трудно сказать, как она подготавливалась. Газета напредняков «Видело» утверждала, что ученики получили деньги на билеты в театр от радикалов, которым стало известно содержание предстоящего спектакля. Во всяком случае, студенты Великой школы, семинаристы, гимназисты, реалисты, подмастерья и торговые ученики подготовились превосходно.

Студенты и ученики старших классов запаслись свистками, хлопушками и трещотками. Многие прятали под одеждой палки. Ученики младших классов и подмастерья ожидали начала событий снаружи — по сигналу они должны были перебить окна в театре и кричать «Да здравствует народ!»

Представление началось точно в половине восьмого, что тогда случалось редко. Возможно, точность была соблюдена из-за присутствия на спектакле королевы Натальи со свитой и некоторых министров. Поднялся занавес. Сперва все было чинно. Никто не доставал свистков. Полиция, переодетая в штатское, облегченно вздохнула. Но это было затишье перед бурей.

И вот началось. Знак к обструкции подал редактор радикальной юмористической газеты Владимир Милоевич. Пущен был в ход весь шумовой арсенал. Половина зрителей орала, свистела, мяукала. Полицейские бросились в зал. Занавес был опущен, и шум постепенно затих.

Спектакль продолжался. Главный герой пьесы — князь Монако восклицает: «Этот народ надо давить конницей!» Каждому из юношей эта реплика кажется личным оскорблением. Все словно обезумели. Спектакль был сорван.

Министр внутренних дел Милутин Гарашанин, сидевший в ложе с министром просвещения Стояном Новаковичем, попросил королеву Наталью покинуть королевскую ложу и приказал разогнать публику любыми средствами. Вызванные жандармы ворвались в зал в стали избивать публику. Они били юношей обнаженными саблями плашмя. В руках у молодых людей появились палки.

«Долой полицию! Долой жандармов!» — раздавалось в партере, «Выкиньте собак!» — орали с галерки. Кто-то, надрываясь, произносил речь. Но слов не было слышно. Началась давка. Полиция теснила демонстрантов к сцене. Они бросились бежать через оркестровую яму, где по распоряжению директора театра музыканты изо всех сил выдували бравурный марш. Полицейские хватали юношей и тут же обыскивали. Многие оказались предусмотрительными — свистки их были сделаны из сахара. Разгрызенные леденцы тут же исчезали в молодых желудках.

Алка со своим приятелем Миленко Весничем тоже кричал: «Долой полицию! Долой Гарашанина!», пока не почувствовал острую боль в руке. Лезвие жандармской сабли сорвало кожу на кисти, шрам от этого удара остался на всю жизнь.

Сражение перенеслось на площадь перед театром. Там были свалены камни, приготовленные для возведения большого конного памятника князю Михаилу, стоящего перед театром и в

наши дни. Скрывшись за грудой камней, как за баррикадой, молодые люди швыряли булыжники в подоспевшую конную жандармерию. Алка, замотав раненую руку рубашкой, не отставал от других. Многие пали под жандармскими саблями, многие попали в руки полиции. Алка с приятелем благополучно скрылись.

Король Милан был вне Сербии. Узнав о демонстрации, он тотчас послал телеграмму, в которой содержался приказ о строгом наказании виновных. Вместе с другими руководителями учебных заведений директор белградской «реалки» Миловук получил распоряжение провести следствие и выяснить, кто из его учеников был в театре.

Подозреваемые были вызваны к директору, который, однако, добился немногого, о чем свидетельствует его доклад начальству: «…Допрошены ученики реалки: Сима Катич, четвертый класс, Алкивиад Нуша, седьмой класс, и Воислав Цинцаревич, пятый класс». И все.

Но в тот же день директор потребовал, чтобы его учеников допросили в полиции. Выдал Алку ученик шестого класса гимназии Милан Аранджелович, который сознался, что «видел свистки у Божидара Банковича и Миленко Веснича (оба из его класса), а также у Алкивиада Нуши из реалки». Многие были исключены из школ. Директор «реалки» ограничился тем, что посадил Алку на несколько дней в школьный карцер.

Мать Алки, узнав о наказании, проплакала всю ночь, а отец гордо сказал:

— Ничего. Он вел себя как настоящий мужчина. Может, из него и выйдет что-нибудь путное!

* * *

Джордже Нуша давно уже оставил надежду увидеть сына процветающим торговцем. Подрастающая орава жила на его скудный заработок. Стараясь свести концы с концами, он с неодобрением наблюдал за бурной деятельностью своего любимца. Неуспехи в школе часто принимаются родителями за свидетельство отсутствия воли и талантов, а увлечение Алки литературой, по мнению счетовода, тем более дело зряшное. Правда, время было такое, что и сами господа министры баловались журналистикой и изящной словесностью. Но Джордже Нуша слабо верил в то, что путь к министерскому креслу ведет через пописывание стишков в газетах.

А в жизни Алки, упорно приучавшего читающую публику к

имени Бранислав Нушич, уже наступила пора стремительного созревания — физического, литературного, политического. Но… экзамены на аттестат зрелости все же надо было сдавать! Нушич угодил в карцер перед самой сдачей экзаменов. К всеобщему удивлению, и главным образом его собственному, испытание, продолжавшееся с 20 мая до 10 июня, было выдержано.

«Если вы спросите меня, каким образом мне удалось сдать экзамены на аттестат зрелости, то знайте, что вы поставите вопрос, на который я не смогу ответить, так же, как если бы спросили меня: каким образом можно научить слона играть на мандолине? На такие вопросы обычно не отвечают. По здравому смыслу, по логике вещей, по моему глубокому убеждению, по всем законам, и божьим и людским, по всем правилам на выпускных экзаменах мне надлежало провалиться, а я не провалился».

Впоследствии Нушич напишет, что аттестат зрелости казался ему документом, на основании которого он имеет право совершать в жизни всевозможные легкомысленные поступки. Впрочем, и отсутствие оного не мешало юнцу напропалую ухаживать за девушками в заниматься проказами, память о которых по сию пору хранится в белградском фольклоре.

Он расцеловал мать, сестру, младшего брата, громко восклицая:

— Я созрел, я созрел!

Если верить Нушичу, он расцеловал даже парикмахера, так как уже после первых проявлений радости и возбуждения вспомнил, что важнейшая обязанность зрелого человека состоит в необходимости побриться.

— Молодой человек желает постричься? — ехидно спросил его парикмахер.

— Нет, побрейте меня! — гордо заявил зрелый человек.

Если не считать отсутствия усов и бороды, все остальное не приносило огорчений. Летом в юмористической радикальной газете «Чоса» («Безусый») были опубликованы два стихотворения, которые уже ничем не напоминали первых сентиментальных творений. Одно называлось «Покойная свободная печать» и было написано под впечатлением принятия в скупщине известного уже нам закона о печати. Оно начиналось словами: «О, спасибо вам за милость!..» А другому — «Как вспомню» — было предпослано уведомление: «Из этого стихотворения выброшено все то, что так или иначе выбросила бы полиция».

Но было бы ошибкой думать, что Бранислав Нушич лишь наслаждался ощущением собственной зрелости, бил баклуши и пописывал ядовитые стишки. Он еще и учился. Впитывал науку в

двух необычных учебных заведениях: в известном всем и каждому в Белграде доме Илича и в кафане «Дарданеллы».

«В дом Илича меня ввел Воислав, с которым я был знаком уже в 1880 году, когда мне приходилось встречаться с ним в редакциях некоторых газет, — писал Нушич. — Вначале мое знакомство с Воиславом сводилось к обычным встречам в „Дарданеллах“, знаменитом я остроумном клубе Белграда 80-х годов, а затем мы познакомились поближе, и я стал не только ежедневным гостем Иличей, но иногда и жил у них».

Дом Иличей и кафана «Дарданеллы» — вот та среда, в которой Нушич сложился как художник. И среда прелюбопытная…

ГЛАВА ШЕСТАЯ
ДОМ ИЛИЧА

По величине и населению Белград был не больше уездного российского городка. Здесь все превосходно знали друг друга. Деятели культуры маленького южнославянского государства, на которое с надеждой смотрели миллионы славян из краев, еще не добившихся самостоятельности, почти все учились в одном и том же десятке средних учебных заведений и в Великой школе, насчитывавшей несколько сотен студентов.

В молодой Сербии, кроме быстро утвердившейся бюрократии, всё находилось в процессе становления. Молодые литераторы занимались политикой. Безусые студенты-техники становились во главе политических течений. Гимназисты основывали газеты и литературно-художественные журналы. Вчерашние школьные товарищи оказывались в разных партиях, воевали друг с другом в газетах, а в кафанах демонстративно рассаживались в разные углы. Политика нередко усаживала литераторов, друзей юности Нушича, в министерские и депутатские кресла. Политические превратности принуждали отставных министров и депутатов браться за перо. И все это варилось в маленьком котле, называемом Белградом.

Жаловаться на свое время стало у людей привычкой. В иные времена жалоб бывает так много… Нередко волей истории именно в такие периоды талантливые люди начинают проявлять себя с особенной силой. На основе недовольства существующим подчас рождается великая литература.

В России время Пушкина, время блестящей плеяды поэтов и писателей, называют «золотым веком русской литературы». Казалось бы, самовластье Николая I, разгул казенщины… «Удивительное время наружного рабства и внутреннего освобождения», — говорил Герцен. Эти всплески духовной жизни нации хранят ее от полной деградации и в годы инородных влияний, тусклых мыслей, застоя или отрадного благополучия.

Во второй половине XIX столетия в Сербии наступил «золотой век литературы». В борьбе за освобождение от иноземного гнета, в непрерывных междоусобицах ковалась оригинальная культура, крепло национальное самосознание.

Браниславу Нушичу повезло — он становился писателем в период сербской истории, когда ее литература пышно поднималась на дрожжах становления национального. С юных лет он оказался в самом центре литературных и политических

дискуссий. Бранислав всюду искал поддержки своим литературным начинаниям, и «эта поддержка пришла из дома Иличей, где начинали свой путь многие литературные дарования…».

Через пятьдесят лет Нушич весьма подробно расскажет о том, что значил для Белграда этот гостеприимный дом:

«Поэтический дом Илича в 80-х годах был единственным литературным клубом в столице. Все попытки, предпринимавшиеся до и после этого с целью основать какое-нибудь литературное общество, которое сблизило бы писателей и дало бы новые силы литературе, никогда не играли такой роли, которую в этом отношении сыграл дом Илича.

Через этот дом, двери которого были открыты и днем и ночью, прошло несколько поколений; на пороге его встречались старая, уже умирающая, романтическая литература и новая, сменяющая ее, реалистическая; одним словом, через этот дом прошла вся наша литература 70–80-х годов, начиная от Матие Бана, Любы Ненадовича, Чеды Миятовича, Джорджа Малетича и Йована Дорджевича.

Я сам лично в доме Илича встречал Владана Джорджевича, Лазу Костича, Джуру Якшича, Лазу Лазаревича, Милорада Шапчанина, Змая Качанского, Джуру Янковича (талантливого, но рано умершего поэта), Яшу Томича (в то время очень популярного социалистического поэта), Павла Марковича-Адамова, Милована Глишича, Светислава Вуловича, Владимира Йовановича, Янко Веселиновича, Симу Матавуля, Брзака, Светолика Ранковича, Косту Арсениевича (печатника, поэта-социалиста), Стеву Сремца, Матоша, Домановича, Шантича, Джоровича, Божу Кнежевича, Любу Недича, Николу Дорича, д-ра Милована Савича, Илью Вукичевича, Милорада Петровича, Йована Скерлича, Милорада Митровича и еще многих других, менее известных деятелей культуры и национального движения.

Встречи в доме Илича не могли остаться без последствий, и часто многие новые издания и творческие замыслы появлялись именно как результат этих встреч.

Можно почти с уверенностью сказать, что это литературное собрание — дом Илича — было той средой, в которой развился процесс перехода от романтизма к реализму, что именно из этой среды развилась та сила, которая ликвидировала литературную гегемонию Нового Сада[8] и завоевала Белграду первое место, и, наконец, что эта среда, давшая в лице Воислава поэтического реформатора, дала литературе и многие другие известные имена».

Ввел Бранислава в этот дом, как уже говорилось, поэт

Воислав Илич, с которым Нушич познакомился в «Дарданеллах». Попасть в него было давней мечтой юного Нушича. «Издали этот дом казался мне, шестнадцатилетнему юноше, каким-то зачарованным замком или недоступным гнездом, в котором царят старые орлы, в то время как орлята улетают, чтобы посмотреть мир, и вечером возвращаются на ночлег».

Желтый, крытый черепицей, приземистый дом в четыре окна был просторным. Длинное здание с многочисленными службами уходило в глубь двора, за которым начинался большой красивый сад, простиравшийся до самого Дуная. В доме всегда гостили родственники и знакомые, и в иные дни в нем обитало одновременно до пятнадцати человек.

Гостеприимный хозяин дома, старый поэт Йован Илич лет десять с небольшим тому назад был министром юстиции, но теперь от политической жизни отошел, хотя и числился еще членом государственного совета. Жена Смиляна родила ему четырех сыновей — Милутина, Драгутина, Воислава и Жарко, и все они были очень одаренными молодыми людьми.

Драгутин Илич в воспоминаниях о брате писал: «Воислав Илич жил в доме, где первыми воспитателями были народная сказка и восточная поэзия, а первыми книгами — мифология и классика».

Их отец, Йован Илич, увлекался древнегреческой и индусской философиями, а также сочинениями Канта и Гегеля. Он знал много языков и считался выдающимся переводчиком и знатоком Пушкина, Державина, Карамзина, Мицкевича, Гёте, Руссо, Шиллера, Лонгфелло… Особенно интересовался русской литературой и по своим воззрениям был славянофилом, а его сын Драгутин — даже русофилом. Именно славянофильство сблизило либерального Йована Илича с радикалами, в то время активно выступавшими против австрофильской политики правительства. Впрочем, это не мешало Иличу пользоваться уважением деятелей и прочих политических окрасок, принимать их у себя в доме и даже печататься в литературном журнале «Отаджбина» напредняка Владана Джорджевича.

В доме Иличей у всех были ласковые прозвища. Старого Йову (Йована) Илича сыновья называли «татканой» (батей). С феской на голове и с чубуком в руке он любил посиживать на открытой террасе — «диванане» и попивать кофе с рахат-лукумом в окружении молодой и шумной литературной поросли. Маленький худенький Алка, представленный старому, но еще крепкому и бодрому поэту, пришелся Иличу по душе; Алка дневал и ночевал в его доме.

Воислав Илич был старше Нушича на четыре года, но

сдружились они быстро. Оба любили кафаны с их веселым обществом, оба любили литературу. Кстати, все братья Иличи не отличались гимназическими успехами — все они бывали второгодниками и неоднократно исключались из гимназии, а Воислав даже просидел в первом классе три года.

Воислав рос хилым, узкоплечим ребенком и поэтому, очевидно, был любимчиком в доме. Ко времени знакомства с Нушичем он уже был довольно известным поэтом, хотя стихи его еще не имели той масштабности, которая позже принесла ему славу. Воислав называл себя учеником Жуковского и Пушкина, о котором он писал, подражая ритму «Евгения Онегина»:

«То было юности начало
И потому в душе моей
Тогда Татьяна трепетала
И романтичный Ленский с ней.

Я с Пушкиным тогда сдружился,
Пленен красою женских чар,
Во сне Онегина страшился,
Подогревая сердца жар».

Высокий, тощий, вечно взлохмаченный, Воислав был любимцем общества. Нушич оставил нам мастерский портрет своего друга.

«Всегда в застегнутом костюме — одна рука в кармане брюк, а в другой сигарета — Воислав ходил размеренными шагами, слегка закинув голову, и всегда с задумчивым взглядом.

Было в нем что-то привлекательное. В обхождении с людьми был очень любезен и к каждому относился сердечно, искренне и доверчиво. Материальные трудности, которые постоянно преследовали его, он переносил с беззаботным равнодушием и был способен даже при самых тяжелых материальных обстоятельствах писать с тем же вдохновением, как и во время душевного подъема. Многие его лучшие стихи написаны именно в такие часы, не благоприятствовавшие работе.

Воислав был художником, что проявлялось не только в его стихах, но и в манере писать их.

Много времени мы провели с ним, а последние годы его жизни мы с ним были в Приштине и жили почти под одной, крышей. На моих глазах создавалась „Страсть на селе“, и я хорошо помню Воислава в момент работы. Перед ним лежали чистые белые листы бумаги, и он четким почерком писал с удовольствием, легко, без напряжения. Стихи лились из-под его

пера, как будто он сочинил их уже давно, а если где-нибудь задерживался, то снова перечитывал написанную строку, зачеркивал слово и заменял его более удачным, более сильным. В те минуты он напоминал мне художника, кисть которого легко летает по полотну, вот он на секунду отстраняется от своей картины, вглядывается в нее и снова возвращается к ней, чтобы усилить или еще более оттенить отдельные места. Такая тщательность в работе над стихами была присуща ему всегда, даже тогда, когда в кафе на измятом клочке бумаги или даже на обложке меню он писал стихи для какого-нибудь издателя детской или юмористической газеты, который тут же за столом ждал с гонораром в 5 или 15 динаров в кармане».

Старший из братьев, Милутин, был неудачливым чиновником, часто терявшим службу из-за своих патриотических убеждений и неумения приспособиться к напредняцкому режиму. Ходил он в национальном костюме, с пистолетами, заткнутыми за пояс. Носил длинные усы. Нушичу он казался сбежавшим из музея типажем картины о крестьянском восстании.

Бранислава Нушича привлекал его незлобивый характер и удивительный дар юмориста и сатирика. Рассказы Милутина пользовались успехом у читающей публики.

Второй по старшинству из братьев Иличей, Драгутин, еще на студенческой скамье стал знаменит как литератор. В театре с 1881 года шла его историческая драма «Король Вукашин», за что он особенно был почитаем молодежью. В театре его считали одним из корифеев национальной драматургии. Нушич вспоминает:

«Отец, питавший самые нежные чувства к Воиславу, только с одним Драгутином разговаривал и о политике, и о литературе, и о семейных делах. Однако, являясь истинным представителем дома Илича, Драгутин все же не всегда отдавался ему целиком, он занимался не только поэзией, но и участвовал во всех общественных движениях: политическом, национальном и культурном. И хотя по сравнению со всеми другими Иличами Драгутин прожил самую бурную жизнь, все же он написал больше, чем все другие Иличи. Занимаясь всеми жанрами литературы, он писал лирические и эпические стихи, романы, рассказы, драмы, занимался решением философских и политических проблем, растрачивая свои силы в ежедневных газетах, полемизируя со своими противниками в статьях на политические темы.

Всегда готовый к борьбе, в калабрийской шляпе, с аккуратно расчесанной бородой, неизменно элегантный, до самой старости не изменивший своим взглядам, он особенно нравился нам,

молодежи, которая приходила в дом Илича».

Однажды Нушич прочел Драгутину свои стихи и получил чистосердечный совет бросить поэзию и начать писать комедии. Очевидно, он уже тогда немало смешил друзей своим неподражаемым искусством рассказывать жанровые сцены. В этом ему не уступал Жарко, самый младший из Иличей, считавшийся одним из остроумнейших устных рассказчиков своего времени. Стать писателем Жарко помешала неуемная натура озорника. С детства он попал в дурную компанию, а впоследствии вел разгульную жизнь и спился.

Так Нушич подружился с «орлятами», завсегдатаями знаменитой кафаны «Дарданеллы».

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
«ДАРДАНЕЛЛЫ»

Белградские кафаны. Это явление особое, типично южнославянское, неоднократно воспетое Нушичем. С годами многие ветхие домики, в которых ютились эти увеселительные заведения, стали сноситься, уступая место многоэтажным зданиям с роскошными ресторанами, джаз-бандами и дансингами.

Нынешние белградцы восстанавливают кафаны в их прежнем виде и даже вешают на сохранившиеся старые домики таблички: «Охраняется законом», но в 30-е годы нашего века Нушич боялся, что кафаны его молодости исчезнут бесследно. Рестораны, имевшие безлично интернациональный характер, потеснили тогда кафаны на окраину. А сколько было выпито в них сливовицы-ракии прямо из горлышек чоканей — маленьких пятидесяти-стограммовых граненых графинчиков! Сколько съедено ягнят и поросят, которые жарились на вертелах прямо на виду у завсегдатаев! Как вкусно пахли чевапчичи — маленькие удлиненные комочки рубленого мяса, жарящиеся над углями на решетках! Как великолепно было кофе, приготовленное в медных джезвах — узкогорлых сосудах с длинными ручками! Как упоительно и лихо играли цыганские оркестры и как проникновенно исполняли народные песни певички с грудными надтреснутыми голосами!

Нушич опасался, что «пройдет немного времени… и будет стерт с лица земли последний след жизни старого Белграда, исчезнет из нашей памяти та веселая, патриархальная жизнь предвоенной столицы… в которой было что-то сердечное, что-то теплое, что-то такое, на чем воспитывались целые поколения в любви к земле родной…».

Нет, Нушич напрасно тревожился — не исчезли кафаны. Может быть, вспомнили люди слова Нушича о том, что не следует «жестоко разрушать традиции».

Во времена юности Нушича почти вся общественная жизнь протекала в стенах кафан. Это происходило еще и потому, что на заре существования Сербского государства семейная жизнь под влиянием гаремного турецкого быта пряталась за высокими стенами, за которые редко допускались чужие. Мужские дела устраивались в чаршии и в кафанах. Тут собирались торговцы, ремесленники, чиновники, тут вершилась купля-продажа, заключались сделки и браки, заводились знакомства. В кафанах

писали письма, жалобы и прошения, клиенты консультировались с адвокатами, отец девицы на выданье встречался со свахой, политики устраивали заговоры…

Появились партии — появились и кафаны либералов, напредняков и радикалов. В кафанах устраивали съезды и собрания, держали казну. Во время выборов кафаны становились штабами. Сюда же сносили раненых в межпартийных драках.

Названия кафан из произведений Нушича можно выписывать сотнями. Недаром его называли «настоящим кафанским человеком». Иные кафаны носили имена хозяев, вроде «Коларца» или «Шишкова». Другие имели забавные названия — «Два попугая», «Три шляпы»… Позже появились «Русский царь», «Греческий король», «Петроград», «Нью-Йорк», «Берлин» и т. д.

В кафане «У вола» молодой Нушич познакомился с первым сербским комиком Джокой Бабичем. Тут приятели заставили будущего актера выступить перед широкой публикой, что прославило его буквально в один день.

Любая инициатива, касающаяся искусства, любое литературное начинание не миновало кафаны. За кафанскими столами основывались газеты и журналы, подбирался состав редакции. Тут же писались статьи и даже стихи.

«Самыми типичными из этих белградских кафан, — писал Нушич, — были, без сомнения, „Гранд-отель“, „Коларц“, „Театральная“, „Дарданеллы“ и „Гушанац…“»

Три из них группировались вокруг Театральной площади. Чаще всего Нушич бывал в кафане «Дарданеллы», здание которой простояло напротив Белградского народного театра до 1901 года.

Сюда стекались актеры театра, а за ними тянулась и литературная братия.

«За старыми обшарпанными столами, — вспоминал историк сербского театра Милан Грол, — писатели, актеры, журналисты, уволенные из полиции писаря, недоучившиеся студенты и, конечно же, экзальтированные любители искусства, имевшие возможность проводить много времени в кафане. За „Дарданеллами“ на Васиной улице было три-четыре лавки, которые давали займы под залог и больше торговали векселями актеров, чем товарами. Название „Дарданеллы“, в том опасном проходе между Бахусом и Шейлоком, было поистине символичным. Через узкий пролив „Дарданеллы“, хочешь не хочешь, а должны были пройти все поколения актеров».

Алкивиад Нуша видел этих актеров на сцене в дешевых французских водевилях, в трагедиях Шекспира «Отелло» и «Гамлет», в мольеровском «Мизантропе», в комедиях Островского и в пьесах отечественных драматургов.

И, разумеется, в «Ревизоре» и «Женитьбе» Гоголя. Эти комедии шли в Народном театре с начала 70-х годов. В Сербии было опубликовано несколько переводов «Ревизора», один из которых сделал радикальный публицист Пера Тодорович. Четыре томика сочинений Гоголя реалист Алкивиад Нуша читал и перечитывал без конца.

Бритые актеры резко выделялись среди всех прочих мужчин, которые, по обычаю того времени, поголовно носили бороду и усы. Театральных чиновников, назначаемых правительством, актеры называли «усатыми».

В «Дарданеллах» царил веселый богемный дух. Посетители кафаны не лезли в карман за словом, здесь рождались шутки и анекдоты, в тот же день становившиеся достоянием всего Белграда. Высокие государственные чиновники и богатые представители чаршии обходили «Дарданеллы» стороной.

Для юного Нушича и других гимназистов и реалистов «Дарданеллы» были («своеобразным народным университетом». Несмотря на строжайшее запрещение школьного начальства, Нушич с приятелями проскальзывали куда-нибудь в дальний угол, заказывали чай с ромом и наслаждались тем, что поджигали ром, плававший на поверхности чая. Свернув и закурив цигарку, Нушич жадно слушал шутки, долетавшие с соседних столов. Интенсивно шло обучение игре в карты и на бильярде.

Но вот сданы экзамены на аттестат зрелости, и бывший реалист или гимназист появляется в «Дарданеллах», гордо подняв голову, и заказывает уже не стакан чая с ромом, а чокань со сливовицей.

Именно здесь и происходила вербовка старшеклассников в статисты. Запах кулис действовал неотразимо. Зараженные «благородной страстью», ученики начинали хватать двойки и пропускать уроки. Тернистый путь очень многих сербских актеров начинался с «Дарданелл».

* * *

«Дарданеллы» были литературным «штабом» Белграда. Порой здесь в полном составе работали редакции журналов и газет. Начинающие литераторы ловили маститых, вроде Драгутина или Воислава Иличей, и читали им свои стихи. Молодые драматурги, возвращаясь из театра с отклоненной рукописью под мышкой, заходили сюда искать утешения. Они угощали всех кофе, и их охотно поддерживали в мнении, что «нынешняя театральная дирекция намеренно душит отечественную драму».

Примостившись на краешке стола, Воислав за десятку тут же сочинял стихотворение для какого-нибудь особенно предприимчивого редактора, проведавшего, что расплачиваться поэту сегодня нечем.

Его младший брат Жарко каждодневно предавался в «Дарданеллах» обильным возлияниям и охотно угощал других, не имея порой ни гроша в кармане. На все у него было «философическое» объяснение.

— Если найдется меценат, который меня выкупит, ему будет все равно, платить ли грошем больше или меньше, а если не найдется и дело дойдет до скандала с хозяином, то гораздо выгоднее претерпеть этот скандал за большую сумму!

Жарко был рассказчиком редкого таланта, хотя ему и не удавалось запечатлеть свои рассказы на бумаге. Он блистал необыкновенной наблюдательностью, нагромождал точнейшие детали, остроумные сравнения, и все общество, собиравшееся вокруг его стола, тряслось от смеха, заражая им всю кафану.

Читатель вправе спросить, а что же поделывал в «Дарданеллах» сам Нушич? К сожалению, никаких конкретных сведений у нас нет. Судя по коротким упоминаниям его современников, он, как и все, заводил здесь знакомства, пристраивал в журналы свои стихи и рассказы, нанимался статистом в театр, рассказывал занятные истории, писал, а позже сам редактировал журналы и газеты.

Впоследствии он написал очерк о нравах, царивших в «Дарданеллах» на протяжении двадцати с лишним лет их существования, но о себе не сказал в нем ни слова. Вот отрывок из этого очерка:

«Из писателей, посещавших „Дарданеллы“, помню я еще Джуру Якшича. Да и Глишич часто переходил улицу, покидая свою маленькую келью драматурга, чтобы выпить чашечку кофе. Постоянными гостями были также Брзак, Влада Йованович, Стеван Сремац, Драгутин Илич, а Янко (Веселинович) и Воислав (Илич), как позже и Митрович с Домановичем, казалось, вообще не выходили оттуда. Их можно было застать там в любое время дня и ночи».

Когда придерживаешься строго документального принципа, приходится сдерживать свое воображение и отказывать себе в удовольствии живописать дарданелльские сценки. Но рассказать хотя бы о трех посетителях кафаны, перечисленных Нушичем, непременно следует. Тем более что все трое стали классиками сербской литературы и друзьями Нушича, и им предстоит еще не раз появляться на страницах этого повествования.

Милована Глишича все называли «дядюшкой», наверное,

потому, что он сам всех подряд называл «племянничками». Когда Бранислав познакомился с Глишичем, тому было уже лет тридцать пять, а следовательно, он, с точки зрения юных литераторов, находился «в преклонном возрасте». Небольшого росточка, круглый, с короткими ручками, дремучей бородой и нечеткими чертами благодушного лица, он производил впечатление доброго гнома. Глишич был известным писателем и занимал официальный пост «драматурга» Народного театра. Последователь Светозара Марковича, он уже успел «сходить в народ», посидеть в тюрьме за распространение запрещенных сочинений и крепко досадить правительству короля Милана своими сатирическими сочинениями, написанными в духе Гоголя и Щедрина.

Прославился Глишич и как переводчик русской литературы. «Гроза» и «На всякого мудреца довольно простоты» Островского, «Мертвые души» и «Тарас Бульба» Гоголя, «Война и мир», рассказы Толстого, «Обломов» Гончарова, произведения Пушкина, Шевченко, Марко Вовчка, Щедрина, Чехова, Гаршина — вот далеко не полный список того, что переводил Милован Глишич. Причем переводчик он был на редкость добросовестный. Если он оставался недовольным своими переводами, как это случилось с «Обломовым» и «Тарасом Бульбой», то скупал по лавкам почти все издание и уничтожал его, а после садился и переводил все заново.

Глишич считается одним из первых сербских реалистов. Его рассказы из сельской жизни вдохновили на творчество многих молодых людей, среди которых был завсегдатай «Дарданелл» Янко Веселинович.

Веселиновича все называли просто Янко. Как и многие, окончив учительскую школу, он пошел в народ собирать голоса для радикальной партии. «Молод был, полон энтузиазма; еще в школе прочел несколько статей Светозара Марковича, кое-какие социалистические книги… думая, что этого довольно и что я имею право переустроить государство и осчастливить народ».

Рассказы Веселиновича о деревне произвели громадное впечатление на читателей. Один из его современников писал:

«Как изжаждавшийся путник припадает к роднику, так я схватил эту книгу. Читал и… плакал; все страницы слезами залил… Когда кончил читать, сигара погасла, кофе остыл, а мои глаза покраснели от слез…» В XIX веке читатели были необычайно талантливы… Своей восторженностью они подстегивали писателей, как подстегивает ораторское красноречие внимание и воодушевление слушателей.

Янко был закадычным другом Воислава Илича. Янко

иронически называл его «гением», а тот Янко — «пастушьим новеллистом». Они часами играли в карты на деньги и пили в кафанах. Потом оказывалось, что ни у того, ни у другого нет денег для того, чтобы заплатить карточный долг и за выпитое. Однажды Воислав предложил другу продать памятники, которые им поставят после смерти. Янко был в недоумении — кто же купит несуществующие памятники? Да еще живым и не очень славным писателям?

— Продадим их какому-нибудь торговцу, — уверенно объяснил Воислав. — Я бы написал расписку такого содержания: «Я, Воислав Илич, продал за 20 динаров господину Н. Н., белградскому торговцу, памятник, который мне поставят после смерти». Торговец соблазнился бы. Представь себе, какая это выгодная сделка — купить памятник, который обойдется во многие тысячи динаров, за две десятки[9].

О Янко его друзья обычно говорили: «За общество, песню, веселье и вино он продал бы душу».

На окраине Белграда находилась кафана «У двух белых коней», которую держал некий Стева. Янко часто заходил к нему с друзьями, пил, но редко платил, и долг его рос. Однажды Стева отказал Янко в кредите, пока тот не заплатит долга. Не переубедив Стеву, Янко с друзьями перебрался в кафану напротив. Насобирав в карманах мелочь, они заказали два литра вина. И Янко запел. Песня его привлекла прохожих. Люди заходили и собирались вокруг стола Янко. Через десять минут кафана была полна, хозяин и официанты сбились с ног, бегая за вином и закусками. И на другой день кафану заполнили люди, пришедшие послушать песни Янко. Стевина же кафана была пуста. В конце концов Стева сдался и обещал поить Янко бесплатно, лишь бы тот не способствовал процветанию конкурента.

Как и Глишич, Яшм любил Россию и русских и не скрывал своей антипатии к австрофилу Милану.

Однажды на каком-то приеме присутствовали один из лидеров радикалов Милованович и русский посланник Жадовский. Король был зол на них, так как знал об их недовольстве своей особой. Он выгнал из дворца и радикала и дипломата. По воспоминаниям современника, Янко три дня не пил, мучился. Успокоился он лишь на третий день, сказав:

— Слушай, чего мне печалиться… Так ему и надо, раз он трус. Этот русский посланник — не настоящий русский, коли позволил перебросить себя, как щенка, через дворцовый порог.

Много позже Бранислав Нушич подружился в «Дарданеллах» со Стеваном Сремцем, замечательным сербским юмористом,

известным русскому читателю по книге «Поп Чира и поп Спира» и по многим рассказам. Здесь они подсказывали друг другу сюжеты новых произведений, им внимали восхищенные слушатели.

Сремац был преподавателем гимназии, и его «ужасно нервировало», когда кафану посещали гимназисты. Однажды он подошел к своему ученику, упражнявшемуся на бильярде, и сказал:

— Послушай, Йованович, кто-нибудь из нас двоих должен сменить заведение!

Таковы были «Дарданеллы». Веселое, шумное сборище талантливых людей, воспитавшее многих литераторов из вчерашних школьников.

Ну, и еще один штрих, дорисовывающий картину «Дарданелл». История, которую любил рассказывать Бранислав Нушич.

Среди великого множества газет, издававшихся в Белграде, было и еженедельное издание под громким названием «Зрак» («Луч»). Предпринял его бывший полицейский чиновник Милан Павлович, решивший внести свою лепту в политическую жизнь страны. Ныне уже никто не помнит позиции издателя (если таковая была). Зато название газеты заняло прочное место в анекдотической хронике сербской столицы. И постарался сделать это Бранислав Нушич с его веселыми и талантливыми друзьями.

Настоящей фамилии издателя почти никто не знал. Называли его просто Милан Зрак. По названию газеты. У него не было ни редакции, ни сотрудников. Он считал, что главное для издания политической газеты — это найти ей название и купить цилиндр, который он надевал по воскресеньям и праздникам, ставя в прямую зависимость высоту престижа своего издания от высоты головного убора.

День выхода газеты был непостоянным. Все зависело от того, когда у издателя ее появлялись деньги для выкупа газеты из типографии. И Милан Зрак давным-давно прогорел бы, если бы не столовался в «Дарданеллах», где сотрудником его газеты становился всякий, кому хотелось что-нибудь написать. Редактировал газету либо Нушич, либо кто иной из веселой братии, непрестанно пополнявшей ряды столпов политической и литературной жизни Сербии.

Сам Зрак ничего не писал. По воскресеньям он надевал цилиндр и собирал деньги с подписчиков и продавцов газет. Своим добровольным сотрудникам он не платил, и существует немало анекдотов о том, как удавалось выуживать у Зрака гонорары. Впрочем, денег у него и в самом деле не было — доходов едва хватало на то, чтобы оплачивать счета в

«Дарданеллах».

Однажды Зрак оказался на мели и не мог даже выкупить газету в типографии. В ту неделю она не вышла. Нушич и его друзья решили тот же номер выпустить на следующей неделе, добавив столбец свежих новостей. Господин издатель на этот раз проявил инициативу и сказал своим «сотрудникам», сидевшим, как обычно, в «Дарданеллах»:

— Хорошо бы наверху крупным шрифтом напечатать извинение за то, что прошлого номера не было. Надо придумать какой-нибудь предлог.

И предлог был придуман.

На другой день газета разошлась мгновенно. Читатели тряслись от смеха, показывая друг другу строки объявления, занявшего чуть ли не полгазетного листа:

«ПРОШЛЫЙ НОМЕР НАШЕЙ ГАЗЕТЫ НЕ МОГ ВЫЙТИ ПО ТОЙ ПРИЧИНЕ,
ЧТО ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР БЫЛ ПЬЯН КАК СВИНЬЯ»

Сам «главный редактор» своей газеты никогда не читал, и потому был несказанно удивлен, когда на другой день увидел, что все встречные на улицах показывают на него пальцами и смеются. Он тщательно проверял, всюду ли у него застегнуты пуговицы. От непосильного бремени сомнений его разрешил один приятель, который сказал ему с укором:

— Что же ты, брат, напиваешься как свинья?

— Когда это я так напивался?

— Да на прошлой неделе.

— Да бог с тобой!

— А почему у тебя прошлый номер не вышел?

— По техническим причинам.

— Что ты мне голову морочишь! Я собственными глазами прочел в газете, что ты был пьян как свинья.

— В какой газете?

— Да в твоей же!

Нушич с друзьями целую неделю вынуждены были держаться подальше от «Дарданелл», потому что Зрак купил револьвер и дал клятвенное обещание всех их перестрелять.

Последствия этой шутки были самые неожиданные и для Зрака весьма благоприятные. Спрос на газету резко подскочил, она стала известна даже за рубежами Сербии. Сначала об этом случае рассказала новосадская газета, потом — будапештская, следом — венская, а оттуда весть о «балканском журналистском курьезе» перекочевала в американские газеты, где ее сопроводили приблизительно таким комментарием: «Старушка Европа еще

поучит нас, американцев, настоящему американизму».

* * *

«Рушились одна за другой кафаны, в которых мы не только провели молодость, но и похоронили ее, и мы набожно снимали шапки и шептали с грустью, будто мимо проносили покойника: „Господи, прости его душу!“»

Эти элегичные строки Нушича родились, вероятно, в тот год, когда снесли кафану «Дарданеллы».

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
БУРНЫЕ ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ

Ах, Сербия, твои поэты… плачут!

Я буду жить, собирать вокруг себя молодежь и рассказывать старые сказки о жизни в наши времена. Я расскажу ей, как у нас за распространение ложных слухов наказывали двумя месяцами заключения, а за высказанную в невинном стихотворении правду — двумя годами тюрьмы; расскажу им, что у нас были писатели, умиравшие от голода, и воры, в честь которых устраивались факельные шествия; я расскажу им, что у нас были смертные, очень смертные академики и бессмертные, очень бессмертные полицейские… Я расскажу им, как у нас любовные стихи писали… офицеры, историческими исследованиями занимались… таможенные стражники, а психологами были… командиры батальонов…

Я буду жить назло, я буду жить из любопытства и, наконец, я буду жить только ради того, чтобы увидеть, сколько еще будет написано рассказов о любви молодой пары из Вероны?

«Листки»

ГЛАВА ПЕРВАЯ
МАЛЕНЬКИЙ ЖУРНАЛИСТ

Осенью 1882 года Нушич записался в Великую школу на юридический факультет. Кроме юридического в Великой школе были еще два факультета — философский и технологический. Остается только догадываться, почему Нушич не поступил на философский факультет, который имел историко-филологическое отделение. Скорее всего, сыграли свою роль все те же отцовские соображения, которые в свое время привели его в «реалку». Все-таки правоведение сулило еще возможность выбиться в деловые люди, а выбор факультета непременно должен был обсуждаться на семейном совете.

Первый год учения прошел сравнительно спокойно. Бранислав сдавал немногочисленные экзамены. В одной из справок числятся сданные «энциклопедия права» и «история сербского народа». Казалось, ничто не предвещало последующих бурных лет. Но вот кончились экзамены, и Бранислав решил попробовать свои силы в журналистике, и не просто попробовать, а издавать собственную газету в городе своего детства — Смедереве. В те годы газеты вырастали как грибы. В каждом крупном городе ежегодно начинало издаваться по десятку газет. Правда, большинство из них не переживало и нескольких номеров…

Издавать газету в маленьком городке… Это было смелое решение, если учесть к тому же, что издателю должно было исполниться девятнадцать еще только в октябре. В Великой школе еще жив был культ Светозара Марковича, живы были его идеи, призывавшие интеллигенцию, и прежде всего молодежь, идти в народ.

Нушич мечтал о горячей проповеди… а вот что проповедовать, он еще толком не знал. В голове была каша из народнических и патриотических идей, стремление к познанию реальности сочеталось с романтической восторженностью. Впрочем, самым важным сейчас казалось одно — добыть печатный станок.

И он добыл его. И стал редактором «Смедеревского гласника».

Впоследствии, через несколько десятков лет, этот эпизод предстанет перед ним в юмористическом свете. Нушич напишет рассказ «Политический противник» с подзаголовком «Из жизни провинциального редактора». А немного раньше, 10 марта 1905

года, расскажет о своих приключениях в письме к редактору одного журнала. Можно было бы просто привести полный текст этого письма, если бы мы не знали, что Нушич-выдумщик всегда одерживал верх над Нушичем-летописцем, что в угоду складности сюжета он поступался правдой. Не говоря уже о датах, которые не выдерживают самой элементарной проверки. Нушичу ничего не стоило то или иное событие своей юности сдвинуть на несколько лет в ту или иную сторону.

Он нарисует картину террора, душившего Великую школу (что было правдой), расскажет, как его вышибли на улицу за нарушение университетских порядков (что было, мягко говоря, преувеличением). Истина в другом — Нушичу наскучила юриспруденция, кипучая натура искала поля деятельности. Он упорно думал, как ему жить дальше. «Если бы мне пришло в голову стать бакалейщиком или менялой, я бы сейчас, вероятно, был счастливым человеком и мог бы даже стать благодетелем сербского просвещения. Но вместо этого мне в голову пришло открыть типографию и основать газету в Смедереве».

Он покупает за двенадцать дукатов (в долг) старый облупившийся станок, лет семь ржавевший в каком-то подвале, доставив этим безумную радость его владельцу. Это был ручной «гутенберговский» станок, напоминавший издали машину для прессования сена. За один дукат был нанят крестьянин с подводой, на которую погрузили станок и прочие типографские аксессуары. Несколько десятков километров от Белграда до Смедерева Алка шел рядом с подводой пешком. В Гроцкой сломалось колесо и пришлось заночевать. Впрочем, за дорожные неприятности вознаграждала природа. Дорога на Смедерево проходит вдоль берега широкого Дуная. Почти к самым вербам у воды сбегают с холмов зеленые виноградники.

В Смедереве почти ничего не изменилось. Все так же неторопливо текла жизнь у громадного треугольника старинной крепости. Все так же мирно поторговывали жители, все так же лихо брали взятки чиновники.

Алка разместился со своей типографией на Джурджевой улице, в маленьком домишке, в котором прежде была лавка. И стал выпускать газету. До сих пор исследователи жизни Нушича не нашли ни единого экземпляра этой газеты, хотя она и числится в перечнях газет того времени. Тут уж придется целиком положиться на самого юмориста, благо он оставил обширное и веселое описание того, как издавалась газета.

«…Станок гордо стоял посреди низкой маленькой лавки. В углу, у окна, находился большой ларь, в котором прежде хранились товары; на нем — полный стакан чернил и несколько

перьев. Это был редакционный стол… На ларе всегда лежали наготове листы бумаги для передовиц, и на них уже за месяц вперед были написаны заголовки. На стене висело несколько газет на иностранных языках (чтобы всякий, случайно зашедший в редакцию, мог видеть их), а рядом с ними висели мои праздничные брюки.

Надо сразу же сказать, что я был редактором и самым главным сотрудником своей газеты; заодно я был наборщиком в типографии и механиком, а порой и разносчиком газеты. Напишу все, что надо, а после целую неделю потею, пока все это не наберу…»

Нушич все-таки преувеличил. Он выпускал газету не один. Набирал и печатал газету пенсионер по имени Лаза, который страдал запоями и всякий раз «цикл» начинал в пятницу. Однажды он выбился из расписания и напился еще в среду, и в ту неделю еженедельная газета «Смедеревский гласник» не вышла вообще…

Когда наконец скрипящий и бряцающий станок начинал выплевывать газеты, «я аккуратно свертывал номер и сам разносил подписчикам (было у меня семь подписчиков). И не потому что у меня не было разносчика газет. Был. Да только странный это был человек. Он имел обыкновение злиться на самого себя и, чтобы долго не мучиться, ложился спать. Случалось, он и на меня сердился, и все из-за какой-нибудь мелочи. Я не в состоянии заплатить ему жалованье еще за позапрошлый месяц, и это его сердит. И что он делает? Залезет в тот самый ларь, который служит мне письменным столом, подложит под голову старые газеты и мирно захрапит. А номер выходит. Весь в поту, чернилах и типографской краске, я подхожу к ларю и ласково-ласково говорю:

— Манойло, встаньте, пожалуйста, и разнесите газету. В сегодняшнем номере очень важные новости — вы сами увидите это, Манойло, когда прочитаете номер. Встаньте!

А он зло посмотрит на меня из ларя, пошлет меня… самого разносить газету, перевернется на другой бок и снова захрапит. В этом случае я прячу газеты под пальто и делаю вид, что наношу визиты своим подписчикам, а заодно и оставляю газеты…».

В рассказе «Политический противник» Нушич почти слово в слово повторяет то, что когда-то писал другу редактору.

«И если бы вы знали, какая это была газета! Она была поделена на рубрики, в ней были заголовки и подзаголовки. В ней помещались литературные новости, сенсации, телеграммы и все прочее, что полагается иметь серьезной газете. В самой редакции газеты было разделение труда: я писал передовицы,

телеграммы составлял я; я же заполнял литературную страничку, „Немного шуток“, так же как и „Торговлю и оборот“ писал я; и, наконец, „Объявления“ тоже писал я. Одним словом, я был самым главным своим сотрудником».

«Смедеревский гласник» был для Нушича первой школой журнализма. В рубрике «Новости дня» он обычно отмечал явления местного характера — прибытие в город различных деятелей, рождения, свадьбы и т. п. Политические телеграммы он перепечатывал из старых газет. Литературную страничку заполнял сентиментальный роман, купленный еще в Белграде. Порой в газете появлялись «мудрые изречения», заимствованные из Священного писания, Катехизиса и других интересных книг.

Для рубрики «Разное» он выдумывал всякие чудеса, якобы происходившие в мире. То выдумает змею длиной в 127 метров, то яйцо, из которого вылупилось четыре цыпленка, то лошадь, умеющую считать до ста… Вот что было написано в одном сообщении:

«Странное явление природы. В Робере, маленьком городке, находящемся в Южной Америке, живет сейчас одна женщина с двумя языками. В детстве это мешало ей говорить, в девичестве она была очень молчалива, зная свой недостаток. После свадьбы она заговорила сразу двумя языками, и самое интересное — это то, что каждый работает самостоятельно. Так, пишут, она одним языком ругает мужа, а другим — одновременно сплетничает о своей соседке…»

Осмелимся ли мы бросить камень в молодого журналиста, стремившегося повысить тираж своего издания?..

Передовицы, набранные крупным шрифтом, кричали о городской грязи и бездействии местных властей «и вообще обо всех общественных делах».

А что это были за общественные дела, нам остается только догадываться, сопоставляя некоторые факты политической жизни того времени. Летом 1883 года всю страну трясла предвыборная лихорадка. Выборы были намечены на 7 сентября. Правительственная партия (напредняки), стремясь остаться у власти, прибегала к самым бессовестным предвыборным махинациям. Молодой Нушич, сочувствовавший оппозиции, не мог остаться в стороне от этой борьбы. Вероятно, и «Смедеревский гласник» активно пропагандировал лозунги радикалов.

Никто в городе не знал, что маленький журналист внимательно приглядывается ко всему происходящему и тайком пишет комедию. Вскоре взаимоотношения с властями достигли такого накала, а финансовые дела такого критического

положения, что Нушичу пришлось тайком покинуть Смедерево, оставив на покрытие неоплаченных счетов свой скрипучий печатный станок.

ГЛАВА ВТОРАЯ
«НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ»

Наступила осень 1883 года, начались занятия в Великой школе, но Бранислав Нушич блистательно отсутствовал. Следуя совету Драгутина Илича, он втайне от всех корпел над рукописью своей первой многоактной комедии. Смедеревский опыт оказался весьма кстати. Комедийная схема обрастала живыми подробностями, удачно подхваченными словечками, фразами.

Поставив точку (не последнюю — в течение последующих пятидесяти лет комедия будет еще не раз переписываться), Нушич аккуратно завернул первенца в бумагу и отправился в дом Иличей.

Первым узнал о комедии его лучший друг, Воислав Илич. Нушич попросил его «организовать форум, перед которым можно было бы прочесть вещь». И Воислав решил, что этот форум лучше всего было бы составить из Милутина Илича, Владимира Йовановича, который уже тогда был признанным сатириком, и Косты Арсениевича, печатника, поэта-социалиста. Драгутина Илича в то время в Белграде не было.

Воислав оставил рукопись у себя, и вскоре «форум», расположившийся в тени орехового дерева в саду Иличей, внимательно слушал молодого драматурга…

Внимание это, смешанное с удивлением, росло от сцены к сцене. Воислав гордился своим другом и немного завидовал ему — всего год назад он тоже написал и представил в Народный театр свою первую драму, но, получив отказ, предал ее кремации.

Этот худенький юноша Алкивиад Нуша неожиданно написал совершенно зрелое произведение…

Первая комедия, «Народный депутат», создана Бранославом Нушичем в девятнадцать лет, последнюю, «Власть», он начал в семьдесят три года. Между этими двумя произведениями пролегла человеческая жизнь, полная тревог и событий. Пятьдесят три года — это целая историческая эпоха, насыщенная социальными потрясениями и кровавыми бойнями. Нушичем написаны за это время десятки и десятки пьес. Но, удивительное дело, уже в первой комедии мы находим все самое характерное для дальнейшего творчества драматурга…

Молодой Нушич как-то сразу цепко ухватился за свою главную тему — тему власти. С этой вершины, решил он, анатомия и психика общества просматриваются лучше всего. Деньги? Богатства в конечном счете тоже наживаются ради

власти. Любовь? Как она немощна, каким испытаниям подвержена в могучей игре честолюбий… В лучшем случае это превосходная комедийная закваска, помогающая устроить веселую путаницу.

…Провинциальный городок в преддверии выборов в народную скупщину. Местный торговец Еврем Прокич весь во власти честолюбивых планов — капитал нажит, теперь пора и в депутаты. Он не очень-то грамотен, читает чуть ли не по слогам, но удачлив. А тут еще окружной начальник получил из Белграда «секретное распоряжение найти кандидата посговорчивее». И Еврем начинает «устранять» возможных кандидатов. Проявляя незаурядные демагогические способности, он шантажирует соперников. Правительственная партия опирается на именитых людей города. Но у каждого рыльце в пушку. Тот подделал завещание, тот торговал из-под полы спиртом, тот поставлял в армию гнилое мясо… Предыдущий депутат, используя свое положение, неплохо нагрел руки на всяких махинациях и «насажал в общине всю свою родню на теплые местечки — от протоиерея до живодера».

Предвыборную кампанию проводят полицейский чиновник Секулич и бывший сборщик налогов по кличке Срета Нумер 2436.

— Ты думаешь, мне обидно что меня зовут Срета Нумер 2436, — говорит он Еврему Прокичу. — Это номер судебного дела, по которому я отсидел год в тюрьме. Так знай, уважаемый, в нашем городке именно этот номер оказался счастливым. Вот ты скажи, обошлось без меня хоть какое-нибудь дело? Скажи, скажи! Надо, скажем, распустить ложный слух по городу — подай сюда Срету. Надо сорвать какое-нибудь политическое собрание — опять же подай сюда Срету. Кто фальсифицирует избирательные списки? Срета. Кто опротестовывает неугодные правительству выборы? Опять Срета. Я уж и не считаю таких мелочей, как распространение листовок, свидетельствования в суде, приветственных телеграмм правительству, а также телеграмм с протестом против насилия…

Такое саморазоблачение может показаться наивным приемом молодого драматурга. Но это не совсем так. Власть, политический механизм держится на демагогии и откровенных негодяях. Идеалисты хороши в советах и салонах, но в махинациях, с которыми неизбежно связана политика, они оказываются неповоротливыми и ненадежными. Афишируемое негодяйство — это что-то вроде визитной карточки, свидетельствующей о «призвании» ее обладателя. Чтобы было известно, к кому обращаться в случае нужды. И Нушич неоднократно обыгрывает этот прием в своих комедиях. Опережая события, приведем

пример из следующей комедии Нушича, ставший классическим. Начальнику подают визитную карточку: «Алекса Жунич, уездный сыщик». «Да что он, с ума сошел! — восклицает начальник. — Кто же это в открытую говорит, что он сыщик?» И начальнику объясняют: прежде, мол, этот человек скрывал, что он сыщик, и поэтому ничего не знал, а теперь же все ему наговаривают друг на друга.

Срета Нумер 2436 превосходно знает, что он нужен Еврему Прокичу. Он учит его всевозможным способам нажиться в депутатском положении, оговаривая и свою долю. Еврем не столь откровенен. Он бормочет, что «дело не в заработке, а так… доверие народа, почет».

Доверие народа… «Гм!.. Доверие, брат, это такой же товар, как и все остальное. Брось его на весы, посмотри, сколько потянет, вынимай кошелек и плати».

Сербия еще только узнавала вкус демократии, но в свои девятнадцать лет Нушич был уже достаточно зорок, чтобы разглядеть, что за пышным фасадом раззолоченной демагогии прячутся удушливые темные чуланы. Впоследствии Нушичу за его сарказм не раз доставалось не только от правительственных, но и от оппозиционных газет, считавшихся «для своего времени прогрессивными». В «Народном депутате» Нушич как бы предусмотрел это, вложив в уста одного из персонажей ядовитую фразу: «по политическим мотивам у нас кого хочешь можно отругать…» Но пока он считал себя сторонником радикалов, которые взяли на вооружение любимого им гоголевского «Ревизора» в борьбе против беззакония и коррупции.

Для Нушича вся буржуазная демократия — комедия. Вряд ли юный драматург был силен в социальных науках, но чутье художника подсказывает ему, что все это неспроста, что какая-то сила руководит перевоспитанием людей, стараясь убить душу, принципы, творчество, превратить их в искателей материальных благ…

«Прежде, если кто кого ненавидел, то уж ненавидел как собаку — не на жизнь, а на смерть. А теперь все стало куда мягче. Разве ты не видишь, что теперь в любом деле компаньоны из разных партий? На вывеске торгового заведения, например, читаешь: „Симич и Петрович“. Спросишь, кто такие, и оказывается, что Симич — это правительственная партия, а Петрович — оппозиция. Вот и попробуй, обойди их поставками! А то еще… Тесть Павлович за правительство, а зять Янкович за оппозицию. И все идет как по маслу. Тесть — депутат, зять — окружной начальник. Или зять — депутат, а тесть — председатель общины. Наловчились люди!..»

Когда дело касается власти, беспринципность фетишизируется. Бюрократы готовы задушить оппозицию собственными руками. Но попробуй та же оппозиция прийти к власти, и они тотчас станут ее верными псами. Партии уходят и приходят, а бюрократы остаются. Полицейский чиновник Секулич в комедии «Народный депутат» свою беспринципность даже считает достоинством.

«Говорят, Секулич служит всякой партии. Ну, и что? Я человек военный, и воспитан по-военному. До сих пор был в одной части, а теперь перехожу в другую. Не мое дело выяснять, кто таков теперь мой начальник. „Слушаюсь!“ — и всё!»

Почти в одно время с чеховским унтером Пришибеевым (1885) бывший жандарм Секулич, чувствуя себя опорой режима и презирая даже партийных бонз, говорит: «Мы еще посмотрим на этих образованных, когда дело дойдет до такой свалки, как выборы. Тогда они все в кусты, а Секулича вперед! А мне что? Я выйду перед народом и „Смирно! Народ, по порядку рассчитайсь!..“»

Нушич смеется над газетами, общественным мнением, партиями, бюрократией, скупщиной…

Срета Нумер 2436 предлагает Еврему Прокичу представить себе депутатское будущее и попробовать произнести речь, якобы обращенную к скупщине.

> «**Еврем**. Я, братья мои, долго думал над тем, как покончить со всеми этими беспорядками, которые укоренились в нашей стране, и пришел к заключению, что лучше всего отдать этот вопрос на рассмотрение правительства, пусть оно само об этом подумает.
>
> **Срета** *(одним голосом).* Правильно! *(Другим голосом.)* Неправильно! *(Одним голосом.)* Да, да! *(Другим голосом.)* Нет, нет! *(Одним голосом.)* Пока вы были у власти, вы разорили всю страну! *(Другим голосом.)* Молчите, вы — предатели! *(Одним голосом.)* Кто предатель? *(Другим голосом.)* Ты предатель! *(Одним голосом.)* А ты — вор и подхалим! *(Своим голосом.)* Раз! Раз! *(Бьет по воздуху, размахивает руками, пока наконец не ударяет по щеке Еврема. Затем звонит во всю мочь.)* Тихо! Тихо! Успокойтесь, господа! Прошу вас, уважайте достоинство этого дома! Господин депутат, давший пощечину другому депутату, вызывается для того, чтобы взять пощечину обратно… Скупщина принимает пощечину к сведению и переходит к следующему вопросу!

Еврем *(все это время удивленно смотрит на Срету)*. Что с тобой?

Срета. Хочу, чтоб ты, брат, получил полное представление о нашей скупщине. Знаешь, там обычно после всякой значительной речи начинается свалка. Одни кричат: „Правильно!“, другие: „Неправильно!“ А потом одни кричат: „Ты предатель“, другие: „А ты вор“. А потом один депутат бьет по щеке другого, и только после этого переходят к следующему вопросу».

И это не преувеличение, не комический гротеск. Юный Нушич почти энциклопедичен во всем, что касается политической жизни страны. Писатель Бора Глишич, изящно проанализировавший политическую обстановку времен Нушича, предлагает полистать стенограммы заседаний скупщины:

«— Если вы будете продолжать клеветать на нас и называть грабителями, то быть вам битыми!

— Призываю господина министра к порядку и предлагаю воздержаться от непарламентских выражений.

— Министр угрожает кулачной расправой!

— Кто вам угрожал?

— Я вот что вам скажу. Если уж дойдет до драки в скупщине, быть крови…»

В тех же стенограммах господа депутаты обзывают друг друга мерзавцами и пьяницами, затем следует констатация факта… «И между депутатами началась драка. Дрались чем попало…».

Городок бурлит. Подкупы, шантаж, негодование оппозиции… Нушич показывает весь город, не выходя за пределы дома Еврема Прокича. Уже в самой экспозиции комедии содержатся все сюжетные завязки, позволяющие драматургу делать неожиданные повороты и легко сводить концы с концами.

Кандидат оппозиционной партии молодой адвокат Ивкович — квартирант Еврема Прокича. Он влюблен в дочь Прокича Даницу и уже успел посвататься. Дом Еврема Прокича, штаб двух соперничающих партий, становится ареной трагикомической борьбы. Любовь молодых людей путает все карты, помогая Нушичу превратить выборы в откровенный фарс.

Комические герои Нушича обычно простоваты. Таков и Еврем Прокич. И по простоте своей он попадает в самые неловкие положения. Вот он мучается над составлением предвыборной речи, но не может написать ни единого слова. А дочь говорит, что у ее жениха (конкурента Еврема) «дивная» речь. «И такая речь

лежит без дела», — говорит Еврем, берет ее у будущего зятя со стола и зачитывает избирателям. Из уст кандидата правительственной партии толпа слышит подстрекательскую речь:

— …Мы, братья, должны вести упорную и решительную борьбу против существующего правительства, не желающего прислушиваться к желаниям народа… Наша страна погрязла в долгах и разорена, законы не соблюдаются, народ голый и босый… А поэтому позвольте мне вместе с вами воскликнуть: «Долой правительство!»

Пройдохи объедают его, выманивают деньги. Его вынуждают пустить клевету, будто его будущий зять — развратник, лавку обкрадывают. И в довершение всего Прокича прокатывают на выборах…

Выборы в Сербии обычно проходили очень бурно. Сообщения газет напоминают реляции с поля битвы. В ход пускалось всевозможное горячее и холодное оружие. Ежедневно сообщалось о числе убитых по избирательным округам.

«Бог ты мой, — восклицает Еврем, — ведь вот что бывает, когда народ просыпается!»

Вероятнее всего, что Нушич все-таки был в Смедереве во время общесербских выборов, состоявшихся 7 сентября 1883 года. Именно на этих выборах победила оппозиция — радикальная партия. Во время выборов напредняки прибегали к самым изощренным махинациям. Процветали подкупы избирателей и подделки списков. Многие услужливые чиновники внезапно получили повышение.

Но и радикалы не сидели сложа руки. Газета оппозиции «Самоуправа» (от 20 августа 1883 года), обращаясь к крестьянам, писала: «…появится начальник — гоните его. Но он может привести с собой солдат — гоните и солдат…»

Король Милан, проигрывавший целые состояния на немецких курортах, вернулся в Белград. Правительство напредняков подало в отставку. Новое правительство было поручено составить консервативному генералу Николе Христичу, прозванному в народе «мясником». «На сербскую конституционность надета красная жандармская фуражка», — писала «Самоуправа».

И все же 21 сентября собралась новая скупщина. И выбрала председателя. Но на другой день министр Пантелич прочитал ей два королевских указа. Первым скупщина объявлялась открытой, а вторым — закрытой. Насовсем. И даже двери здания были заколочены.

Не прошло и месяца, как в Восточной Сербии вспыхнуло крестьянское восстание, втайне подготавливавшееся радикалами.

Поводом его был приказ короля изъять у крестьян оружие, розданное им перед войной с турками.

«Мясник» Христич залил страну кровью. Вожди радикалов сами испугались восстания и не пошли до конца. При первых же тревожных известиях Никола Пашич эмигрировал, а Пера Тодорович и другие лидеры были приговорены к смертной казни, замененной впоследствии длительным тюремным заключением. Оппозиционные газеты были закрыты окончательно. Приостановлено действие конституции. Сербия была «умиротворена» на несколько лет.

* * *

Судьба «Народного депутата» хорошо известна по рассказу самого драматурга. В тот осенний день «форум» под ореховым деревом похвалил юного драматурга, а поэт-социалист Коста Арсениевич был даже в восторге.

Сценой тогда правили романтики Джордже Милетич, Матия Бан, Милош Цветич и Милорад Шапчанин. Их напыщенные произведения до отказа забивали репертуар Народного театра. Они расхваливали друг друга, а Бана даже называли «сербским Шекспиром». Но уже появился Милован Глишич с первой реалистической пьесой «Обман», и театр ждал Нушича.

А девятнадцатилетний комедиограф просто-напросто боялся явиться пред грозные очи важного директора Народного театра. Он боялся, что Милорад Шапчанин, «типичный бюрократ, увидев безусого юнца, заранее проникнется недоверием к пьесе». И Нушич передал ему рукопись через приятеля, актера театра.

> «Следует упомянуть, что моя рукопись, озаглавленная „Народный депутат“, а по сюжету представлявшая собой осмеяние политической борьбы, выборов и депутата правительственной партии, попала на стол директора театра как раз в тот момент, когда политические страсти в стране достигли кульминационного пункта, нашедшего свое выражение в открытом восстании, которое как раз в то время жестоко подавлялось в Восточной Сербии. И вот такая рукопись попала к директору, воплощению лояльности и лицемерному стороннику существующего порядка и правительства. При таких обстоятельствах пьеса, явившаяся для того времени настоящей революцией, должна была отправиться в архив непрочитанной. И

только благодаря одному обстоятельству она все же была отдана рецензентам для оценки. В то время в общественных кругах развернулась острая кампания против политики, проводимой управлением театра, которое не только не поддерживало отечественные драматические произведения, но и оттесняло их на второй план. Шапчанин, как никто, обращавший внимание на общественное мнение, хотел, конечно, оградить себя от нападок и забаррикадироваться рецензиями специалистов, и поэтому моя пьеса попала в руки Милована Глишича и Лазы Лазаревича, которые должны были дать о ней свои отзывы. В совете и в театральных кругах заговорили о пьесе, появившейся в период, когда на сцене безраздельно господствовал романтизм, и уже одним этим представлявшей собой революционное, а если учесть политическое положение в стране, то почти нигилистическое явление».

О пьесе говорили даже известные политики и литераторы, собравшиеся однажды у рецензента пьесы Лазы Лазаревича — знаменитого писателя, полковника медицинской службы и личного врача короля Милана. Доктор Владан Джорджевич, бойкий литератор и будущий глава правительства, спросил хозяина дома:

— Ты прочитал, Лаза, этого самого «Депутата»?

— Прочитал.

— И что скажешь?

— Хорошая домашняя фасоль, но без приправы, — ответил Лазаревич.

— Ну, уж если она хорошо приготовлена, заправить ее нетрудно.

Вскоре на титульном листе комедии появились и официальные заключения. Мнение Милована Глишича было изложено коротко: «Хорошо. Кое-что сократить и смягчить, а язык исправить». Лазаревич написал более пространно: «Первая юношеская вещь, но заслуживает всяческого внимания. После некоторой редактуры и переработки будет ценной новинкой отечественной драматургии. Предлагаю совету театра отнестись с должным вниманием к молодому автору, который обещает будущего комедиографа».

Шапчанин отнесся к Нушичу «с должным вниманием». Но о постановке пьесы не было и речи. Директор не жалел ни советов, ни поучений. Долгие отеческие наставления завершались всякий раз одинаково. Бранислав уносил рукопись домой, «смягчал»,

исправлял, выбрасывал куски и… снова приходил за наставлениями.

Мытарства начинающих драматургов, видимо, одинаковы во всех странах и во все эпохи.

«Наконец, когда были исправлены последние „где“ и „как“, Шапчанин заявил мне, что пьеса определенно включается в репертуар, но только надо потерпеть, так как „временные“ политические обстоятельства не позволяют поставить ее теперь же. Между тем эти „временные“ политические обстоятельства тянулись годами, как и вообще тянутся у нас „временные“ трудности».

Шапчанин хитрил. Осторожный театральный бюрократ решил заручиться еще одной «рецензией». Под секретным номером пакет с пьесой был доставлен в министерство полиции. В сопроводительной бумаге содержалась просьба сообщить:

«…как министерство расценило бы показ подобной пьесы на государственной сцене… не находит ли министерство, что в пьесе есть элементы, которые могли бы оказаться провокационными и послужить поводом для различных антигосударственных манифестаций».

Нушич надолго потерял из виду свою комедию. Можно только догадываться, как она кочевала из одной полицейской канцелярии в другую, обрастая «входящими и исходящими», и совсем бы затерялась, если бы не попала в руки полицейскому Тасе Миленковичу, который сам пописывал в неслужебное время, а посему счел себя обязанным тоже отнестись к комедии «с должным вниманием» и вернул ее в театр.

Но тем временем прошли годы.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
САПОГИ ВСМЯТКУ

Весь конец 1883 года и начало 1884 года Нушич вел довольно рассеянный образ жизни, без конца правил «Народного депутата», кропал иногда вирши и ухаживал за девицами. Остроумец пользовался успехом, несмотря на малый рост. На фотографиях он предстает перед нами этаким богемным львом с роскошной гривой волнистых волос, отросших по самые плечи, умными насмешливыми глазами, крупным носом, ямкой на мощном подбородке и изысканно повязанным громадным бантом на шее. Вскоре над его верхней губой появилась черная щеточка усов, с которой он уже не расставался до конца жизни.

Он проводит много времени в «Дарданеллах», расширяя круг знакомых, редактирует иллюстрированную газету «Српче», помещая в ней не очень удачные стихи и притчи… Но уже в начале октября 1884 года Нушич просит ректорат Великой школы выдать ему «свидетельство» о том, что он «слушал в течение двух лет лекции на юридическом отделении Великой школы». Справка ему была тотчас выдана, он уехал в австрийский город Грац и записался в тамошний университет.

Причины его отъезда, как и пребывание в Граце, полны неясностей. Родственники Нушича предполагают, что он поехал по настоянию отца, пожелавшего, чтобы его любимец «получил европейское воспитание и образование». Однако это маловероятно, хотя бы по той причине, что Нуша еле сводил концы с концами и не мог обеспечить сына.

В далеком Граце Бранислав Нушич тосковал и бедствовал, о чем свидетельствует стихотворение «Горькая слеза», в котором он выразил тоску по Сербии и жаловался, что у чужбины «ледяная грудь».

Есть и еще одно свидетельство бедственного положения нашего студента — история, рассказанная в старости Милорадом Павловичем-Крпой, который много лет был приятелем Нушича:

> «Уезжая за границу, Бранислав Нушич захватил с собой скрипку. В Граце он разыскал своего приятеля Недельковича, который его на первое время поселил у себя. Но хозяйка квартиры противилась, пока Нушич не пообещал ей платить двадцать крон в месяц. Обещание-то он дал легко, но выполнял его нерегулярно. Возмещать убытки был принужден товарищ, поскольку

> Нушич был его гостем. Чтобы вернуть товарищу долг, Нушич в один прекрасный вечер появился со скрипкой во дворике небольшой пивной по соседству и сыграл посетителям ее сербскую мелодию. Аплодисменты воодушевили его еще на несколько вещей, а хозяин Карло угостил его ужином и выдал в качестве гонорара одну крону. Так Нушич всю осень 1884 года, играя на скрипке, подрабатывал себе на квартиру и кормился».

Мне удалось выяснить, что Нушич действительно немного играл на скрипке.

Предположение, что Нушич оставил Великую школу из-за неприятностей, которые причиняло ему начальство вследствие его политической деятельности, остается пока предположением.

Достоверно известно, что будущий дипломат научился довольно сносно говорить по-немецки и в качестве признанного писателя был избран секретарем студенческого литературно-научного общества «Србадия», объединявшего студентов-сербов. Это обществе уже существовало лет десять, на его заседаниях читали свои первые труды многие впоследствии именитые сербы, получавшие образование в Граце. В 1876 году здесь прочел свою работу «О капиллярных сосудах» Никола Тесла, ставший всемирно известным инженером и ученым.

Нушич тоже читал свои сочинения, и наибольший успех имел цикл стихов «Под струны Леля». Цикл назывался у Нушича довольно претенциозно: «букетом», который состоял из «цветов». «Цветы» были сатирические, юмористические, любовные, социальные и даже разукрашенные восточным орнаментом. По форме это было подражание сербским народным лирическим песням. По совету товарищей Нушич предложил «букет» только что возникшему журналу «Стражилово», где он и был опубликован в июле 1885 года. Через год Нушич послал в журнал и второй «букет», но уже из Белграда, в который вернулся после пятимесячного пребывания в Граце.

Судя по формуляру Нушича (Nuscha Alcibiades Bronislaus), в Граце он жил на Найденгассе, 5, и слушал лекции на немецком языке профессора Августа Тевеса (римское право), доктора фон: Майнонга (практическая философия) и доктора Франца Кронеса (австрийская история). Экзаменов никаких не сдавал.

* * *

Чтобы напомнить читателю, что нашему «признанному»

литератору нет еще и двадцати, расскажем комический эпизод, случившийся с ним тотчас по возвращении из Граца. Мать положила спать только что приехавшего сына в «зале», парадной комнате, в которой принимали гостей. Там стояла банка с вареньем. Бранислав взял банку, чтобы полакомиться. Но тут вдруг послышались шаги возвращавшейся матери, и юноша нырнул вместе с банкой под одеяло. Вскоре его сморил молодой сон. Ворочаясь, он раздавил банку, и утром мать застала его спящего и всего облепленного вареньем.

В феврале 1885 года Нушич вернулся на юридический факультет Великой школы. Пора было бы уже подумать и о подготовке к экзаменам, но тут подвернулось старое увлечение. Театр. Поразительно, какая энергия просыпалась в Нушиче во все поры его деятельности, если представлялась возможность взяться за какое-либо театральное начинание. Уже через месяц после приезда из Граца он организовал студенческую любительскую труппу, а 20 апреля выступил с ней в шиллеровском «Дон Карлосе» на сцене Народного театра. И получил новый удар. На этот раз слева.

Студенческая труппа подготовила три спектакля. Руководил студентами известный актер и режиссер Народного театра Тоша Йованович. Мужественно красивый, с великолепным голосом, он совершил молниеносную карьеру — за два года из ученика парикмахера вышел на главные роли в театре. Публика наслаждалась игрой этого самородка в пьесах Гёте, Гюго и Шекспира.

Нушич было прорвался в первые любовники, но Йованович быстро осадил его. Пришлось перейти в комики. 1 мая Нушич играл слугу Йована в комедии Трифковича «Любовное письмо», а потом — Герика в «Докторе Робине» Премаре.

Впрочем, «Дон Карлос» с Нушичем в главной роли имел успех.

Публика устроила дилетантам овацию. Но уже на другой день социалист Мита Ценич выступил в своей газете «Час» со статьей «Новый дебют нашей молодежи», раскритиковав любительское начинание Нушича и его товарищей. Он строго осудил молодежь, которая увлекается театром в ущерб ученью. «Разве у молодежи после бильярда и кафан остается так много времени, чтобы еще появляться перед публикой в качестве актеров?» — саркастически спрашивал Ценич.

В газете завязалась полемика. Цитируя афишу, в которой говорилось, что студенты ставят «Дон Карлоса», «вдохновленные любовью к родине и искусству», Ценич ссылался на авторитет Светозара Марковича. «Как забава, театр — вещь хорошая, но для

просвещения — это нуль». Он отрицал полезность театра для нации, ставя его в один ряд с «хождением по канату и цыганской музыкой».

Нушич ему ответил (номер газеты, к сожалению, не сохранился). Ценичу пришлось признаться в ошибке, пересмотреть свои взгляды на увлечение театром. Однако он не преминул поддеть Нушича, напомнив ему, что когда-то отверг одно из его «сочинений»…

Юмористическая газета «Брка» («Усач») извлекла максимум из этой перепалки, поместив два анекдота и шутливую телеграмму. Вот один из анекдотов:

> «В Великой школе.
> **Профессор** *(входя)*. Что это? Почему все бритые?
> **Ассистент**. Это актеры.
> **Профессор**. А что им надо?
> **Ассистент**. Передислокация.
> **Профессор**. Говорите яснее, не понимаю.
> **Ассистент**. Так уж получилось. Студенты заменили актеров, а актеры пришли учиться…»

Такая реакция общественности требует пояснения.

Впоследствии Нушич писал:

> «Из русских писателей — Чернышевского, Тургенева и Гоголя, которые тогда были самыми популярными, — первый был любимым писателем новых людей, последователей Светозара Марковича; Тургенев стал любимцем читающей интеллигентной публики… а Гоголь был писателем всей тогдашней молодежи, которую вдохновляла его острая сатира, особенно та, что была направлена против русской бюрократии. В гоголевских типах молодежь видела нашу бюрократию…»

Называя себя, подобно русским собратьям, «новыми людьми», молодые сторонники радикалов считали обязательным знать русский язык и читать русские книги. Под влиянием русской литературы создавалась сербская реалистическая литература. Однако проповедь рационализма, взгляды русских публицистов, перенесенные на сербскую почву Светозаром Марковичем, получили в студенческой среде, опекаемой официально преследуемыми и тем более сильными в духовном отношении радикалами, какое-то сверхрационалистическое звучание.

Политика и естественные науки возводились «новыми

людьми» на пьедестал, искусство презиралось, если оно не было средством пропаганды. Причем эти веяния без всякой зримой границы смыкались с обывательским мнением о человеке искусства, как о прощелыге.

Радикальный лидер Пера Тодорович в свое время, вторя Писареву, даже написал статью под названием «Уничтожение искусства». Дело дошло до того, что некоторые «новые люди» стали вообще презирать литературу как бесполезную буржуазную роскошь. А для самого Перы Тодоровича две сосиски, возможно, и в самом деле были ценнее целого Шекспира, а пара сапог полезнее всех произведений Пушкина.

В 1932 году, выступая перед спектаклем студенческой труппы, Нушич вспоминал об обстановке, царившей в университете пятьдесят лет назад:

> «…Подули какие-то странные, ультрареалистические ветры, проповедовалось уничтожение эстетики, а поэзия была выброшена на улицу как ненужная безделка. В то время посвящать себя искусству казалось зазорным, считалось профанацией, на нас показывали пальцем, нас считали еретиками. Поговаривали, не выбросить ли нас из университета, как недостойных. В университете состоялись митинги, на которых призывали отречься от нас, оградиться от нашего губительного влияния, а наши матери озабоченно плакали — боялись, что их дети пропадут, став комедиантами…»

Опасения матерей были напрасны. Актеры-любители впоследствии вырастали в профессоров университета, дипломатов. А Павлу Маринковичу, новому другу Нушича, даже предстояло стать министром.

* * *

Срок службы в армии, по сербским законам, для студентов был сокращен до одного года, отбывать его разрешалось по частям, в каникулярное время. Однако летом 1885 года король приказал призвать всех студентов старше двадцати лет.

Бранислав Нушич прошел медицинскую комиссию и поступил вместе с другими студентами под начало капрала Любы. Юмориста всегда удивляла логика военных медицинских комиссий: «неспособных жить она объявляет неспособными умереть, а способных жить она признает способными умереть».

Так или иначе, Браниславу пришлось расстаться со своей

живописной шевелюрой. Его обрядили в необъятные штаны, рукава мундира болтались, как у Арлекина. Настоящий «Флоридор из оперетты „Мадемуазель Нитуш“», — вспоминал Нушич.

> «Первую неделю служения отечеству мы не испытывали ностальгии. Мы легко переносили боль разлуки с домом, но не с кафаной и белградскими улицами. Каждый из нас хотел появиться на улице в военном одеянии. У меня тогда был небольшой флирт с барабанщицей из чешского оркестра, который играл в „Коларце“, и я представлял себе, как импонировало бы этой маленькой толстенькой барабанщице братской славянской народности, если бы я появился в мундире сербского солдата…».

Но в город новобранцев стали пускать не раньше, чем капрал Люба обучил их строевому шагу и умению отдавать честь. После принятия присяги стали увольнять в город. Однажды Нушич засиделся в «Коларце» и не поспел вовремя в казарму. Пришлось с товарищем пролезать «в какую-то дыру в крепостной стене за башней Нейбоши…».

Строевые и прочие занятия проводились каждодневно в широком рву на Калемегдане, под самыми стенами крепости. Капрал Люба упорно добивался единообразия, необходимым условием которого было искоренение дурной привычки… думать.

— Солдату думать не положено! — объяснял капрал. — Что бы делал господин майор, если бы мы все думали?! Солдат должен слушать и исполнять, а не думать!

> «Как только ты надел форму и перестал думать, ты уже не человек, а солдат, тебя ставят в строй и прежде всего учат равняться. Цель равнения, которому в армии уделяется особое внимание, состоит в том, чтобы всех подравнять по ниточке и приучить не вылезать вперед. Воинские начальники тратят очень много сил времени на привитие этих полезных навыков, так что в конце концов стремление к равнению входит в привычку. Но все же, стоит только человеку расстаться с армией, как он сразу же утрачивает эту замечательную привычку. Вероятно, это происходит потому, что в жизни гораздо больше ценится стремление вылезти вперед».

Капрал Люба был философ.

— Солдат состоит из теории и практики, — говорил он.

Он научил новобранцев стрелять из винтовки, разъяснил, что такое государство и что такое скребница…

Видимо, Нушич был неплохим солдатом, потому что вскоре его самого произвели в капралы. Событие, послужившее причиной такого возвышения, никого не порадовало. Военному сбору пора было уже кончиться, но распустить студентов и не подумали, а в сентябре военный министр приказал призвать даже тех, кто вообще отслужил свой срок. Занятия в Великой школе так и не начались.

Началась война…

6 сентября 1885 года гарнизон города Филипполя (ныне Пловдив) восстал против власти султана, а 8 сентября болгарский князь Александр I Баттенберг присоединил Восточную Румелию, объявив себя князем Северной и Южной Болгарии. Население страны увеличилось на восемьсот тысяч человек. Это считалось нарушением Берлинского договора.

Король Милан покинул венские кабаки, срочно прибыл в Белград и в тот же день объявил чрезвычайное положение. Подстрекаемый Австрией, он заявлял, что нарушено «политическое равновесие» на Балканах. Царское правительство повелело вернуться в Россию всем русским офицерам и унтер-офицерам, обучавшим болгарскую армию. А турки и не думали наказывать своего непокорного вассала, собираясь таскать каштаны из огня руками сербов.

И сербский король двинул свои войска к восточной границе.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ВОЙНА

Бранислава отпустили попрощаться с родными. Всюду на улицах он видел возбужденных людей, обсуждавших тревожную весть. Знакомые останавливали его, и каждый говорил о своих делах, но всем эта война была непонятна и не нужна.

Прощание было тягостным. На рассвете ранец на плечи — и в дорогу, на фронт.

Мать крестится, бросая взгляды на икону.

— Господи! Возложи грехи на нас, стариков! Господи, прости детей!

Она поднимается, зажигает лампадку и опять крестится на икону святого Георгия, покровителя дома Нушей.

«Посреди нашей низкой комнатки стоит маленький стол. Мерцает пламя свечи, и тени сидящих за столом пляшут по стенам. На столе очищенные яблоки, печеные каштаны и другие лакомства, — все, все, что я люблю, — как будто я могу съесть это сразу. Во главе стола — отец. Седой, нахмуренный, он молча барабанит пальцами по табакерке и что-то вычерчивает на ней ногтем. Около него — мать. Она угощает меня то тем, то другим; голос ее дрожит, и она старается сдержаться, чтобы глаза и рот не выдали ее чувств. Тут же сидит сестра, глаза ее полны слез. Рядом с ней младший брат, веселый и любопытный мальчуган. В то время как старшие сосредоточенно молчат или говорят о вещах, не имеющих отношения ни ко мне, ни к моему отъезду, ему не терпится расспросить о самом страшном.

— А что, на войне каждый должен погибнуть, да? А как вы стреляете? Лежа? А правда, что убитых хоронят с почестями?

Напрасно его одергивают, просят помолчать, напрасно пытаются отвлечь разговорами на другую тему, он, не получив ответа на свои вопросы, повторяет их снова и снова.

Но страшнее всего, когда все вдруг замолкают. По пяти минут длится жуткая тишина, нарушаемая лишь частым, прерывистым дыханием матери. Отец торопливо затягивается и пускает дым; мать делает вид, что увлечена каким-то делом: чистит яблоко или снимает

нагар со свечи; часы в соседней комнате размеренно отсчитывают время; на озабоченных лицах играют бледно-желтые отблески пламени; на стенах вздрагивают неясные тени. Иногда вдруг на оконной занавеске мелькнет какая-то тень, и у самого дома послышатся тяжелые шаги прохожего.

Странно, что при таких обстоятельствах никому не удается найти тему для беседы. Разговаривают сердца и души, а когда разговаривают они — нужна тишина.

— Ты будешь нам писать? — спрашивает сестра и берет мою руку.

— Буду! Конечно, буду!

— Пиши! — поддерживает ее маленький братишка. — Пиши! Если кого-нибудь убьют, ты обязательно сообщи…

Чем дальше по кругу двигалась стрелка часов, тем заметнее менялись лица моих родных. Мать не сводила с меня мокрых от слез глаз и никак не могла насмотреться. Мне становилось не по себе от этого пристального взгляда, постоянно обращенного в мою сторону.

Надо было прилечь, хотя бы на часок. Когда я проснулся, на улице еще стояла темная ночь. На столе догорала свеча, а за столом сидел отец, так и не вставший с места. Перед ним возвышалась гора окурков и пепла. Дым, заполнивший комнатку, колыхался в воздухе, словно облако.

Утренняя заря теснила ночь, пламя свечи становилось все бледнее и бледнее. Между занавесками с улицы пробился тонкий луч света; лампадка под иконой начала потрескивать, и в нее подлили масла…

Когда настало время уходить, у отца вдруг задрожал подбородок. Он хотел мне что-то сказать, но не смог. Я почувствовал, как он прикоснулся холодными губами к моему лбу, к щекам… Это как первый укол ножа, когда его вонзают в тело: сначала больно, а потом режь сколько хочешь…

…Больше я ничего не помню!.. Знаю только, что брат помог мне надеть ранец. С трудом я вырвался из объятий матери и, не оглядываясь, пошел быстро-быстро…».

Дождь лил как из ведра. В намокших палатках солдаты резались в карты, усевшись по-турецки и прилепив к солдатскому ботинку грязную самодельную свечку. Над одним из солдат

палатка протекала. Он поставил себе на живот котелок и лежал не двигаясь. Капли булькали в котелке, а солдат курил и посмеивался… Капрал Нушич записывал солдатские рассказы. Через несколько дней против записей появлялись пометки — убит, убит, убит…

Когда часть вышла из города Пирота, солдатам объявили, что началась война… Это было второго ноября.

Сербские войска пересекли болгарскую границу и вошли в Цариброд.

> «…В кривой улочке стоит одинокая хибара без трубы, — писал Нушич в своих „Рассказах капрала“. — В ее соломенную крышу, завалившуюся одним краем на землю, воткнут прутик, к нему привязан кусок грязной тряпки — белый флаг, знак сдачи…
>
> Двери открылись сами, и сквозь полутьму, царившую в этой лачуге, я сначала увидел только тревожные светлые глаза, а уж потом дрожащего пожилого мужчину, который сидел на рогоже и прижимал к себе детей. Он тотчас вскочил, подбежал к нам и стал целовать руки и колени. Стены внутри были покрыты толстым слоем сажи. В уголке свалены небольшое корыто, кусок рядна и еще какая-то утварь; в другом углу видна лужица, рядом вязанка камыша и топор. Тяжелый запах, смрад, сырость.
>
> Хозяин был бос, в грязной изодранной одежде. Глубоко запавшие глаза его слезились и покорно молили; покаянное лицо напоминало икону; большие жилистые руки обнимали детей. Девочка со смуглой кожей и красивыми влажными глазами была совсем голая, второй ребенок был завернут в какую-то тряпку. Оба дрожали от холода и страха.
>
> Мы спросили, кем приходятся ему эти малыши. Хозяин тупо, с ужасом посмотрел на нас и еще крепче обнял детей. На глазах у него снова появились слезы, нижняя челюсть задрожала, и он сипло проговорил:
>
> — Я сдаюсь!
>
> Он выставил белый флаг в знак сдачи. Бедняга! Неужели он думал, что есть враги более страшные, чем его судьба. Несчастный!..»

До Сливницы сербы везде имели успех. Победа над болгарами казалась легкой и несомненной. У Сливницы сербов ждало девятнадцатитысячное болгарское войско. Не выдержали прежде всего… нервы короля Милана. Он бежал, увлекая за собой

штаб и армию. Первый же серьезный бой показал непопулярность этой войны в народе. Король сообщал в Белград фиктивные сведения о своих победах, но болгары уже ступили на сербскую землю. На сцене появился австрийский посланник граф Кевенгюллер, который от имени Европы предложил болгарам прекратить военные действия. 16 ноября было заключено перемирие. Война продолжалась тринадцать дней.

Нушич жестоко простудился и попал в нишский госпиталь. Он продолжал делать записи. У него не было записной книжки, я поэтому приходилось писать на клочках бумаги, на рецептах, на обратной стороне отцовских писем.

* * *

«27 ноября

Не так угнетает меня болезнь, как мертвая госпитальная тишина. Даже если кто-нибудь из больных говорит, то совсем тихо, почти шепчет. После первых же слов раскашляется, и этот сухой кашель громко раздается в высокой и просторной госпитальной палате. Послышится голос или заскрипят двери, проедет под окном телега или застонет больной — вот и все звуки. А время тянется медленно, очень медленно. Ох, сколько пройдет времени, пока большая стрелка часов один раз проползет по кругу… Вечность, целая вечность.

А больничный запах! А изможденные лица, виднеющиеся из-под одеял, и желтые, как воск, костлявые руки, протянутые из-под простыни к стакану с водой или к лекарству на тумбочке, что стоит возле каждой кровати! Лица больных бледные, одинаковые, глаза у всех ввалились, взгляд сумрачный, губы сухие…

Над моей постелью, на черной дощечке, написан мелом номер 23. Иными словами, я не существую. Есть просто номер 23, который страдает такой-то болезнью. Санитар и не знает моего имени….

28 ноября.

Возмущает меня, именно возмущает и нервирует то, что меня нет, а есть только номер 23. Сначала я не замечал этого, теперь же все очень хорошо вижу. Но что толку возмущаться сейчас? Разве я не привык к тому, что я не существую?!

Пока ты в отделении, тебя там знают по имени. Знают даже твоих родственников. Когда отделения

образуют взвод, тебя уже меньше видят, но все-таки тебя знают. Взводы собираются в роту, ты начинаешь чувствовать себя потерянным, растворившимся. Твое я — это только частица чего-то общего, большого. А вот когда роты объединяются в батальон, тогда уже совершенно ясно чувствуешь, что тебя больше нет, а существует только номер. Тебе кричат: „Ты! Ты! Четвертый с левого фланга! Стать смирно!“ Это и есть ты. И ты становишься смирно. А когда батальоны составляют полк, а полки — дивизии, массы, огромные массы, выстраиваются друг за другом и сплошной стеной встает серая толпа… где тогда ты? У этих масс одно имя, шагают они в ногу по одной команде… Где тогда ты? С зеленого дубового листка упадет капелька в горный ручей, ручей унесет ее в речку, а речка — в реку, а река — в море… разве капельку в море заметишь?!..

4 декабря.

Сегодня утром санитар сказал мне, что умер номер 47. Кто это?

Боже мой! Если бы и я вдруг умер, то для доктора, для начальника госпиталя, для санитара умер бы не я, а просто номер 23. Но мне, слава богу, сегодня совсем хорошо, и доктор сказал, что меня завтра уже выпишут из госпиталя».

* * *

Капрала Нушича откомандировали в город Ягодину, где стоял Пятнадцатый пехотный полк, которым командовал майор Радомир Путник, будущий знаменитый полководец, герой первой мировой войны.

Капрал доложил о своем прибытии командиру роты поручику Богдановичу. Тот как-то странно заулыбался и сказал:

— Очень хорошо, что это именно ты. У меня тут пятнадцать добровольцев из Белграда… Не знаю, право, что с ними делать. Сформировал из них отдельный взвод, чтобы они мне не портили других солдат. Принимай их под свое командование и выпутывайся как сам знаешь!

Недоумевающий Нушич стоял навытяжку. На всякий случай он ответил по уставу:

— Слушаюсь!

Встреча со взводом состоялась на плацу. Маленький капрал, напустив на себя строгий вид, двинулся было вдоль строя и тут

же остановился как вкопанный. На правом фланге стоял высокий, тощий, в истрепанной шинели… Воислав Илич. Выпучив глаза, он ел ими командира. Нушич не мог удержаться от смеха. Забыв свое «высокое положение», он подбежал к Воиславу и расцеловал друга.

Но это было только начало. Рядом с Иличем стоял приятель Нушича, актер-комик Джока Бабич, а дальше один за другим — веселая братия, завсегдатаи «Дарданелл». Капрал перецеловал весь взвод.

Выслушав рапорт капрала, командир роты Богданович расхохотался и сказал:

— Видел, видел, взвод принят в точном соответствии с уставом.

— Простите, господин поручик, но, понимаете ли, друзья это все мои… — оправдывался капрал.

— Потому-то я и дал тебе их, — сказал Богданович и участливо добавил: — И что ты будешь с ними делать!

Отношение начальства к белградской богеме было весьма и весьма либеральным. Это признавал и сам Нушич.

> «Видно было по всему, что командир махнул рукой на этот взвод… Либо я не был очень строгим капралом, либо мои солдаты не прониклись воинским духом, но только строевая подготовка превращалась у нас в настоящую комедию. Офицеры других рот специально собирались группками и наблюдали за моим взводом во время строевой подготовки. Кричу я, например:
>
> — Смирно! Нале-во! — а половина взвода нарочно поворачивается направо.
>
> Для поддержания собственного авторитета я подхожу к Воиславу, который повернулся направо.
>
> — Рядовой Илич, — говорю ему, — ты грамотный?
>
> — Так точно, господин капрал, — браво отвечает Воислав.
>
> — Хорошо, а разве ты не знаешь, где у тебя левая рука?
>
> — Знаю, господин капрал!
>
> — Почему же ты повернулся направо, когда я скомандовал „налево“?
>
> — Из вежливости, господин капрал. Не хотел поворачиваться спиной к господину Джоке Бабичу, — отвечает Воислав.
>
> И дальше все было в том же духе. А уж когда занимались теорией, можете представить себе, что

происходило. Я изо всех сил стараюсь объяснить им, как устроена винтовка, а они меня засыпают дарданелльскими шуточками, да так орут, что дом трясется. До того дошло, что пришлось у дома, где мы занимались, выставлять часового, чтобы предупредил, если нагрянет начальство… Впрочем, это была лишняя мера, так как начальство давно махнуло на нас рукой и не являлось даже на теорию.

Однажды идем мы с Воиславом переулком к кафане „Красный петух“, и вдруг откуда ни возьмись майор Радомир Путник. Он знал нас лично, и к тому же до него доходили рассказы о нашем взводе. Увидев нас, он заулыбался.

— Капрал Нушич! — сказал будущий славный маршал.

Я щелкнул каблуками, повернулся и отдал честь.

— Слышал я, у нового взвода прекрасные успехи!

— Стараемся, господин майор! — гордо чеканю я.

— Ну, ну, старайтесь. Хорошие солдаты нам нужны!

Мы понимали, что Путник потешается, а все-таки было приятно. На другой день я сообщил взводу похвалу командира полка.

Тут же, в Ягодине, и застало нас заключение мира. По демобилизации мы вернулись в Белград и перед „Дарданеллами“ рассказывали о своих ратных подвигах.

В Ягодине Воислав ничего не написал, кроме эпиграмм.

— Не могу писать, — сказал он мне однажды. — Когда беру перо, одно на уме — кого бы изругать. Видишь, какая здесь атмосфера.

Кстати, я тогда начал набрасывать свои „Рассказы капрала“ и кое-что читал Воиславу».

Атмосфера и в самом деле была отвратительная. Мерзкое настроение не могли скрасить даже шутки дарданелльских друзей. Тем более что на Воислава навалилось тяжелое горе.

Воислав был женат на Тияне, дочери знаменитого поэта Джуры Яншича. Нушич вспоминал о ней как о хорошей хозяйке и матери, тихой и ласковой женщине. Она родила Воиславу двух детей. 7 октября 1885 года умирает сын Момчило. 22 ноября скончалась Тияна. Тотчас после ее смерти Воислав уходит в армию и там уже узнает, что 11 декабря угасла его маленькая дочка Зорька.

Воислав пил и скандалил. Нушич старался не отходить от

него ни на шаг. В ссорах, которые затевал Воислав, ему приходилось становиться на сторону друга. За драку в том же «Красном петухе» оба просидели трое суток под арестом.

Стояли пасмурные, сырые дни.

«Сырость преследовала нас всюду. Почти каждый день перед госпиталем толпились простуженные, изможденные солдаты.

Вчера умерли двое. Сегодня тоже двое».

Чтобы не идти на учение, Илич с Нушичем отпросились якобы на похороны «хорошего друга». Решили было сразу направиться в кабак, но оказались все-таки в госпитале. Похоронная процессия во главе со злым, ругающимся попом шла на кладбище под проливным дождем. Никто, даже поп, не знал имени солдата, которого хоронили.

Убогие похороны надолго остались в памяти Илича и Нушича. Воислав под этим впечатлением написал грустные стихи «Серое мрачное небо…», а Бранислав рассказ «Похороны», один из лучших в «Рассказах капрала», которые очень скоро появились в газетах и вышли отдельным выпуском. Они сразу сделали Нушича знаменитым. Ему стали подражать.

Интерес читателей к «Рассказам капрала» не упал и через десять лет, и Бранислав в 1895 году собрал их в одну книгу, заново переписав каждую вещь. До Нушича о войне так правдиво и жестоко писал, пожалуй, только Гаршин. Это книга о трагедии двух народов — сербского и болгарского. Великий юморист на этот раз серьезен. Зато драматург виден в каждой строчке диалогов.

Среди рукописных заметок, оставшихся после смерти писателя и изучающихся лишь в последнее время, есть и такая:

> «„Рассказы капрала“ ни в коем случае не „рассказы“. Это неоконченные наброски чего-то задуманного гораздо шире. Это по ним видно. Возможно, я думал написать роман. Материал мне казался очень благодарным. Два братских народа, которым предназначено трудиться совместно и поддерживать братские чувства, столкнулись лицом к лицу в кровавой войне. Политика — не важно какая, высокая или низкая, — политика их столкнула, и они дерутся из-за этой политики, о которой не имеют никакого представления; дерутся, но не ненавидят друг друга».

20 февраля 1886 года королевским указом была проведена демобилизация. Помня восстание 1883 года, король Милан боялся, что солдаты не вернут оружия. Он отправился в Ниш и лично присутствовал при разоружении демобилизованных частей.

Демобилизовали и Бранислава.

«Я очень тороплюсь. Осталось пройти вот эту улицу, еще одну маленькую, потом — налево, четвертый дом.

Но какие же длинные эти улицы! Когда-то я, бывало, и не замечал, как пробегал их…

Быстро прохожу мимо соседских домов, даже не останавливаюсь при встрече со знакомыми: только бы скорее поцеловать руку матери, отцу, обнять братьев… Все они думают сейчас обо мне и не знают, что я уже здесь, что я так близко от них.

Мама сидит у очага, подогревает на маленькой жаровне ужин. Задумавшись, она быстро вяжет, а белый кот, найденный мною в этом доме, когда мы сюда переехали, греется около очага и время от времени сладко потягивается. Помню я и трехногие табуретки, и старые потрепанные сапоги, висящие у трубы, и общипанного хромого ворона, которого младший брат хотел научить говорить и даже подрезал ему что-то под языком. Ясно вижу, как ворон ходит по кухне и клюет оставшиеся крошки.

Вспоминаются мне и наше старое зеркало в комнате на комоде (его подарил маме деверь, когда она выходила замуж), за шкафом — „дедушкин стул“, сидя на котором дедушка и умер. Мне уже кажется, что я дома и слушаю, как длинный маятник наших круглых часов отбивает свое „тик-так“…

Вот висит в углу в старой золотой раме икона св. Георгия, под ней маленькая красная лампадка. Здесь мама молила бога, чтобы он сохранил мне жизнь…

Скорей, скорей! Вон большое строение, рядом — мой домик. Вот и разбитое стекло, а в нем — засохший стебель когда-то душистого левкоя. У нас тоже горит свеча, и на окнах задернуты занавески.

Тук, тук, тук!

— Мама, открывай!..»

ГЛАВА ПЯТАЯ
«ДЕМОН СЕРБИИ»

8 ноября 1886 года в Белграде состоялось многолюдное собрание молодежи. Попали на него не все желавшие, так как небольшой зал был забит до отказа. Воислав Илич и Бранислав Нушич находились среди тех, на кого было обращено внимание собравшихся молодых людей.

Ровно двадцать лет назад была создана «Омладина». Но романтика борьбы за освобождение, мечты о «всеславянском братстве» были развеяны жестким рационализмом радикалов, захваченных политической борьбой внутри только что народившейся независимой Сербии. Война с Болгарией породила иные умонастроения. Оказалось, что рационалистические идеи исповедовали далеко не все. Повеяло «неоромантикой». К чему враждовать и проливать кровь славянским народам, которых стравливала Австрия, когда миллионы братьев еще угнетаются той же Австрией и турками?

Правительство старалось завлечь молодежь в псевдопатриотическое общество «Святого Саввы»[10], которое разжигало антиболгарские настроения. Оно было чуждо тем, кто пришел с непопулярной войны. Все, кто не хотел идти «под скипетр и крест» общества «Святого Саввы», собрались, чтобы создать свое патриотическое общество — «Уединену омладину» («Объединенная молодежь»). Среди собравшихся было много радикалов и социалистов.

Братислава Нушича считают одним из основателей новой «Омладины», он вошел в ее первое правление. Председателем избрали журналиста Николича, заместителем его — рабочего Радича, библиотекарем — поэта Воислава Илича, а секретарем — студента Нушича. Всего правление насчитывало десять членов и пять их заместителей.

Тут же приняли и устав общества, который требовал практической деятельности по «распространению просвещения и поддержке национальных чувств в сербском народе». Решено было «делом участвовать в борьбе против несербских элементов, которые хотят разрушить алтарь народности „изнутри“».

Утвердить статут общества оказалось не так-то просто. Драгутин Илич в газете «Нови белградски дневник» вскоре писал: «В министерстве просвещения говорили, что „общество имеет совсем другие цели“. Поэтому министр не одобрял статута „Уединеной омладины“, пока не доложил его на заседании совета

министров. В провинции отдельных организаторов общества запугивали».

Орган напредняков «Видело» призывал «сорвать новый флаг», так как существует уже знамя, под которое «могут стать все».

В общем, правительство различало, где патриотизм «свой», а где «чужой». Через год общество начало выпускать научный, литературный и общественно-политический журнал «Омладина». Идеологами общества стали братья Иличи — Воислав, Драгутин и Милутин. В своих воззрениях они не расходились с Марковичем, который призывал к борьбе за политически свободную и экономически развитую Сербию, способную сыграть роль «Пьемонта» в освобождении всех сербов.

22 апреля 1877 года Воислав выступил с речью перед большим собранием молодежи. Он говорил:

«Необходимо прежде всего работать над тем, чтобы в политически свободной стране, откуда исходит инициатива этой борьбы, создались такие условия, которые дали бы возможность народу посвящать все свои мысли не только ежедневным жизненным потребностям…»

Воислав призывал к тому, чтобы народ жил «не хлебом единым», и воспитывать его должна была «Омладина», выдвигая «непосредственных носителей этих мыслей». Только в Белграде было больше ста членов этой организации. Большое отделение было в Смедереве, куда специально выезжал Бранислав Нушич.

В то время в Смедереве уездным начальником был некий Иван Джурич по прозвищу Белый Медведь, бюрократ, невежественный и ревностный. Одна из газет писала, что «для него всякий молодой человек — подозрительная личность, бунтовщик или вор». Немало молодых радикалов и «омладинцев» пересидело у него в «кутузке» до выяснения личности.

Неизвестно, попал ли Нушич под горячую руку Белому Медведю, но то, что молодой драматург был знаком с повадками ретивого администратора, известно достоверно. И такое знакомство пригодилось ему очень скоро. Он уже писал новую комедию. И уже придумал ей название: «Подозрительная личность».

А что же было с «Народным депутатом», которого Нушич так долго «смягчал» и перекраивал под надзором бдительного Шапчанина? К тому времени, когда комедия вернулась, из странствий по полицейским канцеляриям, многое уже переменилось. С возрождением патриотического движения началось наступление на театр. Появляются статьи в газетах, в которых дирекция Народного театра обвиняется в том, что она препятствует обновлению репертуара за счет отечественных пьес.

Разумеется, Нушич и другие молодые драматурги были не только «невинными читателями этой критики». Милутин Илич, а за ним и Воислав в феврале и марте 1887 года не жалели ни времени, ни чернил на публичное поругание Шапчанина.

Нушичу еще «повезло», к нему отнеслись «с должным вниманием». Журнал «Гусли» живописал мытарства сербского драматурга…

Вот он приносит свое детище в театр. «Если у вас нет шапокляка, по моде сшитой фрачной пары и известного покровителя… едва живы останетесь. Ваша гордость и самолюбие сильно пойдут на убыль, когда вы поймете, что пьеса не пойдет даже по обычным канцелярским каналам, не будет записана в книгу, не получит номера… Вы не будете уверены, что она не пропадет, не затеряется. Пройдет года два, а вы так ничего и не узнаете о своем произведении. Ни один литературный совет за два этих года не прочел его…»

Кампания против Шапчанина приняла настолько бурный характер, что директору пришлось оправдываться публично. На заседании совета театра, состоявшемся прямо на сцене, перед залом, заполненным литераторами и журналистами, он сказал:

— «Народный депутат» прошел через два чистилища, но и в третьей редакции, с которой автор согласился, его пришлось отложить, так как к этому времени подоспели выборы депутатов, сопровождавшиеся различными эпизодами, которые стали поводом для препирательств в печати. Из-за этого поставить «Народного депутата» было невозможно. В пьесе много такого, что оскорбляет и депутатов и членов правительства. Народный депутат, главный герой пьесы, показан глупцом. Разве это понравилось бы депутатам?.. И еще этот депутат говорит, что в скупщине будет выступать по подсказке министров…

— Какое правительство, какие мудрые государственные деятели могут позволить такое в театре, о котором они соизволят проявлять неустанную заботу?..

В который уже раз слышал Нушич эти доводы из уст Шапчанина. Директор давно уговаривал его написать другую, «более подходящую» пьесу, которую можно было бы показать, пока «Народный депутат» дождется благоприятных обстоятельств.

Казалось бы, наученный горьким опытом, молодой драматург должен был написать и в самом деле «более подходящую пьесу», не затрагивающую достоинства преисполненных лучших намерений господ депутатов, министров и прочих сильных мира сего. Но, увы… в черновых набросках стало мелькать слово «династия», и оно «всякий раз звучало недостаточно почтительно и не произносилось тем лояльным тоном, которым подобало

произносить это слово в то время, когда писалась комедия и когда династичность возводилась всеми режимами до уровня культа».

Олицетворением династии был король Милан, его называли «демоном Сербии». Памфлет, отпечатанный под таким названием за границей, ходил по стране в десятках тысяч экземпляров. Король опустошил казну. Государственный долг вырос до 277 миллионов франков. Налоги росли, а король продолжал проигрывать в карты целые состояния.

Он вступил в откровенную связь с гречанкой, женой крупного сановника Артемизой Христич. Она была красива и, кроме того, обладала бесценным качеством — умела слушать, не перебивая, пространную похвальбу Милана. В результате этих бесед она родила королю сына.

Королева Наталья, как писали в романах, «не умела безмолвно нести свое горе». Семейные скандалы короля мгновенно становились достоянием всей страны. Король, казалось, бравировал кутежами и празднествами, которые устраивал в честь фаворитки. Королева, как и он, любила роскошь, празднества и туалеты. Громадное личное состояние ее, оберегаемое от непрерывных посягательств короля, пошатнулось. Стараясь досадить королю, она поддерживала любую оппозицию и тоже запускала руку в государственную казну, пополнявшуюся под громадные проценты венскими банкирам. Сербия фактически становилась провинцией Австрии.

В конце концов, сказавшись больной, Наталья была вынуждена выехать из Сербии с наследником Александром, которого воспитывала в ненависти к королю. Борьба за сына между королем и королевой давала обильную пищу европейским газетам.

В стране ненависть к королю стала всеобщей. Король поссорился даже с напредняками, отстранил их от власти и призвал либералов. После неудачной войны с Болгарией австрофильство Милана вызывало раздражение, росли прорусские симпатии. С либералами он тоже не поладил. На выборах народ по-прежнему отдавал предпочтение радикальной партии.

Король был позер и циник. Приглядевшись повнимательнее к радикалам, он решил, что их лучше приручить, чем иметь своими врагами. Буржуазные партии обладают свойством со временем перерождаться, особенно если почувствуют вкус власти. Милан посетил в тюрьме лидера радикалов Перу Тодоровича. Король появился в камере, закутанный в темный плащ; распахнувшись, он сверкнул регалиями и высокопарно сказал:

— Меня вы не надеялись увидеть…

Король и радикал долго беседовали.

Вскоре радикалы заявили:

«Радикальная партия приложит все усилия, чтобы, в согласии с королем, вывести свою страну из нынешнего тяжелого положения».

А Пера Тодорович, ставший наркоманом, продал свое лихое перо королю, вызвав к себе омерзение даже у товарищей по партии.

Когда создавался «Народный депутат», Нушич сочувствовал радикальной партии, но художник в нем был сильнее политика. Недаром в комедии кандидат оппозиции адвокат Ивкович — фигура бледная, а по своему поведению и взглядам явно соглашательская.

* * *

Это было время, когда почти каждую неделю появлялись новые газеты и тут же закрывались полицией, так как «закон о свободе печати» нарушался непрерывно. Драгутину Иличу за сатиру «Черный колдун» предъявили обвинение в измене родине и изгнали в Новый Сад. Спасаясь от преследования полиции, он тайком уехал в Румынию, и в Турн-Северине добывал себе пропитание, работая официантом.

В истории многих стран бывали периоды, когда люди переставали бояться тюрьмы, преследований, потери благополучия. Это бывало похоже на эпидемию. Молодежь, охваченная жаждой гражданского подвига, хваталась за самые разные идеалы, неистово сражалась с властью и друг с другом. Гонения, тюрьма — все это считалось почетным и служило отличием, не только не препятствующим, но даже помогающим дальнейшей карьере.

Через много десятков лет Бранислав Нушич вспоминал о годах своей юности в предисловии к комедии «Подозрительная личность»:

> «В конце семидесятых и в начале восьмидесятых годов прошлого века у нас, можно сказать, шел последний и отчаянный бой двух эпох — той, которая умирала, и той, которая наступала. Бой велся по всем линиям и на всех фронтах, и в политике, и в литературе, и в жизни. Это было поистине время стычек, схваток, потрясений — в общем, всего того, что характерно для

периода становления любого народа и общества. Прошлое упорно держало оборону; новая жизнь, новые люди, новые взгляды и новые тенденции дерзко теснили прошлое, и темперамента в это дело вкладывалось столько, что в те годы температура нашей общественной жизни целое десятилетие не только не опускалась до нормальной, но очень часто поднималась и до сорока одного градуса, а порой и пересекала эту черту. В частности, политика приняла эпидемический характер, и так как ею был заражен весь народ, то не было ничего странного, что она часто вторгалась в литературу, или, вернее, литераторы вторгались в политику. И даже самый нежный лирик того времени, писавший о вздохах и „ее очах“, не упускал случая написать политическое стихотворение или по крайней мере эпиграмму».

Вот и лучший друг Нушича, Воислав, «нежный лирик», переходит от довольно прозрачных иносказаний к откровенной сатире. 13 января 1887 года король устроил маскарад, где блистал с прекрасной Артемизой, а уже 22 января ему доложили, что некий поэтишка под псевдонимом «Черное домино» изволил высмеять его в оппозиционной газете «Новый белградский дневник». При расследовании Воислав решил не подводить редактора под монастырь и назвался.

Суд оправдал Воислава. Спасла басенная форма.

И в том же «Новом белградском дневнике», в ехидной рубрике «Крупно-мелкие вещи», в которой помещались под псевдонимами басни и эпиграммы, 6 мая появилось еще одно стихотворение, подписанное «Пиратом».

Стихотворение называлось «Похороны двух рабов» («Два раба»). Прочитав его, король Милан пришел в бешенство и повелел «пирату» пощады не давать.

ГЛАВА ШЕСТАЯ
«ДВА РАБА»

В апреле Бранислав Нушич был свидетелем двух похорон.

На одних, чрезвычайно пышных, присутствовал весь двор, генералитет, министры. Хоронили мать полковника Драгутина Франасовича, придворного офицера и любимца короля. Милан I прибыл на кладбище собственной персоной.

Через несколько дней Бранислав увидел еще одну похоронную процессию. За гробом по апрельской грязи шагали белградские жители и лишь несколько офицеров. Маленькое воинское подразделение и оркестр даже не дошли до кладбища. Последние воинские почести были отданы где-то на полпути.

Человека, которого хоронили в тот день, знала вся Сербия. Это был майор Михаил Катанич, скончавшийся от ран, полученных в последнюю войну.

Катанич был человеком фантастической храбрости. С войны 1877–1878 годов он вернулся с множеством наград, среди которых был и русский орден Станислава. Во время сербско-болгарской войны командир батальона капитан Катанич прорвался к захваченному противником знамени своего полка, получив три пулевых и пять штыковых ран. На виду у набегавших на него болгарских солдат он сорвал отбитое знамя с древка и, поцеловав, сунул его за пазуху.

Болгарский князь Александр Баттенберг, наблюдавший за этой сценой со своего командного пункта, тотчас послал к плененному герою одного из своих офицеров и личного врача. Затем он посетил Катанича в госпитале, вернул ему саблю и наградил медалью. Это была дань уважения храбрости противника. Сербское командование присвоило находившемуся в плену офицеру чин майора, и это тоже редкий случай в истории войн.

И вот теперь уходившему в последний путь герою не были отданы даже самые элементарные воинские почести. Королем, министрами и генералами, отсутствовавшими на похоронах героя, возмущались все.

«Какой это пример для армии!» — написал Бранислав на другой день. Он видел Катанича на войне и теперь кипел от негодования.

Похороны Катанича состоялись 28 апреля, а буквально на другой день в редакцию «Нового белградского дневника» было доставлено стихотворение Бранислава Нушича «Похороны двух

рабов».

I

Божий раб скончался на неделе,
Хоронили с почестью и славой.
Вы читали да не углядели:
Божий раб-то оказался… бабой.

А колокола не умолкали;
Все букеты из цветочных лавок
Были здесь; мундиры шли полками;
Высились султаны среди шляпок.

Тощие майоры, с животами —
Офицеров было тут несметно:
Без «орлов» полковники, с «орлами»…
И еще был кто-то, но… секретно…

Все в порядке… Что же лясы точат,
Негодуют, злобою исполнясь?
Все в порядке… Это ли не почесть
До могилы провожать покойниц?!

II

И совсем без почести и славы
Хоронили мы раба сегодня.
О, как сожалели наши «бабы»,
Что не баба — этот раб господен.

И за ним букеты не валили
И не шли мундиры… А немногих,
Что дойти хотели до могилы,
Взяли повернули с полдороги.

И колокола со всех предместий
Глухо били с горем и тоскою…
Для большого звона много чести:
Ведь хоронят сербского героя.

И теперь вам, сербские ребята,
Выводы такие сделать надо:
В Сербии мы этого не скроем —
Слава бабам и позор героям!

И не мучайтесь и не стыдитесь,

Бабами, ребята, становитесь!

Когда был отдан приказ об аресте Бранислава, в Белграде его не нашли. К тому времени появилось более десятка рассказов из «капральской» серии, и Нушич становился все более популярен. В числе других гостей он был приглашен в Новый Сад на празднование двадцать пятой годовщины местного театра. Гостей разбирали по квартирам местные жители. Нушич с Драгутином Иличем попали к редактору журнала «Явор» Илье Огняновичу-Абуказему. Абуказем просил Бранислава написать для журнала какой-нибудь рассказ, но программа празднеств была так разнообразна, а новых знакомых так много, что все попытки уговорить «модного» рассказчика были напрасными. Тогда Абуказем прибегнул к хитрости. В последний день пребывания Нушича в Новом Саде он будто бы по рассеянности запер Бранислава в комнате, а слуге не велел откликаться, сколько бы гость ни стучал. И в этой импровизированной тюрьме Нушич написал свой знаменитый рассказ «Похороны», включенный потом в «капральскую» серию.

В Белграде Бранислава Нушича ждала настоящая тюрьма. Король распорядился примерно наказать стихотворца.

Суд первой инстанции под председательством К. Христича (того самого, который в свое время перевел злополучного «Рабагаса») обвинил подсудимого в том, что в его стихотворении содержится оскорбительный намек на короля («И еще был кто-то, но секретно…») и, согласно «закону о свободе печати», приговорил Нушича к двухмесячному тюремному заключению.

Бранислав мог бы спрятаться за псевдоним «Пират», но в таком случае, по закону, пришлось бы пострадать редактору. Как и Воислав, Нушич не захотел подводить редактора «Нового белградского дневника».

Председатель суда Коста Христич, видимо, пожалел молодого коллегу-литератора и пренебрег «рекомендациями двора». Король остался недоволен приговором. Запахло каторгой, обычно ее отбывали в государственной тюрьме города Пожаревац.

Но пока подобострастная Фемида пересматривала дело, провинившийся стихотворец решил бежать за границу и скрылся в загородном доме торговцев Трзибашичей.

Привели туда Бранислава не столько поиски убежища, сколько… любовь. Да, Нушич был влюблен, и на этот раз самым серьезным образом. И шестнадцатилетняя Милица Трзибашич тоже влюблена в него. Бранислав помышляет о женитьбе. Кажется, и родители Милицы, видная в городе семья, охотно

принимают у себя молодого литератора. Если бы не история со стихотворением, Белград, судя по всему, был бы в ближайшее время оповещен о помолвке.

Бранислав поселился в загородном доме Трзибашичей на правах товарища родного брата Милицы. Место было укромное. От дома к самой реке спускается виноградник. А за рекой — город Земун. Это австрийские владения. Стоит переплыть реку в лодке, и не страшны уже никакие казематы. Можно было поехать в Новый Сад, где у Бранислава много друзей. Но только что он будет делать там, сможет ли он заработать себе на жизнь? Он посылает письмо:

> «Меня сразу отдали под суд за оскорбление Его Величества Короля и на днях отправят в ссылку. Веришь ли, во время всего процесса я был в неуверенности, так как процесс был долгим и запутанным (ты, наверно, читал то стихотворение, за которое меня осудили). Кстати, Воислав освобожден высшим судом, который не нашел состава преступления. Вот так обстоят дела. Может быть, я и перебежал бы к вам, но я знаю, какова эмигрантская жизнь, ничего не заработаешь. Если бы нашлась работа — перебежал бы, а так — в Пожаревац»[11].

На получение ответа нужна примерно неделя. И Бранислав проводит это время, как уже догадывается читатель, самым приятным образом. У прелестной Милицы были пышные светлые волосы и блестящие черные глаза. «Она любила меня всей душой и даже требовала, чтобы я поклялся ей в верности, и сама поклялась мне в том же».

Не обходится и без смешных приключений. Неожиданно в гости приезжает родственник Трзибашичей, полицейский чиновник. Браниславу пришлось выдать себя за другого. Комедия, в которой принимает участие весь дом, чуть не закончилась разоблачением. Какая великолепная ситуация! Она еще пригодится комедиографу.

Очевидно, вести из Нового Сада пришли неутешительные. Нушич остается в Белграде и решает не терять времени даром. В мае и июне он сдает в Великой школе много предметов и получает прекрасные оценки. Любовь к Милице, желание жениться подстегивают его. Он знает, что за недоучку, за человека, не определившегося в жизни, Милицу не отдадут. После длительного заключения сдавать экзамены было бы гораздо труднее. Бранислав решает получить диплом до отъезда к месту заключения.

Политические события откладывали окончательное вынесение приговора. 1 июля 1887 года к власти пришли радикалы вкупе с либералами. Милан, нуждаясь в деньгах и желая получить от скупщины увеличение цивильного листа, идет на любые политические сделки.

Лишь 2 декабря апелляционный суд выносит решение, по которому Нушич приговаривается «за оскорбление Его Величества короля путем печати» к двум годам тюремного заключения и выплате 25 динаров судебных издержек.

В маленьком Белграде все знают друг друга. Семьи там — могучие кланы, патриархальное кумовство всеобъемлюще. Нашлись заступники, и Браниславу выхлопотали разрешение сдавать экзамены. Он налегает на учебники и уже в сентябре успешно сдает один за другим все предметы, значащиеся в программе юридического факультета. Правда, к профессорам он является в сопровождении громадного усатого полицейского.

В один прекрасный день Бранислав Нушич оказался обладателем университетского диплома. Теперь он мог стать чиновником, адвокатом, журналистом… Покидая канцелярию ректора, он раздумывал о преимуществах и недостатках этих профессий. Впрочем, времени на такие размышления ему хватит.

> «Государство как родная мать: оно может поступить с тобой несправедливо, но зато и приласкает потом, чтобы загладить свою вину перед тобой. Так было и со мной. Увидев, что я задумался о своей дальнейшей судьбе, и предполагая, что я еще долго буду раздумывать над этим вопросом, государство поспешило мне на помощь. Чтобы дать мне возможность обдумать, чего же я хочу, оно отправило меня в пожаревацкую тюрьму, объявив приговор, по которому мне предоставлялась возможность два года размышлять, сидя в четырех тюремных стенах.
>
> Поистине редкая забота со стороны государства».

Официальная газета «Дневны лист» 12 января 1888 года поместила сообщение: «Г. Бранислав Дж. Нушич, выпускник юридического факультета, отправлен вчера, 11 сего месяца, железной дорогой в Пожаревац отбывать двухгодичный срок заключения, согласно приговору Кассационного суда, за стихотворение „Похороны двух рабов“, которое помещено в 98 номере „Нового Белградского дневника“ за прошлый год».

Беда никогда не приходит одна. Прелестная Милица вдруг заболела. Бранислав бросился к своему приятелю Джоке Йовановичу, молодому врачу, только что приехавшему из

Парижа, где он совершенствовался в своем ремесле. «Эскулап» Джока осмотрел хорошенькую Милицу и охотно согласился не отходить от ее постели, пока не поставит больную на ноги. Доверчивый Бранислав рассыпался в благодарностях и, сжимая в руке букетик цветов, полученный на прощание от Милицы, отправился в тюрьму.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
ТЮРЬМА

Так с букетом в руке Бранислав и оказался в камере № 7. Теперь его «горизонт — четыре стены» и масса времени на размышления. «Ох, как тяжело размышлять, будучи втиснутым меж четырех узких стен». Он был готов запеть псалмы, как Давид, перебирая вместо струн арфы прутья тюремной решетки: «Неужто я уподобился тем, кого в могилу кладут, и неужто иссякли силы мои!»

Его утешал один из заключенных: «Не убивайтесь понапрасну, сударь. Я тоже думал, что без меня все остановится, но вот уже два года я сижу в тюрьме, а недавно получил письмо, в котором мне сообщают, что моя жена родила. Все в божьей власти. Бог даст, сударь, и без вас обойдутся!»

Бранислав запомнил эти слова, а может быть, и сам их придумал, как и разговор с базарным воришкой, который якобы никак не хотел поверить, что за какое-то стихотворение можно получить два года тюрьмы, и посоветовал позабыть об университетском образовании и заняться «настоящим делом» — срезать кошельки. «Думаешь, так и прошагаешь по жизни с университетом да со стихами. А ну, давай, ты пиши стихи, а я буду воровать, а лет этак через двадцать встретимся. Запомни, встретимся! И если я к тому времени не буду депутатом скупщины, то уж по крайней мере буду председателем правления или контрольного совета какого-нибудь банка. Ты пройдешь мимо меня в истертых брюках и с истертым умом и, скинув передо мной шапку, поклонишься, выразишь мне свое почтение и предложишь за пятьдесят динаров написать поздравление в стихах ко дню моего рождения. Выйдет, вероятно, к тому времени одна или две книжки стихов за твоей подписью, но к тому времени появятся уже сотни тысяч акций с моей подписью. С каждым днем цена на твои книжки будет падать, а цена на мои акции будет расти; твою книгу оценят по достоинству двое-трое таких же, как ты, а мои акции будут цениться даже на бирже. Над тобой станут смеяться, когда будешь проходить через чаршию, а обо мне будут говорить с уважением. Верно?»

Бранислав Нушич серьезно уверял, что через двадцать лет он и в самом деле встретил этого жулика, который к тому времени разбогател и стал уважаемым членом общества.

На другой день его перевели в одиночную камеру № 11, «для политических». Но предварительно жандарм отвел его к

начальнику тюрьмы, который должен был завести дело на нового заключенного. Начальник задавал вопросы, а Бранислав отвечал на них, и в памяти его всплывали «личные приметы» возлюбленной.

«— Веры православной?

— Да, конечно! (Ведь и она той же веры.)

— Вам двадцать три года?

— Ах, а ей всего только шестнадцать, ее лицо еще покрыто тем сладким пушком, который с яблока сдувает первый ветерок, а с девичьего лица первый поцелуй. Шестнадцать лет! Мюссе, вспоминая этот возраст, вероятно, воскликнул бы: „О, Ромео! Это же возраст Джульетты!.. В этом возрасте девушка является во всей красе невинности и во всем великолепии красоты!“

— Глаза карие.

— Нет, нет, господин начальник, у нее черные глаза. Они усыпляют, они пробуждают, они обжигают, они сами лечат нанесенные ими раны.

Но… не буду больше думать о ней. Ведь, может быть, как раз в эту минуту она положила свою очаровательную головку на пуховую подушку и размышляет, в кого бы ей влюбиться, пока меня нет».

Так отвечал Нушич, но до ушей начальника доносились только короткие фразы, которые тому и полагалось услышать. А в голове Нушича зрел новый литературный замысел, шли поиски формы, причудливой и смешной.

Наступили дни полного одиночества. Лишь за час до полудня Бранислава выпускали на короткую прогулку. Письма разрешалось писать только в определенный день, раз в неделю, да и то эти письма отправлялись только в том случае, если их просматривал начальник тюрьмы. На письмах, которые доходили до Бранислава, тоже стояла подпись начальника.

В первое время главным чтением Нушича было Священное писание. По нему Нушич учился хорошему сербскому языку, а кроме того, он запомнил великое множество библейских изречений и сюжетов, которые великолепно знал до конца своей жизни и удачно использовал. Вскоре он был «полностью подготовлен к произнесению церковных проповедей».

Однако в церковь он попадал не часто. Каждую неделю надзиратели водили в городскую церковь двадцать очередных заключенных. По улицам они шли попарно в сопровождении вооруженных конвоиров.

«Не могу утверждать, что строгий режим по отношению ко мне применен по специальному приказу из Белграда. Скорее всего, это была инициатива самого начальника каторги, а надо знать, что этим начальником тогда был пользовавшийся дурной славой бывший уездный начальник из либералов Илья Влах. Белый Медведь, Илья Влах и еще несколько уездных начальников тогда были знаменитыми сатрапами режима, от которых стонал целый уезд, попавший им в лапы, и о них в редакции оппозиционных газет письма шли сплошным потоком. Так как пожаревацкая каторга была всегда полна оппозиционеров, то туда начальником специально послали Илью Влаха, чтобы он им и в тюрьме отравлял настроение.

Разумеется, такой человек, увидев из сопроводительных бумаг, что я осужден за оскорбление Его Величества — а это считалось самым большим преступлением, которое только можно было себе представить, — должно быть, по собственной инициативе применил ко мне тюремные порядки со всей строгостью.

Не имея возможности писать, читать, разговаривать с кем бы то ни было, я убивал время тем, что целыми днями молол кофе, варил его и пил; а еще набивал сигареты и возился со старым пальто, которое я без надобности укорачивал, лишь бы чем-нибудь заняться».

Однако из других источников мы узнаем, что в первый же месяц своего пребывания в тюрьме Бранислав много работает и ведет обширную переписку. Уже через десять дней после прибытия в Пожаревац, 23 января, он пишет Илье Огняновичу-Абуказему, редактору новосадского «Явора»: «У меня есть несколько стихотворений, которые я мог бы послать вам сразу, да знаю, что стихов у вас обилие — щебет доносится со всех сторон, а потому дайте мне еще немного времени, и я напишу для вас рассказик из тех, капральских… Если попадет в руки какая-нибудь новая книжка, сделаю и критическую заметку…»

Очевидно, у Нушича сразу же появились каналы связи с волей, о которых не было известно начальнику тюрьмы. По этим каналам шли газеты, книги, письма, известия о хлопотах друзей, старавшихся добиться освобождения Бранислава. Это видно из ответного письма Абуказема, сообщавшего, что «обстоятельства скоро переменятся», и обещавшего посылать книги «по тому же адресу, по которому высылается газета».

Нушич шлет стихи и извиняется: «Мне бы уже следовало рассказ закончить, но не получается, я и это пишу ночью, да и то осторожно — боюсь, заметит часовой, который ходит под окном…»

Вскоре все изменилось.

По одной версии, смягчение режима выхлопотали друзья Нушича. Его собственная версия куда более красочна.

* * *

Начальник тюрьмы, Илья Влах, личность была вполне реальная. Он и в самом деле подвергался критике органа радикалов «Одъек», обвинявшего его в «служебных злоупотреблениях, взяточничестве и протекции». Он привык преследовать «смутьянов» — радикалов и был сбит с толку событиями, которые произошли перед самым появлением Нушича во вверенной ему тюрьме.

Радикалам предложили сформировать правительство. И главой правительства стал Савва Груич, который еще молодым офицером вместе со Светозаром Марковичем жадно читал в Петербурге сочинения революционных демократов и посещал собрания нигилистов. Теперь он был спешно произведен из полковников в генералы и заседал в одном правительстве с министром иностранных дел полковником Драгутином Франасовичем, матери которого были устроены пышные похороны, описанные в «Двух рабах».

Начальник тюрьмы Илья Влах ожидал, что из Белграда последует амнистия политическим заключенным. Но этого не произошло. Радикалы, хлебнув власти, тотчас усвоили программу либералов и постарались избавиться от «нигилистических и анархических элементов». Вот уж поистине, хочешь сделать человека благонамеренным — дай ему власть. Невольно вспоминается Мирабо, который утверждал, что якобинец на посту министра — уже не якобинский министр ибо уста, прежде требовавшие крови, теперь источают примирительный елей.

Трансформации, происходившие с радикалами, в тюрьме были как-то особенно ощутимы. Впоследствии Нушич сравнивал глазок тюремной камеры с волшебным биноклем.

> «Посмотришь, например, на какого-нибудь политика с одной стороны — и видишь политического деятеля, великого государственного мужа, чье каждое слово означает эпоху в развитии государства, чей каждый шаг

— это шаг истории; толпы людей преклоняются перед его мудростью. Такие деятели заменяют олимпийских богов, живших когда-то среди людей. А повернешь бинокль, посмотришь с другой стороны — и увидишь жалкого государственного чиновника, увидишь себялюбца, каждое слово которого пропитано расчетом и лицемерием, каждый шаг которого — это очередная попытка ограбить. Толпы платных агентов кланяются ему, превозносят его, а он, как меняла из Ветхого завета, зашел в храм господний в надежде поторговать».

Порядок вещей и отношений в государстве нисколько не изменился, но Илья Влах, поразмыслив месяц-другой, на всякий случай стал допускать некоторое благодушие по отношению к политическим заключенным. Бог его знает, как еще повернется и кем они станут!

Почувствовав новое умонастроение начальника, Бранислав на одной из поверок попросил разрешения писать. Это была уже вторая попытка — в первый раз Илья Влах наорал на него. Теперь же он лишь по-отечески посоветовал:

— Не пиши, юноша. Тебе же лучше будет. Ведь это тебя до тюрьмы довело. Был бы ты необразованный, и посейчас оставался бы честным и достойным человеком. И в жизни, может быть, чего-нибудь добился бы. А так ты, словно мошенник, пошел по тюрьмам…

Поскольку и эта попытка не удалась, Бранислав пошел на хитрость. В кабинете Саввы Груича министром юстиции стал Гига Гершич. Человек это был весьма примечательный. Ученый юрист и профессор университета, он был остроумен и всесторонне одарен. До сих пор в Югославии шутки его публикуются в сборниках исторических анекдотов. Бранислав еще в школе читал его переводы «Гамлета» и «Отелло». Гершич был и неплохим художником. Говорят, что в юморе Нушича прослеживается влияние Гиги Гершича.

Так вот как Нушич описывал свою борьбу за смягчение тюремного режима:

«Покойный Гершич, как известно, был женат на госпоже Марине, которая вышла за него, будучи вдовой. Госпожа Марина прежде была женой какого-то моего дяди, и по сей причине я сделал открытие, что Гига Гершич приходится мне… дядей. То есть никакого открытия я не делал, а так как министр юстиции Гига Гершич был непосредственным и высшим начальством начальника тюрьмы, то мне пришло в голову

провозгласить Гершича дядей и добиться этим самым улучшения своего положения и, что самое главное, может быть, получить разрешение писать».

В тот день, когда разрешалось писать письма родным, Бранислав сел и написал такое письмо:

«Дорогой дядя!

Вы вправе сердиться на меня, что я до сих пор ничего не писал Вам, но мне просто не хотелось беспокоить Вас. Я знаю, что Вас интересует, как я себя чувствую здесь, в этом необычном доме. Не могу сказать, что мне так же удобно, как в родном доме, но и жаловаться не на что. Одно мне досаждает — время течет очень медленно.

Если бы мне разрешили писать, поверьте, я бы терпеливо пережил свое двухлетнее заключение. Мне кажется, это можно разрешить, так как я не думаю, что стал бы писать что-либо политическое.

Когда моя мать зайдет к Вам, прошу Вас передать ей поклон и сказать, чтобы она ни о чем не беспокоилась. Кланяюсь много раз и тете Марине.

Ваш племянник Бранислав Нушич».

Министр, разумеется, рассвирепел бы, получив такое письмо, но самозваный племянник рассчитывал, что дальше начальника тюрьмы оно не уйдет.

И в самом деле, на другой день часов в восемь утра загремел засов, дверь отворилась, и вошел начальник Илья Влах.

— Добрый день, юноша! — сказал он вежливо, и по его вежливости и дружелюбному выражению лица заключенный отчетливо почувствовал, что письмо уже прочтено.

— Ну, как ты? Как тебе здесь нравится? — продолжал тем же тоном Илья Влах, разглядывая камеру, в которую прежде никогда не заходил, так как избегал какого бы то ни было общения с политическими преступниками. — Говорят, Нушич готовит хороший кофе… вот я и подумал: схожу-ка, выпью чашечку писательского кофе. Можешь приготовить?

— Выучился…

— Ну, вот и хорошо! Нет худа без добра. Не попал бы в тюрьму, так бы и не научился кофе готовить. А ну-ка, ну-ка, приготовь две чашечки!

Бранислав намолол кофе и налил воды в джезву.

— Это самое… что я хотел тебя спросить? Ах вот, тебе, наверно, скучно сидеть так вот целый день? Ты же читать хочешь,

писать…

— Конечно! — восторженно откликнулся Нушич, уже наверняка зная, что начальник прочитал письмо.

— Видишь ли, какое дело, — продолжал Влах, — если бы я был уверен, что ты не станешь писать всякие там политические статьи, корреспонденции.

— Ей-богу, не буду! — божился Бранислав.

— И если бы я знал, что ты не станешь писать стихи…

— Никогда в жизни. Решил вообще больше не писать стихов.

— Эх, братец, — сказал начальник с таким видом, будто все это для него было совершеннейшей неожиданностью, — да если б я это знал, да если б ты мне все сказал с самого начала, разве ж я не позволил бы тебе писать? Пиши себе на здоровье, лишь бы время побыстрее проходило.

— Спасибо, господин начальник! — поблагодарил его Бранислав как можно быстрее, чтобы поймать на слове.

— Слушай, не за что меня благодарить. Я б тебе с самого начала позволил, если б знал…

Кофе уже был готов, и начальник с видимым наслаждением прихлебывал из чашечки.

— Смотри ты на него! Он и в самом деле варит добрый кофе. Это самое… что я тебе хотел сказать… тепло у тебя в камере?

— Ничего, господин начальник.

— Дров получаешь достаточно?

— Три полена в день… Как положено.

— Слушай, что значит «положено»! Три полена! Это же черт знает что такое! Три полена хватит тому, кто укроется одеялом с головой и лежит целый день. А если писать… Нет, раз ты пишешь, нужно, чтоб в камере было немного потеплее. Я прикажу давать тебе по пять поленьев в день.

— Спасибо, господин начальник!

— Хороший у тебя кофе! Каждое утро буду приходить к тебе на кофе, поговорим. Ведь если не с тобой, то с кем же еще разговаривать? Не с ворами же да поджигателями… Я приду!

Похоже было, что разговор на этом кончился — Илья Влах встал, пожал Нушичу руку и пошел к двери. Он было уже взялся за ручку, как вдруг обернулся и небрежно, как бы между прочим спросил:

— Это самое… что я тебя хотел спросить… а, да… скажи, господин министр Гершич не родственник тебе будет какой-нибудь?

— Это кто, дядя Гига? — с удивленным видом переспросил Бранислав. — О да, он мой дядя… Как раз вчера я черкнул ему несколько слов, чтобы он не очень сердился на меня за то, что не

пишу.

— Точно, — подтвердил начальник, — я только что прочитал твое письмо. Слушай, я тебе это письмо верну, напиши как-нибудь по-другому.

Бранислав просиял от радости, так как боялся, что письмо уйдет к Гершичу, который рассердился бы, если б увидел, что его называют «дорогим дядей».

— Да, да, я и сам так подумал после того, как вы мне разрешили писать! — радостно согласился Бранислав на предложение начальника.

— Вот, вот! — добавил тот. — Напиши ему по-свойски. Скажи: хорошо мне здесь, заботятся обо мне и… все такое прочее. Ты же умеешь писать — в тюрьму за эту самую писанину попал. Так ему и напиши, а писать я тебе разрешаю сколько угодно, и не нужна тебе никакая протекция!

Сказав это, он переступил через порог и закрыл за собой дверь.

> «Я слышал его воркотню, доносившуюся из коридора, — продолжал Нушич, — и мне все казалось, что он повторяет и повторяет одно слово протекция, протекция. И когда мне немного погодя по его распоряжению принесли из канцелярии бумагу, чернила и перо и когда я сел за стол, думая, с чего бы начать писать, в ушах у меня все еще звенело последнее слово начальника: „протекция“. И первым словом, которое я написал на чистом листе бумаги, было: „протекция“. И под этим словом в тюрьме я написал целую пьесу, и название ее так и не изменилось: „Протекция“».

В диалоге с начальником тюрьмы, который приведен почти дословно из предисловия к комедии «Протекция», ощущается твердая рука комедиографа. Нушич с наслаждением выписывает характер Ильи Влаха спустя почти пятьдесят лет после того, как видел его в последний раз. Он уже вряд ли помнил хотя бы единое слово из того, что было сказано между ними. И тем не менее мы верим Нушичу. Верим искусству…

Диалогу нужна эффектная концовка, и Нушич играючи преподносит ее. Ритмичное повторение слова «протекция» требует окончания на более высокой ноте, почти героического. И рассказ завершается сообщением о подвиге: «в тюрьме я написал целую пьесу».

Кроме того, на титуле знаменитых нушичевских «Листков» и поныне во всех изданиях повторяется фраза, свидетельствующая о том, что они тоже «написаны в Пожаревацкой тюрьме в 1888

году». А это книга в сотню страниц. И какая книга!

Неужели все это написано в тюрьме? Вряд ли. Но мы поговорим о комедии «Протекция» и «Листках» потом. Сперва выпустим Нушича из тюрьмы. Хотя бы в интересах исторической правды.

Тем временем, пока Бранислав с разрешения начальства открыто исписывал листок за листком, старый Джордже Нуша хлопотал в Белграде за своего любимца. Король Милан, стремясь оправдаться, утверждал, что он не знал о смерти и похоронах майора Катанича. Истинное мнение короля о Нушиче мы еще узнаем, но пока дворцовая челядь поставила помилование Бранислава в зависимость от «доброй воли» полковника Франасовича.

И Франасович, став в позу оскорбленного сына и верноподданного, отчитывает старика, а заодно и Бранислава.

> «Белград. 3 апреля 1888.
>
> Господ. Нуша,
>
> Вы обратились ко мне с просьбой простить Вашему сыну Браниславу оскорбление, которое он мне нанес, оскорбив память пок. матери в связи с ее похоронами непристойным стихотворением, опубликованным в какой-то газете. Ваш сын осужден не потому, что оскорбил меня, а потому, что своим стихотворением он оскорбил особу Его Величества короля, который из уважения к покойнице исполнил ее последнее пожелание и проводил ее к тому месту, где она будет спать вечным сном.
>
> Я не буду здесь давать оценку делу Вашего сына, но думаю, если у него есть хоть какое-нибудь представление о чести, то позднее он будет краснеть от стыда всякий раз, когда вспомнит, какие обстоятельства он использовал для оскорбления высокой особы Государя и памяти покойницы, пользовавшейся всеобщим уважением.
>
> Как я уже говорил, Бранислав осужден не из-за меня, но если это повлияет на вопрос о его помиловании, я лично его прощаю.
>
> Ваш Драг. Франасович, полковник».

Это письмо Джордже Нуша приложил к прошению, написанному каллиграфическим писарским почерком.

> «Его Величеству
> Королю Милану I.

Ваше Величество, благородный Государь,

Уста немы, а слова неспособны выразить то, что чувствует сердце несчастного отца, который припадает к ногам Вашего Величества и молит о милости к своему осужденному сыну.

Из моей груди в это мгновенье рвется только одно слово:

Милости, Благородный Король!

Молодость склонна к ошибкам и заблуждениям; мой сын ошибся и провинился, ошибка наказана, он уже три месяца сидит в тюрьме, но настоящее наказание для него в том, что он сам признает теперь свою ошибку и искренне раскаивается, а я, Ваше Величество, могу дать самое торжественное обещание, что мой сын никогда больше не сделает подобной ошибки.

Седой, старый, немощный, жестоко раненный под старость роковой ошибкой моего сына, вот я лью слезы и молю Ваше Величество о милости к моему сыну, возлагая все надежды на известное великодушие сердца Королевского и прилагая к моей покорнейшей просьбе великодушно прощающее письмо Господина Франасовича.

Вашего Величества наинижайший и наипреданнейший

Джордже Нуша, отец Бранислава Дж. Нушича.

16 апреля 1888 года. Белград».

Это прошение, оснащенное всеми прописями, соблюдавшимися при составлении «слезных челобитных», уже само по себе рисует образ отставного чиновника, чернильную крысу и самозваного ходатая по делам, которого подрядил старый Джордже в какой-нибудь кафане. Сам Бранислав, безусловно, никогда не видел этого прошения. Иначе оно бы его очень позабавило.

Двадцать второго апреля Бранислав был освобожден по представлению министра внутренних дел и, как говорили, благодаря заступничеству родственницы короля Милана некоей Катарины Богичевич. Это постарались друзья Нушича. Больше всех радовался Джордже Нуша, конторщик мясоторговца Косты Панджела.

В дневнике одного из современников Нушича есть запись: «Сегодня король помиловал Бранислава Нушича. Он и раньше бы это сделал, да, говорят, Франасович не хотел прощать…»

Бранислав Нушич пробыл в тюрьме три месяца и десять дней.

Петр Нушич, сын Гераса, некогда усыновившего Джордже Нушу и давшего ему свое имя, до того как случилась беда, был дружен с Бранославом. Но теперь, популярный наездник и победитель на всех конных состязаниях, офицер и ординарец короля Милана, он считал, что королевская неприязнь к однофамильцу может отразиться на его карьере. Он хлопотал о перемене фамилии, и в официальных «Сербских новинах» появилось объявление: «Г. Петр Нушич, офицер, может переменить свою фамилию Нушич, взяв фамилию Джорджевич».

Это была не последняя измена, о которой узнал Бранислав по выходе из тюрьмы.

* * *

«Листки» — лирический дневник, в котором иронические размышления перебиваются великолепной сатирой. Опубликованные через два года после выхода из тюрьмы, «Листки» имели шумный и заслуженный успех. Часть этой книги, безусловно, была написана в тюрьме.

Заключение словно подхлестнуло Бранислава, замыслы рождались один за другим. Сперва он делал записи «для себя» и поэтому писал раскованно. Тюремная жизнь бедна событиями, но способствует осмыслению того, что происходит вне стен тюрьмы. Неожиданно «прорезался» нушический стиль — вся юмористическая проза Бранислава Нушича вышла из непринужденных и лукавых «Листков».

Когда-нибудь кто-нибудь напишет книгу о «благотворном» влиянии тюремного заключения на литературу. Вспомнит Сервантеса, Аввакума, Чернышевского…

Впоследствии Бранислав Нушич вспоминал о своем тюремном заключении по самым разным поводам. И писал об этом даже с какой-то теплотой и гордостью. Эта гордость понятна. Человек пострадал за свои убеждения, за стихи, а не за постыдный поступок. И чем больше Нушич рассказывал, тем подробнее он описывал тюремную обстановку. Казалось, он помнил все свои разговоры в то время, все мысли… Постепенно художник снова заслонил летописца. Тюрьма стала казаться веселым пиршеством мысли, которое не могло уместиться в срок, действительно проведенный в камере. И этот срок тоже стал растягиваться. У самого Нушича, да и у всех пишущих о нем, мы читаем, что пребывание в застенке продолжалось почти год, что суровый режим, во время которого ему приходилось пробавляться одним лишь Священным писанием, растянулся на целых три

месяца и был изменен в связи с отречением короля Милана, будто бы имевшим место 22 февраля 1888 года. Напомним, что Нушич отправился в тюрьму 11 января 1888 года.

Можно начать с того, что отречение короля произошло ровно годом позже, а заключение было совсем не столь длительным, и, убедившись на примере еще десятка ошибок в полной исторической несостоятельности Нушича, подвергнуть сомнению и все остальное. А стоит ли это делать? Может быть, лихая выдумка юмориста важнее приземленной правды? Может быть, она точнее расскажет нам об его неунывающем характере, о неистощимом остроумии и невероятной находчивости? Исторические же неточности можно исправить, а связанные с ними наиболее фантастические подробности — опустить.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
«МАЛАЯ ГАЗЕТА»

Бранислав просидел в тюрьме сравнительно недолго, Милица Трзибашич оправилась от своей болезни еще быстрее и тотчас… вышла замуж за своего исцелителя. Нушич даже не застал ее в Белграде, господин и госпожа Йовановичи отправились к этому времени в свадебное путешествие.

Долго не мог забыть Нушич свою маленькую Милицу. Пройдет время, и он будет читать одну из своих юмористических лекций… на тему: «Что такое любовь?»

Популярного писателя собрались послушать многие белградцы. Они встретили его, радостного, улыбающегося, бурными аплодисментами.

И вдруг взгляд лектора, упавший на первый ряд, стал серьезным, улыбка сползла с его лица. Там сидела неверная Милица со своим мужем.

Но лектор быстро пришел в себя.

— …Поверьте, Маркони было легче изобрести беспроволочный телеграф, Эдисону — телефон, а новосадскому актеру Душановичу — машину для насильственного откармливания гусаков, чем всем нам найти ясный и точный ответ на поставленный вопрос: что такое любовь?..

Нушич в тот предрождественский вечер превзошел себя. Под хохот зала он придумывает, что бы сказали о любви люди различных профессий — аптекарь, коммивояжер, актер, портной, офицер («Любовь — это осада города, который надо брать штурмом, однако чаще всего осаждающие берут его, сдавшись в плен»)…

И, наконец:

— Народ говорит, что любовь — это болезнь…

А где болезнь, там и врачи. Нушич пускается в клиническое описание болезни, он рисует портреты ученых мужей, якобы нашедших любовную бациллу, придумывает клинику, в которой есть «отделение легких любовных недомоганий» и «отделение для влюбленных по уши», пересыпает речь учеными терминами, изображая врачей, ставящих диагнозы, и, наконец, с серьезным видом рассказывает историю изобретения противолюбовной сыворотки.

Публика охотно приняла участие в игре. Известные писатели, находившиеся в зале, писали записки со своим определением любви, и Нушич их тут же зачитывал.

Однако вечер кончился неловко. Нушич подошел к краю сцены и уже серьезно сказал:

— Хотите слышать еще одно мнение о любви?

Поскольку публика в очередной раз разразилась аплодисментами, Нушич продолжал:

— Ладно. По моему скромному мнению, любовь — это когда она (Бранислав протянул руку в сторону «неверной») любит одного (он ткнул себя пальцем в грудь), а выходит замуж за другого (теперь рука указывала на «ее мужа»)!

Супруги Йовановичи встали и демонстративно вышли из зала. Публика кричала Нушичу «Браво!», но удовлетворения от такой мести не было…

* * *

В «Листках» возвращение в Белград отмечено такими словами:

«О, Белград?! Он прекрасен, как всегда! Тут жизнь, тут вечное движение; парки, музыка, черные глаза, судебные исполнители, концерты, театры, опротестованные векселя, казино, лекции, украденные на почте посылки… и вообще жизнь, жизнь, жизнь, вечная жизнь и вечное движение!

И вот я возвращаюсь в этот самый Белград. Он совершенно не изменился, он такой же, каким я оставил его.

Старый, старый Белград!

Тут все та же старая мерзкая мостовая и все та же мерзкая политика; в нем по-прежнему все еще 50 учителей и 400 жандармов; 10 школ и 12 казарм…»

Черные глаза были далеко, а «мерзкая политика» совсем рядом. Отец Бранислава уже не мог содержать своего великовозрастного сына. Да и нелепо было бы, имея диплом, вернуться в нахлебники. Дипломированный юрист обратился в министерство юстиции, и министр (к этому времени уже не «дядя» Гига Гершич, а другой, так как в апреле радикалов снова удалили от власти) отнесся к Нушичу благосклонно и собирался предоставить ему должность младшего судейского чиновника. Но король собственноручно вычеркнул имя Нушича из списка кандидатов на государственные должности.

Это была первая и последняя попытка воспользоваться дипломом юридического факультета. Отныне Нушич будет общаться с Фемидой только в роли подсудимого.

Но в глубине души Бранислав и не жалел, что не стал канцелярской крысой, к которой он тогда же обратился с

сочувственной тирадой:

> «И вот как проходит твоя жизнь: проснулся утром, выпил кофе, почитал сегодняшние газеты, потом пошел в канцелярию, порылся там, как крот, в бумагах, а в полдень пришел обедать, пообедал, потом, как всякий порядочный человек, прилег немножко подремать, потом проснулся и опять отправился в канцелярию. До ужина работал, а потом зашел выпить кружку пива, хороший человек; поужинал, слегка поругался с женой, а не ругался, так говорил о базаре, о квартплате и, наконец, крякнув, вычеркнул еще один день из жизни, задул свечку и лег спать, хороший человек!
>
> А на следующее утро опять проснулся, и опять ждал тебя твой кофе, и опять ты делал все то же, что и вчера, все то же, что делал и позавчера, все то же, что делаешь уже годами. Но в один прекрасный день ты умер, хороший человек, и тебя похоронили, а в тот же день родился другой и пошел по твоей стезе, чтобы пройти ее так же, как ты, чтобы проползти по жизни, как улитка по садовой тропинке, не оставив за собой никакого следа.
>
> Так же будет жить и твой сын».

Бранислав был молод, обладал отменным здоровьем, завидной энергией, блестящими литературными способностями и вынашивал грандиозные планы. Любовную невзгоду помогла перенести неистребимая ирония. Не было только места, которое бы его кормило. На литературные заработки в те времена в Сербии не мог еще прожить ни один писатель.

И Нушич решил стать профессиональным журналистом. Этому помог случай. Владельцы типографии Кимпанович и Медициан пригласили Нушича под акацию, осенявшую «Дарданеллы», и спросили его:

— Согласны быть редактором ежедневной газеты?

Нушич удивился и спросил в свою очередь:

— А кто ее собирается издавать?

— Типография наша, редакцию организуете вы…

— А пойдет она у нас?

Удивление Нушича было понятным. В Белграде еще никогда не издавалась ежедневная газета.

— В Париже идет, пойдет и у нас! — ответили в один голос типографщики и стали излагать свои планы. — Но мы не хотим никаких передовиц. Надоели они, эти передовицы. Писать эту рубрику труднее всего, а читать ее никто не читает…

— А как вы думаете, что сейчас публика читает охотнее

всего? — прощупывал своих издателей Нушич.

— А что вы, Нушич, думаете сами? — в свою очередь осторожничали типографщики.

— Мне кажется, охотнее всего будут читаться белградские новости…

Профессиональная журналистика представлялась заманчивым занятием.

«Слова, которые у нас так дешевы, что их даже не пытаются экономить, швыряют на ветер, разбрасывают, раскидывают, ты превращаешь в один из видов товара и продаешь по самой высокой цене».

Однако это было лишь иллюзией. Издатели и редактор не могли столковаться о пустяке — постоянном редакторском жалованье. Прижимистые типографщики обещали платить гонорары… если газета станет давать прибыль.

Новому органу дали название «Мале новине» («Малая газета»), и Нушич тут же в «Дарданеллах» подобрал редакцию, в которую вошли старые друзья по студенческой труппе Евта Угричич и Павел Маринкович. Позже к ним присоединился Янко Веселинович.

Главной заботой «Малой газеты» были белградские новости, которые подбирали таким образом: «Каждый из нас четверых… должен был одну новость узнать и еще одну выдумать. Это уже было восемь новостей, а если что подвертывалось со стороны — то и больше».

Но вскоре выход из положения был найден. На доске объявлений университета Нушич вывесил объявление, в котором обещал платить по полдинара за весть. Для бедных студентов это были большие деньги, и «сообщения из первых рук» наводнили страницы «Малой газеты».

Новости эти никто не проверял, и есть сильное подозрение, что студенты, как и редакторы, многое выдумывали сами. Газета расходилась превосходно. Особый успех имели сообщения о якобы падавших близ Белграда метеоритах и некрологи. Впрочем, не все сходило с рук.

«Меня целую неделю, — рассказывал впоследствии Нушич, — преследовали родственники одного человека, задавшиеся целью намять мне бока за то, что я поместил сообщение о его смерти, в то время как он был здоровехонек».

Нушич освещал в своей газете работу различных патриотических обществ, коих он продолжал быть непременным членом. Он сближается со Стеваном Качанским, которого называли «Старым бардом». Качанский участвовал во всех войнах в качестве добровольца, считался вождем националистически

настроенной молодежи, а в 1888 году основал газету «Великая Сербия», где опубликовал фельетон «Баба и парень». Высмеяв австрофильскую политику короля Милана (баба — Австрия, парень — Сербия), он угодил в пожаревацкую тюрьму, и причем в камеру № 11, ту самую, в которой сидел Бранислав Нушич.

Но и в тюрьме он продолжал писать патриотические и антидинастические стихи. Одна из его песен, ставшая популярной, была опубликована под псевдонимом «Бранислав», и многие считали, что ее сочинил Нушич.

С особенным увлечением Бранислав и его друзья вели рубрику «Литература — искусство — наука». Прежде всего, они снова пошли в атаку на театр и его руководителя Милорада Шапчанина. В пику директору театра они из номера в номер печатают отвергнутого им ибсеновского «Врага народа».

Несмотря на антагонизм, появившийся между газетой и театром, редакция в полном составе посещает почти все спектакли, не говоря уже о ежедневных встречах с актерами в «Дарданеллах».

К этому времени уже окрепло знаменитое поколение доморощенных сербских актеров, среди которых были Милорад Гаврилович, внук французского писателя Мериме — Люба Станоевич, Илья Станоевич, Светислав Динулович. В Сербию приехали и стали любимцами публики Велика Нигринова, Эмилия Попович и Зорька Тодосич.

Настоящей школы у этих актеров не было, однако публику подкупала страстность их игры и несомненный, хотя и неотшлифованный, талант.

Бранислав подружился с легендарным сербским актером Ильей Станоевичем, которого все, даже в печати, называли Дядюшкой Ильей. На сцене его нельзя было представить себе в какой-нибудь салонной пьесе, во фраке и с прочим великосветским реквизитом. Простое лицо его со слегка вздернутым кокленовским носом зрители знали по спектаклям отечественных драматургов Стерии Поповича и Косты Трифковича, по роли городничего в гоголевском «Ревизоре», по шекспировскому Фальстафу… Все белградские писатели, журналисты и актеры были его друзьями, и как только в «Дарданеллах» появлялся Дядюшка Илья, не было лица, которое бы не расплывалось в улыбке.

Бранислав Нушич написал немало ролей для Ильи Станоевича. Этот актер сам был человеком белградской улицы и неподражаемо смешно играл знакомых ему героев. Обаяние его распространялось не только на зрительный зал.

Беспутный талант, Дядюшка Илья очень любил веселое

общество, кафаны. И тут, в кафанском дыму, он расцветал — рассказывал невероятные истории в лицах, ежеминутно менял маски.

Правда, Дядюшка Илья пил только пиво и никогда не напивался допьяна, что помогло ему сохранить здоровье до преклонных лет. Он и тогда, вспоминая буйную юность, сдирал металлические крышечки с пивных бутылок великолепно сохранившимися белыми зубами.

Историк сербского театра пишет: «При полной свободе творчества, без дисциплины сцены и тисков текста, актер и писатель в Илье Станоевиче брали верх; это было похоже на импровизации Бранислава Нушича, чей юмор в обществе за чашей вина превосходил его писаное слово».

О невероятном простодушии Дядюшки Ильи, его оптимизме, щедрости и остроумии ходило множество анекдотов.

У «старейшины белградской богемы» Ильи Станоевича была приятельница по имени Мими. Вернувшись однажды домой после полуночи, актер обнаружил у двери своей комнаты пару громадных фельдфебельских сапог. Разгневанный Дядюшка Илья бросился в комнату и в самом деле обнаружил в собственной постели фельдфебеля. Актер отправился искать утешения в кафану, откуда не выходил три дня. На четвертый день ему подали записку от Мими. «Дорогой дядюшка Илья, то, что ты видел, неправда…» — писала она.

Бедная Мими была очень огорчена случившимся. Дядюшка тоже — не выбрасывать же Мими на улицу. Выход из положения нашел Нушич. Тут же, в кафане, устроили сбор денег на приданое Мими и вскоре выдали ее за фельдфебеля. Говорят, собрали 50 динаров — для фельдфебеля это были приличные деньги.

Впрочем, в те времена, когда Нушич редактировал «Мале новине», Илья Станоевич был еще достаточно молод, чтобы не делить своих Мими с фельдфебелями.

Зато от рецензентов газеты ему досталось. Досталось многим актерам. Особенно ядовит был Павел Маринкович. Во время одного спектакля актеры даже отклонились от текста, чтобы отомстить ему. Дядюшка Илья спросил по ходу действия пьесы актера Динуловича, чем тот занимается. И Динулович, подражая голосу Маринковича, ответил: «Повторяю философию (Маринкович все не мог никак закончить философский факультет), перевожу с: французского и пишу рецензии в малых газетах».

И напрасно «Мале новине» от 7 сентября 1888 года возмущалась «безобразием в театральном зале»…

В конце концов разразился скандал.

Однажды в редакцию влетела рассерженная Вела Нигринова. Прославленная актриса уже не раз подвергалась нападкам Павла, почему-то невзлюбившего ее. Она держала вчерашний номер газеты, где Маринкович уничтожающе говорил о ее игре в «Деборе».

Любезный Нушич был польщен «вниманием» красивой актрисы, но вместе с тем стал отстаивать право критика на свободное суждение…

— Все врет ваш Павел. Не был он на представлении вчера, — сказала, расплакавшись, актриса.

— На каком основании вы это утверждаете? — вступился за честь мундира Нушич.

— Я вчера не играла, — сказала Нигринова. — «Дебору» отменили из-за болезни Йовановича… Позор вам и вашей газете!..

Несмотря на популярность газеты, издатели ее не выполнили обещания, данного Нушичу. Все служащие редакции получали гроши. Нушич расстался со скупцами, а те поторопились продать с выгодой «Мале новине» Пере Тодоровичу, трибуну радикальной партии, который выпускал ее до самого 1903 года.

Нушич снова оказался не у дел и без средств к существованию.

К этому времени относится начало его романа с одной известной белградской молодой актрисой, веселой, красивой и доступной. Нушич робел перед ней и поэтому находился в состоянии платонической влюбленности. Роман получил бы свое естественное развитие, если бы этому не помешала незавидная роль, в которой оказались молодая актриса и молодой драматург. Это случилось в доме богатого белградского мясника Панджела, праздновавшего «славу», день святого покровителя семьи. В такие дни, по старинному сербскому обычаю, собираются вместе попить, поесть и повеселиться все родственники. Нушич и актриса были приглашены за плату забавлять гостей. Несмотря на стесненное положение, Бранислав никогда не принимал подобных предложений, считая их оскорбительными. Но на этот раз его упросил старый Джордже Нуша, который служил у этого самого Панджела и боялся потерять место. Бранислав должен был произнести речь. Актрису тоже вынудили прийти, потому что она снимала квартиру в доме, принадлежавшем богачу, и давно за нее не платила. Увидев друг друга в роли «наемников», они оба испытали неловкое чувство и уже больше никогда не встречались. Рассказывая этот случай, обычно называют актрису Народного театра Ольгу Илич, но такое утверждение было бы верным, если бы, судя по биографическим справочникам, Ольге Илич к тому

времени не исполнилось всего… десять лет. Впрочем, с подлинной Ольгой Илич мы еще встретимся.

Бранислав снова стал хлопотать о месте на государственной службе. На этот раз в министерстве иностранных дел. Нушич ссылался на то, что владеет греческим и немецким языками, а также немного французским. Министр Чеда Миятович, сам человек пишущий («благословенна земля сербская, где редко встретишь человека, который хоть раз в жизни не был бы министром или журналистом…»), охотно зачислил Бранислава в штат министерства, но король и на этот раз не утвердил назначения.

И тогда министр Миятович посоветовал Нушичу получить аудиенцию у короля Милана и просить о прощении. Бранислав согласился. А что еще было делать? Став силой, радикалы открестились не от одного молодого бунтаря. Бывшие приятели, вознесенные в министерства, пороги которых обивал Нушич, только разводили руками. Браниславу не давали даже места учителя. «Из-за поганого языка и еще более поганого пера» — как выразился один тогдашний министр.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
РОКОВОЕ СЛОВО «ДИНАСТИЯ»

У короля Милана I было много забот. Только что завершился его бракоразводный процесс с королевой Натальей. Он забрал сына и заставил ее уехать из Сербии. Это не прибавило ему популярности в народе. Оппозиция обступила его со всех сторон. Особенно радикалы, которые при поддержке мелких собственников деревни и города по-прежнему были могучей парламентской силой. Пришлось пожаловать народу новую конституцию — правительство стало ответственным перед скупщиной, гарантировалась свобода слова… Конституция 1888 года считалась едва ли не самой либеральной в Европе. Однако любопытное дело — уступки властителей обычно лишь разжигают аппетиты подданных, начинающих входить во вкус политических свобод. Теперь от короля требовали отречения от престола.

Король принял Бранислава в своем кабинете, увешанном оружием, коллекционирование которого было страстью Милана. Монарх стоял, опершись на каминную доску, а неподалеку от него на медвежьей шкуре возлежал громадный дог-далматинец по кличке Виго, верный телохранитель августейшей персоны. У короля было полное круглое лицо с раздвоенным подбородком, безупречный косой пробор и пшютоватый вид.

— Так вы и есть, значит, тот самый Нушич? — строго спросил король провинившегося поэта.

— Да, ваше величество, — подтвердил оробевший Бранислав.

— А я-то представлял себе вас бог знает каким, — насмешливо продолжал Милан, оглядывая маленькую фигурку Бранислава. — Стихи пишете! Знайте же, что вы были так строго наказаны не потому, что нанесли мне тяжелое оскорбление, а потому, что вам в самом начале вашей деятельности необходимо было дать крепкий подзатыльник. Ведь вы только вчера закончили школу, сделали первый шаг в жизни и уже замахнулись не на стражника, не на министра, а на самого короля? Кого же вы будете в своей жизни бить потом, если начали с короля?! И что вам теперь от меня надо?

Король стал ходить по кабинету. Нушич молча поворачивался ему вслед. Впоследствии он признавал за королем большие ораторские и актерские способности. Теперь Милан, казалось, демонстрировал их.

— Кто вы такой и что вы такое, чтобы обсуждать поступки

короля, которому старая женщина заменяла мать! Своим присутствием на похоронах я хотел выразить ей свою признательность! Кто вы такой, скажите, кто!

Милан I, известный своим сквернословием, замысловато выругался.

— Ваше величество, — решился вставить Нушич, — я пришел просить у вас разрешения поступить на государственную службу.

Король помолчал, потом смерил его взглядом и решительно сказал:

— Пока слово мое еще что-то значит в этой стране, места на государственной службе вы не получите!

Милан уже знал, что скоро ему придется отказаться от престола. Нушич этого еще не знал.

— Ваше величество, но вы же меня простили…

— Я не прощал вас!

— А я истолковал помилование как прощение, — продолжал настаивать Бранислав, как бы закрываясь этими словами от чувства безысходности, захлестнувшего все его существо.

— Помилование — это политический акт и больше ничего… Вы были случайно помилованы в числе других, — ледяным тоном отрезал король, дав понять, что аудиенция окончена.

Разумеется, смелому читателю хотелось бы, чтобы Бранислав, презрев заботу о хлебе насущном и собственной безопасности, бросил в лицо королю какие-нибудь дерзкие слова, которые окончательно закрепили бы его имя на скрижалях истории. Увы! Будем реалистами, каким был Нушич, неоднократно рассказывавший об этой аудиенции. А ведь разговор велся с глазу на глаз и прибавить что-нибудь от себя юмористу было легче легкого…

Приятели говорили Нушичу, что, по этикету, выходить надо пятясь и кланяясь. Поворачивавшийся за расхаживающим по кабинету королем Бранислав потерял ориентировку и, уклонившись от прямого пути к двери, наступил на дремавшего дога-телохранителя. Он очнулся под вскочившим псом, который разъяренно щелкал зубами. Король отогнал пса и помог Нушичу подняться. Происшествие развеселило Милана, и он стал расхваливать воспитанность и прочие достоинства своей собаки. Напряженность сняло как рукой. И на прощание король смилостивился:

— Скажите господину Чеде Миятовичу, что он может дать вам место, но не в Сербии, а за границей. Проведите-ка там несколько лет… может быть, отучитесь от политики.

Нушич получил место в министерстве иностранных дел. Но это было уже после отречения Милана I. В своей прокламации от

22 февраля 1889 года король жаловался на то, что силы его иссякли в борьбе с партиями. Оставив своим бывшим подданным новую конституцию и тринадцатилетнего наследника, за которого должны были управлять три регента — Протич, Белимаркович и все тот же Йован Ристич, — Милан под именем «графа Таковы» начал беззаботную жизнь в европейских столицах, время от времени наезжая в Сербию, чтобы вырвать очередную «субсидию».

А Бранославу Нушичу тоже предстояло надолго покинуть Сербское королевство.

И начать совершенно иную жизнь…

* * *

В Народном театре уже шли репетиции новой комедии «Протекция».

Нушич много пишет. Менее чем за два бурных года — «Листки», стихи, статьи и, наконец, две комедии. Казалось, неприятности и волнения только подстегивают его. Начатая в тюрьме «Протекция» завершена в блистательно короткий срок и вручена все тому же Шапчанину. Правительства приходили и уходили, а директор Народного театра оставался. Он был ловким политиком и вовремя повернул руль влево. Отечественные и реалистические пьесы хлынули на сцену, и с ними вошла в репертуар комедия Бранислава Нушича «Протекция». Премьера была назначена на 30 марта 1889 года.

Актерам комедия понравилась.

Провинциальный судья Аким Кукич с женой Саветой и дочерью Юлкой приезжает в Белград. Он хочет получить должность в столице, а Юлка — выйти замуж. Желательно «за гвардейского офицера в красных рейтузах». Провинциальный жених, еще только сдающий адвокатский экзамен, ее не устраивает. Она прелестна и глупа. (Ах, Милица Трзибашич, не ты ли причина едких нападок молодого драматурга на кокетливых и легкомысленных барышень, только и мечтающих поскорее выскочить замуж?)

У Акима Кукича есть и сын Светислав. Столичный журналист, он редактирует оппозиционную газету «Друг народа» и в каждом номере ее критикует министра, от которого зависит судьба Акима Кукича. Старый судья приходит в ужас, узнав, что его сын «коммунар». («Это Савета виновата… если мать ругает меня, председателя суда, то сын будет ругать министра».) Светислав пишет и передовицы, и фельетоны, и политические обзоры

(приятные воспоминания о «Смедеревском гласнике») и бичует тех, кто «свои личные интересы ставит выше народного блага, кто бездушно черпает из бездны народных мук свое личное благополучие».

Это чистая риторика. Нушич узнал цену громким словам оппозиции. Политические схватки превращаются в фиктивные дуэли. Вроде тех, что бывали у буршей. Царапинам на лице не дают заживать — украшение! К тому же Светислав влюблен в дочь министра Драгиню.

Аким Кукич останавливается в Белграде у своего брата Манойлы, типичного белградца, который так и сыплет белградскими словечками и шутками. Оба они запирают Светислава в комнате, боясь появления в печати очередной громоподобной статьи «Торговля званиями и должностями», и Аким отправляется к министру за новой должностью, запасшись «протекцией», письмами родственников министра.

А далее… Далее все в том духе, который стал впоследствии нушичевской традицией. В доме министра Аким Кукич встречает сестру министра старую деву Перейду. Та, приняв его за холостяка, идет в атаку… Аким робеет, и его невразумительные речи принимаются за обещание жениться. Но тотчас Персиде подвертывается новый жених, более молодой. Она посылает письмо с отказом Акиму, но оно попадает в руки его жене Савете. Разъяренная Савета устраивает скандал министру. Никто ничего не понимает, и все окончательно запутывается.

Светислав, неподкупный «друг народа», просит у министра руки его дочери. Министр резонно спрашивает жениха, как это согласуется с его писаниями («Вы бесчестны, вы разорили страну»). Но у оппозиционера все очень просто: «Политические противники могут быть личными друзьями, могут уважать друг друга». Фарс семейный превращается в фарс политический.

Министр соглашается на брак своей дочери с политическим противником и улаживает все недоразумения.

Комедия эта гораздо слабее «Народного депутата», который продолжает лежать в театральном архиве, но она первая появляется на сцене, и Бранислав очень волнуется. В день премьеры, 30 марта 1889 года, он прячется от публики, ходит по коридору, нервно трет лицо. И только когда в зале раздаются аплодисменты, приоткрывает дверь и высовывает голову в зрительный зал.

Уже первое действие «разогрело» публику. На сцене лучшие актеры театра. Дядюшка Илья играет Манойла, бывший режиссер нушичевской студенческой труппы Тоша Йованович — министра, Милорад Гаврилович — Светислава… С первых же реплик

Дядюшки Ильи в зале вспыхивает смех. Актеры играют с удовольствием. Герои знакомы им до тонкости. Актеры удивляются Нушичу. Как этот мальчик быстро ухватил секрет сценичности? В каждой реплике даже при чтении уже был виден жест.

А сам автор… «В сущности, я не видел представления, так как все время смотрел на публику, чувствуя себя как на скамье подсудимых». На это сравнение он имеет полное право.

После каждого действия Нушича вызывали, успех был большой. Театр бывал полон на всех представлениях. Но критика была недовольна. Говорили, что автор ухватился сразу за много тем, что комедия растянута, что юмор «тяжелый, банальный и тривиальный». И критики во многом были правы. Однако критика, зорко углядевшая разочарование Нушича в политической игре, которая для большинства рецензентов была делом жизни, не пожелала заметить реакции зрителей.

Нушич становится любимцем публики и мишенью для критики. В зрелом возрасте он скажет: «Разве мальчишки станут трясти дерево или бросать в него камни, если на этом дереве нет плодов?»

* * *

Ободренный приемом «Протекции», Нушич старается не думать о судьбе «Народного депутата» и спешно заканчивает «Подозрительную личность». «Воспитательный» подтекст тирад Милана I пропал даром. Комедия получилась преядовитейшая. И к тому же в ней встречалось роковое слово «династия», звучавшее недостаточно почтительно и лояльно.

Милорада Шапчанина, «лояльность к династии для которого была своеобразной религиозной догмой», комедия перепугала до чрезвычайности. Через несколько десятков лет Нушич писал:

> «Когда я ему отдавал рукопись, он принял ее с доверием, так как в репертуаре театра уже была одна моя пьеса. Он обещал мне быстро ее просмотреть, и в самом деле — не прошло и нескольких дней, как я получил приглашение к господину директору.
>
> Читателю не могут быть известны чувства молодого писателя, когда он отправляется в путь, дабы услышать судьбу своей вещи. Наверное, что-то вроде этого чувствует молодая девушка перед смотринами, где впервые увидится с тем, кто просит ее руки. Разумеется,

я говорю о прошлом, когда этим смотринам не предшествовали многочисленные свидания и обширная переписка. Какое-то неопределенное, неясное возбуждение возносило меня на многочисленные ступени лестницы Народного театра, которая вела к кабинету директора, в свое время находившемуся под крышей, за нынешним третьим ярусом. Перескакивая через три ступеньки, я уже видел, как делят роли, видел уже репетиции, много репетиций, генеральную репетицию; видел публику в ложах и партере и с трепетом ожидал, когда подадут знак и поднимется занавес. Все это я пережил, одолевая сто двадцать семь ступенек, сколько их и в самом деле было снизу и до дверей кабинета директора. Это точное число ступеней было установлено совместными усилиями молодых и потерявших надежду писателей.

Шапчанин встретил меня с той любезностью и предупредительностью, которыми всегда отличался, и все же я чувствовал себя перед ним, как обвиняемый, которому председатель суда сообщает приговор.

— Прочитал вашу пьесу и могу вам сказать — нравится! — сказал Шапчанин. — Грубовато местами, кое-что надо смягчить, но в основном — это хорошая вещь и мне нравится. Мне кажется, она имела бы успех и на сцене.

От такого предисловия по лицу моему разлилось выражение удовольствия, и снова перед глазами прошли репетиции, многочисленные репетиции, генеральная репетиция, публика, и зазвенел в ушах звоночек, которым подают знак к поднятию занавеса.

— Но, — продолжал Шапчанин, засовывая руку в ящик стола и доставая оттуда рукопись, — но я вам, молодой человек, советую — возьмите эту рукопись и сожгите ее в печке.

Шапчанин еще только сказал слово „но“, а меня уже как холодной водой окатило — я почувствовал, что за этим „но“ надвигается нечто неприятное, отвратительное, грубое, жестокое. И Шапчанин закатил многословную речь, имевшую характер отеческого совета. Он говорил о том, что династия — святыня, которой нельзя касаться; объяснял необходимость лояльности по отношению к державе, которая создана по инициативе и усилиями династии; говорил затем о моей молодости и будущности, основы которой надо

закладывать другим пониманием обстоятельств. Наконец он кончил говорить, повторив:

— И я вам, молодой человек, советую эту пьесу сжечь!

Если, поднимаясь, я перескакивал через три ступеньки, то теперь уже я перескакивал через пять, и за секунду спустился с третьего яруса в партер… с рукописью за пазухой.

Разумеется, я не послушал совета Шапчанина. Тяжко свое родное дитя предавать огню и смотреть, как пламя пожирает страницы, исписанные юношеской волей и благородной амбицией. Положил я рукопись в ящик стола, на дно, под другие бумаги, и достал чистый лист, чтобы начать писать новую вещь».

Возможно, пора уже рассказать о комедии, которая повергла в ужас директора театра и заслуживала, по его мнению, аутодафе.

Но предварим наш рассказ одним ценным признанием Нушича.

«Пьеса „Подозрительная личность“, написанная более сорока лет тому назад, несет на себе отчетливый отпечаток влияний, которые преобладали в те годы и под которыми в нашей литературе совершался процесс перехода от романтизма к реализму… Милован Глишич, самый непосредственный ученик Гоголя и самый характерный представитель реалистического направления, был вместе с тем и самым популярным писателем, а „Ревизор“ Гоголя — самым любимым чтением молодежи. Освободиться от такого сильного влияния было трудно, а тем более комедиографу, ибо тогдашнее наше общество, особенно бюрократия, было так похоже на то, которое изображено в „Ревизоре“, что Гоголя вполне можно было считать нашим отечественным писателем. Под большим влиянием Гоголя написаны все мои пьесы 80-х годов, „Народный депутат“, „Протекция“ и, в первую очередь, „Подозрительная личность“, которая так во многом похожа на „Ревизора“. В моей рукописи стояло не „комедия в двух действиях“, как позже значилось в афишах, а „гоголиада в двух действиях“.

Спешу констатировать этот факт, пока критика не выдала его за свое открытие».

И в самом деле, даже в замысле комедии лежит идея

«инкогнито проклятого». В гостинице городка остановился молодой человек, а сказываться, кто он есть, не хочет.

Уездный начальник Еротие Пантич перехватывает письмо, которое присылают его дочери, и говорит при этом: «Есть люди, которые любят чужих цыплят, есть такие, что любят чужих жен, а я люблю чужие письма. Оно в моих руках: смотреть и не знать, что в нем написано? Нет, этого нельзя вынести!» Ну, чем не почтмейстер Иван Кузьмич Шпекин?

Из письма явствует, что у дочери роман с неким помощником аптекаря Джокой, а Еротие прочит ее за своего помощника Вичу, великого пройдоху, который наловчился вымогать деньги у почтенных горожан, сажая их в кутузку по ложному обвинению «в оскорблении династии».

А тут как раз приходит шифрованная депеша из министерства внутренних дел. Странная депеша. Господин Вича расшифровывает ее и приносит начальнику.

«Еротие *(читает вслух)*… „Голубая рыба, откормленная династия…“ С нами крестная сила! Что же это, господин Вича, а? *(Читает дальше.)* „Паровоз, округ, пук, пук, пук…“ *(Бросает взгляд на Вичу и продолжает.)* „…заря, приклад, владыка, фонарь, бедро свояченицы…“»

Оказалось, не тем шифром расшифровывали. На самом деле надо читать: «Чрезвычайно секретно. Согласно имеющимся сведениям… в указанном уезде в настоящее время находится известная подозрительная личность, которая имеет при себе революционные и антидинастические письма…» В общем, приказано подозрительную личность задержать и доставить.

Какие прекрасные перспективы открываются перед администраторами! Можно переарестовать половину уезда, можно чин вне очереди получить. У Еротие расправа короткая: «двадцать пять горячих в закрытом помещении и без свидетелей!»

А тут кстати местный сыщик докладывает, что в гостинице остановился подозрительный молодой человек. Составляется план «окружения» гостиницы, привлекаются все чиновники, личности одна другой колоритнее. Да только дело это непростое, а вдруг он слесарь-механик или бывший русский офицер и при нем бомба? Все отчаянно трусят, и больше всех начальник Еротие.

Взяли «подозрительную личность». И сделала это горничная в гостинице, остальные попрятались. Начальник уже и депешу о «победе» послал.

Стали допрашивать. Молодой человек говорит, что он аптекарский помощник Джока. Бумаги у него изъяли. На одной — стишки.

«Еротие. Ага, стихотворение! Оружие, кровь, революция, свобода…».

Стишки оказались любовными.

На другой бумажке написано: «Против запоров». Что это, протест против тюрем, против действий администрации? Опять неудача. Это рецепты. Против запоров хорошо помогают английская соль и касторка.

Наконец нашли у молодого человека письмо и, как он ни сопротивлялся, стали читать. И дальше сцена, в точности повторяющая сцену из «Ревизора», когда чиновники читают письмо Хлестакова.

В «Подозрительной личности» письмо написано аптекарскому помощнику Джоке дочерью начальника. Господин Бича читает его: «Мой отец, хотя и уездный начальник, человек старомодный, а если уж говорить искренне, глупый и ограниченный. Прежде он был почтмейстером, но что-то там натворил, так что его прогнали со службы, и потом он перешел в полицию…»

— Эй, вы, — кричит начальник, — не слушайте всякую ерунду!.. Это письмо, господин Вича, читать не будем!

Все настаивают на том, чтобы письмо читали дальше.

«Так вот, он и мать пристали ко мне, чтобы я вышла замуж за одного уездного писаря, тощего верзилу, похожего на петуха, а кроме того, пройдоху и перворазрядного жулика, от которого стонет весь уезд…».

И так они читают, вырывая письмо друг у друга, пока не появляется дочка начальника и не объявляет, что она любит своего Джоку, что он и в самом деле аптекарский помощник.

Прощайте чины и награды. А тут еще вместо гоголевского жандарма появляется на сцене депеша о том, что подозрительная личность поймана в другом уезде, но и эту, с документами вместе, предписывается препроводить в Белград.

Директор театра Шапчанин не зря так опасался комедии молодого драматурга. Нушич высмеял в ней всю бюрократическую систему Сербии. Намеки на династию были лишь удобным предлогом для отказа.

Комедиограф каламбурит, нагромождает остроту на остроту, не стесняясь отпускать порой и соленые шутки. Но все к месту, все сатирически заострено, все направлено в одну цель. А каковы типы!

Начальник Еротие, жадный, наглый, трусливый, надевающий на себя десятки личин.

Мелкий полицейский чиновник Шика, вечно пьяный и издевающийся над просителями. «Закон — это мои весы, — вещает он. — Положу на весы твою просьбу или жалобу, а с

другой стороны — параграф. Мало будет, еще один подброшу… суну смягчающее обстоятельство, а если стрелка качнется в другую сторону, подкину отягчающее обстоятельство».

Всякий из чиновников уверен, что уезд дан им на откуп. Каждому хочется выколотить из народа побольше.

Что же касается прав самого народа, то общее чиновничье мнение выразил тот же Жика, позвавший одного из горожан присутствовать в качестве понятого при допросе подозрительной личности.

— Я думал… — хотел сказать что-то горожанин.

— А что тебе думать. — оборвал его Жика. — Я позвал тебя сюда как гражданина, а раз ты гражданин — тебе думать нечего!

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ДИПЛОМАТ

Господин поэт… Бросьте перо или употребите его на то, чтобы получить от своего министра новый чин…

«Листки»

Обширно небо, под которым правоверные молятся Аллаху; велико царство, которым Аллах наделил падишаха… И в том царстве есть и исполинские горы и пленительные озера; мудрые дервиши и прекрасные женщины; роскошные фонтаны и прохладные сады; просторные бахчи и тесные улицы; высокие минареты и низкие башни; таинственные гаремы и жаркие бани; расписные наргиле и серебро с чернью; кунжутная халва и румяные померанцы; жирный плов и сизые маслины.

«Рамазанские вечера»

ГЛАВА ПЕРВАЯ
«Я ГЛЯЖУ НА РЕШЕТКИ ТВОИ…»

Как ни радовали Бранислава литературные успехи, служить все-таки было необходимо.

Захваченный патриотическим движением, он решил посвятить себя делу освобождения сербов из-под турецкого ига и вести среди них пропагандистско-просветительскую работу, развивать в них чувство национального достоинства, готовить к борьбе, которая, как он верил, была еще впереди.

И он знал, что ему придется тяжело. После русско-турецкой войны турки особенно жестоко расправлялись с любым проявлением недовольства. Из турецких владений в Сербию бежало около ста тысяч человек.

Он едет в Македонию, собираясь на свой страх и риск основать там сербскую типографию. Но, видимо, это оказалось непростым делом, и Бранислав потерпел неудачу, причины которой, наверное, так и останутся невыясненными.

Король по-прежнему отказывался подписать указ о предоставлении ему места на государственной службе, хотя Нушич, дипломированный юрист, добивался в министерстве иностранных дел, чтобы его послали хотя бы простым учителем в какое-нибудь село Старой Сербии или Македонии.

Бранислав все-таки поехал в Старую Сербию, но это произошло уже после отречения короля Милана. Он сознательно готовил себя к работе за границей. Грац дал ему знание немецкого языка. Отец научил Бранислава говорить по-гречески и по-македонски, а также немного по-албански. Теперь Нушич упорно учил болгарский и турецкий. Он даже нештатно исполнял обязанности переводчика с болгарского языка.

В министерстве иностранных дел, очевидно, остались им довольны, и вскоре указом регентов молодого короля Александра Обреновича его назначают государственным чиновником — писарем четвертого класса. В декабре 1889 года повышают в звании и собираются отправить в сербское консульство в Скопле. Но получилось так, что сербский дипломат в Приштине, имевший ранг вице-консула, получил отпуск, и Нушичу решили доверить исполнение его обязанностей.

Как ни жестоко поступило с ним государство, проявившее «редкую заботу» и упрятавшее его в тюрьму, в государственной службе за границей он видел возможность помочь своему народу делом.

* * *

На приштинской станции железной дороги Бранислава уже ждал с экипажем сербский вице-консул Лука Маринкович. От станции до города больше десятка километров. Подводить железную дорогу к самому городу, как объяснил консул, запретили приштинские турки, боявшиеся, что это мгновенно поднимет цены на продукты питания.

Почти все биографы Нушича считают его дальнейшее десятилетнее служение на дипломатическом поприще чуть ли не ссылкой, в которую его отправило правительство, желавшее избавиться от неугодного писателя. Кроме слов короля, сказанных во время памятной аудиенции, это ничем не подтверждается. Мы уже знаем, сколь точен бывал юморист в своих воспоминаниях. Иное дело — документы. Они упрямо твердят, что Нушич сам напрашивался на работу в те гибельные края, куда посылались опальные писатели, возводимые в консульские и иные дипломатические чины.

Нушич радел о славянском деле. Из своих переделок он вынес стойкое отвращение к возне, поднимавшейся вокруг власти всеми четырьмя политическими партиями Сербии. Руководители радикалов, некогда манившие его под свое красное знамя, оказались такими же беспринципными и продажными, как и остальные, и бюрократы из них получались не менее тупые и угодливые… Именно это подразумевал Нушич, когда писал в «Листках», что «красный цвет одинаково не нравится быкам, монахам и индюкам», что «это же цвет республиканского знамени и жандармского мундира». И не прав советский исследователь М. Богданов[12], не видящий «ясности» в нушичевском каламбуре. Стремление к буржуазной республике, к царству торгашей прикрывалось фразеологией и атрибутами французской революции. Но этим можно было обмануть кого угодно, только не Нушича. Таково было его отношение к буржуазным партиям, но не к стране, к родине, к лишь недавно завоеванной славянской государственности.

Дорога пролегала по знаменитому Косовскому полю, на котором сербы пятьсот лет назад потерпели поражение от турок. Поле, летом красное от пионов, в этот январский день было занесено снегом.

Издали Приштина показалась Браниславу сказочным замком. Белый город пронзал небо тонкими минаретами мечетей. Вблизи все выглядело иначе — грязные кривые улочки вились меж глухих стен домов. Изредка попадалось крохотное, забранное темной деревянной решеткой оконце. Вся жизнь мусульманской

семьи протекала в покоях, окна которых были обращены во внутренний дворик. Так же жили и местные христиане: женщины их тоже скрывали лица за густым яшмаком, а дома делились на мужскую часть — селямлык и женскую — гаремлык.

Маринкович вводил Нушича в курс дела. В самом городе восемнадцать тысяч жителей, из них всего лишь две тысячи сербов-христиан и едва ли больше тысячи турок. Остальные — албанцы, сербы-магометане, черкесы, цыгане… Обстановка сложная. Мусульмане нетерпимы к «гяурам». Нушичу предстоит по мере сил и возможностей защищать сербов-христиан.

Маринкович вдруг со злобой заговорил об албанцах.

— Это негодяи, разбойники настоящие. Стреляют возле консульства. Уже несколько раз убить грозились!

Заметив на улице албанца в феске, Маринкович выкрикнул турецкое ругательство. Албанец схватился за нож и проводил серба ненавидящим взглядом. Горячность вице-консула Бранославу не понравилась.

Двадцать четвертого января сербские дипломаты посетили местного турецкого начальника — мутешерифа Хафиз-пашу, и Маринкович уехал. Через несколько дней мутешериф нанес ответный визит — уже новому консулу. Красноречие и остроумие молодого человека произвели на турка благоприятное впечатление, и он обещал всяческую помощь.

Нушич стал присматриваться к жизни в городе, объезжал соседние селения.

Турецкая империя приходила в упадок. Уже давно турки-османы утратили свою национальную жизненную силу. Да и не осталось уже чистых турок, перемешались они с покоренными народами, и даже правителями были по янычарским традициям не турки. Всякий, принявший ислам, свободен и теоретически имеет равные возможности. В Приштине всем заправляли энергичные албанцы. Типичного турка можно было узнать по удивительно неподвижному лицу, по умению впадать в состояние абсолютного безразличия к чему бы то ни было, называемое кейфом, когда искусственным напряжением воли из головы изгоняется всякая мысль. Изнеженность и пассивность, а в конце концов и гибель от руки народов, сумевших сохранить свою национальную целостность, чистоту, энергию, — такова судьба властителей империй.

Бранислав увидел, что турецкие власти бессильны навести какой бы то ни было порядок. Убийства и грабежи были обычным явлением. Турки даже поощряли национальную и религиозную рознь, особенно между сербами и албанцами. Единоверцам они покровительствовали. В сербской общине была невыносимая

обстановка. Нушич сообщал в министерство, что все боятся шпионов, брат готов донести на брата, отец — на сына.

Нушич посетил старинный сербский монастырь Грачаницу, построенный сербскими королями еще в XII веке, и нашел этот памятник в ужасном состоянии. Какой-то турок собрал во дворе монастыря могильные плиты и построил из них водяную мельницу. «Душа болит, когда видишь, как старый мрамор, который позже рассказал бы о нашей истории, ныне равнодушно мелет кукурузу», — сообщает Нушич.

Он вроде бы неплохо ладил с местными властями, как вдруг ему запретили поездки. Вскоре он догадался, в чем дело. Удар был нанесен из Белграда.

Буквально через несколько дней после приезда Бранислава в Приштину в белградской «Малой газете» (той самой, которую Нушич создал и выпестовал) появилась статья «Политика это или комедия». И написана она была новым владельцем газеты Перой Тодоровичем, который находился в оппозиции к правительству и придрался к своему долголетнему коллеге по радикальной партии министру иностранных дел Савве Груичу. Под псевдонимом «Старый учитель из Старой Сербии» Пера писал:

> «Горе, горе, сто раз горе нам! Бедный, несчастный Савва, как ты будешь выглядеть, как мы все будем выглядеть, когда наш представитель г. Нуша впервые пойдет представлять нас перед турецкими вали[13] и перед любопытными сербами приштинскими, которые побегут смотреть на нового представителя Королевства Сербии, нового консула сербского… Бедняга Савва! Знаешь ли ты этого Алкивиада Нушу, которому доверил защищать интересы Сербии? Знаешь ли ты, на что он способен?.. Знаешь ли ты, что это самый обычный белградский студентик, у которого нет ни необходимых теоретических знаний, ни владения каким-либо иностранным языком, ни опыта, ни достоинств, благодаря которым он мог бы претендовать на столь высокое место. Самое большее, на что способен г. Нуша, так это послужить годика два-три писарьком в каком-нибудь консульстве под руководством опытного и подготовленного человека, а ты из этого невинного младенца сделал посмешище, и не только из него, из себя, из всех нас, решив назначить его представителем Сербии в Приштине!»

Нушич в эту историю попал как кур во щи. Политическая грызня достала его и в Приштине. Можно с уверенностью сказать,

что Пера Тодорович никаких претензий к Нушичу не имел — он подкапывался под министра Груича. Для нас интересен газетный стиль, воцарившийся после отречения короля Милана и дарования им новой конституции.

Турки истолковали статью по-своему. Они почему-то решили, что у Нушича на Косовом поле есть «какая-то особая и специальная миссия». Мутешерифу показалось странным, что Нушич стал наведываться в ближайшие села. Объяснение, что это делается в целях изучения края и входит в обязанности консула, ленивому турку было непонятным. За Нушичем установили слежку, ему угрожали, а сербов запугали так, что они избегали с ним всяких встреч. «В церкви, — докладывал Нушич, — попы прячутся в алтаре, а когда я вхожу в лавку, хозяин убегает в склад и оставляет меня с приказчиком».

Нушич пригрозил Хафиз-паше, что он вообще закроет консульство и уедет в Белград. Кроме того, он прошел через всю Приштину один, без телохранителя-гаваза, чтобы показать, что ничего не боится. До Нушича консулы в турецких владениях без телохранителей на улице не появлялись. В гавазах обычно служили албанцы, они ходили в белой одежде и давали клятву умереть, не дрогнув, за своего господина.

Храбрость Нушича, его знание турецких законов сломили неприязнь мутешерифа, и они снова неплохо ладили.

Вскоре в органе радикалов «Одъеке» появилось «официальное разъяснение»:

«Г. Нушич не назначался ни вице-консулом, ни заместителем консула, а направлен для выполнения самых необходимых канцелярских дел, пока вице-консул находится в отпуске. В Приштине сейчас нет ни писаря, ни драгомана, и понятно, что консульская канцелярия не может оставаться без надзора».

Груич, видимо, все-таки немного испугался. Пера Тодорович почувствовал это и продолжал наступать. Сей «Жирарден» прошелся еще раз и по Нушичу. Значит, мол, всё бросили на одного человека, а «с коровьей головой котенку не справиться».

В Приштине Нушич пробыл до марта.

Он попробовал наладить отношения с албанцами, которых сербы называют арнаутами. Маринкович, ярый шовинист, открыто ненавидел албанцев и порой забавлялся тем, что осыпал их оскорблениями с балкона здания консульства. Это обостряло враждебность арнаутов. Через знакомых албанцев Нушич выразил желание встретиться с их старейшинами. Однажды у консульства соскочил с коня властный Измаил-бег. Нушич очаровал его и получил приглашение в гости. «Я бы с радостью подвергся этой опасности и пошел бы в гости, — писал Нушич в донесении, —

так как от этого была бы великая польза». Впрочем, Нушич преувеличил опасность. Албанцы были самыми ревностными почитателями восточного кодекса гостеприимства. («Если бы ко мне в дом явился заклятый враг, держа в руках голову моего сына, я и тогда должен был бы дать ему приют и позаботиться об его удобствах», — говорили они.)

Не обошлось и без романтических приключений, принявших комический оттенок. Нушич влюбился в турчанку Эмине. Она с мужем Салией Мехмедом и дочкой Кодрией жила по соседству с консульством. С мужем ее Бранислав подружился. Но Эмине была для него волнующей загадкой.

Лицо ее всегда было скрыто густой вуалью — яшмаком, в прорезях которого поблескивали черные глаза. Фигуру окутывал плащ — фереджэ, делая женщину похожей на движущийся мешок. Но при очень богатом воображении остальное дорисовать было не трудно.

Однажды Салия Мехмед принес Браниславу халву, приготовленную ее руками, и пригласил его к себе в дом на чашку кофе. Бранислава охватило радостное возбуждение — наконец он увидит прекрасную Эмине. Но, увы! В женскую половину дома путь ему был заказан. Он увидел перед дверьми гарема лишь туфли Эмине. А если бы там же стояли туфли какой-нибудь ее подруги, то войти в гарем нельзя было бы и мужу.

Влюбленный возвращается к поэзии. В стихах он умоляет Эмине открыться, показать свое лицо.

«Вот сижу и гляжу на решетки твои
И опять сочиняю любовные строки…
Но хотя твой супруг добродушен, увы! —
Он, узнав про стихи, перебьет мне все ноги».

Летом стихотворение об Эмине было напечатано в «Яворе» у Ильи Огняновича-Абуказема и имело успех. Тогда Нушич написал продолжение. О том, как он будто бы решил избавиться от своей «любовной страсти». Но соседские дети однажды принесли маленькую прелестную дочку Эмине. Бранислав играл с ней, спрашивал детей, на кого она похожа, и дети в один голос отвечают: «Ах, это вылитая мать!» Но в конце концов выясняется, что Эмине безобразна, как смертный грех.

«…А теперь не пою — время дорого мне,
Не гляжу на решетки твои, не тоскую.
Остается одно мне, пойми, Эмине,
Утешения ради влюбиться в другую».

Это «художественное преувеличение». Турчанка была совсем не безобразна, и Нушич имел у нее успех. Она послала ему надкушенное яблоко в знак того, что он может прийти. А однажды Браниславу пришлось схватить одежду в охапку и выпрыгнуть в окно, так как муж ее неожиданно вернулся домой…

Приехал консул Лука Маринкович, и Нушич вернулся в Белград. Маринкович остался недоволен деятельностью своего заместителя, который успел зарекомендовать себя с лучшей стороны, что невыгодно оттеняло грубоватость и недипломатичность консула. Он даже пытался очернить Нушича в донесениях, но придирки были настолько смехотворны (у Нушича однажды одежда была испачкана вареньем — опять варенье — ох и сластена!), что в министерстве иностранных дел их оставили без внимания.

Маринкович кончил плохо. Через несколько месяцев после отъезда Бранислава брадобрей-албанец полоснул Маринковича по горлу бритвой, почти отделив голову от туловища. Нушич не помнил зла и произнес на его похоронах теплую речь. На митинге «сербо-македонцев», состоявшемся по поводу убийства Маринковича, говорил и Джордже Нуша, отец Бранислава Нушича.

* * *

Красноречие Бранислава Нушича уже стало общеизвестным. Его без конца выбирают в комитеты по организации различных торжеств и похорон.

Вскоре после его приезда из Приштины умирает «Старый бард» Стеван Качанский. Последовательная борьба за национальное единство привлекала к нему людей. Глишич, например, под его влиянием издал патриотический календарь. Братья Иличи и Нушич были его почитателями. Сочиненная Качанским песня «Гей, трубач, с буйной Дрины» стала «сербской Марсельезой».

На смерть Качанского откликнулись все известные поэты. Воислав Илич сочинил два стихотворения, одно из которых Нушич прочел над открытой могилой «Старого барда». Похороны превратились во всенародную манифестацию. Драгутин Илич начал свою речь с возгласа: «Долой Австрию!»

Тотчас после смерти Качанского его сторонники основали общество «Великая Сербия», взяв название газеты, которую

издавал старый поэт. 16 июня 1890 года состоялось учредительное собрание, на котором председателем общества был выбран Драгутин Илич, секретарем — социалист Коста Арсениевич. Бранислав стал членом-учредителем общества, провозгласившего своей целью — «пропагандировать согласие между единокровными братьями; подрывать на каждом шагу влияние иностранщины; воспитывать гражданские качества, среди членов общества вводить и поддерживать национальные обычаи (народный костюм, песни, игры, развлечения); подготавливать почву для восприятия святой мысли народного объединения и борцов за нее; помогать всем честным братьям, без различия веры, а также и обществам, которые тяготеют к той же цели; добиваться того, чтобы разобщенные верами и партиями сыновья сербского отечества привыкли к совместной борьбе за общее дело и подготовились к мысли, что идея народного объединения требует собраться всем под одним знаменем».

До объединения южных славян в свободную федерацию было еще далеко, но идея эта уже жила и завоевывала все больше сторонников. Самостоятельны были еще только Сербия и Черногория; Хорватия, Словения и населенная сербами Воеводина по-прежнему входили в состав Австрии. Босния и Герцеговина были оккупированы ею же. Македония и Старая Сербия принадлежали туркам. Столетия австрийского и турецкого владычества не прошли даром. Религиозная чересполосица терзала славянские Балканы. Славяне-католики, славяне-мусульмане, славяне-православные натравливались друг на друга. Три могучих веры, казалось, уперлись лбами на балканском треугольнике, чтобы помешать братьям понять друг друга.

На Македонию предъявляли свои права болгары, сербы и греки, привлекая исторические, этнографические и филологические аргументы. Болгары считали, что в Македонии из двух с половиной миллионов населения сербов всего тысяча человек. Сербы насчитывали полтора миллиона своих собратьев. Греки — примерно столько же греков. Православные церкви — греческая и болгарская, враждуя друг с другом, создавали вооруженные отряды, превращавшие жизнь македонских крестьян в ад. Турки, в свою очередь, вербовали шпионов, разобщали население, грабили его как могли. Бывшие солдаты — турки и албанцы — образовывали шайки, главари которых становились властителями целых районов и прекрасно уживались с турецкими полицейскими властями. В то время Македонию в Европе считали более дикой, чем Центральную Африку, это был сущий ад…

Но в самом македонском народе уже появлялись

организации, которые подготавливали мощное движение под лозунгом «Македония — македонцам».

Национальное движение каждого народа крепло, но честолюбивые вожди в стремлении возвеличить свой народ усердствуют. Хорват Анте Старчевич утверждал, что всюду «от Македонии до Словении» живет только хорватский народ. Существование сербов он вообще отрицал. Великосербы выдвигали на первый план свой народ.

Бранислав Нушич никогда и нигде, ни в шутку, ни всерьез не позволял себе враждебных или презрительных высказываний в отношении других братских народов. А что же касается его участия в великосербском движении, то он был единомышленником великого Светозара Марковича, который мечтал о балканской федерации и не страшился подобных явлений: «…великосербство и великохорватство имеют в себе зародыш того, что зовется Южным Славянством… Когда люди поладят по-настоящему, названия мешать им не будут…»

И он оказался прав.

ГЛАВА ВТОРАЯ
ДЕЛО НЕ В АМБИЦИИ

По приезде из Приштины Нушич работал в министерстве иностранных дел и в государственном совете. Начальники отмечают, что он прилежен и способен. Его даже производят в «писари первого класса», а для этого чина требовались «особые заслуги перед государством».

Правда, говорят, чтобы получить его, Нушичу пришлось проявить находчивость. Глава правительства Савва Груич, он же министр иностранных дел, имел сквернейший почерк. Однажды он вручил Бранославу список младших дипломатических чиновников и велел подготовить указ об их повышении в чине. Бранислав с превеликой мукой разбирал каракули шефа, которому самому порой приходилось обращаться к своей половине и спрашивать: «А ну-ка, посмотри, что я тут написал?»

Нушич решил вознаградить себя за адов труд и в конце проекта указа приписал, что следует назначить «…писарем первого класса Бранислава Нушича, писаря второго класса».

С невозмутимым лицом он подал указ главе правительства, который уже было поставил подпись, но, увидев фамилию Бранислава, поднял голову.

— Насколько мне помнится, вас в списке не было.

— Ваше превосходительство, насколько я мог разобрать ваш почерк, переписано все точно… Мне показалось, что там есть и мое имя, — непринужденно заметил Нушич.

— Не было, не было там вашего имени. Это вам только показалось… Но раз вы его всунули, пусть уж остается. В следующий раз будьте повнимательнее.

Анекдот? Может быть. Но в длиннейшем ряду анекдотов о Нушиче весьма безобидный и, вероятно, достоверный.

Впрочем, Нушич заслуживал повышения, он действительно много работал, готовя по собственной инициативе пропагандистские материалы, а по вечерам писал. Не комедии, нет. Он писал объемистый труд «Косово. Описание края и народа». Книга была начата еще в Приштине, именно для сбора материала Нушич упорно объезжал соседние села, вызывая неудовольствие турецких властей. До него такой работы не проделывал никто. Жизнь единоплеменников в турецких владениях была закрытой книгой для официальной Сербии. Нушич понимал, что прежде всего необходимо знать народ, и он подробно описывает географию края, его историю, общественные

отношения, быт и нравы населения. Завершенную часть он представляет в министерство и просит дать ему возможность еще раз побывать на Косовом поле. Он даже приобретает техническую новинку — фотографический аппарат, «чтобы украсить труд снимками всего того, что описывается».

Он стремится на юг, и его назначают в Македонию, в город Битоль. В нескольких десятках километров южнее — Влахоклисура, родное село его предков.

Битоль еще назывался Монастырем, что, в сущности, одно и то же, так как это фонетический вариант слова «обитель». Монастырское губернаторство (по-турецки «вилайет») считалось ключевым на Балканах. Город тогда насчитывал восемьдесят тысяч жителей — вдвое больше, чем ныне. Один турецкий гарнизон достигал двадцати пяти тысяч солдат. Здесь сталкивались интересы Греции, Сербии, Румынии, Италии, Болгарии, Австро-Венгрии, и каждая из этих стран имела в Битоле свое консульство. Кроме того, тут же находились дипломатические представители России, Англии, Франции и одно время даже американская миссия.

Нушич явился к сербскому консулу Дмитрию Боди в такое время, когда отношения всех этих дипломатов с турецким вали (губернатором) испортились вконец. Вали вел себя грубо, не придерживался этикета, не отвечал на визиты. Старейшина дипломатов русский консул Демерик предложил всем консулам прекратить личное общение с вали и все дела вершить через младших чиновников.

По заведенной практике консул представлял вали своих новых сотрудников. Боди сделать этого не мог, других чиновников в консульстве не было. Пришлось новому секретарю консульства идти к турку одному, получив следующее напутствие.

Паша будет сидеть в длинном зале, вдоль стен которого стоят стулья. По турецкому обычаю, чем выше рангом посетитель, тем ближе к вали занимает он место, тем плотнее усаживается на стул. Маленькие чиновники сидят на краешке стула.

Войдя в зал, Нушич низко поклонился. Паша смерил его взглядом, махнул рукой и буркнул:

— Буйрум. (Пожалуйста, мол, садитесь.)

Нушич сел на краешек стула у самой двери. Потом встал, отдал свои документы и вышел. Мог ли он предполагать, что этот эпизод ровно через двадцать лет будет иметь совершенно водевильное продолжение?!

Уже с легким сердцем Бранислав шел по набережной реки Драгор, на которой и по сей день стоит дом, где принимал его

паша. В Битоле, полухристианском-полумусульманском городе, построенном на развалинах Гераклеи, есть что-то особенно привлекательное. Тесно расположенный в котловане среди гор, украшенный десятками мечетей и церквей, он одновременно и дразнит воображение и манит обещанием покоя… Уезжать из него не хочется.

Бранислав шел к месту, возле которого пестрая толпа вливалась под каменные своды Безистена, громадного крытого рынка, построенного еще в XV веке. Здесь торговали восточными тканями, трудились ювелиры, совершали финансовые операции менялы. А за Безистеном — паутина улочек Стамбул-чершии, кварталы ремесленников, великое буйство красок. Раскрыв толстые железные двери своих «дучанов», ремесленники работают прямо на улице, развешивая тут же свои товары — ковры, оружие, народную одежду, конские сбруи, кувшины, ведра, резную мебель, ярко-оранжевые, алые и синие шерстяные одеяла с ворсом длиной в десять сантиметров…

Новоиспеченный секретарь сербского консульства идет через мост мимо Сат-кулы, высоченной башни с часами. Ради прочности, говорится в легенде, раствор, скрепляющий ее камни, замешан на шестидесяти тысячах яиц, собранных турками у окрестного населения. Нушич проходит мимо старинных мечетей — Хайдар-кади джамии и Исак джамии. Входит в главную улицу — Широк-сокак. Она застроена двух- и трехэтажными домами европейского типа. Местная буржуазия следит за последними европейскими модами и любит называть Битоль «маленьким Парижем» (все восточные города «маленькие Парижи»!). В каждом втором доме пианино. Молодежь получает образование в европейских столицах. Город — узел коммуникаций военных, торговых, политических. Здесь соприкасаются Запад и Восток. И потому город процветает.

Нушич встречает православного владыку с турецким орденом на груди и двумя телохранителями. Христиане подходят, чтобы получить благословение, а турки приветствуют его, кланяясь и прикладывая руку к груди и лбу. Поблизости церковь св. Дмитрия. В ней пять алтарей, роскошные фрески и резьба по дереву. С улицы она кажется небольшой, а внутри громадна. Легенда говорит, что султанский фирман разрешал строить церкви только определенной высоты. Тогда была тайно сделана глубокая выемка в скале и создан великолепный храм.

По вечерам на улицах Битоля остаются только полицейские. Те, кому разрешено ходить ночью, обязаны не выпускать из рук зажженного фонаря. Каждую ночь на улицах происходят убийства. Силы, представляемые консульствами, ведут между

собой борьбу. И в нее втравливаются македонцы, которые называют себя в зависимости от политических пристрастий то болгарами, то греками, то сербами… Консульские работники и тут не расстаются с гавазами, могучими албанцами в фесках и с пистолетами за широким поясом. Иногда это не помогает. Русский консул Ростовский, сменивший мягкого Демерика, был вспыльчив и скор на руку, которую поднимал даже на турок. Его убили.

Нушич сворачивает в кривую улицу направо (ныне улица Кирилла и Мефодия), и вот он уже у ампирного двухэтажного дома сербского консульства.

В консульстве его ждала работа. Он выполнял обязанности секретарские, вице-консульские, переводческие, перевозил церковную утварь, ездил в командировки…

Результатом поездок была новая книга «С берегов Охридского озера». Охрид на всю жизнь останется для Нушича самым красивым местом на земле. Это об Охриде будут его предсмертные слова. У того, кто впервые видит озеро и город Охрид, возникает ощущение какой-то праздничности, легкости. Вода, сбегающие к ней красные крыши и белые стены, обкрошившиеся кирпичи церквей, красновато-зеленые горы, сине-сизые, размытые нежной дымкой вершины гор на другом берегу…

Новая книга уже не просто «описание». Это гимн «неоглядной и неограниченной красоте». Навсегда остались в его памяти пурпурные вечера, когда он сиживал на берегу, прислушиваясь к далекому лаю собак и глядя на гладчайшую поверхность озера, похожую на расплавленное золото.

Нушич выходит в озеро с рыбаками. Дунул ветерок, погнал полоской рябь. Гребцы надвигают на глаза платки, которыми повязаны их головы, и одновременно опускают весла в воду. Гребец, что на носу лодки, запевает сильным голосом: «Дай мне, боже, крылья лебединые…» Гребцы подхватывают песню. Вода дробится под высоким носом лодки, а за кормой остаются две широкие борозды, сверкающие на солнце…

Озеро тянется на десятки километров, и всюду стена гор. Рыбаки, как и всюду на свете, — люди суеверные. Когда они идут к своей лодке, не любят встреч с женщинами, не любят пожеланий доброго здоровья и счастливой ловли. Никогда не скажут, сколько взяли рыбы, пока ловля не окончена. А рыба великолепна. Пятнистая форель, которую отправляли в турецкие, сербские, болгарские, румынские города.

С озера город Охрид похож на гигантский небоскреб, настолько сливаются его узкие высокие дома, вползающие на самые вершины гор. Верхние этажи домов выступают вперед друг

над другом, нависая над улицей.

Церковь св. Климента, воздвигнутая в XII веке, расписана Михаилом Астрапой и Евтихием. Ни одного похожего друг на друга лица, но тип общий — выдающиеся скулы, тонкие носы, глубоко посаженные глаза. Преобладающий характер — воля и страсть. Таковы были, верно, наши предки — первославяне.

Нушич занимается этнографией и историей края. Сюда пришли в IX веке Наум и Климент, ученики Кирилла и Мефодия, и начали проповедь на народном языке. Здесь славянская церковь потеснила и латинских и византийских церковников. Здесь заложены основы церковно-славянской литературы. В X веке Охрид был уже столицей крупного славянского государства. Предания говорят, что город славился сотнями церквей и монастырей, а также духовной академией, в которой учились одновременно три тысячи человек.

Потом греческие церковники потеснили славянских. И лишь за несколько десятилетий до того, как Нушич побывал в Охриде, местные жители, получившие стараниями русских консулов образование в России, стали добиваться введения в школах родного языка. Василий Диямандиев сам организовал школу, где учились по славянскому букварю и по учебнику географии, изданному в России. Местные жители все чаще посылали детей в Россию. Поднялось целое движение против греческого языка и греческих владык. Нушич рассказывает, что владыки обвинили вождя этого движения Миладинова в том, что он русский агент, и передали его турецким властям. Он был вывезен турками в Битоль, а затем в Стамбул, где ждала его в тюрьме «таинственная смерть».

Книга «С берегов Охридского озера» была вскоре опубликована.

Консул Димитрий Боди был доволен своим подчиненным, он предлагает повысить Нушича в должности, но поддержки в министерстве не находит. Тогда Бранислав подает в отставку. Недавно обнаружено письмо Нушича министру иностранных дел, которое, несмотря на официальный характер, говорит о настроениях и взглядах Бранислава.

> «Я вступил в ряды чиновников министерства иностранных дел, не претендуя на то, чтобы стать дипломатом или государственным деятелем, а лишь с желанием заняться той работой, к которой влекли меня все мои помыслы и убеждения… Летом мне предложили в официальном письме, которое находится во вверенном Вам министерстве, перейти на должность секретаря

Государственного совета. Но я отказался, так как дело, которым я занимался, требовало, чтобы я посвятил себя ему полностью, и не бросал его ни на час. Так что отказ мой был сознательный.

Я, Господин Министр, отказался от чинов и должностей, которые позволили бы мне сидеть дома, а не скитаться по Турции; я отряс партийный прах с ног своих, потому что храм, в котором я находился, требовал не либерала, напредняка и радикала, а серба, который бы перед его алтарем за будущность своего народа Богу молился и дело делал. Я, Господин Министр, не только разум и силу, но и жизнь очень часто ставил на карту в этом деле; кроме Милоша Милоевича[14], не знаю серба, который больше меня посещал все уголки, населенные угнетенными сербами. Я, Господин Министр, вкладывал в дело не только свой ум, силу и жизнь, но и понес материальные жертвы — так к настоящему времени, после полутора лет пребывания в Битоле, у меня, вместо накоплений, 700 динаров долга, образовавшегося в результате поездок и моей работы.

Так я понимал свои обязанности, и поэтому материально разорил себя. Я всегда был на вершине того морального удовлетворения, того возвышенного мира в душе и совести, которые работнику приносятся добросовестным выполнением обязанностей…».

Нушич считает, что с ним поступают несправедливо, не продвигая по службе. Дело не в амбиции, служба в Македонии для него «святыня»… Значит, его считают несправившимся со своими обязанностями, а посему он просит увольнения.

В этом документе все правда. Из одного донесения Бранислава явствует, что во время служебных поездок приходилось «платить и вождям, и целому племени, и с самими разбойниками вступать в сделки».

Такая служба была по плечу лишь человеку смелому, выносливому. Как говорили странствовавшие по Востоку в XIX веке:

«Кто не ел пилава с салом,
Кто не мерз перед мангалом,
Кто от блох не удирал,
На попоне кто не спал,
Кто бакшиша не давал,
Тот Востока и не знал»[15].

Нушичу служба нравилась, он не хотел оставлять ее, но появилось обстоятельство, с которым никак не вязалось ни его служебное положение, ни финансовое.

Бранислав собирался жениться.

* * *

В самом Битоле задавали тон дипломаты. По вечерам они часто сиживали в ресторанах «Босна», «Царьград», «Рояль». При кафане «Терпене» был теннисный корт. Приемы, маскарады, веселые пикники скрашивали жизнь. В прекрасных битольских парках играла турецкая военная музыка. Турки-офицеры приобретали утрированный европейский лоск. Эфенди были в сюртуках и при моноклях. Кстати, в битольской военной школе учился молодой Кемаль Ататюрк.

Бранославу шел двадцать восьмой год. Воспоминание о Милице Трзибашич блекло. Нушич любезничал с молодыми дамами, писал им в альбомы веселые стихи. Консульские дамы постарше страстно желали устроить его семейное счастье. Особенно близко к сердцу принимала холостяцкое положение Бранислава госпожа Боди, супруга сербского генерального консула. Она же и подыскала ему невесту — красивую гречанку Нину, родственницу греческого дипломата. Сопротивления Нушич не оказывал, да и гречанка была неравнодушна к нему.

Но тут случилось событие, сорвавшее грандиозные планы битольских дипломатических дам.

В один прекрасный день к сербскому генеральному консулу приехала из Белграда смуглая шестнадцатилетняя племянница Даринка, дочь маленького чиновника Божидара Джорджевича, женатого на сестре Димитрия Боди. Она была тиха, скромна, не по годам разумна. Бранислав не мог оторвать взгляда от ее ладной фигурки, от ее больших широко расставленных глаз.

Забыта гречанка Нина. Бранислав не отходит от Даринки, которая принимает знаки внимания взволнованно и радостно.

Осенью 1892 года дипломатический корпус в Битоле устроил большой костюмированный бал. Даринка была в богатом цыганском наряде. Бранислав, не отходивший от нее ни на шаг, попросил у нее веер и написал на нем любовный сонет. Гречанку Нину он удостоил лишь вежливого поклона.

Госпожа Боди негодовала. Генеральная консульша считала, что устраивает брак Нушича с гречанкой «из государственных интересов». И все же она была принуждена уступить. Нушич сделал предложение Даринке…

Тогда-то и было написано письмо об отставке. В министерстве отставку не приняли и обещали повышение. Для устройства своих дел Бранислав весной 1893 года выехал в Белград.

В министерстве иностранных дел его повышают в должности и назначают дипломатическим представителем Сербии в Приштине. Теперь он становится вице-консулом. Остается дождаться указа.

Двадцать третьего апреля, в Юрьев день (день «славы» семьи Нушей), «рано утром» он пишет Даринке письмо, в котором сообщает, что свадьба состоится непременно в мае. Но, по народным приметам, май месяц для браков несчастливый. Ничего, «наше счастье зависит не от какого-то месяца, а от нашей любви, согласия и искренности». Бранислав уговаривает Даринку не заботиться о приданом, они приобретут все потом. Одно беспокоит — не хочется ему, чтобы при венчании «по-гречески пели». Он остается верен себе и выбирает сербский монастырь архангела Михаила, который находится в десятке километров от Битоля, неподалеку от села Лисолай. Там служат на сербском.

«Будь у меня здоровой, веселой и довольной. Как только подпишут указ о Приштине, извещу дядю (консула Димитрия Боди) такой депешей: „Указ подписан“. И ничего больше».

Все произошло как по писаному. 23 мая к Лисолаю двинулась процессия колясок, фиакров, верховых. Завывали зурны, гремели барабаны. Во главе процессии ехал громадный черногорец в красочном костюме, паля в воздух из пистолетов. Почти над каждым экипажем развевалось знамя. Свадьба стала дипломатическим событием, национально-государственной манифестацией. Турки крутили головами, но мирились. В процессии было много дипломатов. Сам старейшина их, русский консул Демерик, выполнял обязанности старшего шафера.

Все жители маленького македонского села Лисолай высыпали встречать свадебный поезд. Готовилось щедрое угощение — на толстых деревянных вертелах жарились бараны и даже целый бык.

Венчал Даринку и Бранислава священник Диме. Потом был великий пир, здравицы, стрельба. В Битоль все вернулись поздно ночью.

Очевидно, в обители жило всего несколько монахов. Церковь небольшая, с интересными фресками, писанными художниками-самоучками не по канонам. Расположена в красивом месте, в зеленой лощине у подножия горы.

В церкви давно не служат, но мне удалось разыскать восьмидесятилетнего, похожего на гнома крестьянина Илью

Секуловского, у которого хранились ключи. С неожиданной живостью он прошагал со мной несколько километров по горной тропе к монастырю, рассказывая по пути подробности свадьбы, которая была ярким событием его детства. Среди церковной утвари мы разыскали потир, на котором выгравирована надпись: «Бранислав и Даринка Нушич Монастырю Лисолайскому в день своего венчанья 23 мая 1893 года».

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
СМЕРТЬ ВОИСЛАВА

Вскоре семья переехала в Приштину. Домовитая Даринка принялась вить гнездо, Нушич отправился делать официальные визиты.

Нушич был четвертым сербским консулом в Приштине. Когда первый консул, Лука Маринкович, прибыл в город, народ рассматривал его сквозь щели в калитках, как некое диво. У ворот консульства толпилась многочисленная стража. Теперь турки уже попривыкли, и отношения Нушича с новым мутешерифом Бахри-пашой не омрачались мелкими придирками. Языки — турецкий и албанский — Бранислав знал уже так хорошо, что ему совсем не приходилось прибегать к помощи переводчика консульства Мурата Тержумана-эфенди.

Бахри-паша, бывший адъютант и любимец султана Абдул-Гамида, питал даже симпатию к Браниславу Нушичу, ценя его общительный нрав и остроумие.

Однако в городе было неспокойно. Фанатиков-мусульман раздражала пропаганда, которую вели дипломатические представители Сербии. Сербское население Приштины стало держаться более независимо. Фанатики натравливали народ на «гяуров». Кое-кто грозился расправиться и с самим консулом.

В сопровождении своих гавазов, арнаута Димитрия Печанца и одного черкеса, Нушич ходил по городу, посещал чаршию и даже парикмахерскую, где был зарезан его предшественник, взял в дом прислугу-арнаутку. Он делал вид, что ничего не боится. Но на самом деле у Бранислава не раз замирало сердце, когда он видел свирепые взгляды и грозное перешептывание. Но не в том ли истинная храбрость, чтобы преодолеть страх и продолжать делать свое дело?

Серьезный инцидент произошел, когда Бранислав впервые повел Даринку на прогулку по городу. Впрочем, он знал, что, по кодексу мусульманской чести, нападать на человека, когда он идет с женой, не полагается. Они с Даринкой проходили мимо мечети в тот момент, когда во дворе ее хаджи произносил перед правоверными горячую речь о «сербской опасности». Увидев консула, хаджи показал на него пальцем, а потом провел себе рукой по горлу. Это был недвусмысленный жест. Прямое оскорбление дипломата. Нушич колебался недолго, он быстро подошел к хаджи и на турецком языке спросил, кому адресована эта угроза. Хаджи ответил, что ему. И консул ударил его тростью

по голове с такой силой, что палка переломилась. Слушатели хаджи бросились врассыпную, тут подоспели турецкие солдаты, схватившие подстрекателя.

Этот инцидент укрепил позиции дипломата не только среди сербов, но и среди арнаутов. По всей Приштине и ее окрестностям только и было разговоров, что о бесстрашии нового консула. Нушич оказался великодушным и попросил Бахри-пашу освободить хаджи.

В Приштине Нушич снова встретился со своим самым близким другом Воиславом Иличем. На этот раз в качестве его начальника. Поэт тоже служил, имел чин писаря первого класса, и в мае 1893 года его назначили в приштинское консульство. В июне он писал Косте Арсеньевичу:

«Безопасности нет никакой даже в центре города, где резиденция паши. Позавчера ночью возле нашего дома была ружейная стрельба… В общем, такие события здесь нередки…».

Рядом с долговязым Воиславом и статной Даринкой низкорослый консул производил невыгодное впечатление. Местным сербам казалось, что Воислав больше подходит для роли консула. Нушич и сам отпускал шутки на этот счет. Выходя из дому, Воислав опоясывался саблей, что разрешалось только консулу, но Бахри-паша смотрел на такое нарушение сквозь пальцы.

Воислав приехал в Приштину с женой, двумя маленькими дочерьми и с сыном. Это была уже его вторая семья. Пребыванием в Приштине он не тяготился. «Устроился хорошо, — писал он в том же письме, — сажаю капусту, перец… Научился делать наливки… Мертвый будешь, а выпьешь».

Иногда они вместе с Бранисла́вом брали фаэтон (какие и теперь можно увидеть на улицах Приштины) и разъезжали по окрестностям, записывая сказки и народные песни, легенды о Косовской битве. Воислав хотел написать историческую поэму.

По воспоминаниям Нушича, поэт в присутственном месте мог напустить на себя важный вид, но, как только они оставались одни, «Воислав садился, забрасывал ногу на ногу, скручивал на колене сигарету и болтал о всякой всячине. Когда же у меня в кабинете был еще кто-нибудь, хотя бы простой крестьянин, Воислав стоял возле моего письменного стола, выпрямившись как свеча, говорил тихо, по-чиновнически, и всегда величал меня „господином консулом“».

Литераторы запирались в кабинете и писали. Воислав работал над шутливой повестью в стихах «Страсти на селе», а Нушич — над утерянной ныне пьесой-сказкой «Лилиан и Оморика».

«После трех комедий взяться за сказку, — писал Нушич, — я мог только под влиянием Воислава, так как он охотно заглядывал в область мифологии и мистических сказок. Если он и не заставлял меня, то, уж во всяком случае, поддерживал во время работы над этой вещью».

Случалось писать «сочинения» и иного рода. Как-то Белград задержал жалованье, и тогда официальную бумагу казначею министерства иностранных дел они составили, подобно древнекитайским мандаринам, в стихах. Шутливое стихотворение пародировало канцелярский стиль и кончалось так:

«А когда все денежки просадим,
Подавать опять прошенья станем.
Их напишем с кровью и надрывом
И отправим под секретным грифом,
Чтобы были мы вовеки живы
Сразу в кассе вашей и в архиве.
Вице-консул Нушич
Секретарь В. Илич».

Далее следовала приписка:

«Господин казначей, имею честь препроводить вам сей документ, составленный персоналом вверенного мне консульства, с учтивым напоминанием, что интересы государства, интересы службы, интересы нашей миссии, интересы нашего престижа и вообще интерес на интерес (8 %) требуют, чтобы деньги были присланы как можно скорее… Примите и проч.

Авг. 1893 года, дано в Приштине. Вице-консул Б. Нушич».

«Документ» с намеком на то, что приходится обращаться к ростовщикам, достиг самого министра, и тот прочитал его на заседании правительства, которое «смеялось от всего сердца». Деньги были посланы.

Но шутки шутками, а дела пошли неважно. Воислав все чаще жаловался, что у него болит грудь. Он давно болел туберкулезом. Призванный на осенние маневры, поэт простудился и слег. «Глаза ввалились, губы побелели, а руки стали совершенно прозрачные. Выражение лица такое, какое бывает лишь у безнадежно больных. И все же он старался шутить, рассказывал нам о Белграде… Но время от времени он зажимал рукой грудь и заходился в кашле, а потом тяжело и устало дышал…».

Нушич сидел у постели больного и развлекал его веселыми рассказами. Воислав слушал его невнимательно.

— Не знаю, почему я себе вбил это в голову, — вдруг сказал он, — но день моей смерти будет красивым, весенним, солнечным…

Бранислав брал со стола рукописи Илича и читал стихи. Поэт любил слушать, как читает Нушич. Он жалел, что не написал стихов о Косовском сражении, о пионах, которые растут на поле битвы… Окрестные крестьяне и сейчас считают, что пионы нигде в мире, кроме Косова поля, не растут — эти красные цветы родит только земля, пропитанная кровью павших героев…

Зорька, жена Воислава, напрасно уговаривала больного пить лекарства. Но больной не верил, что выживет. «Руки его дрожали и свисали с постели, как сломанные крылья, из глубины потемневших глаз смотрела смерть…».

Воислава перевезли в Скопле, где были врачи и больше лекарств. Нушич не отходил от друга. Тот вспоминал свою первую жену Тияну, пытался писать… Бранислав перенес его к окну, чтобы больному была видна бурная река Вардар, которой поэт посвятил прекрасные стихи.

Илича увезли в Белград, а Нушич вернулся в Приштину.

В 11 часов утра 19 января 1894 года Нушич получил телеграмму о кончине Воислава, а потом и письмо, которое поэт написал за несколько дней до смерти. Он рассказывал о своей беспомощной попытке встать с постели.

Воислав Илич умер тридцати трех лет. После смерти с его талантом примирились даже недруги. Его провозгласили великим. О нем написали десятки книг. Он классиком вторгся в школьные учебники и университетские курсы, потеснив всех современных ему поэтов.

Браниславу Нушичу шел тридцатый год. Впереди была долгая жизнь, борьба, книги, театр…

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
КОНСУЛЬСКИЕ БУДНИ

В доме Бранислава и Даринки часто бывали гости из Белграда. Несколько недель прожил у них Стеван Мокраняц.

Стеван Стоянович-Мокраняц был знаменитым сербским композитором и музыкантом.

Он основывал квартеты, хоровые общества, музыкальные школы, посетил много стран. Россию в том числе. Прославился он шестнадцатью «руковетами» — вокальными сюитами, в которых сохранил народные мелодии.

Они с Нушичем ежедневно приводили с базара крестьян и крестьянок, разыскивали в городе и его окрестностях лучших певцов и певиц, которые пели композитору народные песни. Он записывал их, а иногда сам для проверки пел. Крестьяне смотрели на него с удивлением, не понимая, как можно петь по бумаге.

Девушки приходили с меньшим удовольствием, так как находиться наедине с мужчинами считалось неприличным. Выручала Даринка, в присутствии которой девушки чувствовали себя в безопасности.

Одна из песен, вошедшая в «Косовский руковет», имеет интересную историю.

Евка, дочь гончара Замфира, была самой красивой девушкой в Приштине, а ювелир Марко — самым красивым юношей. Голубоглазый, с едва пробивавшимися усами, он щеголял в белом албанском наряде, расшитом золотом. Когда он проходил по улице в белой феске набекрень, многие девушки подбегали к калиткам, чтобы полюбоваться красавцем Марко.

Но Марко видел одну Евку. По вечерам он со своим другом Пото, который хорошо играл на кларнете, забирался в виноградник, что был на склоне горы выше дома Замфира, и там, в тени орехового дерева, попивая ракию-сливовицу, смотрел во двор Евки. Услышав кларнет, Евка выходила во двор и махала платком.

Об их любви знала вся Приштина, но это не помешало молодому хаджи Йовану Витко влюбиться в Евку по уши. Йован родился в Иерусалиме, когда родители совершали паломничество (хадж) в Мекку, и поэтому носил титул хаджи.

Отец его, хаджи Витко, был самым богатым человеком в Приштине. В один прекрасный день он решил женить сына, а тот заявил, что женится только на Евке.

Старый хаджи был недоволен. Взять дочь простого гончара? Но Йован стоял на своем — или Евка, или никто. Скрепя сердце старый хаджи отправился к Замфиру, и гончар, потрясенный этой великой честью, согласился отдать дочь.

Марко впал в отчаяние. Можно было скомпрометировать Евку, умыкнув ее. Но Евка отказалась бежать. И тогда Марко нашел выход.

Однажды в предвечернее время, когда вся Приштина высыпала на прогулку, Марко пробрался во двор Замфира со своим другом-кларнетистом, переодетым в женское платье. Лицо его было скрыто яшмаком. Подождав, когда на улице будет побольше народа, Марко с «девушкой» перелезли через забор и, обнявшись, скрылись в цыганском квартале.

Этого было достаточно, чтобы скомпрометировать Евку. Мгновенно пронесся слух о побеге. Тут же была сочинена песня, которую певцы-цыгане разнесли по другим городам и селам.

«Ждет в дверях Евка Замфирова,
Трала-ла, трала-ла…»

Хаджи Витко оскорбился и тотчас расторгнул помолвку. Напрасно гончар Замфир уверял, что Евка была дома и ничего не знала. Старый хаджи твердил:

— Не хочу сноху, о которой песни поют!

Песня стала народной, а впоследствии и сам Замфир певал ее на праздниках.

Прослышав об этой истории, Мокраняц попросил Нушича познакомить его с Замфиром. И сама Евка пела композитору песню, в которой прославлялась ее красота.

История эта имеет продолжение.

Во время одной из служебных поездок в Белград Нушич рассказал о Евке своему другу, замечательному сербскому писателю Стевану Сремцу. В бумагах, оставшихся после смерти Нушича, есть такая запись: «Я рассказал об этом Сремцу и предложил воспользоваться материалом, как более подходящим для него». Сремац написал рассказ «Зона Замфирова», перенеся действие в город Ниш. Потом родилась пьеса, до сих пор не сходящая со сцены югославских театров.

Литература, театр, музыка… Каждый художник внес свое, но источник один — чистый, народный…

Нушич, который никогда не испытывал недостатка в сюжетах, охотно уступал их друзьям. Рассказами Нушича навеяна юмористическая повесть Сремца «Поп Чира и поп Спира», а также «Кир-Герас», которого мы цитировали в начале книги. «Это не в

моем духе, я уступил сюжет и заставлял Сремца работать над ним. Этот рассказ о благодетеле моего отца он посвятил мне…».

В Приштине консул сплотил сербское население. Им была открыта воскресная школа для неграмотных, в которой училось до ста пятидесяти человек. Сербские национальные праздники стали отмечать торжественно и даже с некоторой пышностью. Даринка с женщинами красиво убирала школу, а Бранислав писал стихи, которые декламировали ученики. Бахри-паша, которого тоже приглашали на празднества, получал свою долю здравиц и оставался доволен.

Теперь уже люди шли к консулу со всеми своими заботами, и он никогда не отказывал им в своем заступничестве.

В 1895 году, когда умер митрополит Мелентий, грек по национальности, Нушич с гавазом объезжали села и монастыри, агитируя за избрание на этот важный пост серба.

Еще со школьной скамьи отношение к религии у Нушича было сложное. «Произошло это, вероятно, потому, что богослов, преподававший нам христианскую науку, так не по-христиански бил нас, что я и теперь, слушая в церкви проповедь о христианском милосердии, все время озираюсь по сторонам, ожидая, что вот-вот или митрополит треснет меня посохом, или дьякон кадилом. Это лишний раз доказывает, что впечатления раннего детства оставляют в душе неизгладимый след», — шутил юморист, правда, после того как церковь предала его анафеме. Однако Нушич свято чтил национальную историю, народные традиции.

Сербский народ не религиозен. Православие в условиях турецкой неволи играло ту же роль, что и в России в тот период, когда русский народ собирался вокруг московских князей, чтобы сбросить татарское иго. Православие было легальным знаменем, легальной идеологией. Оно было традицией, которая помогла нации сохранить свое лицо. Нищие, ободранные сербские деревенские попы возносились крестьянами до уровня вождей национального сопротивления. Когда случались восстания, попы с оружием в руках первыми шли в бой.

С одним из таких попов было связано выполнение дипломатического поручения, имевшего весьма щекотливый характер.

В начале 1895 года Нушич получил телеграфный вызов в Белград и был тотчас принят министром иностранных дел. Министр изъяснялся весьма туманно, но кое-что Нушич все-таки себе уяснил.

Международная телеграфная линия проходила через Сербию и давала государству приличный доход. В последнее время на

линии стали происходить частые аварии, столбы падали, провода рвались… Министр догадывался, что в силу определенных причин Австрия не хочет, чтобы линия проходила через Сербию, и австрийские агенты устраивают диверсии. Теперь наиболее активно использовалась линия, проходившая в обход Сербии, через Санджак и частью через территорию, где представительствовал Нушич.

— Как сейчас обстоят дела на линии через Санджак? — спросил министр.

Нушич уже смекнул, в чем дело.

— Я не знаю, как обстоят дела сейчас, но мне известно, что линия проходит через Колашин, где живет протоиерей Вукайло Божович. Он со своими людьми в состоянии валить столбы и рвать провода там, где потребует Сербия.

Министр был возмущен. Он даже вскочил на ноги.

— Кто от вас требует? Никто не требует! Как вы смеете предлагать такое! Я и слышать об этом не хочу!

Прибыв в Приштину, Нушич тотчас вызвал протоиерея Вукайлу и рассказал ему о диверсиях в Сербии. Священник тоже быстро понял, в чем дело. Разговор кончился деланным возмущением Нушича и сакраментальной фразой: «Как вы смеете предлагать такое! Я и слышать об этом не хочу!»

Вскоре на санджакской линии стали валиться столбы и рваться провода. Волей-неволей заработала телеграфная линия, проходившая через Сербию.

Нушич так бы и продолжал жить и работать в Приштине, если бы его не подвела собственная «дипломатическая находчивость».

Осенью 1895 года в одном из сел, примыкавших к Приштине, арнауты похитили красивую девушку Петрию. Это произошло в самый день ее свадьбы с молодым сербом. Староста села и родители девушки бросились искать защиты у приштинского священника. Узнав о похищении, Нушич возмутился. Такие происшествия случались часто. Девушек обычно битьем вынуждали переходить в мусульманскую веру, а после этого все жалобы бывали напрасны. Не медля ни минуты, Нушич отправился к мутешерифу Рауф-паше, который сменил любезного Бахри-пашу, и потребовал освободить девушку. Паша довольно ядовито ответил Нушичу, что это не его дело и что, как иностранный представитель, консул не имеет права давать указания администрации, какие меры она должна принимать.

С точки зрения всех международных правил паша был неуязвим. Консул имел право вступаться лишь за сербских подданных. В случае с Петрией он мог просить, но не требовать.

Однако Нушич, возвратившийся в консульство и весь вечер взволнованно ходивший по кабинету, нашел, как ему казалось, удачный ход. Он написал престрогую ноту, в которой заявлял, что, согласно статье 124-й Берлинского трактата 1878 года, сербским консулам предоставляется право брать под свою защиту представителей христианского населения данной территории, буде жизнь или честь оных подвержена опасности со стороны мусульман, не являющихся официальными лицами и действующих по собственному почину. В связи с вышеизложенным он снова требовал, чтобы власти способствовали возвращению Петрии родителям.

Ничего подобного в трактате не было. Мало того, трактат насчитывал всего 63 статьи. Но Нушич полагал, что паша и понятия не имеет об этом. И не ошибся.

Сбитый с толку витиевато-канцелярским стилем ноты, паша принял осторожное решение — вернуть девушку родителям, чтобы затем она перед меджлисом (административным советом) свободно выразила свою волю: желает ли она или не желает перейти в мусульманскую веру и выйти замуж за арнаута.

В ту же ночь верные люди консула переправили девушку в Сербию.

Но дело этим не кончилось. Возмущенные арнауты собрали подписи под петицией, в которой обвиняли пашу в сговоре с сербским консулом. Стамбул назначил расследование. «Нота» Нушича была расценена как дипломатическое жульничество, последовали демарши турецкого правительства, и оба «знатока» Берлинского трактата были сняты со своих постов.

ГЛАВА ПЯТАЯ
ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ И ЛИТЕРАТУРНЫЕ

Свою Даринку Бранислав обожал. Воспитанная в патриархальном духе, она оказалась прекрасной хозяйкой, ласковой, приветливой женой. Сам Нушич обладал счастливой способностью обращать любое недоразумение в шутку. Впоследствии Бранислав с Даринкой не раз тепло вспоминали годы, проведенные в Приштине, уверяя, что никогда больше им не было так хорошо.

Там был их первый дом, там родились их дети. В маленькой квартирке в здании консульства — кабинет, спальня, кухня — большому счастью не было тесно. Бранислав страстно хотел сына, и уже через год после свадьбы Даринка ждала ребенка. Для Нушича имело большое значение еще и то обстоятельство, что его сын родится на историческом Косовом поле. Он мечтал назвать сына именем одного из героев Косовской битвы. Страхиня, Страхинич-Бан — так он будет звать своего сына.

По обычаю тамошних сербов, о рождении сына вся околица оповещалась стрельбой. Консул приказал своему гавазу зарядить все имевшееся в доме оружие и приготовиться к поднятию государственного флага. Заранее были написаны телеграммы родителям и родственникам, которые извещались о том, что родился сын Страхиня. Оставалось только проставить час рождения.

Врачей в Приштине не было, принимала ребенка повивальная бабка. Взволнованный и даже, по-видимому, испуганный событием, Бранислав не нашел в себе силы остаться у постели семнадцатилетней роженицы и убежал в сад.

Даринка родила девочку. Бранислав ни за что не хотел поверить этому и трижды посылал соседку, принесшую известие к нему в сад, чтобы она убедилась, что родилась девочка, а не мальчик.

Читатель, наверное, помнит, как вел себя Джордже Нуша, когда ему по ошибке сказали, что вместо сына у него родилась дочь. Браниславу повезло менее, чем отцу, — никакого недоразумения не было.

С досадой он приказал гавазу не стрелять и не поднимать флага. Разочарование было настолько велико, что Бранислав три дня отказывался взглянуть на девочку, но стоило ему впервые увидеть ее, как отцовское чувство нахлынуло на него и уже больше не покидало никогда.

Девочку он назвал Маргитой. В эпосе о битве на Косовом поле — это единственное женское имя. По преданию, «косовская девушка» после сражения поила раненых героев «водой из речки Ситницы». Крестным отцом ее был русский консул в Призрене — Акимович.

В следующем, 1895 году Даринка ждала второго ребенка. Нушич отправил ее рожать в Белград, наказав, чтобы на сей раз она «не обманывала» его. И Даринка родила ему желанного сына Страхиню-Бана.

Вскоре она вернулась в Приштину. Бранислав часто работал в своем кабинете, поглядывая на сына, которого Даринка пристраивала в люльке возле его стола. Трудно представить себе более заботливого родителя, чем Бранислав Нушич. Он даже приучил своего любимого пса — «бернардинца» охранять детей, спавших обычно на втором этаже, в детской, и спускаться вниз всякий раз, когда кто-нибудь из них просыпался.

Нушич очень любил животных. В большом дворе консульства у него обитала всякая живность. Постепенно появились там корова, пони, теленок, жеребенок, осел, еж, черепаха, цапля, аисты, сойка, дрозд… Все они собирались у кухни в урочный час, когда Даринка или Бранислав появлялись в дверях с кормом. Нушич был противник дрессировки животных, жили они вольно. С жалостью раздавал их хозяин перед своим отъездом.

Весь 1896 год Бранислав провел в Приштине, выполняя прежние обязанности, пока его в конце года не заменили другим чиновником и не отправили в Солун (Салоники) принимать тамошнее консульство.

Солун весьма отличался от Приштины. Это был большой портовый город с торговыми дворами, гостиницами и даже сербской гимназией, находившейся в ведении консульства. В обязанности консульских работников входила также забота о древних сербских монастырях на Афоне.

Узкий длинный полуостров был прибежищем монашеской республики, насчитывавшей около двадцати больших православных монастырей и до семисот отдельных скитов — русских, греческих, болгарских, сербских…

На полуостров не допускались не только женщины, но и животные женского пола.

Нушич посетил крупнейший Хиландарский монастырь, основанный в XIII веке первым сербским королем Стефаном Первовенчанным и его братом Саввой, первым сербским архиепископом. В свое время Иван Грозный принял Хиландарскую обитель «под свою высокую руку», о чем свидетельствовала грамота, которую Нушич мог видеть в

богатейшей монастырской библиотеке. У монахов-хиландарцев было свое подворье в Китай-городе, в Москве.

До монастыря, треугольного замка с башнями и бойницами, вознесенного на вершину высокой скалы, добраться было не легко. Нушичу запомнился подъем в своеобразном лифте, большом сундуке, который вытягивали веревкой. Наверху оказался ветхий старец, медленно крутивший ворот.

Храм монастыря был прекрасен — белый тесаный камень, мрамор, мозаика. Консулу показали известную в православном мире икону «Троеручицу».

Из Солуна Нушича перевели в Серез. Остатки древних зданий этого города напоминали о славном историческом прошлом Сербии, которая в XIV веке была самым могущественным государством на Балканах, а царь Стефан Душан был провозглашен «царем сербов и греков».

Здесь в марте 1898 года Даринка родила еще одну дочь. Бранислав назвал ее Оливерой — так звали дочь царя Лазаря. Оливера прожила недолго. Нушич очень горевал. Письма его полны жалоб на свое несчастье.

Разбирая вместе с дочерью писателя Гитой Предич-Нушич его бумаги, я увидел листок с такой записью:

«Оливера, дочь моя, груда земли, под которой ты спишь вечным сном, пропитана сербской кровью и освящена сербской славой. Наверно, судьба хотела, чтобы меня с этой землей связывала не только любовь, которую я испытываю к ней, как серб, но и кровь сердца моего.

Эта связь, дочь моя, — твоя могила!

Твоя могила украшена гвоздиками и душистыми васильками. Гвоздики посадила твоя мать… васильки — отец…

Далеко мы тебя оставили. Но оставили не одну. Около могилы цветут гранатовые и лимонные деревья, малина и смоковница, вздыхают статные кипарисы; возле могилы течет быстрый ручеек, сбегающий с Врунда, а над могилой высоко вздымается кале — город, в котором правила царица Елена.

Всякий раз, когда мрачнеет небо Сербии, из тьмы веков появляется бледный лик этой благородной женщины. Она встает над развалинами, проходит сквозь обрушившиеся своды церкви св. Николы, в которой Душан провозгласил себя царем.

Тогда ее взгляд падает на твою могилу, дочь моя. Она тоже была несчастной матерью, могила ее дочери тоже далеко от нее.

Она хранительница твоей могилы, дочь моя, эта бледная благородная женщина».

После смерти дочери консул потерял интерес к служебным обязанностям и больше сидел за письменным столом, исписывал

своим бисерным почерком листок за листком. Но то, что он писал, не имело к дипломатической службе никакого отношения.

Бранислава Нушича потянуло в Белград, поближе к театру, к журналам, к друзьям… И возвращаться он собирался не с пустыми руками.

* * *

Нушич пробыл на дипломатической службе почти десять лет, и все эти годы он пристально следил за тем, что происходило в Белграде, часто навещал свой родной город. По мнению его начальников, даже излишне часто.

Короля Милана, отрекшегося от престола в пользу сына, старались держать подальше от Сербии. На его заграничные эскапады тратили громадные деньги, беря ссуды в русском Волжско-Камском банке. Но он все равно вернулся.

В ночь на 2 апреля 1893 года его семнадцатилетний сын Александр после торжественного приема при дворе приказал дворцовой страже арестовать регентов и министров и объявил себя совершеннолетним. Он обещал народу свободу и справедливость. А также восстановление добрых отношений с Россией. Народ ликовал. Молодой Йован Скерлич, будущий знаменитый критик, приветствовал его стихотворением «Отцу отечества», в котором прославлял «молодого государя, могучим голосом возвестившего вольность».

Все это происходило на глазах у Нушича, который в апреле 1893 года прибыл в Белград хлопотать о повышении перед своей свадьбой. «Почувствовались живые веяния», — писал он. И за доказательствами дело не стало. Милорада Шапчанина на посту директора Народного театра сменил либеральный Никола Петрович.

Нушич решил, что наконец пришло время «Подозрительной личности», разыскал в родительском доме рукопись комедии и отправился с нею к новому директору.

Петрович был предупредительным и обязательным человеком. Ждать пришлось недолго.

Недели через две Бранислав встретил на улице Николу Петровича. Еще метров за двадцать директор театра стал громко и заразительно смеяться и смеялся даже тогда, когда драматург подошел к нему вплотную.

Отсмеявшись, он сказал:

— Ну и хорошо же я посмеялся, читая эту вашу вещь. Вот и сейчас, увидел вас и вспомнил… Великолепно, просто

великолепно! Читал на днях в постели и, скажу вам, не мог удержаться — трясся от смеха. Я должен поздравить вас, Нушич!

И сердечно пожал Бранславу руку, а у того, как и в начале разговора с Шапчанином, по лицу разлилось выражение удовольствия, и снова перед глазами прошли «репетиции, многочисленные репетиции, генеральная репетиция, публика, и зазвенел в ушах звоночек, которым подают знак к поднятию занавеса».

— Жестоко это, скажу вам, только… э-э-э… зайдите вы, Нушич, ко мне сегодня же. Я вам отдам рукопись…

— Как?!

— Да, да, берите рукопись и несите-ка ее домой. Видите ли, не хочется мне, чтобы ее нашли у меня в столе; старый я уже, чтобы идти в тюрьму. Заберите-ка вы ее поскорее к себе домой.

Улица завертелась и стала дыбом, но Бранислав подавил волнение и тут же забрал рукопись, чтобы снова запрятать ее на долгие годы.

> «Живые веяния» оказались блефом.
>
> После принятия конституции 1888 года и отречения короля Милана в Белграде было уже около десятка правительственных кризисов. Партии сменяли друг друга у власти, но дела государственные по-прежнему не шли на лад, а казна пустовала. Жалованья чиновникам не платили по нескольку месяцев. Партийные раздоры принимали настолько скандальный характер, что экс-король злорадно говорил: «J'ai donné la constitution de l'année 1888, pour compromettrela liberté elle-même…». («Я дал конституцию 1888 года, чтобы скомпрометировать саму свободу…»).

Молодой король вернул отца и мать в страну. Назначенный главнокомандующим армией Милан, по сути дела, правил страной.

В 1894 году «самую либеральную в Европе» конституцию отменили, и все пошло по-старому. Правительства формировались только из одной партии — «дворцовой». Теперь уже время скандальных партийных склок казалось благословенным.

Обреновичи старались завоевать популярность народа устройством пышных парадов и спортивных зрелищ. Театр получил субсидии и создал много интересных спектаклей. Наезжая в Белград, Нушич почти каждый вечер проводил в театре.

Когда говорят о приверженности Бранислава Нушича к

театру, обычно припоминают предложение, сделанное драматургу молодым королем Александром Обреновичем еще во время консульской службы.

— Господин консул, вы уже давно служите на юге? — будто бы спросил король.

Нушич кивнул головой.

— Упаковывайте вещи, назначаю вас начальником Топлицкого округа, — торжественно объявил Александр, по привычке раскачиваясь на одной ножке стула. Случалось, стул падал… вместе с королем. Милан Обренович потом заказал для кабинета сына тяжелое, устойчивое вращающееся кресло.

Предложение должно было бы обрадовать Нушича. Стать начальником одного из пятнадцати округов Сербского королевства и взять на себя ответственность за полтораста тысяч подданных его величества было, разумеется, честью, сулившей обеспеченную жизнь и карьеру.

Однако Нушич грустно покачал головой.

— Что с вами, дорогой мой? — удивился король.

— Ваше величество, мне кажется, я на эту должность не гожусь.

— А мне кажется, Нушич, что вы ошибаетесь. Столько лет вы справлялись с опасной работой, — уговаривал король, не скупясь на комплименты. — В Топлицком округе живут замечательные честные люди. Я бы часто приезжал к вам на охоту. Мне нужен такой общительный человек, как вы…

— Вы правы, ваше величество, но позвольте признаться вам откровенно… Приедет вдруг в мой пограничный округ какая-нибудь театральная труппа, а тут, скажем, нападут арнауты… Побегут все искать начальника, а я тем временем сижу на репетиции…

Когда Нушич был еще в Приштине, в Народном театре наконец стали готовить к постановке «Народного депутата». 17 октября 1896 года состоялась премьера. Дядюшка Илья, игравший главную роль, превзошел самого себя. Предвыборная комедия, разыгрывавшаяся в стране очень часто, перенесенная на сцену театра, имела у публики громкий успех. Когда занавес опустился, публика вызывала Нушича несколько раз.

Король Александр был недоволен содержанием «Народного депутата», но не хотел идти по стопам отца. Он даже сделал вид, что почитает драматурга и интересуется его творчеством. Объявлено было, что 6 ноября состоится спектакль «по особому желанию короля». Но во время спектакля королевская ложа была пуста. Нушичу «дали урок». Король же на другой день посетил офицерскую пирушку, продолжавшуюся далеко за полночь.

Через год Народный театр показал новую комедию Нушича «Первый процесс», но успеха она не имела.

Если Нушич и в тюрьме оставался писателем, то консульская служба не мешала ему много и усердно заниматься литературой.

Вскоре вышла его книга «С Косова до синего моря» — продолжение этнографических и фольклорных записок. Он переработал для второго издания «Рассказы капрала». Написал дюжину рассказов, начал юмористический роман «Дитя общины».

Он поддерживал связь с белградскими издателями и подружился с переводчиком «Евгения Онегина», литератором Ристой Одавичем, редактировавшим иллюстрированный журнал «Новая искра». «Я одновременно и писатель, и фотограф, и македонец», — пишет ему Нушич из Сереза. У Бранислава была походная фотолаборатория, и он сам иллюстрировал свои путевые очерки.

И наконец, Нушич написал в том же Серезе серию сентиментально-идиллических рассказов «Рамазанские вечера» и посвятил их Йовану Иличу, отцу Воислава. Его зачаровали старосербская и мусульманская старина, мудрые дервиши, красивые женщины Востока, теснота слепых улиц, таинственные гаремы, диковинный мир адатов…

Он старался не отрываться от литературной жизни столицы. Круг интересовавших его вопросов виден из письма, которое он посылает в декабре 1898 года тому же Одавичу. Он предлагает завести в «Новой искре» рубрику, в которой бы известные писатели ответили на такую анкету:

«1. Есть ли у нас условия для создания современной драмы?

2. Есть ли у нас условия для создания социального романа?

3. Существует ли сербский стиль, а если не существует, надо ли его создавать?

4. Можно ли на основе нашей литературы вывести общий тип, который бы представлял собой сербский тип?

5. В чем причина задержки развития драмы?..»

Проблемы вечные, как мир…

И вот с консульской службой покончено. Но многие события жизни Бранислава Нушича в Македонии были лишь завязками интересных сюжетов, которые будут развиваться в полном согласии с законами драматургии. Только жизнь — это не драма и не комедия, действие ее растянуто на десятки лет… Однако повороты и хитросплетения в ней бывают такие, будто их придумал находчивый драматург.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ДИРЕКТОР

Софья. Боже мой, сынок, что здесь происходит?

Вичентие. Все очень просто: у человека две жены, одна для лета, другая для зимы.

«Обыкновенный человек»

— А что такое дефицит? — спрашивает Радов Безрогий.

— Есть такая штука в административном деле, — говорит делопроизводитель, и видно, что ему нравится повторять иностранное слово. — Дефицит — это вот что: посмотришь в книги, деньги все тут; просмотришь в кассе, а денег нет. Вот это самое и есть дефицит.

«Дитя общины»

ГЛАВА ПЕРВАЯ
ГАСКОНСКАЯ ГОЛОВА…

На дипломатической службе у Нушича появилась вельможная осанка. Роста, разумеется, у него не прибавилось, он по-прежнему был сухощав и подвижен. Фраки и сюртуки безупречного покроя придавали солидность. Некогда он спасовал в присутствии короля Милана, теперь он чувствовал себя непринужденно в любом обществе.

Как ни привлекательны чужие края, возвращение в родной город всегда вызывает сентиментальное настроение. Путник проезжает знакомыми улицами, смотрит на дома, с каждым из которых связано какое-нибудь воспоминание, и у него начинают гореть щеки и предательски покалывает под веками.

Старый Джордже и в самом деле прослезился, целуя сына, сноху, внучат. Бабушка Любица не утеряла своего веселого нрава. Она молодилась, любила шумное общество и азартную карточную игру.

Нушич поспешил устроиться на службу. Ему дали место секретаря министерства просвещения. Как выяснилось, он оказался в лучшем положении, чем все его друзья.

У власти находилось послушное Обреновичам правительство литератора Владана Джорджевича по прозвищу «доктор Красный нос». Годы его правления в Сербии называют «голодными годами сербской литературы». Все известные писатели, осмелившиеся вызвать неудовольствие своего могучего коллеги, были уволены с государственной службы и жили впроголодь. Среди них оказались Милован Глишич, Симо Матавуль, Радое Домановић, Янко Веселинович…

Дважды принимался Янко Веселинович издавать еженедельную литературную газету «Звезда», которую он сам скромно называл «газетой для семейного чтения». В первый раз ее закрыли уже через несколько месяцев. В 1898 году он начал все снова, но в то время газета «Дело» публиковала его роман «Герой наших дней», в котором Янко под именем Сречковича изобразил главу правительства Владана Джорджевича отъявленным подлецом, карьеристом, шарлатаном и взяточником. И угодил в тюрьму на несколько месяцев.

«Звезда» продолжала выходить без него.

Когда Нушич вернулся в Белград, Янко Веселинович уже снова стоял у руля «Звезды» и с удовольствием принял десяток написанных бывшим дипломатом рассказов, одноактную

трагедию «Князь Семберийский», а потом и юмористический роман Нушича «Дитя общины».

В редакции «Звезды», небольшой, скудно обставленной комнате, в которую обычно набивались до отказа сотрудники и друзья газеты, Нушич увидел множество знакомых лиц, друзей по университету, «Дарданеллам», театру. Особенно он сблизился с Янко Веселиновичем.

Янко всегда помнил, что первый его рассказ провалился, и потому готов был помочь начинающему, публиковал рассказ или стихотворение, даже если они и были шероховаты. Сотрудники одобряли его склонность к молодым людям, новичкам в литературе. Многих, очень многих «Звезда» подбодрила, целое поколение лучших сербских писателей нашло себя на страницах этого издания.

На страницах «Звезды», впоследствии превратившейся в ежемесячный журнал, регулярно помещались произведения не только старой гвардии отечественной литературы, но и Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Марко Вовчка, Щедрина, Гаршина, Чехова, Лейкина, Бунина, Горького, Мюссе, Мопассана, Дюма, Гауптмана, Гамсуна, Стриндберга, По, Твена, Сенкевича… Среди переводчиков были Евта Угричич и Павел Маринкович.

В условиях «владановщины» «Звезда» не боялась печатать сатирические рассказы Радое Домановича и статьи Йована Скерлича, еще лет пять назад приветствовавшего переворот, совершенный королем Александром.

«Покажите нам хороший сербский роман, хорошую современную драму, — возмущался Скерлич. — Нет их, нигде ничего нет. Хаос в политике, хаос в литературе; неизвестно — кто пьет, а кто платит. О высших соображениях и помину нет. Как и все стороны нашей общественной жизни, литература взывает к реформам. Сорняки так расплодились, что грозятся задушить и те несколько цветов, которые у нас есть…».

Цветы действительно были хороши. Как это ни парадоксально, подобные жалобы обычно сопровождают подъем литературы. Во времена ее упадка со всех сторон слышны не жалобы, а панегирики.

Если духовно «Звезда» возвысилась над своим веком, то материально она прозябала. Оскудение было полное. Вечно висел долг типографии, не хватало денег на покупку бумаги, дров… А если появлялся динар-другой, то в большинстве случаев Янко и его друзья отправлялись в ближайшую кафану, чтобы «отпраздновать» это событие.

Не нам судить щедрую, широкую натуру Янко Веселиновича, но этот веселый, внешне похожий на Шевченко человек жег, как

говорят, свечу с двух концов. Несмотря на слабое здоровье, он большую часть времени проводил в кафанах с приятелями. Полученные деньги тут же тратил. Залезал в долги. Когда становилось невмоготу, садился писать, сочинял рассказ за рассказом и снова пил. Писал быстро, легко, но вскоре стал повторяться.

Бранислав Нушич снова оказался в родной стихии кафанских посиделок.

Летом 1899 года на экс-короля Милана было совершено покушение. Он отделался легким испугом, но сотни людей были арестованы, а почти все газеты и журналы — закрыты. Общественная жизнь замерла.

«Звезда» чудом уцелела. Великое множество политиков и журналистов, оказавшихся не у дел, теперь торчали в редакции «Звезды» или сидели в «Дарданеллах».

Вокруг сотрудников и друзей газеты — Янко, Бранислава Нушича, Домановича, Милована Глишича, Дядюшки Ильи, Стевана Сремца, Павла Маринковича — образовалось общество, исповедовавшее культ устного юмористического и сатирического рассказа, шуток и анекдотов, которые, растекаясь из «Дарданелл», заменяли белградцам закрытые газеты.

Янко был другом и любимцем всех и каждого.

Добрая душа, он помогал, как мог, безработным литераторам…

В то время в Белграде влачил жалкое существование известный хорватский поэт-эмигрант Антун Густав Матош. Дело уже гало к зиме, когда улицы Белграда продувает свирепый северный ветер «кошава». Янко встретил Матоша у «Дарданелл» без пальто. Посмотрел он на хилого посиневшего поэта, снял с себя пальто и отдал Матошу. А на другой день Янко встретил поэта снова без пальто.

Матош спокойно объяснил ему:

— Продал я его, брат, за семь динаров. Задолжал хозяйке за квартиру. А то бы ночевать негде было, теперь на Калемегдане не посидишь, на звезды не поглядишь.

Матошу «Дарданеллы», а позже «Театральная кафана» казались чем-то вроде парижского «Прокопа» или лондонской «Сирены» XVIII века.

«Этот круг, — писал он, — самый остроумный и самый вольнодумный из всех мне известных. Даже у парижской богемы нет такого остроумия и „перца“. Даже Пера Тодорович, модернизатор белградской прессы, самый острый и даровитый сербский журналист, сербский Эмиль Жирарден, и тот еле успевает поворачиваться в этом парадоксальном обществе, где —

как в XVIII столетии — красноречие и удачная острота ценятся больше успеха хорошей книги. И тот, кто, подобно Лафонтену, вял и глуп в обществе, пусть туда лучше не является… Вполне естественно, что в такой атмосфере должны были вырастать блестящие, совершенно особые шутники и рассказчики… Вот в каком обществе царит красивая, седая забубенная головушка Стевы Сремца… и гасконская голова Бранислава Нушича».

Какое это было пестрое общество! Правда, их объединяла неприязнь к «западникам», получившим образование в европейских столицах и претендовавшим на литературный и научный авторитет.

Димитрий Вученов, автор биографии сатирика Домановича, яркой личности и непременного участника заседаний в «Дарданеллах», писал:

> «Богема конца девятнадцатого и начала двадцатого века по ряду вопросов вступила в конфликт с новой эпохой в сербской литературе и культуре. Она выдвинула на первый план самобытный, природный талант художника и, защищаясь от каких бы то ни было тисков — прописей, правил, дисциплины, недооценивала образованность, культивирование таланта. Она была против дисциплинированности, подчинения догматическим прописям, указывающим границы и пути творчества… против критериев утонченного вкуса, которому противопоставляла элементарную творческую силу художника. Богема не признавала авторитета каких бы то ни было критиков или теоретиков литературы, она никому не хотела давать возможность стать ее ментором… Поэтому ни один критик не прижился в этом богемном обществе, да и в Янковой „Звезде“, которая кроме взглядов политической оппозиции выражала еще и взгляды большинства тогдашней белградской богемы, не утвердился ни один выдающийся критик».

ГЛАВА ВТОРАЯ
ВСЕ ТРИ ПЬЕСЫ

Нушич наслаждался обществом друзей, манкировал службой, на которой к известному писателю относились снисходительно, и усердно работал по ночам.

Он пишет рассказы, заканчивает роман «Дитя общины», сюжет которого пришел ему в голову еще в Приштине. Возможно, замысел был подсказан одним случаем в местной сербской общине, куда пришла просить вспомоществования незамужняя женщина, родившая ребенка.

— А откуда он у тебя? — спросил один из весело настроенных членов совета общины.

— Бог дал, сударь.

— Ты в такие дела бога не вмешивай. Скажи правду, от кого ребенок? Мы от отца потребуем, чтоб содержал его.

— Один бог знает, сударь. От нищеты это.

Община приняла решение заботиться о ребенке, а воображение Нушича перенесло его в маленькое сербское село, где развеселая вдова родила ребенка, отцом которого с полным правом могут считать себя и местный староста, и поп, и общинный делопроизводитель, и лавочник, и кабатчик, и учитель… Вдова вскоре скрывается в неизвестном направлении, а общине теперь надо бы усыновить младенца. С этого начинается роман, который впоследствии все, называли не иначе, как «сумасшедшей симфонией смеха».

Сам младенец делает только то, что и полагается делать младенцу — пищит, сосет из рожка молочко и пачкает пеленки, но вокруг него происходит много событий. Вся Сербия предстает перед нами — от маленького села до Белграда. Нушич превосходно знает народную речь, народный юмор. А каковы типы! Вот ёрник и выпивоха сельский поп является к плуту старосте договариваться о судьбе ребенка.

> «Староста искоса посмотрел на попа, но тот начал ласково и тихо, как настоящий христианский проповедник. Прежде всего он напомнил старосте про четыре „с“[16], и добавил к этому стишок: „В согласье можно гору своротить, а в ссоре — в рабство угодить“. Потом он сослался на присловье: „Кто тебе выбил око?“ — „Брат!“ — „То-то хватил так глубоко“. И, наконец, рассказал старосте известную историю о том, как один

царь, будучи при смерти, призвал к себе семерых сыновей, взял семь прутьев, связав их в пучок и дал сыновьям, чтобы переломили. Но ни один из них пучка не переломил, а по отдельности каждый прутик ломался легко. Поп тем самым хотел сказать, что он — один прутик, староста — другой, а кабатчик и делопроизводитель — третий и четвертый. И чтобы окончательно убедить старосту, поп напомнил ему о гибели сербского царства на Косовом поле из-за несогласия вельмож».

И вот они уже в уездном городке трепещут перед лихим начальником, сменившим за девять лет службы четырнадцать уездов, шесть раз уличенным во взяточничестве, и все-таки нужным человеком.

— Мы пришли, — путаясь, говорит староста, — от имени ребенка, то есть… от имени нашей общины, которая внебрачно родила ребенка, то есть…

Начальник запрещает общине усыновлять младенца. И младенец начинает кочевать по рукам. Он попадает к вдове, которой после смерти мужа полагается наследство только в том случае, если она родит от него ребенка мужского пола. Она подменяет младенцем собственную девочку. Разоблаченная адвокатом, который предварительно высосал из нее все деньги, вдова уступает младенца гулящей девице, задумавшей шантажировать одного из своих «благодетелей». В каких только руках не побывало дитя общины! В Белграде некая Мара дает его даже «напрокат» тем своим соседкам, которые стараются разжалобить городское начальство и получить пособие по бедности. Соседка предлагает Маре динар за несколько часов пользования младенцем.

— Что ты, соседка! — возмущается Мара. — Где это ты видела, чтобы такое дите и уступали за динар? Да в нем килограммов пятнадцать весу.

— Что ты его на килограммы меряешь, — торгуется соседка. — Я же не покупаю, а беру напрокат…

В комические приключения с младенцем вовлекаются и самые высокие личности из чиновного Белграда, и тогда уже в романе невозможно провести разграничительной черты между юмором и сатирой.

Белград в романе описан весело и любовно. Особенно хороша столица в праздничные дни, когда ее жителей будят артиллерийским салютом такой громкости, что они выскакивают на улицу, забыв одеться, и испуганно спрашивают друг друга, уж

не начали ли обстрел города австрийцы, или, может, в королевском дворце вместо одного родилось сразу два престолонаследника?

Звонят колокола, в церквах служат. «Если бог не услышит молитвы, то артиллерийский салют он непременно должен был услышать». Улицы полны праздного люда, снуют всюду продавцы бузы — прохладного кисло-сладкого напитка, гремят оркестры, поют цыгане, у Калемегдана — шатры со всякими зрелищами.

Нушич приводит сюда своих детей Гиту и Страхиню-Бана. В «Первом сербском цирке» малыши видят «всемирно известного человека-резину» и «девушку-паука». А рядом с цирком — панорама, владелец которой, водрузив на голову белый цилиндр, кричит:

— Извольте, господа, посмотреть удивительнейшие вещи. Землетрясение в Мессине, самое страшное событие века… Вдали виднеются Везувий и Этна, еще плюющиеся огнем. Картина так хорошо нарисована, что невооруженным оком вы сможете увидеть, как трясется земля. Затем, братья и сестры, вы посмотрите величайшее изобретение прошлого века — водопад Ниагару. Смерть Наполеона… У смертного одра находится святая Елена, покровительница императора!

* * *

Белград растет и хорошеет. Дома и сады его далеко уже раскинулись по холмам над рекой Савой. Уже почти десять лет по его улицам ходит трамвай и опробованы первые телефоны. В театре иностранцы восхищаются игрой Велы Нигриновой в «Даме с камелиями» Дюма-сына.

Нушич готовится взять штурмом театральную твердыню, шлифует пьесы, написанные еще в Македонии, задумывает новые.

Белградский Народный театр объявляет конкурс на лучшую пьесу, которая «заняла бы целое вечернее представление». Нушич готов принять участие в конкурсе и представить не одну пьесу, а целых три! Беспокоит его одно — в жюри конкурса те самые критики, с которыми не ладят Нушич и прочая богема. Правда, каждая пьеса представляется под девизом, и жюри не знает имени автора.

Он решает представить на конкурс три вещи — мистическую сказку «Лилиан и Оморика», написанную в Приштине лет пять назад, социальную драму «Так надо было» и комедию «Обыкновенный человек».

Особые надежды он возлагает на первые две. В нем живет

наивная зависть к «серьезным» драматургам. Что комедия? Комедия — пустячок, публика на ней посмеется и вскоре предаст забвению. Злонамеренное жюри по стилю сразу определит, что «Обыкновенного человека» написал Нушич, и обрушит на комедию весь свой гнев. Это будет маневр, отвлекающий жюри от сказки и драмы.

В самом «стратегическом» замысле Нушича, отдававшем на растерзание комедию, есть уже твердое убеждение, что собственный стиль выработан, что комедиографа Нушича не спутаешь ни с кем другим. Под давлением условий, а вернее, условностей писателю бывает трудно разглядеть самого себя и идти тем путем, в который зовет его призвание.

«Пустячок» — комедия «Обыкновенный человек» — за последние семьдесят лет ставилась на сцене чаще, чем какая-либо другая пьеса драматурга. В нашей стране и ныне она собирает полные залы, идет под названиями «Чья жена?», «Незваный гость», «Люблю, не знаю кого» и «Обыкновенный человек».

Герой комедии поэт Жарко Дамнянович, написавший крамольное стихотворение, скрывается под чужим именем в загородном доме у приятеля, как некогда скрывался в доме родителей Милицы Трзибашич сам Бранислав. Поэт тоже собирается бежать за границу. У приятеля есть молоденькая сестра, влюбленная в… стихи Жарко Дамняновича, которого никогда не видела. Жарко Дамнянович влюбляется в девушку, но, не смея раскрыть свое инкогнито, решает завоевать любовь в обличье не поэта, а обыкновенного человека. Начало лирическое. Но дальше начинается невероятная комедийная путаница. Поэт назвался в доме сыном Йованче Мицича, торговца из Ягодины, и тотчас в дом является сам Йованче. Поэт с приятелем убеждают торговца временно признать «сына». Однако приезжает мать молодого поэта, и торговцу уже приходится признать ее своей «женой». Собственная жена торговца, получив тревожные сведения, устраивает сцену ревности. В свою очередь чиновник, собиравшийся жениться на матери поэта… В общем, положение все запутывается и запутывается, пока уже никому, кроме зрителей, не разобраться, кто кому жена, кто мать, кто отец, кто сын… А тем временем девушка успевает влюбиться в обыкновенного молодого человека, и, когда наконец все разбираются в своих отношениях, она с радостью узнает, что это ее любимый поэт.

И вот такую веселую вещь, в которой, правда, уже нет и следа сатирического запала прежних комедий Нушича, он решил принести в жертву, чтобы спасти две другие пьесы.

Однако жюри конкурса приняло решение, которое посрамило

тонкого стратега. Из тринадцати пьес, представленных на рассмотрение, жюри отметило три: «Лилиана и Оморику», «Так надо было» и «Обыкновенного человека».

В газетном объявлении авторам пьес предлагалось явиться в дирекцию театра, решившую включить все три вещи в репертуар.

Авторы явились. Трое в одном лице… Им был сам Бранислав Нушич.

Тысяча девятисотый год принес Нушичу небывалый урожай. Состоялось пять премьер. В феврале Народный театр поставил одноактную историческую трагедию «Князь Семберийский», в мае — комедию «Обыкновенный человек», в октябре — драму «Так надо было» и одноактную комедию «Шопенгауэр», в ноябре — сказку «Лилиан и Оморика». Судя по списку пьес, сделанному самим Нушичем и найденному мною среди бумаг драматурга, только «Так надо было» и «Шопенгауэр» написаны уже по приезде в Белград, все остальное — плоды консульского досуга.

«Князь Семберийский» (1897) считается лучшей из исторических драм Бранислава Нушича. Уже в начале XX века она была переведена на словенский, итальянский, чешский, русский, польский и немецкий языки. Среди заметок, которые драматург делал в толстой тетради, есть и такая:

«Толстой прочел „Князя Семберийского“ и сказал, что это лучшая и самая сильная драма у славян за то десятилетие, когда она была обнародована».

Эти лестные слова Льва Николаевича могли быть переданы Нушичу либо русскими дипломатами, с которыми он дружил, либо русскими актерами или писателями, часто посещавшими Белград. Толстой мог прочесть драму и в русском переводе и на сербском языке, которым он владел в достаточной степени, чтобы следить за новинками братской литературы. Подозревать Нушича в вымысле на этот раз не приходится, так как заметка сделана явно не для посторонних глаз.

Князь Семберии Иван был воспет народом и поэтами, имя его отмечено историками. Он не совершал, подобно другим князьям, великих военных и дипломатических подвигов, его прославило сострадание.

Еще в «реалке» Алка Нуша мог встретить в книге по истории Сербии, написанной Миличевичем, такие строки: «В 1806 году захватили турки Ядар и Подринье и много рабов увели в Боснию. Застонала душа князя Ивана от горя… Поехал он к Кулину (турецкому военачальнику. — *Д. Ж.)* и договорился, что даст ему выкуп за рабов. Кулин уступил ему всех рабов, но Иван едва собрал половину выкупа, и стал просить денег у торговцев. Тут счастье ему изменило, и он, будучи не в состоянии выплатить

весь долг, бежал в Сербию, где и жил в великой нищете».

В своей маленькой трагедии Нушич не придерживается исторической правды. Не Иван едет к Кулину, а турок жалует во двор к князю, принимающему его с величайшим достоинством. Триста трех рабов хочет он продать Ивану, у которого уже собрались сельские старосты, готовые отдать последние свои сбережения.

Князь Иван отдает за пленных все деньги, но Кулин непреклонен — он потерял в бою двадцать человек и хочет получить за рабов громадную сумму. Иван отдает турку свою одежду, оружие, все имущество.

Наконец, он жертвует семейной святыней — иконой в серебряном окладе и лампадой. Старая мать князя не выносит сцены разорения дома и умирает.

Пьеса кончается на высокой и чистой ноте. Кулин-бег тоже человек, а не театральный злодей. Его последней репликой как бы обрывается нагнетание жестокости, вызванной холодной расчетливостью.

> «**Князь Иван** *(поцеловав мертвую мать, приходит в себя и медленно поднимает голову).* Господи, отдаю тебе самое дорогое… отдаю тебе жизнь своей матери. Не хватит ли, бег?.. Не хватит ли уже?..
>
> **Кулин**. …Хватит, Иво, хватит, хватит!.. *(Отворачивается.)* Твои рабы, выкупил ты их!»

Иногда произведению не хватает какого-то последнего штриха, чтобы стать произведением искусства, если даже оно гармонично скомпоновано и населено убедительными характерами. Жестокость и злодейство, какими бы сочными и густыми красками их ни выписывали, никогда не могут оказать такого воздействия на зрителя, как те же качества, оттененные умом или какой-либо иной положительной чертой.

Оглупление врага обычно губит произведение. А турок Кулин совсем не глуп, по-своему даже благороден. И сразу же отчетливо вырисовывается исторический фон, рождается художественная правда. Жестока эпоха, жестока турецкая империя, а не сам турок (кстати, он мог быть и сербом, которого забрали в десятилетнем возрасте и воспитали янычаром).

Нушичу было у кого учиться искусству броских реплик под занавес. Он немало пересмотрел популярных в ту пору романтических псевдоисторических драм Дюма-отца. В глубоко национальных драмах Нушича нет и следа экспансивности, экзальтации французского драматурга (с романтизмом давно было покончено), но опыт предшественников, разработанные ими

приемы становятся привычными орудиями в руках позднейших поколений драматургов.

И уж конечно, стоит вспомнить нестойкого моралиста Дюма-сына, говоря о социальных драмах Нушича, которые он стал усердно поставлять Народному театру по возвращении из своих дипломатических скитаний. Установить причинно-следственную связь их появления с событиями жизни драматурга не удалось ни одному исследователю. Скорее всего, этой связи не было и в помине. Придумывать сюжеты для Нушича не составляло никакого труда, едва десятая их часть воплощалась в пьесы или рассказы.

Первой он написал драму «Так надо было». Трагичная и трогательная, она долго не сходила с сербской сцены, охотно переводилась на другие языки. В ней есть все, что необходимо иметь хорошей драме, — острый сюжет, тонко уловленные общественные отношения, небанальная любовная интрига и эффектная концовка. Нушич написал ее и множество других драм и трагедий для самоутверждения, а также для того, чтобы потрафить критикам, к мнению которых он в конце концов стал прислушиваться. По нашему глубокому убеждению, этим он нанес ущерб и себе и своим будущим зрителям, так как лишил их многих веселых минут.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
НА КОРОЛЕВСКИЙ СЧЕТ

8 июля 1900 года молодой король Александр Обренович всенародно объявил о том, что он собирается жениться. Дипломатический представитель России Павел Борисович Мансуров поспешил от имени царя принести ему свои поздравления. Партия радикалов тоже поздравляла Александра с будущей свадьбой.

Однако экс-король Милан не разделял радости своего сына. За это он был снят с должности главнокомандующего и удален из дворца. А что будет, спросили короля, если Милан попытается силой ворваться во дворец?

— Думаю, мой отец этого не сделает, — ответил король. — В противном случае на применение силы надо ответить тем же. И если он будет убит, сам виноват…

Король был настроен решительно. Милана выслали за рубежи страны, и вскоре он умер в Вене.

Было и еще много недовольных. Одним казалось, что королю не пристало брать в жены неровню себе, женщину простого происхождения, отец которой, мелкий чиновник Панта Луневица, умер в сумасшедшем доме, а мать страдала алкоголизмом. Другим не нравилось, что вдова инженера Машина старше короля почти на двенадцать лет. Третьи утверждали, что госпожа Драга Машин бесплодна, и приводили веские доказательства.

А один из генералов почтительно сообщил королю, что пользовался услугами будущей королевы («Ах, какая красивая и чувственная женщина!») за весьма недорогую плату.

У короля были вечно сощуренные близорукие глаза. Однако он хорошо разглядел прелести госпожи Драги, с которой познакомился в Биаррице, где у его матери, королевы Натальи, было имение, называвшееся по имени сына «Сашино».

Рано овдовев, госпожа Драга Машин жила рукоделием, доброхотными даяниями почитателей ее красоты, среди которых был в король Милан, и переводами с немецкого и французского. С помощью университетского профессора Поповича Драга перевела на сербский популярный уголовный роман Ксавье де Монтепена «Агент Кошачий глаз». Кто-то представил ее королеве Наталье, и та приблизила ловкую и обходительную даму, с тех пор не покидавшую королеву в скитаниях по ее имениям в Молдавии, Крыму и Биаррице.

У короля Александра была трудная юность. Родители его

жестоко враждовали друг с другом. Принужденный в семейных ссорах делать вид, что стоит на стороне каждого из родителей, он часто лгал. Дурные наклонности его поощрялись. Милан считал его совершенно слабохарактерным и правил за него королевством. Неуверенность в себе порождала ожесточенность и ответную недоверчивость.

Кругом одно притворство, решил король, никто не любит его. Одна Драга прекрасно его понимает — с каким живейшим интересом выслушивает она его честолюбивые планы об укреплении королевской власти в Сербии, об отторжении от турок областей, населенных сербами, о высвобождении страны из пут австрийской политики. С другими он редко делится…

Эгоистичная и взбалмошная королева Наталья никогда не находила с ним общего языка. Юным принцам, с самого рождения попадающим в руки кормилиц, дядек, воспитателей, материнское тепло неведомо. Подрастая, они ищут суррогат материнского тепла в заботах, расточаемых ласковыми любовницами.

В год приезда Нушича в Белград вдовушка уже покинула маленький двор в Биаррице. Мимо ее дома в Белграде нередко проходил молодой король в сопровождении офицеров. Пера Тодорович писал об этих прогулках: «Обычно он перед домом замедлял шаг, а когда проходил мимо окна, в которое из-за портьеры скромно, украдкой выглядывала госпожа Драга, улыбался ей и чуть приметно кивал головой в знак того, что видит ее. Прекрасная госпожа Драга еще долго-долго глядит ему вслед». А позже, под покровом темноты, король подъезжал к дому в закрытой карете. Короткое расстояние от подножки кареты до крыльца дома возлюбленной он преодолевал в маске…

Все это очень мило, но зачем же жениться на «такой» женщине? Королем недовольны даже министры. Однако король и слушать никого не хочет. Он влюблен, он безумно счастлив. Тем более что его возлюбленная сообщила ему радостную новость — кажется, она ждет ребенка… Он покажет всем, какой он слабохарактерный!

Снисходительных министров найти нетрудно. Создается министерство, которое народ называет «свадебным». В нем деятели разных партий, два родственника госпожи Драги Машин и… Павел Маринкович. Друга Бранислава Нушича назначают министром просвещения.

12 июля 1900 года образовалось правительство, а уже 18 июля появляется указ: «Мы, Александр I, по милости божьей и воле народной король Сербии, по предложению нашего министра просвещения и церковных дел назначаем драматургом Народного театра… Бранислава Дж. Нушича…» Мало того, Нушич

становится исполняющим обязанности директора театра, а вскоре и директором. Он получает четыре тысячи динаров в год жалованья и право вершить театральную политику.

Дальнейшее приняло характер цепной реакции. В художественном совете театра один за другим занимают места Янко Веселинович, Стеван Сремац, Милован Глишич… Самые яркие литературные имена, лучшие друзья нового директора. Они и десятки других благодаря могучему заступничеству министра Маринковича получают должности на государственной службе.

Новая королева хочет стать покровительницей искусств. Она дает деньги на новые журналы. «Звезда» тоже превращается в ежемесячный журнал. Но это не мешает богеме вести себя независимо и высмеивать все, что творится при дворе.

Однако милости сделали свое дело. Изменился не только формат «Звезды», но и ее содержание. По случаю королевской свадьбы журнал поместил верноподданническое поздравление, подчеркивавшее сербское происхождение королевы и ее заботу о сербской литературе. Кончалось оно так: «Да здравствует Король Александр! Да здравствует королева Драга! Дай бог им счастья и долгих лет жизни!»

Впрочем, королю и королеве приходилось несладко. Все европейские газеты дружно издевались над их браком. В самой стране множились анекдоты.

Королева Драга, добиваясь популярности, награждала орденами писателей, художников, актеров. Однажды она решила воспользоваться обширным кругом знакомств Маринковича и попросила его пригласить белградскую творческую элиту на обед, который они с королем собирались дать в своей резиденции в Смедереве, где молодожены бывали чаще, чем в Белграде.

Список приглашенных, составленный Маринковичем, выглядит сейчас так, будто вы читаете оглавление современного школьного учебника истории сербской литературы и искусства: Бранислав Нушич, Милован Глишич, Стеван Сремац, Сима Матавуль, Янко Веселинович… Знаменитые художники, архитекторы, актеры. Отказаться от королевского приглашения нельзя было никому.

Министр Маринкович отбыл в Смедерево заранее. Перед отъездом он объяснил приглашенным, как надо одеться, как вести себя во дворце. И попросил воздержаться от шуток или двусмысленностей, которые могли бы задеть без того издерганных короля и королеву.

У большинства приглашенных не было фраков. У одних их не было никогда, другие держали свои фраки в закладе. Забот и хлопот был полон рот. Поиски фраков многих привели в

костюмерную театра…

Пожалуй, это был уникальный случай в истории сербской культуры, когда в одном месте, а именно на борту парохода, плывшего в Смедерево, собралось столько ее знаменитостей. И являли они собой довольно странное зрелище — сидевшие мешком фраки, излишне длинные или короткие рукава служили поводом для подшучиваний, острот, розыгрышей. Первой жертвой этой пестрой и веселой публики оказался скульптор Петр Убавкич.

Это был человек добродушный, наивный и доверчивый, и поэтому его часто разыгрывали.

Однажды он сообщил Нушичу, что женился.

— Хорошая женщина? — спросил Нушич.

— Хорошая, — ответил Убавкич, — у нее тринадцать детей, и все отлично ухожены.

Обремененный большой семьей, Убавкич часто бывал без гроша в кармане. Вот и теперь он расспрашивал всех, оплатит ли ему король поездку на пароходе до Смедерева.

— А до пристани ты шел пешком? — спросил Нушич.

— Пешком, — ответил Убавкич.

— Вот видишь, какой ты! Почему не взял фиакр? Мы все приехали на фиакрах, король платит за все!

— А мне никто ничего не сказал, — оправдывался Убавкич.

Нушич тайком собрал деньги и купил ему билет до Смедерева.

— Что же ты мне раньше не сказал, что король за все платит? — сказал Убавкич, когда все вошли в ресторан. — Я, видишь ли, так спешил, что забыл кошелек на столе…

— А зачем тебе деньги? Все бесплатно, — сказал Нушич и небрежно бросил подошедшему официанту: — Одно кофе покрепче, на королевский счет!

— Сию минуту! — гаркнул заранее предупрежденный официант.

— А мне двойную порцию гуляша и кружку пива, — добавил вечно голодный Убавкич.

За гуляшом последовал телячий шницель и многое другое. В конце концов официант подошел к столу и «предерзко» потребовал заплатить за съеденное.

— Как платить! Да я же гость короля! Запиши ему в счет!

И тут только Убавкич сообразил, что его разыгрывают.

— Опять, наверно, Нушич! — И он погрозил Нушичу пальцем.

Все рассмеялись. По счету к этому времени уже заплатили.

В великолепно освещенном зале министр Маринкович выстроил всех званых полукругом. Гости во фраках из

театральной костюмерной производили странное впечатление. Они казались персонажами убогой оперетки.

Появились король с королевой. У короля было длинное нервное лицо. Он подходил к каждому, щурил за очками глаза, протягивал руку и спрашивал одно и то же:

— Над чем работаете?

Времена были смутные, и половина присутствовавших больше занималась разговорами в кафанах, чем работала. Но на всякий случай отвечали:

— Заканчиваю роман. Названия еще не придумал.

— Готовлю к печати сборник стихов.

— Лирических или патриотических? — любопытствовала королева.

— И лирических и патриотических, ваше величество.

Янко Веселинович даже утверждал, что он работает над второй частью своего романа «Крестьянка», хотя не закончил и первую.

В общем, выпутались все, кроме того же Убавкича, которого после сытного обеда на пароходе клонило в сон.

— Это наш знаменитый скульптор Пера Убавкич, который создал памятник «Таковское восстание», — представил его Маринкович.

— Я много слышал о вас, — сказал король.

— А над чем вы работаете сейчас? — спросила королева.

— Я?.. Это самое… как вам сказать… Работаю, да, работаю… — промямлил Убавкич.

— Над чем? — настаивала королева.

— Простите, ваше величество, но это секрет — готовлю сюрприз, — нашелся скульптор.

— Ах, так. Прекрасно! — обрадовалась королева.

Стеван Сремац почувствовал, как кто-то его толкнул в бок, и, обернувшись, увидел Нушича, который делал гримасы, чтобы не рассмеяться. Нушич шепнул на ухо Сремцу:

— Все врали. Одному ему было противно врать.

Король пригласил всех отобедать.

За богато сервированным столом приглашенные чувствовали себя неловко. Почти никому из них не приходилось едать во дворцах.

Король и королева старались немного разрядить обстановку, всем улыбались, милостиво задавали стереотипные вопросы. Напряженность немного спала, гости стали шепотом разговаривать друг с другом. И тут разразилось то, чего больше всего опасался министр Маринкович…

Нушич, сидевший рядом со Стеваном Сремцем, давно уже

ерзал на стуле. Вся эта комедия смешила его.

А что было бы, если…

Он наклонился к уху Стевана Сремца и сказал:

— Стева!

Ложка с супом замерла у самого рта писателя. Этот суп имев замысловатое французское название, обозначенное в роскошном меню, лежавшем возле каждого гостя.

— А?

— Представь себе, что сейчас откроются двери и вдруг появится покойный король Милан…

— И что будет?

— Знаешь, что бы он сказал?

— Что? — спросил Сремац, снова осторожно поднося ко рту ложку с французским супом.

— Саша! — И тут Нушич, имитируя покойного короля, известного похабника и сквернослова, употребил непечатную фразу. — Разве для того я уступил тебе престол, чтобы ты собирал вокруг себя эту шантрапу?

Сремац прыснул в ложку. Суп брызнул во все стороны.

Нушич втянул голову в плечи и, сделав совершенно невинную физиономию, начал быстро-быстро есть свой суп. Сремац улыбался во весь рот.

Шутка была к месту, и Сремац, сам замечательный юморист, оценил ее. Он разглядывал упрятанных в нелепые фраки гостей и улыбался все шире. Маринкович метал в него грозные взгляды. Королева начала нервничать.

И все было бы ничего, если бы рядом со Сремцем не сидел еще один юморист — толстый и благодушный Милован Глишич. А надо сказать, что Глишич имел обыкновение смеяться очень громко и заразительно, хлопая себя ладонями по коленям. В театре дядя Милован смеялся так, что потешал публику больше, чем актеры на сцене.

— Племянничек, — обратился он к Сремцу (напомню читателям, что «племянничками» он называл всех своих младших товарищей), — что тебе сказал этот Нушич? Честное слово, смеяться не буду!

И Сремац повторил. Толстяк забыл, что он за королевской трапезой. Он грохотал, лупил себя ладонями по коленям, по толстым щекам его текли слезы удовольствия.

Маринкович уронил ложку. Король и королева встали. Драга бросила на министра взгляд, в котором ясно читалось: «Вот они, ваши интеллигенты!» Король гладил ее дрожавшую руку. Чета вышла, министр последовал за ними.

Кто-то из гостей, боясь, что ему не дадут теперь доесть какой-

то особо вкусный шедевр королевской кухни, упрекнул Милована Глишича.

— Да не я виноват, племянничек, — еще трясясь от смеха, оправдывался Глишич. Показав на Нушича, добавил. — Это все он, хулиган!

Вбежавший министр был разъярен — так подвести его! Но когда Маринковичу рассказали, в чем дело, он тоже рассмеялся и потребовал, чтобы Нушич сам повторил все перед королем и королевой и убедил их, что никто на их счет не проезжался. Но тот отказывался, утверждая, что без ругательства шутка теряет соль, а он не может сказать это ругательство в лицо королю, ибо в нем упоминается мать его величества.

Маринкович настаивал. Нушич отказывался. Спор был совершенно абсурден, нелеп и вызывал у королевских гостей взрывы хохота.

А король с королевой, слыша из курительной это бурное веселье, вздрагивали всякий раз, ибо принимали его на свой счет.

В конце концов Маринкович с Нушичем отправились в курительную и рассказали все королевской чете. Убедившись, что их самолюбию не нанесено никакого урона, Александр и Драга в добром расположении духа вернулись к столу.

Впоследствии король всегда благоволил к Нушичу. Не раз он приглашал его с труппой в Смедерево, не одна смешная история об этих встречах с королем ходила в свое время по Белграду. Ну, да всего не расскажешь!

Одно можно сказать заранее — расположение королей так же чревато опасностями, как и их немилость.

* * *

23 апреля 1901 года исполнилось девять месяцев со дня венчания Александра и Драги. Из разных стран в Белград стали съезжаться известные акушеры. Даже русские — Снегирев и Губарев. Королевский акушер, француз Коле, еще в августе 1900 года определил, что королева ждет ребенка.

Белград готовился к празднеству. Заряжались пушки для залпов на случай рождения престолонаследника.

Да только вот незадача… акушеры заявили в письменном виде, что королева не только не должна родить, но никогда и не была в «благословенном положении».

По одной версии, Драга настолько уверовала в собственную способность родить королю наследника, что в ее организме произошли какие-то физиологические изменения и появились

внешние признаки беременности, которые обманули придворного акушера Коле. По другой — королева подкупила Коле, надеясь выдать какого-нибудь чужого новорожденного младенца за собственного.

Смеялась вся Европа. Смеялась Сербия. «Свадебное министерство» народ переименовал в «родильное министерство».

Смех убивает. Он убивает уважение и родит презрение.

Королевский фарс продолжался, чтобы в конце концов завершиться трагедией.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КОНЧАЮЩАЯСЯ ДЕФИЦИТОМ

Нушич почти забыл о своей комедии «Подозрительная личность». Отвергнутая двумя предшественниками, Шапчанином и Петровичем, она, безусловно, должна была заинтересовать нового директора, тем более что он сам был ее автором. Пусть сам же он и расскажет, как поступил с собственной комедией, казавшейся его предшественникам настолько опасной, что они боялись держать ее в своем столе.

> «В 1900 году я стал директором Народного театра, сменив Николу Петровича. Поскольку я сам драматург, у меня было честолюбивое желание отметить свое правление и обогатить репертуар обилием самобытных произведений, а посему я не боялся смелых попыток, веря, что это даст ход талантливой драме, что слабый писатель извлечет урок из своего провала, а хороший и сильный будет ободрен поощрением и станет творить еще и еще. И нет ничего удивительного, что я вспомнил о пьесе, забытой где-то в ящике стола. И разве не естественна была моя надежда, что новый директор будет более покладистым, чем прежние? Значит, сейчас самое время, самые благоприятные обстоятельства, чтобы „Подозрительная личность“ увидела свет.
>
> Я снова достаю пьесу со дна ящика, стряхиваю с нее пыль и в один прекрасный день отношу ее и кладу на стол директора театра. Рукопись недолго ждала своей очереди: сел я за стол и, не откладывая дела в долгий ящик, прочитал ее еще раз.
>
> Стол директора большой: на столе — документы с входящими номерами, звонок, у стола — кресло, а на стене, за моей спиной, портрет короля в богатой раме. Входит в кабинет театральный чиновник и подает документы на подпись: документы с государственной печатью, мой титул оттиснут штампом — и все это, все меня окружающее, настраивает меня на какой-то официальный лад, создает особую канцелярскую атмосферу, и я сажусь попрямее в кресле, за которым, над моей головой, висит в толстой раме портрет Его Величества Короля.

Читаю пьесу, читаю, и как встретится мне слово „династия“, оборачиваюсь и смотрю осторожно на портрет Его Величества Короля. Читаю дальше, читаю, утопая в кресле директора, и, ей-богу, когда я дочитал до конца, показалась комедия мне совсем другой, совсем не такой, как дома, где я ее читал как автор. И когда наконец я прочел ее еще раз, случилось то, что и должно было случиться. Я встаю, беру со стола рукопись и возвращаю ее самому себе, как писателю, сопроводив, разумеется, это действие такими мудрыми словами:

— Дорогой мой господин Нушич, заберите-ка вы эту рукопись домой. Хорошая пьеса, прекрасная пьеса, я вас даже поздравляю с ней, но заберите-ка вы ее домой, мне не хотелось бы, чтобы ее нашли здесь, в столе директора.

— Но, простите, — пытается противиться Нушич-писатель, — я понимаю, когда прежние директоры… но теперь… и потом ваше стремление обновить репертуар…

— Все это так… да, именно так, — отвечает Нушич-директор. — Но, как ваш искренний друг, в интересах вашей будущности советую: заберите-ка эту рукопись домой. Вы человек молодой, послушайте меня!

Этот разговор я вел, поглядывая в большое зеркало, которое было против моего стола, и в котором сидел передо мной удрученный писатель Нушич. Чтобы успокоить его, я сотворил компиляцию из давнишней речи Шапчанина и говорил долго, пока, наконец, не убедил того, в зеркале, взять рукопись, отнести ее домой и положить на старое место, на дно ящика, под толстую пачку других рукописей».

В Сербии говорили, что две проблемы никогда не перестают быть насущными — македонская и театральная. В государственной бюрократической иерархии пост директора театра был одним из влиятельнейших. Во всяком случае, в репертуарной политике слово Нушича было решающим.

То ли его уже коснулись те новые веяния, когда «самоцензура» убивает еще в зародыше множество великих произведений, то ли возобладало чувство самосохранения, подкрепленное тайной надеждой сделать больше потом, утвердившись прочнее в кресле под портретом короля, но Бранислав Нушич мгновенно проникся сановной осторожностью, о которой повествовал впоследствии с грустной иронией.

Впрочем, театр всегда входил и будет входить в политическую сферу, а иная политика — особа ветреная. Если же

она оказывается постоянной, то чаще всего проявляет характер властный, перед которым пасует фантазия многих художников…

И все же энергия нового директора нашла достойное применение. По числу произведений, поставленных на сцене Народного театра, отечественные авторы одолели иностранных. И хотя сербские пьесы еще отставали в несколько раз по числу спектаклей, средний доход от каждого их представления (425 динаров) был почти равен доходу от представления иностранной пьесы (481 динар).

«Он обратился к современному репертуару, — пишет известный югославский литературовед В. Глигорич, — поощрял отечественную драму, заказывал переводы современных пьес. Дирекция при нем была теснее связана с актерами и драматургами. В отличие от прежней дирекции, которая вела франкофильскую политику, она проводила политику русофильскую. Нушич вносил в работу театра свою творческую живость и динамичную активность, рядом с которыми схоластике не было места…».

Нушич отчетливо видел несовершенства своего театра — самодеятельный характер режиссуры и актерской игры. Нужны были реформы, но для этого требовалось подучиться самому. И уже в ноябре 1900 года, через несколько месяцев после вступления в должность, Нушич совершает большую поездку, желая посетить славянские драматические театры Загреба, Вены, Варшавы, Праги и, наконец, Москвы.

Поскольку Милован Глишич отказывался снова стать драматургом театра, то есть взяться заведовать литературной частью, и оставался лишь членом художественного совета театра, Нушич настаивал, чтобы на эту должность поставили Янко Веселиновича. Но министр Маринкович протестовал, не без оснований считая, что Нушич с Веселиновичем — люди слишком мягкие и добродушные — не справятся с актерской вольницей. Но Янко все-таки драматургом стал, и ему пришлось даже управлять театром во время месячного отсутствия директора, отправившегося в турне по заграничным театрам.

«Янко был драматург, — писал Нушич, — весь в традициях Глишича. Глишич никогда не вмешивался ни в дела режиссеров, ни в дела директора, он свел свои обязанности драматурга к чтению приносимых пьес, к стилистической и языковой правке переводов, к акцентуации реплик и к присутствию на репетициях-читках. И хотя тогдашний скромный кабинет драматурга не представлял собой наблюдательной вышки, с которой бы просматривалось все величие литературы, это был все же маяк, светивший чистым и незамутненным сербским языком. Эту

традицию подхватил и Янко, который, пропадая на репетициях, не позволял портить произношение».

Нушич вернулся вовремя. Янко явно не ощущал необходимости чинного поведения на столь высоком посту. И для литераторов и для актеров в кресле директора он был непривычен. Особенно потешала актеров появившаяся у него было манера звонком вызывать к себе служителя и посылать его за кем-нибудь. Важно восседавший в кресле Янко уже через несколько минут не выдерживал и вступал в веселую перебранку с актером…

* * *

Объезжая славянские театры, Нушич в силу ряда причин не мог посетить Москвы, но она сама явилась в Белград в лице князя Александра Ивановича Сумбатова-Южина, артиста императорских театров. В январе 1901 года вся белградская пресса, и только что основанная Нушичем «Театральная газета» в том числе, поставила публику в известность, что великий трагик, «пионер, стремящийся познакомить южных славян с русской драматической школой», будет играть заглавные роли в «Рюи Блазе», «Уриэле Акосте», «Отелло», «Кине» и «Ричарде III».

Возможно, что приезд Сумбатова-Южина устроил Янко, у которого были обширные связи с русскими, или сам Нушич. Заботясь о достойном приеме замечательного русского актера, он писал министру, что «князь Сумбатов не только актер, но и знаменитый писатель», и что «он приезжает на гастроли сюда, не требуя какого-либо вознаграждения».

На вокзале Сумбатова-Южина встречал специальный комитет из тридцати именитейших граждан Белграда, а также писателей, актеров, композиторов, среди которых были знакомый нам «дядя» Гига Гершич, Мокраняц, Янко Веселинович, Бранислав Нушич, актер Милорад Гаврилович…

Встреча была пышная, но и белградцев поразила вельможность русского актера. Он прибыл со свитой: личный суфлер, костюмер, брадобрей…

Грузинско-русского князя удивить гостеприимством было трудно. И все же радушные хозяева постарались на славу, тем более что режиссером встречи был Бранислав Нушич, прирожденный организатор всяких торжеств. «С самого раннего детства я являюсь непременным членом комитетов по встрече. Единственный раз в своей жизни, когда я не состоял членом комитета по встрече, был день моего рождения (по этому случаю

в комитет вошли: мой отец, акушерка и соседка); других случаев моего неучастия во встречах нет и не будет».

Число банкетов было максимальным, а обилие яств и напитков грозило подорвать здоровье пирующих. В свое время в фельетоне «Комитет по встрече», откуда взяты уже приведенные строки, Нушич предложил «типовую» программу такого банкета:

«Молодой сыр и редис.
Здравица.
Сардины.
Здравица.
Икра.
Здравица.
Кислые щи.
Здравица.
Рагу.
Здравица.
Жареный барашек.
Здравица, во время которой все присутствующие прослезятся.
Салат.
Здравица.
Жареный поросенок.
Здравица, во время которой все присутствующие будут обниматься и целоваться.
Салат.
Здравица.
Пирог с мясом.
Здравица.
Кофе.
Здравица».

Сербы, обхватив друг друга за плечи и подпевая себе, кружились в «коло», князь лихо отплясывал лезгинку.

Возможно, Сумбатов-Южин долго приходил в себя после встречи и банкетов, так как перед публикой он появился лишь через месяц с лишним.

«Театральная газета» сообщала, что билеты раскуплены заранее. Газеты помещали портреты Южина и трогательные рассказы о том, как молодой юрист «преодолел предрассудки хорошей семьи» и стал поэтом, а потом и артистом Малого театра, драматургом, любимцем московской публики.

Двадцать пятого февраля театр показал «Оковы» Южина. На спектакле присутствовал автор. И в тот же день, предвкушая удовольствие от игры Южина, кто-то из сотрудников

«Театральной газеты» писал: «Мягкий и приятный русский язык, который так прекрасно воспел Тургенев, надеемся, придаст игре нашего милого гостя интересный колорит и новые чары, и это только увеличит успех его игры».

Целую неделю Южин играл в Народном театре, и всякий вечер зал ломился от публики. Зрителей привлекала не только львиная внешность и темперамент великого актера, но и то, что он был первым гостем из славянской России на белградской сцене. Для актеров игра Александра Ивановича, человека большой культуры и таланта, была настоящим откровением.

Замечалось и обсуждалось все. И то, что он знал все монологи на память, а суфлер подсказывал только самое начало. И то, что у Южина для каждого спектакля был собственный гардероб. Нравилась мягкая русская речь, которая понятна почти всем сербам.

В «Кратком перечне событий моей жизни» Сумбатов-Южин напишет: «1901. Март — уезжаю на гастроли в Белград (Сербия). Светлое и теплое, чисто дружеское отношение общества и труппы, короля, Чарыкова, митрополита. Получил орден Командорской 3-й степени Св. Саввы».

Южин уехал. На память остались фотографии, а в сердце дружеское чувство, которое не было забыто и через десятки лет.

Пора была приниматься за реформы. Прежде всего Нушич решил укрепить дисциплину в театре и сразу же потерпел фиаско. Театральная вольница встретила эту попытку в штыки. Писатель Борисав Станкович, исполнявший должность секретаря, неаккуратно приходил на службу, а после замечания, сделанного Нушичем, стал вообще являться только в день получки. Режиссеры тоже ударились в амбицию и затеяли долгую тяжбу в министерстве.

Преуспел новый директор только в создании «Театральной газеты», которую вел вместе с другом детства Евтой Угричичем, да в составлении нового театрального закона, определявшего права и обязанности всех служителей Талии, их пенсии и многое другое. В частности, театр был обязан включать в свой репертуар в первую очередь сербские пьесы, потом славянские и, наконец, прочие иностранные (восемь сербских, три славянских, две французских, две немецких и одну английскую пьесу в год). Это было победным завершением многолетней борьбы Нушича и его друзей за первенство отечественной драматургии.

Авторам пьес определялся гонорар в 10–15 процентов со сбора. Переводчики были обязаны переводить пьесы только с оригинала и кроме гонорара получали по два хороших бесплатных места во время представления переведенных ими

пьес. Таким условиям могут позавидовать писатели и переводчики и в нынешние времена.

А тем временем финансовые дела театра приходят в расстройство. В кассе дефицит. Все актеры — старые друзья-приятели господина директора. Пользуясь этим обстоятельством, а в отсутствие Нушича — добротой Янко Веселиновича, они перебрали свое жалованье в кассе за много месяцев вперед. Финансовый год кончился для Нушича неприятностями, и тут последовало его свирепое распоряжение:

— Никому авансом денег не давать!

Легко это было сказать, но трудно сделать. Старые друзья по «Дарданеллам», легкомысленно промотав авансы, обвиняли директора в жестокосердии. Совещаясь с кассиром, Нушич горестно качал головой — он видел, что некоторым действительно не продержаться несколько месяцев без жалованья.

— Но вы же их хорошо знаете, — сказал кассир, — вы же отличите, кому в самом деле есть нечего…

— Вот именно! — воскликнул Нушич и приказал кассиру: — Если на заявлении с просьбой о выдаче аванса моя резолюция будет написана прямо, деньги выдать, а если я замечу, что меня обманывают, то напишу резолюцию вкось, и вы денег не давайте…

— То есть как это?..

— Скажите актеру, нет, мол, денег в кассе, и все дело.

Но актеры не остались в долгу. Они были не менее изобретательны, чем их директор, а играли свои роли несравненно лучше него.

Вбегает в кабинет директора актер Руцович. На лице скорбь, на глазах слезы… Рассказывает, что час назад Дядюшку Илью положили на операцию слепой кишки. Нужны деньги на расходы.

Нушич подписывает протянутое заявление прямо, и от кассы Руцович идет прямо в кафану «Три шляпы», где его уже нетерпеливо ожидает Дядюшка Илья, пирующий с друзьями…

Или на генеральной репетиции Нушич с ужасом слушает Гавриловича, играющего главную роль… Тот шепелявит, и уже за рампой его голоса не слышно. Выясняется, что искусственные зубы Гавриловича в починке, но получить он их не может, потому что платить нечем. У кассы Гаврилович кладет деньги в карман, а из кармана достает челюсть…

Кончился заговор Нушича с кассиром тем, что однажды за деньгами пришел Дядюшка Илья. Директор согласился дать аванс.

— Только ты смотри, Нуша, — предупредил его добродушно Дядюшка Илья, — не ошибись и не напиши резолюцию вкось!

ГЛАВА ПЯТАЯ
СНАДОБЬЕ ОТ ЛЮБВИ

Павел Маринкович вышел из правительства. Новый министр, как это обычно бывает, решил расставить всюду новых людей. Он вызвал к себе Нушича и сообщил ему, что не собирается увольнять его из театра. Просто господину Нушичу придется освободить директорский пост и заняться каким-нибудь другим делом. Разговор был длинным. Нушич убеждал министра, что ему будет неловко находиться в театре после такого понижения в должности. Министр вроде бы согласился, и успокоенный Нушич уехал в Новый Сад на премьеру своей новой драмы «Пучина».

В его отсутствие директором назначили человека далекого от театра, преподавателя гимназии Докича. Возмущенный Нушич подал в отставку вообще. В бумаге, которую он послал министру, помимо прочего, говорилось:

«…Поскольку до сих пор мое положение было единственным, в котором я мог посвящать себя особого рода литературной работе — драматургии, и поскольку я и дальше собираюсь заниматься тем же (не думаю, что вы вольны убить во мне литератора), то имею честь заявить Вам, что не могу принять какой-либо другой пост, и повторяю свою просьбу — увольте меня на пенсию».

В тот же день, 16 января 1902 года, в знак солидарности с Нушичем из театра уволились Янко Веселинович и Стеван Сремац.

Жест был красивый, но теперь друзьям снова пришлось подыскивать места.

Нушич подвел итоги. Тридцать восемь лет. Грошовая пенсия, которую к тому же не платят, пока он не вернет кое-какие должки театру. На гонорары семью не прокормишь.

Пришлось идти на поклон в другое министерство и принять пост инспектора почт и телеграфа. Говорили, что это работа легкая — путешествовать по Сербии, неожиданно опечатывать кассы в почтовых отделениях и просматривать бухгалтерские книги.

«Представьте меня комиссаром всех почт и телеграфа, боже меня сохрани и помилуй! — рассказывал Нушич. — Но… ничего иного не было.

— Мы назначаем вас, чтобы у вас было место, но никто не требует, чтобы вы ходили на службу, — сказал мне министр, который был ко мне расположен. Но несколько месяцев спустя

министром стал человек, который не был ко мне расположен, и он просто сказал:

— Извольте являться на службу!

Гм, прямо-таки на службу! Уж не опечатывать ли кассы у почтарей, дети и жены которых будут плакать в соседней комнате, пока в первой вершится ревизия? Для этой работы надо быть специалистом и иметь, соответственно, склонность… Я не знаю, какую марку налепить на простое письмо, которое посылают в Панчево, не говоря уже обо всем прочем…».

Короче говоря, Нушич снова подает в отставку.

Сейчас уже трудно проследить, что делал Нушич последующие полтора года. Ездил с лекциями в Хорватию и Боснию. Писал пьесы. Редактировал вместе с Янко разные газеты. Порой они едва зарабатывали в день динар-два писанием статеек.

Как ни старался Нушич держаться подальше от политики, она всякий раз нагоняла его. Попытки сделать его приверженцем напредняков, радикалов, либералов были напрасными, он оставался верен идее освобождения и объединения славян, а эгоистические устремления партий высмеивал, плодя тем самым множество врагов.

Радикалы, которым он сочувствовал в юности, раскололись на две партии, наиболее воинственными были «независимые радикалы». В их рядах оказались многие известные литераторы, среди которых были Яша Проданович, Радое Домановић, Йован Скерлич, оставившие глубокий след в сербской истории и литературе. Это их острые перья превратили короля Александра во всеобщее посмешище. Вскоре они уже выступали на выборах как отдельная партия и вошли в народную скупщину. Впрочем, и среди приверженцев этой партии случались раздоры, в которых пострадал… Нушич.

Вечером 22 мая 1902 года в отдельном кабинете гостиницы «Таково» состоялось заседание основателей Удруженья (союза) писателей. Среди видных литераторов были Нушич, Яша Проданович, Домановић…

Возник спор, который остается животрепещущим и в наши дни, — считать ли писателями переводчиков? Яша Проданович, протежировавший приятной даме, преподавательнице гимназии и переводчице русской литературы Косаре Цветкович, настаивал на ее приеме в Удруженье. Радое Домановић, талантливейший сатирик, человек больной и желчный, возражал ему и в запальчивости, не стесняясь в выражениях, вытащил на свет божий интимные отношения Продановича и переводчицы. И… получил пощечину.

Сатирик после этого «аргумента» вдруг сник. А пока он

приходил в себя, все остальные с испорченным настроением стали расходиться. Нушич тоже встал. Янко Веселинович крикнул ему: «Вместе пойдем». Домановић, у которого уже прошел психический шок от пощечины, схватил со стола граненый стакан и швырнул его в Продановича. Тот увернулся, и стакан, описав траекторию, попал Нушичу в переносицу. Бранислав залился кровью. Небольшой шрам остался до конца жизни, как доказательство того, что и литературные битвы бывают кровопролитны.

Домановић проводил окровавленного Нушича домой, но по городу тотчас поползли слухи, что Нушич находится в больнице и ждет операции. Правительственная и бульварная пресса подхватила эти слухи и раздула их до размеров сенсации. Писали, что он вряд ли останется жив, так как поврежден мозг. А Домановић тем временем сидел у Нушича дома, читал ему газеты и, поглядывая на его разбитый нос, говорил шутливую надгробную речь, в которой оплакивал «невосполнимую потерю для нашей литературы».

В результате этого скандала правительство охотно перевело Домановића и Продановича в провинцию. Проданович тотчас подал в отставку и уже в октябре 1902 года стал главным редактором новой ежедневной газеты «независимых радикалов» — «Одъек». В первом же номере читатели ее увидели такие строки:

> «Мы хотим, чтобы не было личного культа, идолопоклонства, чтобы каждый серб выпрямился, а не склонялся б и не ползал.
>
> Мы хотим, чтобы закончилась эра личного режима, который черпает силу в моральной слабости и бесхарактерности, невежестве и праздной суете, ненасытном аппетите и безденежье, и чтобы поднялось новое поколение деятелей, обладающих настоящими моральными качествами и характерами, уважающих право и человеческое достоинство».

«Независимые» требовали гражданских свобод, но не шли дальше. Защищаясь от нападок правительственной печати, они даже писали, что в их взглядах нет ничего «опасного, разрушительного, революционного», что «это обыкновенная политическая программа, которая в любой другой конституционной стране выглядела бы очень умеренной…».

Пока политики произносили громкие слова, офицеры действовали. Они уже составили заговор против короля. Во главе заговора стоял капитан Драгутин Димитриевич, человек

громадного роста и чудовищной силы, за что он и получил прозвище «Апис». Заговорщики не скрывали своего намерения убить короля и Драгу.

Александр, растерявший друзей не только у себя на родине, но и за границей, делал отчаянные попытки подавить недовольство. Но ни репрессии против печати, ни аресты, ни вручение диктаторских полномочий генералу Цинцар-Марковичу не могли уже остановить трагической развязки.

Страдая зыбкостью мысли, король принимал путаные решения. То он поддавался уговорам плачущей королевы и назначал ее брата Никодима, пустого офицеришку, престолонаследником, еще больше озлобляя офицеров и политиков, то принимал советы иностранных послов и склонялся на развод с Драгой, с тем чтобы жениться еще раз и подарить Сербии престолонаследника.

Драгутин-Апис был смел и неосторожен. Он предложил вступить в заговор даже королевским адъютантам. Друзья предупреждали его, чтобы он не вздумал вовлечь в заговор и самого короля. Ненависть к Александру и Драге была так велика, что вербовка производилась почти открыто, и никто не предал заговорщиков — ни те, кто подписывал торжественную клятву, ни те, кто отказывался это делать.

В два часа ночи 29 мая 1903 года двадцать восемь офицеров собрались в офицерском клубе и ждали сигнала выбранного ими командира полковника Александра Машина, брата первого мужа королевы. В назначенный час батальон, который они ждали, не появился.

Апис воскликнул:

— Господа, вперед!

Батальон почему-то оказался у дворца. Офицеры ворвались во дворец, убив по ошибке королевского адъютанта, который был в заговоре и открыл дверь. В перестрелке в Аписа попали три пули, но он остался на ногах. В роскошной спальне офицеры увидели пышное ложе и потолок, расписанный под небо. Королевской четы в спальне не было. Полураздетые Александр и Драга в это время сидели в тайнике и дрожали от страха. Второй адъютант под дулом пистолета окликнул их, и они отозвались.

Драга пыталась прикрыть короля своим телом. Их изрубили саблями. Тела с криком «Нет больше тирана!» выбросили в окно.

Наутро французский журналист, проникший во дворец, рассказывал дипломатам, что в спальне короля была найдена книга Стендаля «О любви». Против известной фразы: «Невозможно найти снадобье от любви» король написал: «А к чему его искать, когда желаешь лишь одного — любить и быть

любимым!»

* * *

В результате переворота положение Нушича оказалось не из лучших.

Незадолго до трагических событий бедствующего журналиста пригласил к себе генерал Цинцар-Маркович. Председатель совета министров, зная интерес Нушича к национальной пропаганде среди заграничных сербов, постарался увлечь его интересным предложением. Мы располагаем скудной записью этого разговора.

«Он сказал мне, что кроме консульского отделения, которое существует в министерстве иностранных дел, он хочет создать еще просветительское отделение, своего рода патриотическое пресс-бюро…».

Нушич стал начальником отдела национальной пропаганды, но проявить себя на новом месте не успел…

Несколько дней продолжались убийства немногочисленных сторонников покойного короля Александра. Был убит и шеф Нушича генерал Цинцар-Маркович. Началась чистка министерства.

«Независимые радикалы», среди которых были Яша Проданович и Йован Скерлич, явились в офицерский клуб, где располагался штаб заговорщиков. Радикалы предложили объявить республику, но офицеры решили по-своему и предложили корону, сброшенную с головы последнего Обреновича, представителю другой династии — Петру Карагеоргиевичу.

Шестидесятилетний Петр, воспитанник Сен-Сира, коротал время в Швейцарии. Карагеоргиевичи никогда не теряли надежды снова получить корону.

Швейцарское государственное устройство ему нравилось. Он вернул своим новым подданным конституцию 1888 года, вручил власть радикалам во главе с все тем же Николой Пашичем и, в сущности, устранился от дел.

Наступило время демократических свобод. Подданные короля сводили счеты друг с другом. Многих выгнали со службы по обвинению в самых различных грехах.

14 ноября 1904 года в органе напредняков «Правда» появилась заметка:

> «Вчера вечером группа людей, ставших в Сербии лишними, собралась на совещание, на котором решала:

как им быть? После продолжительных дебатов решено было обратиться к Браниславу Дж. Нушичу (который прежде всех стал лишним в Сербии и отбыл в Новый Сад зарабатывать себе на хлеб), чтобы он, если это возможно, выхлопотал у патриарха монастырь, в котором разместились бы лишние люди. Они обязались бы есть не больше монастырского хлеба, чем монахи, то есть сделать так, чтобы расход был всегда равен доходу.

На совещании присутствовали следующие лишние люди: Янко Веселинович, Драгутин Илич, Борисав Станкович, Петр Кочич, Невесиньски, Никола Янкович и еще кое-кто».

Заметка была инспирирована Павлом Маринковичем, вступившим в борьбу с «независимыми радикалами».

На другой же день Доманович обратился к писателям Янко Веселиновичу и Боре Станковичу с открытым письмом:

«…Если вы этого не прочли, я вас прошу, прочтите, потому что для меня ясно, что вы двое ни в коем случае не могли быть согласны с этим решением, если оно вообще было принято. Держу пари, что „Правда“ намеренно выдумала и совещание, и решение, и эта шутка ни в коем случае не наивна. Очевидно, что этим хотят представить нынешний режим реакционным и свирепым по отношению к людям и книгам, а в таком случае имена ваши употреблены не к месту».

Еще через несколько дней Павел Маринкович в напредняцкой «Правде» назвал Домановича никогда не протрезвляющимся пьяницей и недоучкой. Он обвинил Домановича в том, что тот хочет потеснить Янко Веселиновича и занять его место в качестве шефа корректорской в государственной типографии.

В июне 1905 года умер Янко Веселинович. И снова вспыхнула полемика. Критики-«западники» хотели выделить из «богемы» замечательного писателя. Группа, в которую входил Скерлич, писала в газете «Одъек»:

«В последнее время Янкову доброту и слабость эксплуатировала отвратительная клика, завлекая его в газеты, которые были недостойны его литературного имени и доброго сердца. И поэтому получилось так, что Янко в последние свои дни сторонился своих настоящих и близких друзей».

Каждый день приносил все новые обвинения. Когда Скерлич в своей статье памяти Веселиновича упомянул о том, что покойный писатель работал в последнее время небрежно и терял свою оригинальность, ему дали отпор:

> «У Янко воровали и деньги и мысли о литературе эти самые его друзья, а попрошайка Скерлич пресмыкался как червь перед Янко, пока ему нужны были рекомендации Янко и пока Янко мог править его рукописи. Теперь же Скерлич зубоскалит…»

В политическом задоре обе стороны, слава и гордость сербской литературы, меньше всего думали о справедливости. Йован Скерлич никогда не забудет «отвратительной клики», осыпавшей его оскорблениями. К членам ее он относит и Нушича, который в этой полемике не участвовал.

После переворота Нушича уволили. Вскоре у него умерла мать, и старый Джордже поселился у любимого сына. Снова надо было думать, на что жить ему с Даринкой, двумя детьми, отцом.

В Новом Саде хорошо знали Нушича. Здесь ставились его пьесы «Протекция», «Обыкновенный человек», «Князь Семберийский» и другие. На ежегодном собрании «Общества сербского народного театра в Новом Саде», состоявшемся в начале декабря 1903 года, решено было пост директора театра предложить Браниславу Нушичу.

Нушич посоветовался с Даринкой и выехал из Сербии.

Если бы Даринка знала, какое испытание ей уготовано!

ГЛАВА ШЕСТАЯ
И ЕЩЕ ОДИН ДЕФИЦИТ

Можно бесконечно спорить, какая нужна писателю жена. Бойкая ли подруга, тонкий советчик, утешительница, источник эстетического вдохновения или хранительница домашнего очага?.. Наверное, каждому достается такая жена, какой он заслуживает. Нушич был хорошим человеком, и ему досталась хорошая жена.

Нет, она не подсказывала ему сюжетов пьес и рассказов, она не всегда понимала, о чем спорят муж и его шумные гости, но зато он твердо знал — ее мир начинается и кончается в нем.

Прекрасная хозяйка и заботливая мать, Даринка и к своему Бранославу относилась как к малому ребенку. Он приходил с повинной головой после ночных посиделок с приятелями и находил Даринку всегда ровной и приветливой. Если же атмосфера сгущалась, он, как никто, умел шуткой разрядить ее.

Многих друзей Нушича безалаберная богемная жизнь довела до печального конца. У Бранислава был настоящий дом. Ходил он всегда ухоженный. В семье воплощалась для него незыблемость патриархальных основ, которые помогали ему сравнительно легко переносить передряги и чувствовать под собой твердую почву в зыбком мире разрушающегося быта и традиций.

И за все это он платил Даринке вниманием и заботой.

Однажды у Даринки разболелся зуб, и Бранислав повел ее к врачу, а тот сказал, что зуб необходимо вырвать немедленно. Перепугавшаяся Даринка не соглашалась. Тогда Бранислав уселся в кресло и велел врачу вырвать себе здоровый зуб, чтобы показать Даринке, что это совсем не страшно.

Даринка была красива. Бранославу доставляло великое удовольствие самому заказывать ей туалеты, он всегда сам покупал ей украшения и любил сам… причесывать ее пышные волосы. Собираясь в театр или в гости, она обычно наряжалась и выходила к нему, а когда он говорил, что все в порядке, что она прелестна, она еще больше хорошела от удовольствия и широко расставленные глаза ее становились спокойными. Она верила в безупречность вкуса своего супруга.

Мы могли бы посвятить немало страниц Бранославу Нушичу — внимательному мужу и заботливому отцу, описаниям подарков, которые он никогда не забывал привозить жене и детям. К сожалению, это гармоничное семейное существование нередко нарушалось острыми приступами ревности, которые

посещали милую Даринку. И еще раз к сожалению, поводов для этого «отсталого чувства» было более чем достаточно. Давали их, по выражению юмориста Бранислава Нушича, его «внебрачные прогулки».

Современный анекдот делит неверных мужей в соответствии с их заслугами перед обществом на «морально разложившихся», «морально неустойчивых» и «великих жизнелюбов». Так вот Бранислав Нушич по этой классификации попадает в когорту «великих жизнелюбов».

По семейному преданию, еще в Битоле Бранислав перед свадьбой сказал своей суженой:

— Даринка, у каждого мужчины есть какой-нибудь порок. Непременно должен быть. Пусть будет и у меня. Я напишу тебе на листке три порока — карты, вино, женщины. Даю тебе двадцать четыре часа на размышление. Выбери один.

Это была шутка. Даринка и восприняла предложение Бранислава как шутку. Но вместе с тем задумалась: «Если я выберу первый порок — азартную игру, то и дом и хозяйство — все прахом пойдет! Выберу пьянство — ни дома, ни здоровья не будет! Лучше выбрать третий порок — женщин. Куда бы муж ни пошел, а все равно домой вернется!» Подчеркнула она на бумаге, где были выписаны «пороки», слово «женщины», а Бранислав, аккуратно свернул листок, положил его в карман.

Рассказ этот явно апокрифический, но живы еще люди, слышавшие его из уст престарелых Даринки и Нушича, который при своей склонности к мистификации тотчас доставал из кармана какой-нибудь сложенный листок и начинал помахивать им в воздухе.

Во всяком случае, после того как семья переехала в Белград и Бранислав был назначен управляющим театром, Даринка всей душой возненавидела актрис и в доме их у себя не принимала. Закулисные слухи в театральном мире распространяются быстро. Всегда находились «добрые души», сообщавшие об интрижках господина директора.

У мудрой Даринки был врожденный такт. Она гордо вскидывала голову и говорила:

— Я не верю, что мой Бранислав может обмануть меня. А если даже это правда, меня не касается то, что происходит за кулисами, ведь в ложе сижу я, госпожа Нушич!

Семейная наука — это единственная отрасль знания, в которой можно все понять, но ничего нельзя объяснить. А Нушич пытался объяснять, когда Даринка закатывала ему сцены ревности. Он доказывал ей, что человек от природы слаб, что он имеет право на «грехи»… И лишь когда он со слезами на глазах

начинал говорить Даринке о своей любви, говорить, что дороже нее, детей, дома для него нет на свете ничего, она сменяла гнев на милость.

Нушич не лгал. Что бы ни говорили пуритане, какие бы противоречия они ни находили в том, что здесь написано, для Нушича и в самом деле дороже и милее Даринки не было никого, и он доказал это за сорок пять лет их совместной жизни.

Но можно сказать со всей определенностью, что хрестоматийные герои и героини в жизни тоже встречаются. И очень часто.

Такой была сама Даринка. Когда друг Бранислава, светский лев Павел Маринкович, будучи министром его величества, вздумал приударить за госпожой Нушич, она тотчас сказала об этом мужу.

* * *

Новый Сад принял Нушича почти восторженно. Театр этого города был старше белградского и имел сложившиеся традиции и испытанную труппу. Город, несмотря на его славянское население, даже в своем облике имел нечто от барочной Вены, в репертуаре театра царила патетическая австро-венгерская драма. Несмотря на относительную культурную автономию разноплеменных ее областей, «лоскутная монархия» медленно, но верно насаждала немецкий дух, постепенно переиначивая не только образ жизни своих многочисленных славянских подданных, но и образ мышления. Влияние это настолько укоренилось, что и теперь еще при встречах с чехами, хорватами или словенцами свежему славянскому взгляду отчетливо видна своеобразная славяно-немецкая гибридность их культуры и манеры поведения.

Если в человеке много жизненной силы, он очень быстро оправляется от любых ударов. Ее в Нушиче всегда было с избытком.

Унынию нет места — в новосадском театре перед ним открывается непочатый край работы. Репертуарная политика меняется в корне. Нушич заставляет новосадскую публику рукоплескать сербской национальной драме и комедии. Венская сентиментальная драма уступает место не только пьесам Веселиновича, Нушича, Илича, но и мировой классике. Новый директор с увлечением ставит Шекспира, Шиллера, Ибсена и, конечно, своего любимого Гоголя, успешно выступая в роли режиссера. Театр месяцами разъезжает по австрийским

владениям, населенным сербами, и добирается до самого Сараева, где драма Нушича «Князь Семберийский» имела оглушительный успех. За 17 месяцев было показано 459 представлений в самом Новом Саде и на гастролях.

Несмотря на постоянные разъезды, Нушич много пишет, у него уже готова комедия «Свет». Он устраивает веселые театральные празднества. И… влюбляется.

Влюбляется в маленькую актрисочку Йованку Барьяктарович, которая была замужем за актером того же новосадского театра. В приподнятом настроении Нушич готовится к… юбилею.

Да, да, к собственному юбилею. Бранославу Нушичу «стукнуло» всего лишь сорок, однако он прекрасно помнит, что начал свою литературную деятельность в 1880 году. И хотя первые свои стишки он предпочитает не вспоминать, празднование двадцатипятилетия со дня их появления на свет назначается на 25 января 1905 года.

Ничто не может испортить его прекрасного настроения — ни разговоры новосадских писателей, журналистов и актеров о том, что директор тщеславен, ни угрожающее финансовое положение театра… Нушич шутит, смешит окружающих, и они невольно заражаются его праздничным настроением. Впоследствии он даже хотел сочинить комедию об этом юбилее и сделать себя в ней самым смешным персонажем. Юбиляр, как во сне, проносится сквозь вихрь праздничных удовольствий и приходит в себя лишь в своей скромной квартирке, где его уже ждут судебный исполнитель и полицейский чиновник, пришедшие описывать мебель, которую забирают в счет долгов, сделанных во время подготовки юбилея.

Новосадский писатель Йован Грчич, с которым Бранислав переписывался, еще собираясь в пожаревацкую тюрьму, славил Нушича в юбилейной статье:

«Литературная работа Нушича разветвляется во многих направлениях, но вся она служит драгоценным доказательством той истины, что литература всякого народа может стать действительно великой и блестящей, если возникает и растет сама по себе, если она самотворна, но она перестает быть такой, если часто залетает в чужой рой или допускает, чтобы ей часто досаждали гости-чужестранцы…»

Грчич перечисляет: «Князь Иво Семберийский», «Протекция», «Лилиан и Оморика», «Так надо было», «Народный депутат», «Обыкновенный человек», «Шопенгауэр», «Под старость», «Наши дети»…

Подчеркивая национальный, народный характер творчества Нушича, Грчич проницательно замечает: «Теперь он сделает еще

больше, он в состоянии сделать много больше. Только враг развития сербской литературы может сказать сейчас Нушичу, что он сделал все, что мог, и тем невольно оттолкнуть его от дальнейшей работы».

Оттолкнуть Нушича от работы невозможно было никакой лестью. Грчич сказал это для красного словца, а на самом деле, хорошо зная Бранислава, он верил в его звезду.

Двадцатипятилетний юбилей! Это звучит весомо, но не отражает истинного положения вещей. Бранославу Нушичу предстоит поработать еще столько же, чтобы стать самим собой.

«Солидные критики» пока еще его не признают. Его презрительно называют «комедиантом и циркачом» и понукают расходовать силы на драму — жанр для него совершенно безнадежный.

Выяснилось, что устройство юбилея в столь раннем возрасте — великолепный тактический ход. Сразу становится ясным, кто тебе друг, а кто — враг. Враги зубоскалили, друзья приезжали или присылали теплые письма.

От знаменитого художника, академика Уроша Предича, пришла великолепная карикатура. Элегантно одетый Нушич лежит на лавке, символизирующей его обязанности. За ноги драматурга держит дряхлая «старость», а к изголовью приникла нежная рыдающая «юность». Над ним возвышается могучая фигура палача («публика»), занесшего над Нушичем дубинку («признание»). Слева бог времени Хронос держит песочные часы, под которыми стоит зловещая цифра 25! А справа скелет с косой — «критика» — тащит за руку «славу» — деву с пальмовой ветвью.

Юбилей удался на славу. Поставлена была драма «Так надо было», в которой одну из ролей играла Йованка Барьяктарович. Военный оркестр из Петроварадинской твердыни, мрачные стены которой возвышаются у Нового Сада на другом берегу Дуная, усердно выдувал сербские марши. За торжественной частью последовало пиршество, которое было продолжено на другой день в городе Сремские Карловцы, на третий день… В общем, разъехались гости не скоро.

Похмелье было ужасным.

* * *

Новосадская «внебрачная прогулка» кончилась скандалом.

Йованка Барьяктарович, миленькая женщина, но не очень талантливая актриса, сперва заигрывала с директором, но, когда

их любовные свидания стали постоянными, серьезно влюбилась в него. Она принадлежала к тем страстным, но нерешительным натурам, которые мучаются двусмысленностью своего положения и тем не менее неспособны избрать что-либо одно. Такие женщины прекрасно уживаются с двумя мужчинами. Терзаясь, они отдаются любовнику. Терзаясь, они требуют внимания от мужа. Она клялась Бранославу в любви и тут же уверяла его, что никогда не сможет оставить мужа.

Нушич и не требовал от нее этой жертвы, он и сам никогда бы не оставил Даринку с детьми. От безнадежности и нервности страсть, принимаемая за высокую любовь, все разгоралась. В конце концов Йованка постаралась убедить себя, что семья не должна разрушаться, что семья — это жалкая, но необходимая проза, которая призвана оттенять поэзию любви. Такая «философия», видимо, вполне устраивала Бранислава, и он охотно соглашался с Йованкой. Но нелепо думать, что во всем этом была хоть доля цинизма. Просто в жизни иногда встречаются неразрешимые задачи, и люди как бы зарывают головы в песок, чтобы ничего не видеть и не слышать.

Но страусовая политика редко доводит до добра. Йованка ждала ребенка, и услужливые люди довели до сведения господина Барьяктаровича, что еще не известно, кто повинен в этой семейной радости. Господин Барьяктарович оказался человеком весьма практичным и поспешил воспользоваться интересным положением жены.

Кроме того, что он был актером, в обязанности ему вменялось пополнение гардероба театра. Он по-прежнему заказывал портным костюмы, аккуратно получал в кассе деньги для расчетов с поставщиками и так же аккуратно прятал их в собственный карман. А поставщиков направлял прямым ходом в правление театра, уверяя их, что они все получат сполна от самого господина директора.

Нушичу платить было нечем, и в конце концов ему пришлось пойти на разговор с разгневанным супругом своей любовницы. Произошла сцена, достойная пера комедиографа. Господин Барьяктарович явился к господину директору с пистолетом и в благородном гневе потребовал сатисфакции…

Во всяком случае, такими слухами питался в то время город Новый Сад. Как бы там ни было, положение директора было не из лучших.

Спасла его мужественная и находчивая Даринка. Обычно ревновавшая супруга по любому поводу, теперь она хладнокровно боролась за своего мужа, приняв его сторону против всего и вся. Даринка явилась на квартиру к Барьяктаровичам и только ей

самой ведомым способом уговорила супругов отказаться от всяких притязаний.

Более того, она убедила их не расставаться друг с другом во имя их будущего ребенка. А для того чтобы прекратились всякие кривотолки, Даринка говорила всем и каждому, что будет крестной матерью ребенка этой милой пары Барьяктаровичей, близких друзей дома господина директора театра.

Но Даринка была не всесильна. Нушича ждал новый удар, отвести который она уже не могла.

Ревизия бухгалтерских книг театра показала, что учет доходов и расходов велся, мягко говоря, неверно. И уж, безусловно, за деятельность бухгалтера в ответе директор. Нушич увлекся творческими делами, доверился…

Хозяйствование в белградском Народном театре его ничему не научило.

Нушич сделал единственно возможный шаг — он подал в отставку. Отказавшись от причитавшегося ему жалованья и пообещав выплатить недостающую в кассе сумму, он вернулся с семьей в Белград.

Но молва опередила его. Говорили о его скандальной связи с Барьяктарович, приписывали ему финансовые злоупотребления, хотя даже строгие ревизоры не предъявляли Нушичу никаких претензий. Снова припомнилось его поведение в царствование последнего Обреновича.

Прежде весь Белград побаивался острого языка Бранислава Нушича, теперь за его остроты мстили клеветой, мстили за то, что когда-то боялись его…

Обремененный семьей и неожиданно появившимся громадным долгом, без службы и постоянного источника дохода, Нушич оказался в катастрофическом положении. Ни талант, ни исключительная работоспособность были уже не в счет. Во-первых, в те времена никто не мог прожить на литературные заработки. Во-вторых, эти заработки во все времена нерегулярны. И в-третьих, клевета сделала свое дело — заработков почти не было. А уж о новой службе и говорить не приходилось…

Жить было не на что и незачем. Оставалось одно — исчезнуть. И Бранислав Нушич исчез.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ
БЕН-АКИБА

Будь я министром и убеги у меня поросенок, я бы оповестил об этом все окружные управления полиции.

«Министерский поросенок»

Кордовский калиф Абдурахман III, желая сосчитать, сколько счастливых и радостных дней имел он за время своего пятидесятилетнего правления, насчитал всего 14. Но, поверьте, Абдурахману легко было насчитать столько счастливых дней, так как он был калиф, а не сербский писатель.

«Листки»

ГЛАВА ПЕРВАЯ
ПОЯВЛЕНИЕ И УСПЕХ БЕН-АКИБЫ

Белградская газета «Политика» ныне известна в целом свете. Широко продается она и в нашей стране, и всякий, державший ее в руках, мог видеть в правом верхнем углу первой полосы имена, заключенные в траурную рамку: «ВЛАДИСЛАВ РИБНИКАР — ОСНОВАТЕЛЬ, капитан запаса, погиб 1 сентября 1914 года. ДАРКО РИБНИКАР — РЕДАКТОР, капитан запаса, погиб 31 августа 1914 года…»

Лет за десять до своей гибели в боях с немцами во время первой мировой войны братья Рибникары решили издавать газету, независимую от политических партий, насыщенную объективной информацией и исполненную боевого патриотического духа. И они настолько преуспели в своем начинании, что газета пережила своих основателей, а о нынешнем ее процветании свидетельствует небоскреб редакции на Македонской улице и громадная популярность самой газеты и множества повременных изданий, которыми она обросла.

Наследники Рибникаров никогда не изменяли своим патриотическим убеждениям. Это в их белградском доме состоялось в 1941 году историческое заседание, на котором руководители Компартии Югославии приняли решение о всеобщем восстании против немецких захватчиков…

Однако вернемся к тому времени, когда «Политика» еще только становилась на ноги и старалась привлечь в число своих сотрудников самых талантливых людей сербской столицы.

1 декабря 1905 года на страницах «Политики» появился фельетон «Все это уже было когда-то», подписанный псевдонимом — Бен-Акиба. Еще до его появления, в своем дневном выпуске, «Политика» известила читателей:

> «Один из самых даровитых и известных писателей-юмористов с нынешнего дня начинает постоянно сотрудничать в „Политике“ и вести рубрику „Из белградской жизни“. Из скромности он будет подписываться псевдонимом Бен-Акиба, но каждый читатель уже по сегодняшнему номеру догадается, кто скрывается под этим псевдонимом.
>
> Белградская жизнь настолько разнообразна, что в ней каждый день может находиться что-нибудь достойное быть взятым на заметку. А поскольку это

будет делать такой талантливый человек, как наш Бен-Акиба, то от его веселых и остроумных рассказов получит удовольствие любой читатель».

Прошло немного дней, и уже весь Белград спрашивал, кто этот Бен-Акиба… Он мгновенно стал любимцем читателей, тираж газеты вырос. Вскоре читатели газеты уже скучали, если не видели подписи Бен-Акибы. В те дни, когда он замолкал, в редакции «Политики» весь день трезвонили телефоны, сплошным потоком шли письма встревоженных читателей, а репортеров отправляли на поиски Бен-Акибы, которого обычно находили на Скадарлии, «белградском Монпарнасе».

В наши дни Скадарлия — короткая, мощенная булыжником улица — объявлена заповедником. Она находится в самом центре города, в двух шагах и от редакции «Политики» и от Народного театра. С обоих концов ее отгородили барьерами (от автомобилей), а мостовую сплошь уставили столиками, за которые по вечерам устремляются белградцы. Здесь царит атмосфера начала века. Кафаны «Три шляпы» и «Два оленя» потчуют посетителей национальными блюдами. Восстановлен театр-варьете с традиционными номерами. Прямо на улице художники развешивают свои картины с обозначением цен, а сами садятся за столики и в ожидании покупателей попивают легкое светлое вино в обществе актеров, литераторов, журналистов. Тут же продаются сувениры и портреты писателей-классиков, некогда завсегдатаев Скадарлии — Сремца, Нушича… Стены кафан увешаны фотографиями — главным образом Бранислава Нушича и Дядюшки Ильи…

Но вернемся в то время, когда кафаны заполняла публика в цилиндрах, котелках и фесках, когда через центр города, мимо театра еще прогоняли стада свиней, а на улицах наряду с фиакрами только появились первые автомобили.

Читатель уже и сам давно догадался, что Бен-Акиба — не кто иной, как наш Нушич, вынужденный временно отказаться от своего имени, замаранного клеветой. Владислава Рибникара слухи не обманули, и безработный Нушич с благодарностью принял его предложение снова вернуться в лоно журналистики. Фельетоны, юморески, притчи посыпались как из рога изобилия. За пять последующих лет написал Нушич их свыше четырехсот. В качестве псевдонима он взял имя одного их персонажей пьесы Карла Гуцкова «Уриэль Акоста», который на все лады повторяет: «Все это уже было когда-то…»

Рубрика «Из белградской жизни» должна была заполняться регулярно. И заполнялась. Сейчас трудно представить себе, чтобы

с такой задачей мог справиться один человек. Но Нушич справлялся… сперва. Весь Белград открывался перед читателем как на ладони. Бен-Акиба посещал заседания совета министров, скупщину, литературные клубы, лавки торговцев, жилища бедняков. И всюду водил за собой читателя, заставляя его смеяться или негодовать.

Свои фельетоны Нушич писал обычно в редакции «Политики», в то время она умещалась в одной скудно обставленной комнате. К восьми часам вечера здесь кроме редакторов собирались все сотрудники. Было тесно и шумно, но весело. Проголодавшимся репортерам из ближайшей кафаны приносили целый противень нарезанного кусками бурека — сербского слоеного пирога.

Шум Нушичу работать не мешал, а веселые рассказы о дневных происшествиях в городе только помогали рождению Бен-Акибы.

Фельетоны Бен-Акибы — это своеобразная энциклопедия белградской политической, общественной и частной жизни, человеческая комедия, рассказанная белградскому читателю доверительно, с неподражаемой иронией…

Объявлены выборы в скупщину, и Бен-Акиба тотчас откликается на них фельетоном «Как меня выбирали в депутаты». Бен-Акиба принимает депутацию от народа, который хочет видеть его своим представителем в скупщине, и ведет с ней откровенный разговор. С каких это пор кандидатов выдвигает народ?

— Пора бы вам уже знать, что свобода народных выборов состоит не в том, что народ свободно выбирает кандидатов, а в том, что он может свободно голосовать за того, за кого ему велит голосовать главный комитет.

Бен-Акиба прекрасно знает, как защищают интересы народа господа депутаты. Лидер радикальной партии Никола Пашич, некогда удостоившийся похвалы Бакунина, разработал систему субсидий отечественным торговцам и мелким предпринимателям. Чаршия ликовала. Она изобрела поговорку: «Кому государство в кошелек не плюнет, тот не разбогатеет».

В общем, у радикалов теперь была власть, у чаршии — деньги. Власть и деньги тяготели друг к другу. Сам Пашич принимал участие в спекуляциях и стал одним из богатейших людей в стране. А что касается партийных программ, то они прекрасно отработаны. «За тридцать лет нашей политической борьбы, — писал Бен-Акиба, — если ничего другого и не достигнуто, то в отношении программ все ясно, в них недостатка нет».

Если фельетон называется «Всяк на своем месте», то в нем

Бен-Акиба рассказывает о бюрократах, которые неизвестно чем занимаются и за что получают деньги.

В мировую классику фельетона вошел «Министерский поросенок» Бен-Акибы.

Поросенок, купленный к рождеству, поросенок, который должен был служить главным украшением праздничного стола, убежал. Комичное преследование поросенка, которое вся семья от мала до велика провела по правилам военной науки, кончилось неудачей.

«Мы возвращались с поля боя, как войско Наполеона из Москвы. Падал снег и засыпал дорожки. Опустив голову, я шел впереди, а за мной брело мое войско, сломленное и павшее духом. Снег все сыпал, сыпал, сыпал…».

Пронесся слух, что и у министра внутренних дел убежал поросенок. Но министр не останется на рождество без вкусного блюда. Он может просто снять телефонную трубку и позвонить в управление полиции. Как рады были случаю отличиться полицейские чиновники!

И со всех сторон Белграда к дому министра понесли поросят.

— Господин министр, имею честь доложить вам, что я приложил все усилия, чтобы найти вашего…

— Господин министр, имею честь…

Уже три поросенка во дворе у министра, а еще один полицейский начальник тащит индюка.

— Но у меня не убегал индюк! — восклицает министр.

— А вы уверены, господин министр, что это был не индюк?

Этот фельетон будет жить вечно, пока существует бюрократия и подхалимаж.

В другом фельетоне Бен-Акиба рисует целую галерею министров и кандидатов в министры. Причем портреты их фельетонист дает… со спины. Описывать их лица нет нужды, «поскольку в большинстве это безликие люди».

А однажды Бен-Акиба, делая праздничные визиты, в чьей-то прихожей случайно обменялся пальто с депутатом скупщины. Исследование карманов чужого пальто дало повод для ядовитейшей сатиры. Собственное пальто Бен-Акиба нашел очень просто. Он пошел на заседание скупщины, где один из депутатов, порывшись в карманах, стал читать по бумажке… фельетон Бен-Акибы. Но депутаты этого даже не заметили, ибо они часто выступали с веселыми шутками и редко говорили по существу обсуждавшихся вопросов. Пришла пора вернуть друг другу пальто, и господин депутат сказал Бен-Акибе:

— Слышали, как я говорил? Вы заставили меня смутиться, но я все же сумел выкрутиться.

— И вы заставили меня смутиться, господин депутат.

— Да, конечно, вам было очень неудобно, ведь рукопись вашего фельетона была у меня. Хотел бы я знать, что вы сегодня поместили бы в газете, если бы не нашли меня?

— А я бы поместил в газете вашу речь о бюджете, господин депутат. Она вполне могла сойти за веселый фельетон.

Не было в Сербии партии, которую не высмеял бы Бен-Акиба, разочаровавшийся в них еще двадцать лет назад. «Политика у нас — мода, поэтому и правительство должно быть модным. Уж во всяком случае, зимнее, весеннее, осеннее и летнее правительства должны быть обязательно».

Белградская элита играет в политику и делает вид, что не замечает нищеты, убогого существования белградских низов. Бен-Акиба становится чрезвычайно серьезным и даже суховатым, когда говорит о социальном неравенстве. В фельетоне «Белградская арифметика» он обращается к языку цифр:

> «**Вопрос**: У рабочего Стояна Николича жена и двое детей. Непосильным трудом он зарабатывает 900 динаров в месяц, что составляет примерно 10 тысяч динаров в год на содержание всей семьи. Из этих денег он платит за сырую комнатушку, на эти деньги он кормит, одевает, учит своих детей и поддерживает свои силы, чтобы работать дальше.
>
> У госпожи Зорки Славкович есть весенний туалет. В него входит: нижняя юбка из тяжелого шелка — 1000 динаров, модные туфли — 650 динаров, костюм — 3700 динаров, шляпа — 1200 динаров и зонтик — 1600 динаров. Все это составляет более 8000 динаров.
>
> А если только весенний туалет госпожи Зорки Славкович стоит столько, сколько обходится содержание целой семьи, то сколько бедных семей могло бы прожить на деньги, которые госпожа тратит ежегодно на свои туалеты?
>
> **Ответ**: На деньги, которые госпожа тратит ежегодно на свои туалеты, могли бы прожить четыре бедные семьи в течение года.
>
> **Вопрос**: Как это получается?
>
> **Ответ**: Если весенний туалет стоит 8150 динаров, то осенний должен стоить 12 тысяч динаров, а зимний — 16 тысяч динаров. Таким образом, стоимость туалетов госпожи равна стоимости содержания четырех семей, то есть шестнадцати человек, считая, что семья состоит из четырех человек».

Бранислав Нушич негодовал на Белград, оболгавший его. Бен-Акиба любил свой город и был его любимцем. Но он вновь и вновь обращался к наболевшей теме, высмеивал городских Сплетников, провинциальную привычку перемывать косточки ближним, делать из мухи слона. За несколько часов ложь способна заразить весь Белград и обрасти чудовищными подробностями. «Она сжигает без огня, разрушает без грохота, побеждает без борьбы», — с грустью заключает Бен-Акиба.

О чем только не писал Бен-Акиба в рубрике «Из белградской жизни»! О власти денег, о перепроизводстве орденов в Сербии, о городских неурядицах, о переписи населения, во время которой вся столица как бы вывернулась наизнанку, о нищете литераторов, о праздниках, о неверных женах и усердствующих жандармах… всего не перечислишь.

Впоследствии, к выходу сборника фельетонов Бен-Акибы в Хорватии, его старый приятель Матош, некогда прозябавший (в буквальном и переносном смысле) во время своего эмигрантского жития в Белграде, писал:

> «Бранислав Дж. Нушич самый плодовитый и самый популярный современный писатель… Той легкости, той плодовитости нет доселе равных в нашей литературе, а если еще при этом знать, что этот благословенный труженик — человек кафанский и общественный, что он любит вино, как Катон Старший, непринужденный разговор, как Сократ, что ему, как прирожденному эпикурейцу, ничто не чуждо, то приходишь к выводу, что и в самом деле есть люди, творящие с буйной легкостью природы… Он шутник не по роду занятий, а таков от рождения, таков уж его темперамент. Он всегда готов подшутить, разыграть, пишет, как говорит, а говорит, как пишет. Говорит он как прирожденный charmeur[17] и покоритель сердец, и тот, кто не видел его в обществе покойного Жарко Илича и актера Ильи Станоевича (Дядюшки), не имеет понятия, насколько оригинальна бывала эта беседа, не стесняемая почти ничем, питаемая естественным юмором народного остроумия…»

Так Матош перекидывает мост от творчества к личности юмориста, поистине обаятельной и глубоко народной.

Нушич очень редко писал о селе. Он дитя города и певец его. Красочный язык белградской чаршии, кафаны и улицы — это тот же язык сербской деревни, которая питала разраставшийся как на дрожжах молодой город, которая приносила в этот город со всех сторон не только неписаную литературу, но и лучшие свои

обычаи. Еще не было радио, не было средств массовой коммуникации, так обезобразивших ныне языки крупных городов почти всех стран, превративших их в скудный интернациональный, дистиллированный воляпюк, в котором уже почти не чувствуется души народа.

Нушич виртуозно владел жаргонами всех слоев белградского населения, и это в соединении с импровизаторским даром дало ему возможность создать совершенно оригинальный жанр крохотной комической новеллы, не связанной с условностями фельетонного жанра. Тот же Матош считал, что эти новеллки, «напоминая композицией Твена, в деталях напоминают… русских (Гоголя, Чехова)…».

Бен-Акиба дал Нушичу очень много. В диалогах, в сюжетах этих новелл мы видим зародыши будущих комедий и таких блестящих юмористических книг, как «Автобиография».

И одновременно Бен-Акиба сыграл с Бранославом Нушичем злую шутку.

ГЛАВА ВТОРАЯ
БЕН-АКИБА УСТАЕТ

«В этой великолепной мозаике каждый камешек имеет и свою особую ценность», — пишет крупнейший советский исследователь творчества юмориста А. Хватов о фельетонах Бен-Акибы[18]. Действительно, мозаика великолепна. Но если приглядеться повнимательнее, то в мозаичном панно видны следы спешки и порой даже неряшливости.

Три фельетона в неделю! Бен-Акиба, наверное, был самым находчивым журналистом в мире, но и он начал уставать. Подобно Ричарду III, который предлагал полцарства за коня, Нушич, бывало, входил по вечерам в редакцию «Политики» и предлагал самый роскошный ужин в кафане «Коларац» за самую скромную идею очередного фельетона. Но идеи под ногами не валяются. И призыв Бен-Акибы, как и призыв Ричарда, оставался гласом вопиющего в пустыне. Тогда он садился и вымучивал из себя фельетон, не претендующий, мягко говоря, на бессмертие.

Да, на ежедневный подвиг не хватало уже ни выдумки, ни сил. Бен-Акиба начинал вышучивать самого себя, иронизировать по поводу своей нелегкой доли хроникера-юмориста. Иногда возникало нездоровое желание, чтобы в центре города стали лупить друг друга зонтиками политические противники или случилась какая-нибудь таинственная кража. Но целую неделю в городе ничего не случалось. С отчаяния Бен-Акиба сам придумывал неправдоподобное происшествие и писал что-нибудь вроде юморески «Кража в нашей редакции».

> «Неизвестные личности» взломали дверь редакции и украли зимнее пальто и ножницы. Вместе с полицией Бен-Акиба строит целый ряд юмористических версий, почему совершена кража. По одной из них, кражу подстроил сам редактор. Авторы заваливают его рукописями рассказов, фельетонов, статей, обзоров. Бедный редактор! Ему приходится круглый год отбиваться от назойливых авторов очень немногочисленным арсеналом отговорок. Завертелся, мол, не прочел еще. Или прочел, но все номера газеты на ближайшие месяцы до отказа забиты срочными материалами. Теперь же редактор мог со спокойной совестью ссылаться на последнее происшествие в редакции и говорить, что материал должен бы пойти на

этой неделе, но рукопись исчезла среди прочего…

Описав безуспешные попытки найти вора, Бен-Акиба озорно признается: «Редактор твердо убежден, что эту кражу в редакции устроил я сам, и только по одной причине — у меня не было материала для сегодняшнего фельетона».

В этой изнурительной работе крылась опасность исписаться, исчерпать себя, тем более что газетная нетребовательность, злоба дня покрывала все литературные грехи и огрехи. Основное правило газеты — каждый читатель должен быть удовлетворен — заставляло Бен-Акибу становиться в позу безудержного забавника и анекдотиста, прохаживаться насчет тещ и курортных похождений вырвавшихся на свободу мужей и жен…

Собственно говоря, случилось нечто непоправимое. Бен-Акиба погубил репутацию Бранислава Нушича. В 1907 году он собрал в книгу свои фельетоны. Кампанию по рекламе книги он начал заранее. Но странная это была кампания. Куда девался обычно уверенный тон его предуведомлений. Ощущение неполноценности творчества Бен-Акибы не покидает Нушича с самого начала. 20 февраля 1907 года он заранее оправдывается перед читателями: «Думаю, что не все в равной степени хорошо написано, так как есть среди них (фельетонов) недоработанные… есть и имеющие сиюминутную ценность, связанные с каким-нибудь незначительным событием, и, наконец, есть и такие фельетоны, которые я писал, когда мне не писалось… Но то, что будет отобрано, я доработаю, и, конечно, кое-что добавлю».

Нушич всегда считал, что творчество писателя складывается не только из его произведений. Личность писателя неотделима от его творчества. В старости он как-то сказал молодому драматургу, первая вещь которого имела успех: «Дайте, пожму вашу руку. Завоевали публику. А теперь — один совет: отныне вы должны культивировать свою популярность». Нушич никогда не был ни ханжой, ни чистоплюем, делающим вид, что он не от мира сего. И поэтому пояснил свою мысль: «Писатель не может позволить себе, чтобы публика его забыла. Надо настойчиво делать так, чтобы его имя произносилось как можно чаще. Чтобы знали, что он делает, какого рода пишет вещь, где ставятся пьесы уже написанные, как он живет, куда собирается поехать и т. д. В общем, стараться, чтобы почаще говорили о нем. Публика любит заглядывать в рабочую комнату и частную жизнь писателя, который ее интересует, — этого не забывайте никогда». Нушич верил, что, подготавливая публику психологически, драматург способствует успеху спектакля. Удовольствие — это чаще всего

исполнение ожидаемого.

Но в рекламе будущего сборника Бен-Акибы ощущается нечто лихорадочное. Такого рекламного бума еще не видал свет. 27 марта «Политика» объявляет: «Книга Бен-Акибы уже сдана в печать, и над ней спешно работают, чтобы она вышла как можно быстрее». 20 июня: «Книга Бен-Акибы вышла из печати». 23 июня Нушич пишет фельетон «Первый экземпляр», в котором, не стесняясь соображениями меры и вкуса, старается веселой болтовней подстегнуть покупательский интерес.

Книга расходилась быстро. Имя Бен-Акибы уже было известно не только в Белграде, но и повсюду в Сербии. С приходом Нушича в «Политику» она за очень короткое время увеличила свой тираж настолько, что с ней уже не могла соперничать никакая другая газета. Номера выхватывали из рук продавцов. Фельетоны Бен-Акибы прочитывали залпом, пересказывали друг другу. Это была завидная слава. Сам Бен-Акиба похвалялся, что сапожники выдумывают новые фасоны обуви и называют их именем Бен-Акибы. Бен-Акиба, Бен-Акиба… на плитках шоколада, на вывеске кафаны… Бен-Акиба — знаменитый жеребец, победивший на скачках.

Бен-Акиба упивался своей популярностью в народе в тихое лето 1907 года, когда с ясного неба грянул гром. Роль Зевса-громовержца сыграл знаменитейший сербский критик Йован Скерлич.

* * *

В свое время в «Листках» совсем еще юный Нушич составил шутливое руководство для критиков, в котором советовал начинать критические статьи «какой-нибудь мускулистой фразой, от которой читающий ее заранее терял бы присутствие духа». Например: «Муза, суждено тебе получить еще один удар в ребра!» Или: «Господин Н. Н., которого мы целых два года считали умным человеком, снова взялся за перо!»

Статья Йована Скерлича «Юмор и сатира Бранислава Нушича», появившаяся в августе 1907 года, начиналась спокойно и даже обнадеживающе:

«Бранислав Нушич не новичок в сербской литературе и не вчера появился на ниве юмора и сатиры. Двадцать лет тому назад его „Листки“ имели значительный успех, а затем своими комедиями он стяжал себе славу первого современного сербского комедиографа».

Отдав дань Браниславу Нушичу, Скерлич принимается за

Бен-Акибу. Нет, местами Бен-Акиба не так уж плох. Он не уступает Марку Твену в способности рисовать нравы общества и вызывать здоровый, «гигиенический» смех даже у безнадежного ипохондрика. Талантливейший комедиограф чувствуется в каждой строке фельетонов. Но что Нушич делает со своим талантом? Он старается потрафить вульгарным вкусам публики, «своих дорогих читателей», которые представляются Скерличу в виде пожилого господина с апоплексической шеей, разомлевшего от жирной пищи и доброго красного вина, и корпулентной госпожи, хихикающей в платочек при чтении проперченных упражнений Бен-Акибы.

И далее обвинения начинают сыпаться с интенсивностью обвала в горах. Сначала по склону скачут камешки, потом с гудением сваливаются глыбы, сокрушая все на своем пути. Нушич «индустриализировал» свой талант. И это было неизбежно с того самого времени, когда Нушич дал согласие работать в газете. Преученейший Скерлич презирает газету, считая, что в ней не только сама литература, но и даже литературная критика теряет свое достоинство и авторитет. Трижды в неделю в определенные дни Нушич обязан быть веселым и жизнерадостным, импровизировать веселые ситуации, а вечно быть веселым человеком — тяжелое ремесло. Нет более жалкого зрелища, чем писатель-весельчак! Ну, не похож ли он на циркового клоуна, который изо всех сил старается рассмешить детей и галерку?

Древние греки говорили, что Аполлон не может вечно держать тетиву своего лука натянутой. Нушич не может быть вечно забавным. Он становится вульгарным, пошлым. В спешке он пишет и, не читая, отправляет рукопись с непросохшими чернилами в типографию, а посему, даже выражая свой патриотизм, пользуется настолько избитыми фразами, что их порой можно принять за дурачество. Нушич повторяется, а иногда просто пользуется чужими сюжетами. Что-то вроде «Министерского поросенка» осенью 1904 года рассказывал в узком дружеском кругу Радое Домановић.

Скерлич забывает, как щедро раздаривал Нушич сюжеты другим писателям. Раздражение критика нарастает с каждой строчкой. Бен-Акиба смеется над пустяками, а в стране еще столько зла, неправедности, лжи и глупости. И Скерлич приступает к обвинениям политическим…

Тут нам пора бы познакомиться немного поближе с доктором Йованом Скерличем. В тот год ему исполнилось тридцать лет, и принадлежал он к клану тех самых «западников», авторитет которых отказывались признать в свое время Нушич, Веселинович, Маринкович и их друзья. «Западниками» они

назывались только потому, что получили образование на Западе. По убеждениям многие из них тоже были славянофилами, патриотами, демократами.

Скерлич, учившийся в Лозанне и Париже, был незаурядным человеком и кумиром молодежи. Громадная работоспособность, ясный ум выдвинули его в первые ряды «независимых радикалов». Политическую деятельность он успешно сочетал с занятиями литературными. Уничтожив в юности тетрадь с собственными лирическими стихами, Скерлич своей могучей эрудицией обогатил сербскую критику и литературоведение; превращая их в науку, систематизировал, громадный материал по сербской культуре. Удар, нанесенный Скерличем юмористу, был сокрушительным. Оценка, данная творчеству Нушича, вошла в Скерличеву «Историю сербской литературы», а так как критик умер рано, в 1914 году, и тотчас был причислен к лику непререкаемых авторитетов, эта оценка кочевала из учебника в учебник, хотя настоящий Нушич, оригинальный Нушич, тот Нушич, которого мы любим сегодня, при жизни Скерлича еще только начинался…

Неприязнь Скерлича имела политическое основание. К тому же он не мог забыть насмешек богемы: «Попрошайка! Гм!»

После свержения власти Обреновичей, после того как воцарился милейший король Петр I Карагеоргиевич, даровавший народу либеральнейшую из конституций, для Скерлича пришло время активной демократии, неистового труда на благо отечества. Он уже подумывает о том, чтобы самому выставить свою кандидатуру на выборах в скупщину. Ослепление Скерлича парламентаризмом проглядывается в каждой строчке его язвительной статьи, написанной, как всегда, блестяще.

Подумайте только, каковы политические идеи этого Нушича! Из всего, что достойно осмеяния в Сербии, он выбирает народную скупщину и ее депутатов. Нушич начал с «Народного депутата», а теперь вообще изображает работу скупщины как цирковую комедию. Нет, у Нушича нет ни глубины духа, ни чистоты чувств, ни морального авторитета для того, чтобы стать современным Ювеналом или Свифтом. И Домановичем ему в сербском обществе не бывать.

А вспомните «Протекцию». Симпатичный герой пьесы Нушича, носитель прогрессивных идей, женится на дочери министра, с которым боролся. Только в «Листках» он был язвительным сатириком. В последние же годы господин Нушич стал практичным человеком и в то время, когда Домановић писал свои сатиры, он редактировал правительственные газеты и даже занимал пост начальника отдела пропаганды в реакционнейшем

из правительств.

И Скерлич подводит итоги. Во-первых, Нушич писатель, не создающий публику, а создаваемый публикой. Он работает, как Скриб, которого так напоминает. «Когда я пишу пьесу, я забираюсь в середину партера, и публика меня любит, так как она мой сотрудник; она задумывает и создает пьесу вместе со мной и, естественно, рукоплещет». Нушич инстинктивно следует указанию Гёте, говорившего, что «публика хочет, чтобы с ней поступали, как с женщинами, которым надо говорить только то, что им нравится».

Во-вторых. Нушич культивирует «кафанское остроумие», мещанский цинизм. И это в то самое время, когда Сербия становится «Пьемонтом сербского народа» и готовится к решающей борьбе за свободу всех сербов.

В-третьих, Нушич со своими пикантными двусмысленностями докатывается до откровенной порнографии.

Нельзя сказать, что Скерлич совершенно неправ. Было у Нушича много бахвальства, было стремление нравиться публике, была небрежность. Но время показало, что в политике художник Нушич разобрался лучше, чем политик Скерлич. Вернее, он инстинктивно ощущал лживость буржуазной демократии, на которую уповал Скерлич. И все-таки демагогия Скерлича глубоко задела Нушича. Оценка критика еще долго преследовала юмориста. Это она помешала его избранию в Академию наук в 1924 году. Особенно он возмущался несправедливым обвинением в порнографии, которое так и осталось в Скерличевой «Истории сербской литературы». Впоследствии Нушич с горечью писал в своем известном письме дочери Гите: «Эту ложь, лежавшую на его совести, бедняга Скерлич унес с собой в могилу. Если бы он был жив и лично готовил второе издание своей истории, я уверен, он бы отредактировал это свое мнение. Вот так, словно апостолы евангельских наук, не имея сил отречься от скерличевского приговора, все профессора разнесли эту ложь, сеют ее в своих лекциях и передают из поколения в поколение. А дело вот в чем: в начале девятисотых годов я писал фельетоны в „Политике“ (Бен-Акиба), и это был мой единственный заработок. За два года я написал более четырехсот фельетонов, и надо понимать, там была всякая всячина, как это обычно бывает в поденной работе. Но эти фельетоны я никогда не считал литературой. И когда все же захотел составить книгу, я из четырех сотен выбрал всего двадцать и опубликовал их под своим именем. Скерлич, с которым у меня в то время были очень плохие личные отношения, писал о той книге, хвалил мой юмор, но обвинял меня в порнографии, приводя в подтверждение своего приговора те

фельетоны, которые я не включил в книгу и от которых, следовательно, отрекся. Это была боевая тактика противника, а не строгое мнение судьи. Позже наши отношения со Скерличем улучшились, и он во многом изменил свое мнение обо мне».

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ЧЕРНОГОРСКИЙ БАНК

Сербское слово «свет» означает не аристократическое общество, которого в Сербии не было, а общество людей вообще. Свет сплетничает, осуждает, разносит молву… Свет раздул новосадские неприятности Нушича, надолго оставив горький привкус. По приезде из Нового Сада драматург написал пьесу «Свет», которую можно было бы назвать комедией, если бы в ней не чувствовалось необычной для Нушича раздраженности.

…Живет в Белграде семья пенсионера Томы Мелентьевича. Живет тихо, патриархально. Послушные дочери стараются услужить отцу, читают ему газеты, свертывают папироски. С женой он за двадцать лет жизни ни разу не повздорил.

Но подросли дочки, и надо уже подумывать о том, чтобы их увидел свет, в котором водятся женихи. И разом дом становится вверх дном. Старую удобную мебель меняют на новую, в дом валит свет, чужой народ. И свет все высматривает, все осуждает. У хозяйки шляпа старомодная, дочки не так одеты, мебель не та. Сплетни света ссорят дочку с ее женихом, пенсионера с женой. Жене говорят, что Тома ухаживает за служанкой, а Тому стараются убедить, что у жены есть любовник. Дом превращается в ад.

Под занавес Тома обращается к публике: «Входите, входите все и пересчитайте тарелки; послушайте, что я сегодня ел, и распорядитесь, какой мне обед есть завтра; входите и загляните в постель, посмотрите, чистые ли простыни… Входите, распоряжайтесь, командуйте, ковыряйтесь, ройтесь. Входи, свет, входи!»

Это была бессильная попытка восстать против диктатуры света. Общество порой надоедает, но прожить без него невозможно и дня, особенно такому общительному человеку, как Нушич. Он непременно должен видеть вокруг себя людей, шутить, рассказывать смешные истории.

Матош как-то назвал Нушича «расточителем духа». Непоседа от природы, Бранислав Нушич, как никто другой, умел заполнять свое время тысячью дел, которые, в ущерб творчеству, считал одинаково важными. «Полнота жизни» не была для него абстрактным понятием. Он жил среди людей и для людей. Угрюмое затворничество было не в его духе, и, хотя именно в минуты вынужденного одиночества (мы знаем это по тюремной эпопее) его необузданная энергия искала выхода в лихорадочном

исписывании листков, еще не пришло время, которое вынудило бы его предпочесть усидчивую работу над шедеврами просто жизни с ее треволнениями. Ему предстояло жить долго, и все еще было впереди. А пока он вертелся как белка в колесе, непрерывно общался с людьми, освещая их и свое существование стихийным остроумием, превращая в интересный спектакль любое дело, за которое брался.

> «Не могу сосчитать все свои звания (за которые я не получал жалованья, иначе б я их легко сосчитал. Хватило б пальцев на одной руке):
>
> — делопроизводитель певческого общества „Корнелий“,
>
> — секретарь академического общества „Србадия“ в Граце,
>
> — председатель певческого общества „Воислав“,
>
> — секретарь „Побратимства“ в Белграде,
>
> — председатель певческого общества „Якшич“,
>
> — секретарь комитета по благоустройству Калемегдана,
>
> — секретарь общества „Уединена омладина“,
>
> — председатель комитета по переносу праха Якшича,
>
> — заместитель председателя Сербского союза журналистов,
>
> — заместитель председателя Общества сербских литераторов (как таковому мне разбили нос)».

Этот список охватывает общественную деятельность Нушича примерно до 1905 года и впоследствии пополняется почти в геометрической прогрессии. Председатель Союза журналистов. Председатель Союза драматургов. Председатель Международного конгресса в защиту авторских прав. Основатель Общества друзей искусства. Организатор первой выставки южнославянских художников. Основатель первого белградского детского театра…

С началом XX века передовыми хорватами, словенцами и сербами все сильнее овладевала идея объединения в одно государство. Все чаще устраивались в Белграде выставки, съезды, банкеты, на которых деятели движения знакомились друг с другом. В октябре 1905 года конференция представителей Хорватии, Истрии и Далмации приняла резолюцию: «Хорваты и сербы по крови и языку — одна нация».

Нушич — непременный участник этих встреч. Он часто выступает с беседами на патриотические темы. До нас дошло содержание его лекции «Сербский Пьемонт».

«„Пьемонт“, — объясняет Нушич, — это освобожденная часть народа, вокруг которой находятся раздробленные части этого же народа. Раздробленные и порабощенные части устремляют взоры на освободившихся братьев своих».

Он считает, что победа народа и его объединение возможны лишь в том случае, если будут проявлены «воля и сила».

«Воля в этом случае выражается в патриотизме, сила — в культуре».

В патриотах недостатка не было. Нушич даже классифицировал их.

— У нас, дамы и господа, — говорил он, — есть патриоты:

по убеждению,

по должности,

по моде,

по профессии.

К патриотам по убеждению он относился с должным почтением, но остальных не жаловал.

Идея национальная, идея патриотическая — одна из самых прочных идей. Политические идеи меняются непрерывно, национальная идея живет столько, сколько живет данный народ. Иногда о национальной идее забывают, но стоит прийти године тяжелых испытаний, стоит возникнуть необходимости объединить усилия всего народа, и тогда «вспоминают» о патриотизме, о национальной культуре… Сплачивает нацию только патриотизм. Когда нация готовится к патриотическому порыву, это начинают чувствовать все — даже либералы. А враги народа трусливо забегают вперед, вопят, торопятся показать себя патриотами из патриотов. И заняться этим «профессионально».

«Патриоты по профессии, — говорил Нушич, — идут за великой идеей, как мародеры за большой армией».

По свидетельству современников, Бранислав Нушич был оратором исключительным. Уже само его появление перед публикой наэлектризовывало ее. На трибуне он становился как бы выше ростом, густел голос, речь лилась свободно. Нушич никогда не терял контакта с аудиторией. Речь его не изобиловала сложными риторическими фигурами, она была проста и страстна.

— Неутешительно состояние нашего патриотизма. Еще нет у нас женщин, которые бы отрезали и продавали свои косы, чтобы передать деньги порабощенным братьям. Еще нет у нас людей, которые жертвовали бы последний грош…

Нушич ведет борьбу с равнодушием к памяти прошлого. Он возмущается, что все еще не найдено место, где сожжен патрон Сербии святой Савва, что могилы Воислава Илича и других поэтов в небрежении.

— Государство равнодушно к нашей культуре… Нам остается основать культурную лигу и поставить ее над политическими партиями, чтобы разбудить всех и вызвать культурную революцию.

В эти годы умирали один за другим его друзья — Янко, Стеван Сремац, Глишич…

Бранислав Нушич считает своим долгом бороться за те идеи, которые они как бы завещали ему. Он наезжает в Загреб, где во время премьеры «Князя Семберийского» студенты устроили патриотическую манифестацию. Нушич вообще много ездит.

В качестве председателя сербского Союза журналистов он в 1907 году посетил Цетинье — в то время столицу Черногории.

Черногория — это природная крепость, нагромождение скал, прорезаемых узкими ущельями. Только оказавшись в этой стране, начинаешь понимать, почему черногорцы были единственным народом на Балканах, не покоренным турками. Каждое ущелье — Фермопилы, каждый черногорец — член рыцарского ордена.

Черногория издавна дружила с Россией. Во времена Петра I черногорские племена впервые объединились в государство, перебили всех вождей, перешедших в турецкую веру. Первый владыка черногорцев, митрополит Данила Негош поехал в Петербург и завязал дружбу с царем Петром. С тех пор маленькая Черногория всегда чувствовала поддержку великого государства. В Черногорию плыли русские корабли с хлебом и оружием, в Москве и Петербурге учились молодые черногорцы.

И по нынешний день слово «русский» произносится горцами с особой интонацией. В самой популярной черногорской песне времен последней войны поется: «Нас и русских двести миллионов».

Любовь к русским была так велика, что, когда в 1766 году в Черногории появился самозванец Степан Малый, выдававший себя за русского императора Петра III, его избрали правителем. И хотя русское правительство не признавало его, он пробыл у власти восемь лет. Впрочем, авантюрист оказался мудрым правителем и оставил о себе добрую память.

Черногорцы — воины и поэты — в течение двух сотен лет управлялись династией Негошей, православных владык. Один из них, красавец, двухметровый гигант Петр II Негош, известен во всем мире как автор замечательной поэмы «Горный венец». По традиции, в 1833 году он посетил Петербург, где был посвящен в сан митрополита. Именно в Петербурге Негош понял, «до какой степени храбрость черногорского народа превосходит его образование…».

Вернувшись из России, владыка завел школы и типографию, в

которой первым типографом был русский. Поэт и владыка показал себя еще и храбрым воином. За время его правления турки двадцать четыре раза нападали на Черногорию и всякий раз изгонялись горцами. Во время одного из нападений шрифт типографии был перелит в пули.

Петр Негош побывал в России и в 1837 году. Это была скорбная поездка. Черногорию постиг такой неурожай и голод, что возник проект переселения части ее жителей «только в Россию, и ни в какую другую землю». По пути в Петербург Петр Негош останавливался в Святогорском монастыре. Есть предположение, что он видел привезенный туда гроб с телом своего любимейшего поэта Александра Пушкина. Наверное, тогда было навеяно стихотворение «Тени Пушкина», в котором великий поэт южных славян говорит о «земном священном прахе певца великого народа». Негош получил помощь в России и деньгами и продовольствием. Черногорцы были спасены.

Для Нушича, как и для любого серба, Черногория была заповедным легендарным краем. По мере своих сил и возможностей он помог создать в Цетинье театр. Библиотека Цетинья хранит книги Нушича, подаренные последнему черногорскому князю Николе Негошу, впоследствии провозгласившему себя королем.

В начале века в Черногории побывал русский журналист Амфитеатров, и его первое впечатление от знакомства с князем и черногорцами, пожалуй, ничем не отличалось от впечатления самого Нушича.

> «Когда князь Николай вышел навстречу мне из своего кабинета, мне показалось, что я живу не в XX веке, а когда-то давно-давно, до паровых машин, конституций, черных сюртуков, железных дорог, телефонов, рентгеновых лучей. Предо мною, в зашитом золотом и серебром черногорском костюме, стоял совершенно средневековый витязь богатырь. Князь Николай — величественный образец черногорской осанки. Старики в Черногории вообще внушительны и красивы: от них веет гетманщиною, Запорожьем, старою славянскою свободою. Глядя, как важно выступают по улицам Цетинья эти огромные старцы, с серебряными головами и сивыми усами по самые плечи, с бронзовыми лицами, опаленными порохом, изрубленными в давних боях, как величаво и живописно драпируются они в свои струки (род пледа) — так и хочется воскликнуть из „Тараса Бульбы“: „Эка пышная фигура!“»[19].

По традиции династии Негошей князь Никола писал стихи, а сын его, княжич Мирко, был одаренным композитором.

В Новом Саде Нушич ставил на сцене своего театра мелодраму князя Николы «Балканская царица», в которой один из героев поучал:

«Не думай, сын, поступок неразумный оправдывать высоким положеньем. Хоть ты и князь, но все права людские ты должен чтить, как божию святыню».

Однако Никола продолжал править в Черногории самовластно, вел хитрую политику, добывая деньги у сильных держав, строил хорошие дороги и здания, заводил школы, с народом держался очень просто, был доступен и разбирал тяжбы лично, сидя на городской площади.

В 1905 году князя все-таки вынудили «даровать» своему народу конституцию, на которую белградский фельетонист Бен-Акиба откликнулся веселой юмореской «Черногорский банк»:

> «Как только страна получает конституцию, тотчас распахиваются врата перед культурой. И через распахнутые врата в первую очередь, как знамение культуры, вторгаются финансовые учреждения, а потом уже все остальное.
>
> Так вот и с Черногорией. Как только я услышал, что она получит конституцию, я понял, что ей следует основать Народный банк. И она основала его…»

Но прежде нам надо познакомиться с некоторыми обычаями черногорцев, о которых был наслышан и Нушич.

Известно, что даже в исправительной тюрьме в Цетинье не было стражи. Заключенные днем работали, а вечером их ожидала в тюрьме такая же неприхотливая еда и постель, как и дома. И они никуда не убегали, потому что перед заключением у них отбирали оружие. А черногорцы, доблестные воины, никогда не расставались с оружием. Появиться где-либо без ятагана и пистолета за поясом считалось бесчестьем. Убежит черногорец к себе в село, его вернут в тюрьму. Убежит за границу, все довольны — избавил страну от своей личности.

Нищие, но гордые черногорцы, наподобие испанских идальго, нередко решали вопросы чести в поединках. Слово черногорца было священно…

А как же будет работать в таких условиях банк? Это финансовое учреждение словам не верит. Пришел черногорец просить ссуду, а с него требуют поручительства, скрепленного двумя подписями. Да еще откуда? Из дырки, через которую кассиры «зыркают как мыши из норы». Не верят слову

черногорца! И он хватается за ятаган.

Или вот, поехал в горы судебный исполнитель описывать имущество некоего Мартиновича, который взял ссуду да и спустил ее, «как полагается герою». Дом у Мартиновича как крепость, сзывает он выстрелами своих доблестных родичей, и налетают они на бедного судебного исполнителя.

— Соколы, — кричит Мартинович, — хватайте его, отсеките ему нос и уши, чтобы он больше не посягал на чужой дом, не разорял чужого гнезда!

«Вот так, — заканчивает юмореску Нушич, — приблизительно и будет функционировать черногорский банк. Иначе я себе и представить не могу».

Бен-Акиба опять поступил легкомысленно. Он опять подвел патриота Бранислава Нушича. Дав увлечь себя забавному вымыслу, он не подумал, как воспримется шутка в самой Черногории. Кое-кто обиделся. Но не все. В Югославии говорят, что, хотя у черногорцев нет слуха, чувства юмора им не занимать.

В 1907 году цивилизация уже совершила по горам свой победный марш. В Черногории была лучшая в Европе почтовая служба. Цетинье, городок, состоящий всего из десятка улиц, застраивался современными зданиями. Пример показал князь Никола, воздвигнувший роскошный, по черногорским понятиям, двухэтажный дворец. Из окна дворца была видна священная гора Ловчен, на вершине которой в мавзолее похоронен великий поэт и владыка Петр Негош. Черногорцы, получившие образование в России и Сербии, создавали новые, современные учреждения.

Банк тоже функционировал исправно. И сидели там люди в отутюженных европейских костюмах. Однако для одного случая они решили переодеться…

Нушича встретили в Цетинье сердечно. Обласкали и… пригласили ознакомиться с работой банка. Сопровождал его любезный председатель правления банка Вукалович. Но что это? Все служащие банка вооружены до зубов. Старинные ятаганы, пистолеты…

Каждый радостно вскакивает и так стискивает руку гостя, что у него слезы выступают на глазах. Но вот и кассир с ятаганом.

— Познакомьтесь с господином Нушичем из Белграда, — говорит председатель правления.

— Как, — кричит кассир, — это тот самый Нушич, который писал о черногорском банке?

— Да, это я! — гордо отвечает Нушич.

— Ах, ты негодяй! — взревел кассир и обнажил ятаган.

— Да что ты, брат, — стал притворно уговаривать председатель, — человек пошутил…

— Я ему покажу шутки, — гремел кассир, — я ему за оскорбление черногорцев уши отсеку…

Нушич повернулся и выбежал из банка. Выскочившие следом служащие с хохотом наблюдали, как он на всякий случай дотронулся до ушей.

Председатель правления подошел к нему и сказал:

— Это была шутка в связи с твоим фельетоном. Маленькая месть. Заходи, Нуша, выпьем кофе.

Но впечатление было слишком сильным.

— Нет, — сказал Нушич. — Какие могут быть шутки с ятаганами!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
НА БЕЛОМ КОНЕ

Специальный корреспондент «Политики» Бранислав Нушич объездил много стран и побывал даже в Париже. Корреспонденции его, хотя и отличавшиеся по тону от фельетонов Бен-Акибы, всегда вызывали большой интерес. Особенно много и интересно Нушич писал в 1908 году во время младотурецкого движения.

В июне 1908 года областной комитет младотурков «Единение я прогресс» в знакомом нам Битоле принял решение начать борьбу против тирании султана Абдул-Хамида II. Вскоре центр восстания был перенесен в Салоники. Нушич несколько раз выезжал на место событий. Он познакомился с «героями свободы» офицерами Ахмедом Ниязи-беем и Энвер-беем. В своих корреспонденциях Нушич приветствовал революцию, надеясь на скорейшее облегчение участи сербов из южных краев. Существует немало рассказов и анекдотов о приключениях Нушича в эту пору.

Турция сделалась конституционным государством. Пока в ней царил деспотический режим, хозяйничанье австрийской бюрократии в Боснии и Герцеговине еще казалось терпимым. Теперь начались волнения и в оккупированных Австрией районах. Воспользовавшись смутным временем, австрийский император Франц-Иосиф рескриптом от 7 октября 1908 года возвестил о присоединении Боснии и Герцеговины к скипетру Габсбургов. Так закончилась «временная оккупация в интересах мира в Европе».

И это было началом конца Австрийской империи. Негодование южных славян превратило Балканы в «пороховую бочку». По сути дела, первая мировая война была предрешена. Выстрел Гаврилы Принципа был неминуем.

Восьмого октября появился экстренный выпуск «Политики» с сообщением об аннексии Боснии и Герцеговины. Взволнованные белградцы еще на заре расхватывали газеты. Все находились в лихорадочном возбуждении, чего-то ждали. Народ постепенно стал стекаться в центр города, на площадь перед театром.

Кто в юности не мечтал о видной роли в большом народном движении! Мечты эти обычно пустые — либо не подвертывается подходящего движения, либо не хватает расторопности. Воображение у Нушича было резвым, как у юноши, а расторопности хватило бы на десятерых.

Нушич повел за собой тысячные толпы, он стал народным

трибуном.

Это были лучшие дни его жизни. Весь мир представился ему грандиозным театром, а Белград — громадной сценой, на которой уже собрались актеры и статисты, готовые приступить к спектаклю… Вот как вспоминает об этих днях прирожденный режиссер и драматург:

«Примерно в девять часов утра я приступил к первому действию, которое можно считать прологом к большому народному движению.

Движение началось драматической патриотической сценой, какими в истории часто начинаются народные движения. Даже Великая французская революция не обошлась без таких сцен, и они, в сущности, являются тем неприметным язычком пламени, который лижет сухой порох и вызывает громадный взрыв».

Нушич ворвался в редакцию «Политики» и крикнул друзьям:

— Дайте мне барабан и знамя!

Необходимый реквизит был добыт очень скоро. Рядом с редакцией находилась кафана «Балканы». За столиком, по белградскому обычаю стоявшим под открытым небом, сидел общинный барабанщик, который ждал чиновника, чтобы отправиться с ним на какую-то распродажу. Барабан тотчас реквизировали, и официант Андра, по счастливой случайности служивший в армии барабанщиком, отвязал фартук, привязал сбоку барабан и явился в редакцию «Политики». К этому времени был добыт и сербский флаг.

И сразу же отыскался знаменосец, громадный человечище в живописном черногорском костюме, черно-красной круглой шапочке на макушке. Он тоже появился возле редакции совершенно случайно. Нушич знал только, что все зовут его Милутин-Телеграф и что прозвище он получил еще в черногорском войске, когда князь Никола послал его во время боя с турками с каким-то приказанием в один из отрядов. Он ушел, но очень быстро вернулся, тяжело дыша. «Сказал?» — спросил его князь. «Сказал, государь!» — ответил Милутин. «Э, Милутин, да ты быстрее всякого телеграфа!» — воскликнул тогда князь, и с тех пор его так и звали — Милутин-Телеграф. Лучшего знаменосца и пожелать было нельзя.

На эти сборы ушло едва ли больше часа. И вот Нушич, как всегда в сюртуке, белоснежной манишке, с красиво повязанным галстуком зашагал посередине улицы к центральной площади. Справа от него с развернутым знаменем шел Милутин-Телеграф, а слева — официант Андра, неистово колотивший в барабан.

От редакции «Политики» до конного памятника князю Михаилу (тут Бранислав уже сражался юношей с полицией,

швыряя в нее камнями, приготовленными для тогда еще воздвигавшегося постамента) всего несколько сотен шагов, но на такой короткой дистанции к нему успело присоединиться несколько сотен человек..

Взобравшись на постамент памятника вместе с Милутином-Телеграфом и Андрой-барабанщиком, Нушич взглянул на море лиц, обращенных к нему, и, подобно Дантону, крикнул:

— Братья, отечество в опасности! Враг у ворот!..

Милутин поднял знамя, Андра заколотил в барабан.

Еще через полчаса на площади стало тесно, на ней собралось более пяти тысяч человек… Торговцы запирали лавки. В театре актеры прекратили репетицию. Школьники покидали классы. Все кричали: «Долой Австрию!», «Войну Австрии!» Среди мальчишек был и сын Страхиня-Бан, раскрасневшийся, гордящийся отцом.

А отец уже чувствовал, что пора начинать. Это был его день, его пьеса, его главная роль…

Длинная и горячая речь, которую он произнес перед белградцами, не сохранилась. Свидетели помнят, что она была прекрасна, что слушатели то и дело кричали от возбуждения, одобряя ненависть оратора к Австрии, этому международному пирату. Можно лишь предположить, что говорил Нушич. Газеты тогда писали, что народы в этой части Европы лишь слышали о колониальных захватах. Так поступали с неграми в Центральной Африке, так покоряли Америку, так врывались в Азию. Теперь дряхлые Габсбурги, давно уже попавшие в полную зависимость от крупных еврейских банкиров, ринулись покорять для них европейские народы. Сегодня они захватили Боснию и Герцеговину, завтра их войска войдут в Сербию, послезавтра смертельная угроза нависнет над всем свободным славянским миром. Сербы, к оружию!

Нушич завершил свою речь призывом явиться завтра сюда же, на площадь, и привести друзей и знакомых, чтобы числом своим показать, что выражается воля всего народа. На этом закончилось первое действие. Надо было обдумать, что делать завтра. Но что может сделать человек, у которого нет под рукой ни программы, ни организации? Впрочем, в политические деятели Нушич никогда не готовил себя.

«Кафанский человек», он отправляется в кафану — послушать друзей и принять какое-нибудь решение. Он склонен преувеличивать разговоры, которые вел в тот вечер.

«Великое народное движение против аннексии Боснии и Герцеговины, которое раскачало всю Сербию и всю Европу, возникло в отдельном кабинете „Театральной кафаны“», — писал он… На другой день на площади собралось уже до десяти тысяч

человек.

На этот раз выступал не один Нушич. На постамент памятника поднимались депутаты скупщины, журналисты. Появились энергичные студенты-распорядители. Нушич дал знак к началу второго действия — он призвал собравшихся записываться в «легионы смерти». В тот же день в них записалось пять тысяч человек, которые тут же на площади выбирали себе командиров. Это была целая армия, которую Нушич предложил правительству. Но правительство, заседавшее непрерывно уже два дня, отвергло ее. И вообще деятельностью Нушича осталось недовольно.

В Вене австрийские министры серьезно обсуждали вопрос — нельзя ли использовать массовые демонстрации в Белграде как предлог для оккупации Сербии. Это был бы великолепный подарок его престарелому величеству императору Францу-Иосифу ко дню приближавшейся «бриллиантовой свадьбы». В толпе, собиравшейся на площади, появились австрийские агенты, провокаторски призывавшие народ идти громить австрийское посольство. Нушича предупредили, что он ответит, если провокация произойдет. Маленькая Сербия, которую не поддержала ни одна великая держава, не могла позволить себе роскошь быть проглоченной в несколько дней…

Трагедия снова не получалась. Трагедия развивалась сама по себе, а Нушич постепенно снова скатывался на знакомую комедийную дорогу.

От власти Нушича над толпой осталась только видимость. Теперь не он — им руководили. Его таскали к королевскому дворцу, к зданию скупщины, к министерству иностранных дел… Толпа выпрягла из какой-то повозки двух коней и взгромоздила на одного Бранислава Нушича, а на другого — Милутина-Телеграфа, который не отходил все эти дни от новоиспеченного народного вождя ни на шаг.

Верхом на белом коне, в бурской шляпе с трехцветной кокардой, во главе колоссальной толпы Нушич приближался к министерству иностранных дел, где заседал совет министров. Кто-то выбежал на балкон и оттуда крикнул:

— Господин председатель, Нушич верхом на коне едет!

Все министры бросились к окнам, чтобы не упустить этого невиданного зрелища. Один Пашич, не вставая с места, задумчиво сказал:

— А разве Нушич умеет ездить верхом?

Белого коня с Нушичем прижали к самой лестнице министерства. Конь греб ногой ступеньку, как в цирке…

— Да разве можно, господин Нушич, на коне и в

министерство! — хватаясь за голову, воскликнул швейцар Йова.

— Пропусти, Йова, — ответил Нушич. И весело добавил: — Это не первый и не последний конь, который входит в это министерство!

ГЛАВА ПЯТАЯ
«ПОГИБНЕМ ВСЕ!»

Комическая реплика была сказана почти под занавес. Здесь бы и оборвать действие, так как дальше оно было скомкано и никаких других чувств, кроме досады, не вызывало.

Министры объяснили вошедшим в здание выборным, что Сербия слаба, что против Белграда сосредоточены австрийские войска, которые отделяла от столицы только голубая полоса Дуная, что великим державам направлены послания…

На улице кричали:

— Даешь мобилизацию! Даешь войну!

Военный министр вышел на балкон и повторил доводы правительства. Демонстранты разошлись, но запись у памятника в «легионы смерти» продолжалась. Клокотала вся Сербия.

Дом Нушича превратился в проходной двор. По углам громоздились знамена и плакаты. Всякое утро детвора приходила под окна и спрашивала, будет ли сегодня школа, и сонный Нушич твердо говорил: «Нет!» Джордже Нуша был недоволен «несерьезным» поведением сына и ворчал.

Нушич передал «власть» над толпой комитету, состоявшему из генерала и нескольких журналистов, и этот комитет придал движению четкие организационные формы. По предложению Нушича было создано ополчение, вошедшее в сербскую историю под названием «Народной обороны».

Однако правительство потребовало, чтобы Нушич продолжал произносить речи, но теперь уже выступая в роли успокоителя разбушевавшихся страстей. Положение было двусмысленное. Пьесе грозило быть освистанной. Одобрение начальства не всегда сулит успех у публики. С тяжелым сердцем Нушич жаловался друзьям, собравшимся в «Театральной кафане». Он по-прежнему считал, что в народе надо поддерживать боевой дух.

И вдруг он услышал совет, который ввел его мысли в привычное русло. Режиссер и актер Народного театра Милорад Петрович сказал:

— По-моему, кум, надо говорить с народом со сцены.

— Как? — спросил Нушич. (В кумовьях у него была чуть ли не половина всех знаменитостей Белграда.)

— Пусть огонь горит… но только не на улице, а в театре. Дайте живое слово сцене. Слово это пылает, как ничто другое, а с улицы его не видно.

Да, пьеса, настоящая пьеса. В четырех стенах театра он

найдет себя, реабилитирует после провала грандиозного спектакля под открытым небом.

Несколько дней раздумий, и Нушич обращается к истории. За одну ночь он пишет пьесу, которой суждено было пережить громкий, хотя и кратковременный успех.

17 июля 1878 года австрийские войска впервые переступили границу Боснии, чтобы осуществить свое «право на утверждение порядка», предоставленное Берлинским конгрессом. И тотчас вспыхнуло поголовное восстание горцев-мусульман. Двухсоттысячная армия австрийцев не сразу заняла город Сараево. Здесь ей оказывала сопротивление «боснийская лига» во главе с Хаджи Лойей Хафизом.

Хаджи Лойя был головорезом и мусульманским фанатиком, ненавидевшим православных сербов, но как историческая личность Нушича он не интересовал. Воображение драматурга привело остатки повстанцев, среди которых были и мусульмане, и православные, и католики, в знаменитую Гази Хусарев-бегову мечеть, где они все, вместе со своим вождем Хаджи Лойей, гибнут под пулями идущих на последний приступ «швабов» — австрийцев. (Кстати, настоящее имя Хаджи Лойи было Салих Вилайетович, и умер он через десять лет после оккупации Боснии во время своего повторного хаджа в Мекку.)

Закончив под утро одноактную трагедию, Нушич написал название «Хаджи Лойя», и ниже: «Слово, сказанное вовремя».

Милорад Петрович получил «живое слово, которое пылает, как ничто другое», и приступил к репетициям. Премьера состоялась уже 9 декабря 1908 года.

Медленно поднялся занавес, и зрители увидели мечеть. Полы ее застланы коврами, на голых стенах — изречения из Корана, на коврах — мусульмане, склонившиеся для молитвы. Но вот в дверях появляется громадный Милорад Петрович, игравший Хаджи Лойю. Кожух, седая борода, на голове — повязка, за поясом — пистолеты, в руке — кремневое ружье; сквозь разодранную на груди рубашку виднеется волосатая грудь. Громовым голосом он возглашает:

— Встаньте и больше не склоняйтесь! Пора нам выпрямиться!

Эта фраза падает в зал, и зрители, как один, вскакивают с мест, кричат, аплодируют. Агитационная пьеса, написанная опытной рукой, начинается с лозунга, отражающего всеобщее настроение.

Хаджи Лойя призывает правоверных умереть здесь, в мечети, и показать всей Европе, всему миру, бросившему Боснию на растерзание «швабам», всю несправедливость эгоистической политики европейских держав. То, что Нушич говорил в своих

страстных речах на площади, он перенес и в пьесу. Пренебрегая законами драматургии, Нушич превращает сцену в трибуну.

Пришло время, когда даже аллах благословил бы союз с неверными. Три веры разделили сербов, но теперь, в смертный час, под сводами мечети и в сердцах мусульман найдется место и для православных и для католиков. Эта земля принадлежит всем им — они родились на ней, они вместе росли. Появляются католики. Православные сербы вносят трехцветное сербское знамя (три веры одного народа). Со сцены зачитывается длинная прокламация главнокомандующего австрийскими войсками генерала Филипповича; фальшивая фразеология, лицемерные заявления: императорские войска «несут вам не войну, а мир!» Мир… на остриях штыков! Да ведь в многонациональной империи ни один народ не дружит с другим. Это Австро-Венгрия рассорила сербов с хорватами. Под скипетром Габсбургов сербов отучат «любить свою страну, свою веру, свой очаг». Лучшие сыны отечества будут гнить в австрийских тюрьмах…

Гремят залпы идущих на приступ австрийских солдат. Отстреливаются и гибнут один за другим осажденные в мечети, выкрикивая: «Нас не забудут!», «В Боснии сдаются только мертвые!»

В пьесе больше выстрелов, чем слов.

Однако такого успеха не имела ни одна постановка Народного театра. Пришлось давать по нескольку спектаклей в день. Касса театра была полна. Когда ажиотаж немного спал, решено было совершить турне и по другим городам Сербии. Собственно говоря, отправились два человека — Милорад Петрович и Бранислав Нушич. Один играл главную роль, другой — роль… агитатора и суфлера. Расчет был на местные самодеятельные силы и главным образом на солдат местных гарнизонов, которым в спектакле с пальбой приходилось трудиться больше всех.

Ну, а под занавес, пожалуй, стоит рассказать комический эпизод, едва не кончившийся трагедией.

В городе Крагуевце «труппа» давала до девяти спектаклей в день. Полтора часа спектакль, полчаса на отдых, и снова спектакль… Перед началом на сцену выходил Нушич и под возгласы публики «Долой Австрию!» произносил горячую речь. Затем он залезал в суфлерскую будку и подавал оттуда команды статистам. Воинский начальник аккуратно поставлял солдат, которые ревностно отстреливали положенное число холостых зарядов.

Но однажды произошло недоразумение — солдатам вместо холостых выдали боевые патроны.

— Погибнем все! — крикнул Хаджи Лойя, и это был знак к стрельбе.

Что тут началось! Визжали пули, падали кулисы, со сцены неслись крики ужаса, которые зрители сперва приняли за очень натуральную игру.

Нушич выскочил из суфлерской будки и упал в оркестровую яму. Милорад Петрович, игравший Хаджи Лойю, распростерся на сцене во весь свой громадный рост и закрыл голову руками. Пальба кончилась лишь тогда, когда добросовестные солдаты расстреляли все патроны.

Возглас «Погибнем все!» чуть не оказался пророческим. Срочно пересчитали всех, кто был на сцене. Все оказались целы и невредимы. Недоставало одного Нушича. После непродолжительных поисков его извлекли из-под сцены всего облепленного паутиной.

ГЛАВА ШЕСТАЯ
И СНОВА «ОСКОРБЛЕНИЕ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА»

Мозаика жизни Бранислава Нушича в последующие несколько лет чрезвычайно пестра. В 1909 году состоялись премьеры двух его пьес — патетической трагедии «Осенний дождь» и написанной под влиянием горьковского «На дне» любовной драмы «За спиной у бога».

В том же году Нушич оставил «Политику», устав от еженедельного придумывания фельетонов, и решил вместе с журналистом Н. Димитриевичем издавать газету «Трибуна». Это сразу же повлекло за собой новые неприятности.

В королевском дворце в обстановке интриг, сплетен и скандалов решался вопрос — кому быть наследником престарелого короля Петра Карагеоргиевича? Старшему ли сыну Георгу или младшему — Александру? Георг отрекся от своих прав, но король Петр еще колебался с выбором престолонаследника. Нушич дерзнул вмешаться в политическую свалку. Он написал статью «Династия и народ» и опубликовал ее в номере «Трибуны» от 26 января. 1910 года.

«Сербия, в которой были условия для здоровой жизни, потеряла самых прекрасных тридцать лет в результате династических и междоусобных схваток. Частые склоки, которые сотрясали двор, занимали сербскую общественность и иностранную печать, жадную до таинственных и дешевых сенсаций…».

Нушич дает анализ обстановки в Сербии за несколько десятков лет, осуждая взаимную ненависть, междоусобицу, обвиняя партии в отсутствии патриотических чувств. Он не останавливается и перед упреками королю Петру, забывающему о своем долге серба-патриота. Он напоминает ему, что интересы Сербии должны быть превыше всего, что страна хочет мира, и долг короля — дать его Сербии.

Прокурор нашел в статье основания для обвинения Нушича в «оскорблении его величества».

Но случилось так, что суд состоялся не сразу, а в тот год было много всяких манифестаций, конгрессов и прочих общественных спектаклей, до постановки которых Нушич был такой охотник.

Правительство отмечало его полезную деятельность. Престарелый король Петр пользовался его советами, когда

принимал дипломатические решения, касающиеся отношений с Турцией, по македонскому вопросу. Нушич — непременный режиссер всех государственных торжеств. За время между обвинением «в оскорблении его величества» и судом Нушича награждают двумя орденами — Св. Саввы и Белого орла.

К ордену Св. Саввы Бранислав Нушич и Драгутин Илич были представлены за их всеобъемлющую просветительскую деятельность министром просвещения Продановичем (тем самым «независимым радикалом» и литератором, из-за которого когда-то пострадал нос драматурга). Получать ордена, конечно, приятно, но такое отличие оказалось весьма накладным. Писателей призвали в финансовые органы и потребовали с них по 75 динаров орденского сбора. Государство остроумно извлекало выгоду из тщеславия своих подданных.

Для писателей, живших на скудные гонорары, это была огромная сумма. Она равнялась месячной плате за трехкомнатную квартиру в центре Белграда. И Нушич с Иличем уготовили шутливую месть своему приятелю министру.

Они совместно купили вексельный бланк, проставили в нем сумму — 150 динаров и отправились на прием к Продановичу.

— Садитесь, и никаких благодарностей! — изрек министр, предполагавший, что ему наносят визит вежливости.

— Какая уж тут благодарность, — махнув рукой, сказал Нушич.

— Что?!

— Мы пришли за твоим поручительством. Подпиши вексель, раз уж ты своей наградой ввел нас в такие расходы. Полегоньку сам как-нибудь и расплатишься.

— Эх, Нушич, Нушич, совсем не меняешься! — сказал со вздохом министр и подписал вексель.

— В другой раз, когда вздумаешь награждать писателей, не забудь освободить их от сбора специальным распоряжением, — поблагодарив министра, добавил Нушич.

В день суда над Нушичем одна из статей, появившихся в газетах, имела заголовок: «Друг и помощник короля обвиняется в оскорблении короля».

Зал суда ломился от публики. Все ожидали еще одного веселого спектакля и не ошиблись…

Нушич объявил, что отказывается от защитника и будет защищаться сам. Как-никак, а юридическое образование у него было.

После обвинительной речи прокурора слово получил Бранислав Нушич.

— Господа судьи, скажу вам откровенно, я не знаю, за что

меня судят. И кто меня обвиняет? Кто счел себя оскорбленным? Общественный обвинитель говорит, что я нанес оскорбление королю в своей статье, помещенной в «Трибуне»… Но раз я обвиняюсь в оскорблении короля, то это значит, что король очень сердит на меня… Но, видите ли, у меня есть неопровержимые доказательства того, что король на меня нимало не сердит. Напротив! С тех пор как мне было предъявлено обвинение впервые, прошло более года, и за это время король дал мне два ордена — Белого орла и Святого Саввы! А разве дает король ордена людям, на которых сердится. И зачем же тогда сердиться обвинителю? Где же тут логика?

Публика смеялась, а председатель суда, по сообщениям репортеров, потребовал, чтобы, защищаясь, юрист Нушич говорил серьезно.

— Я говорю совершенно серьезно, — продолжал Нушич. — Если и в самом деле я по законам этой страны должен быть осужден… я смирюсь. Но я хочу, господа судьи, предложить вам одну сделку. Есть из этого положения выход, которым все будут удовлетворены. Предлагаю королю соглашение о ликвидации тяжбы: пусть король отказывается от обвинения, а я ему верну ордена!

Публика была поражена тем, что после такой блестящей самозащиты суд приговорил Нушича к трем месяцам лишения свободы.

Узнав о приговоре, Нушич весело воскликнул:

— Совсем немного, ровно один срок между очередными выплатами по векселю!

Через несколько дней после суда король Петр попросил министерство иностранных дел прислать кого-нибудь сведущего в делах восточной церкви. Вскоре предстояло избрание вселенского патриарха. Министерство попросило Нушича навестить короля. После аудиенции король предложил Нушичу поужинать, и тут писатель услышал такие слова:

— Слышал я, пристают к тебе из-за той статьи… Что им надо? Ты честно все написал, и я совершенно с тобой согласен.

* * *

Пьеса «Обыкновенный человек», некогда одержавшая (вместе с двумя другими пьесами) победу на конкурсе, была комедией положений. По статистике, и сейчас это самая «игровая» пьеса. За нее ухватились и любительские труппы, так как она легка в постановке, число действующих в ней лиц невелико, а сюжетная

путаница настолько смешна, что успех спектакля обеспечивается даже при полном отсутствии актерских способностей у исполнителей.

Но есть в комедии один характер, особенно полюбившийся театральной публике. Это Йованче Мицич, торговец из Ягодины, простодушный увалень, непрерывно попадающий в смешные переплеты и неожиданно проявляющий незаурядный здравый смысл и простонародную сметку.

Нушич прекрасно понимал выигрышность этого образа и не собирался расставаться с ним. И вот тот же Йованче Мицич появляется в новой комедии Бранислава Нушича — «Путешествие вокруг света».

В ее гротескных сценах чувствуется бен-акибовский фельетонный запал и стремление увлечь за собой публику, настоять на своем в молчаливом споре с Йованом Скерличем. Нушич никогда ни печатно, ни устно не вступал в полемику с рецензентами, ставя выше всего суд зрителей.

Академик Глигорич, который посвятил творчеству Нушича немало работ, но так и не освободился от некоторой предвзятости, внушенной Скерличем, пишет, что «критика Йована Скерлича, имевшая большое влияние на писателей и способная поднять или пошатнуть их реноме, не влияла, как бы ни была она остра и убедительна, на Нушича, на его творчество, и нисколько не повредила его популярности».

Комедия писалась в 1910 году, когда в кафанских залах Белграда, превращавшихся на время в маленькие кинотеатры, с успехом шла экранизация романа Жюля Верна «Путешествие вокруг света за восемьдесят дней». Нушич подхватил идею и тоже отправил в комическое путешествие вокруг света рожденного им десять лет назад Йованче Мицича.

Торговец из маленького провинциального городка выигрывает это путешествие в лотерею. Уезжать ему из родной Ягодины не хочется, но надо — как-никак путешествие бесплатное, и дорога, и отели, и еда. По пути к нему присоединяется черногорец с деревянной ногой, враль, трус и пройдоха. И еще Юлишка, певичка из кафаны, дама отнюдь не строгого поведения.

Уже в Будапеште начинаются веселые приключения Йованче Мицича. Нушич населяет комедию беглыми жуликами, детективами, кандидатами в американские президенты, целыми племенами чернокожих, десятками соотечественников, встречающихся герою в самых далеких странах света, китайскими мандаринами…

Это были грандиозные спектакли, продолжавшиеся вдвое

дольше обычных. На сцену выводили даже слона. Публика так рьяно стремилась попасть в театр, что тогдашний директор поднял вдвое цены на билеты.

Но не пышность постановки привлекала зрителей. Нушич использовал весь арсенал комедийных средств. Тут и комедия с переодеваниями, тут и смешные недоразумения, квипрокво, тут и диалоги, которые даже при простом чтении вызывают пароксизмы смеха.

И главное, великолепные характеры. Йованче, человек с деревянной ногой и Юлишка стали именами нарицательными, наподобие Хлестакова или Расплюева.

«Путешествие вокруг света» — это, по сути, сатирическое путешествие по Сербии. В любой части света сметливый Йованче Мицич чувствует себя как рыба в воде — порядки всюду одинаковые. Достаточно одного примера.

Йованче попадает в Нью-Йорк в разгар президентских выборов. Но его не смущают суматоха, шум, крики, плакаты:: «Да здравствует Форстер!», «Долой Бриктона!», нелепые речи, клеветнические заявления и прочее. Он и не то видел в Сербии во время выборов.

С ходу вступая в предвыборную борьбу, Йованче произносит речь:

— Братья американцы! Хочу вам сказать все, что у меня на душе, и все, что беспокоит вас. Пусть, братья, у всех вас будет один лозунг: долой… как его там?..

Ему подсказывают имя.

— А не все ли равно, как его зовут? Пока он не стал председателем общины…

— Президентом, — подсказывают ему.

— Что ты меня из-за всякой мелочи перебиваешь, — упрекает Мицич и продолжает как ни в чем не бывало предвыборную речь, которая одинаково годна для прославления и кандидата в председатели общины маленького сербского городка и кандидата в американские президенты.

Демократия выработала свои стереотипы.

Мало того. Йованче учит американских политиканов, как добывать голоса.

«**Йованче**. Вы мне лучше скажите, есть у вас в Америке мертвецы?

Арчибальд. Какие мертвецы?

Йованче. Ну, люди, что умерли?

Теодор. Ага.

Йованче. Тогда мы на коне. Я тебя научу, как делать

выборы. Если не хватает живых, пусть голосуют мертвые».

Йованче советует американцам включать в списки недавно умерших людей.

— А это законно? — спрашивают его.

— Разумеется, черт побери! Пусть у меня будет большинство и мой кандидат станет президентом, а потом я посмотрю, кому придется отвечать перед законом!

Постепенно комедия все больше приобретает черты политического памфлета. Это уже не намеки, нет, это откровенная издевка над мышиной возней многочисленных сербских партий, продажностью их вождей, над пустотой «страстных» политических высказываний…

И снова критики обвиняют Нушича в «легкомыслии». Распределившиеся по партийным газетам, они недоумевают, как можно смеяться над тем, что для них самих является смыслом всего существования. И правые и левые ругают Нушича за «издевательство над демократией», а народ несет деньги в театральную кассу и смеется вместе с комедиографом.

* * *

С 1903 по 1912 год Белград был центром всеславянского общественного движения. Здесь устраивались выставки, съезды, встречи представителей различных организаций славянских стран. Летом 1911 года здесь состоялся большой всеславянский конгресс журналистов. В нем приняли участие русские, поляки, чехи, словаки, лужицкие сербы, болгары, хорваты и словенцы.

Конгресс заседал в здании народной скупщины. Председателем его был избран Нушич, как председатель сербского Союза журналистов.

Конгресс заседал три дня, и речи были полны надежд на счастливую будущность всех славян.

Но солидарность славян не была полной. Уже в первый же день почувствовалась натянутость отношений между польскими и русскими журналистами, а на одном из вечеров в «Коларце» даже дошло до открытого столкновения между ними. Этот конгресс был последним межславянским собранием перед войной, которая началась для Сербии в 1912 году.

Народный театр, возобновивший в сентябре 1912 года постановку «Народного депутата», после двенадцати представлений закрылся, так как актеров призвали в армию.

Война же списала и те три месяца лишения свободы, к которым Нушича приговорили за «оскорбление его величества».

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
КОГДА ПИСАТЕЛЕЙ НАЗНАЧАЮТ ПОЛИЦЕЙСКИМИ…

Турок вышибли из Европы с треском.

И случилось это только тогда, когда наконец балканские славяне нашли общий язык. Сербия, Болгария и Черногория заключили союз. К ним присоединилась Греция. Их поддержала Россия. Русские офицеры-добровольцы ехали на Балканы.

В октябре 1912 года сербские войска перешли границу турецких владений и выиграли битву под Куманово. Турки в панике бежали и сдали город Скопле без боя.

В центре города колонны сербских солдат встречал цыганский оркестр, которым энергично дирижировала маленькая фигурка в солдатской шинели. Офицеры с удивлением узнавали в ней… Бранислава Нушича.

Как капрал запаса, Нушич был мобилизован и сперва назначен начальником военной почты в городе Младеновце, но потом начальство спохватилось и отозвало его в штаб верховного командования.

Вспомнили, что бывший дипломат, как никто иной, знает условия, в которых предстояло воевать сербской армии. Его прикомандировали к пресс-бюро, где уже собрались видные ученые и писатели. Нушич писал статьи и произносил речи, напоминая своим соотечественникам, что им пришлось пережить за время пятисотлетнего турецкого ига, начавшегося после поражения на Косовском поле.

И теперь вот… за Косово — Куманово.

На другой же день после победы под Куманово писателя вызвали в штаб и приказали ехать в Скопле. Знаток турецкого языка и местных условий, он назначался начальником военной полиции будущей столицы Македонии.

Турки отступали так быстро, что не успели разрушить железную дорогу. Нушич въехал в город на паровозе вместе с разведчиками, произнес перед местным славянским населением несколько патриотических речей и сколотил цыганский оркестр, чтобы достойно встретить Первую сербскую армию, которой командовал престолонаследник Александр.

Увы, на этом обязанности начальника военной полиции не исчерпывались.

Турки ушли, побросав на улицах повозки, оружие. Многие прятались в самом городе. По улицам бродили отбившиеся от

своих частей сербские и болгарские солдаты. Электрические провода по всему городу были перерезаны, в узких кривых улочках восточного города царил мрак. Начались грабежи…

Юморист и драматург был призван вершить необычные дела. Во-первых, ловить мародеров. Во-вторых, очищать улицы от трупов. В-третьих, доставать хлеб и кормить тысячи беженцев-мусульман, хлынувших с севера. Был приказ поощрять переселение турок дальше на юг. Накормив беженцев, Нушич отправлял их в путь.

Помощников у Нушича было мало. Все способные воевать ушли к Битолю, где окопался Зеки-паша. Но Нушич нашел выход из положения. Собрав учителей, он поделил город на участки и поставил во главе каждого одного из местных интеллигентов, дав ему трех помощников-добровольцев. Они патрулировали свои участки, да и сам Нушич с двумя помощниками тоже часто обходил город: Вскоре городская тюрьма была переполнена жульем и подозрительными личностями, взятыми во время этих ночных рейдов. Военные власти в свою очередь тоже присылали в тюрьму своих арестованных.

На пятый день прибыла гражданская власть — Михайло Церович, первый сербский окружной начальник в Скопле. Принимая дела, он потребовал показать ему книги, которые велись за время правления Нушича.

— Какие книги? — изумился Нушич. — Банк это, что ли? Я пять дней чернил и бумаги и в глаза не видал.

— А сколько у тебя арестованных?

— А бог его знает! Тюрьма полна.

— Ну, а сколько хлеба ты отправлял в тюрьму? — продолжал допытываться Церович.

— Сколько? Ничего не отправлял…

— Господи! Так, значит, они, бедняги, у тебя пять дней уже не кормлены! — изумился Церович.

— Да так как-то, в голову не пришло, — оправдывался Нушич.

— А что было бы, если бы я задержался еще на пять дней! Половина арестованных умерла бы с голоду! — ворчал Церович по дороге в тюрьму. И не мог удержаться от улыбки. — Вот так бывает, когда писателей назначают полицейскими. Это тебе, Нушич, не театр, это полиция!

Арестованные были накормлены.

Однако начальники Нушича не извлекли урока из его хозяйничанья в Скопле, и, когда после тяжелых трехдневных боев на Черной речке был взят Битоль, первым окружным начальником в нем стал Нушич.

По сербским масштабам, окружной начальник — это губернатор, высшая гражданская административная и полицейская власть в округе. И в каком округе! В памяти Нушича оставалось былое великолепие Битоля, его кафаны, дипломатические миссии, полуевропейский уклад жизни. Двадцать лет назад здесь он блистал остроумием на дипломатических раутах, ухаживал за дамами и женился на прелестной Даринке.

Любитель пышных зрелищ, Нушич решил въехать в Битоль с помпой. Наверное, там еще есть люди, которые помнят его.

Одно удручало. Как был он капралом во время сербско-болгарской войны, так и остался им.

Капрал Нушич взглянул на свою солдатскую шинель и решил, что для торжественного въезда в Битоль она не подходит. Сменить ее на офицерскую он не мог — не полагалось по чину. И тогда новоиспеченный губернатор придумал себе форму, которая не очень отличалась от уставной и в то же время выглядела весьма импозантно.

Еще в Скопле он велел портному подбить солдатскую шинель тонким красным сукном на манер генеральской, нацепил длинную саблю, а на голову водрузил шитую золотом фуражку.

Теперь все было в порядке. В Битоль окружной начальник въехал в шинели нараспашку. Генеральская подкладка бросалась в глаза. Население Битоля было потрясено.

Неуемно веселый начальник вскоре очень понравился битольцам, а председатель их общины Петр Лешняревич даже стал его личным другом.

И сразу же по приезде случилось с Нушичем событие, которое можно было бы счесть незначительным и недостойным упоминания, если бы оно убедительно не доказывало, что и в жизни возможны ситуации, словно вышедшие из-под пера опытного драматурга.

Снова река Драгор и дом, где двадцать лет назад он вручал свои «верительные грамоты» турецкому губернатору. Длинный зал с рядами уже потертых стульев вдоль стен. Письменный стол, за которым некогда сидел немногословный паша.

Нушич сел за стол.

В зал вошел жандарм и доложил:

— Господин начальник, там пришел турецкий паша и просит вас принять его.

— Какой еще паша?

— Ну, этот самый… турецкий вали.

Нушичу показалось, что стрелка истории стала быстро вращаться в обратную сторону. Остановившись на мгновенье где-

то в конце прошлого столетия, она быстро вернулась в прежнее положение.

— Пусть войдет.

Войдя в зал, паша низко поклонился. Нушич смерил его взглядом, махнул рукой и буркнул:

— Буйрум. (Пожалуйста, мол, садитесь.)

Паша сел на краешек стула у самой двери.

Жаль только, что турок не тот самый. Тогда бы такому повороту сюжета позавидовали сами отцы комедии.

Однако, в отличие от турецкого губернатора, принимавшего в свое время молодого дипломата, Нушич был сама любезность. Он быстро подошел к паше, протянул ему руку, подвел к столу, усадил в кресло и приказал принести кофе.

Паша был бледен и перепуган.

— Я ждал гражданских властей, чтобы сдаться в рабство, — сказал он.

— В рабство? — переспросил по-турецки Нушич. — Какое еще рабство?

— Теперь я раб, — пояснил паша. — Когда противник захватывает город…

— Нет, нет, вы не раб, вы свободны, — перебил его Нушич. — Я рад, что вы пришли, — ваш служебный опыт понадобится мне… Как вы оказались здесь?

И паша объяснил. Нушич уже знал, что турецкий губернатор Умер-бег во время своего правления был снисходителен к христианам и защищал их от произвола. Паша не успел уйти с турецкими войсками и прятался в собственном гареме. Там он и пересидел период военных действий. Как только в городе появился новый губернатор, он сел в гаремный фиакр, опустил занавески, при других обстоятельствах скрывавшие от взоров посторонних мужчин прелести восточных красавиц, и поехал сдаваться.

После победы на Косовом поле сербы были для турок рабами, райей, скотом. Теперь же часть захваченных в плен турок доставили в Белград. Они шли от вокзала через центр города, и ненависти в глазах белградцев, наблюдавших процессию, не было. Кое-кто совал в руки пленных табак. Таковы славяне — захватчики не могут ни ассимилировать, ни усмирить их и за сотни лет, но к побежденным врагам они великодушны.

Нушич отправил пашу в Турцию вместе со всеми его женами, а тот опубликовал в Стамбуле статью, в которой хвалил сербские гражданские власти, назвав их «высококультурными».

Через месяц Нушич послал человека за своей семьей. Даринка, Гита и Бан ехали в Битоль кружным путем, через

Скопле, Салоники, по разбитым дорогам и понтонным мостам. Семья поселилась в доме, в стенах которого зародилась любовь Бранислава к шестнадцатилетней Даринке. Ампирное здание бывшего сербского консульства было целым и невредимым. Из окна гостиной, где они чинно беседовали во время своих первых свиданий, по-прежнему виднелся над плоскими черепичными крышами стройный минарет Исак джамии.

Когда-то король Александр Обренович назначал Нушича окружным начальником, но писатель отказался от этой чести, сказав, что увлечение театром заставит его позабыть о служебных обязанностях. Нушич знал себя.

Прибытие семьи окружного начальника в город Битоль ознаменовалось первым спектаклем в местном театре, в котором принимали участие актеры, служившие в местном гарнизоне, и семнадцатилетняя Гита Нушич.

Однажды Нушич послал Даринку с Гитой на военное кладбище. По сербскому обычаю, матери и сестры погибших ставят на могилах зажженные свечи. Но Сербия и родные павших воинов были далеко.

— Я помню тот день, — сказала мне Гита Предич-Нушич, задумчиво глядя в даль Адриатического моря. Вот уже несколько дней я жил на ее вилле возле Дубровника и слушал неторопливые рассказы Гиты о ее покойном отце.

— Я помню тот день, — повторила Гита. — Мы шли от могилы к могиле с восковыми свечами. И это продолжалось с двух часов дня до полной темноты. Зрелище было горестное, но очень красивое — мрак и бесчисленные горящие свечи, рассыпанные по всему уже уснувшему склону горы…

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
СКОПЛЕ

Скопле — трагичный город.

В пять часов утра 26 июля 1963 года подземные толчки разрушили четыре пятых зданий города, под развалинами которых остались тысячи и тысячи людей. Теперь город восстановили, но он уже совсем не такой, каким его видел Бранислав Нушич, назначенный в 1913 году директором скопльского Народного театра.

Расположенный на «белом пути», по которому из Африки поступал хлопок в Европу, город не раз выжигался завоевателями дотла и снова вырастал, напоминая о прошлом уцелевшими памятниками римской, христианской и мусульманской культур. Землетрясение не пощадило и их.

В этом городе Нушич пережил семейную трагедию, которая была частью беды, обрушившейся на весь сербский народ, на народы десятков других стран… Драматург надолго забросил свой любимый жанр — комедию, и мы будем узнавать былого Нушича лишь изредка, в немногие часы, когда жизнь заслоняла горе и брала верх его живая натура.

Двухэтажный дом, приютивший в Скопле семью Нушичей, сохранился. Он стоит на левом берегу реки Вардар, неподалеку от места, где начинались турецкие торговые кварталы. Вместе с актером македонского театра Крстевским, известным в Югославии по прозвищу Амфи, мы вошли в этот дом, потрескавшийся и покосившийся после землетрясения. На верхнем этаже его жили люди. Да, они знают, что в этом доме была квартира Нушича, но сами поселились здесь совсем недавно, после катастрофы. В свое время семья Нушичей покинула дом поспешно, тут оставались их вещи, но пятьдесят лет — срок немалый… все растащено. Вот и в шестьдесят третьем году, говорят, из дома, грозившего развалиться, вынесли мебель и множество каких-то бумаг. Свалены они были прямо на мостовой… Вроде бы бумаги были Нушичевы, пьесы какие-то, письма. Но кругом руины, смерть, беда. Никому не было никакого дела до бумаг. Наверное, пошли они на растопку в те июльские дни, когда уцелевшие жили табором на улицах и готовили себе еду на маленьких кострах.

Я бродил по пыльным пустым комнатам дома и старался представить себе, как жили тут Бранислав Нушич, Даринка, Гита и Страхиня-Бан до тех пор, пока не пришла большая беда, перед

которой все прежние огорчения сразу показались мелкими неприятностями.

Но прежде вернемся к хронике семейной жизни юмориста, не запечатленной в документах и известной лишь по рассказам его дочери.

Когда Нушичи вернулись в Белград после дипломатических скитаний, Маргите, которую стали звать сокращенно — Гита, было шесть лет, а Страхине — пять. Дети лучше говорили по-гречески и по-турецки, чем по-сербски. Это часто бывает с детьми дипломатов, которые, проводя дни в играх со своими сверстниками, учатся говорить на чужих языках более бегло, чем на родном. Даже отца своего они называли по-турецки — Ага (отец, хозяин), так же в шутку стали называть Нушича и его друзья. Потом это почтительное обращение прижилось в кругу друзей и родственников юмориста.

В Белграде дети познакомились с дедушкой и бабушкой, Джордже Нуше в то время было уже около восьмидесяти, но он сохранил ясность и живость ума, всем интересовался и безумно любил внуков. Бабушка Любица, в молодости очень красивая женщина, не желала поддаваться годам, тщательно следила за собой, красила волосы. Веселая, остроумная старушка страстно любила общество, гостей.

После смерти жены старый Джордже Нуша поселился у сына Бранислава. Старший сын, Константин, был богат, имел собственную аптеку и дом. С братьями Бранислав Нушич никогда не находил общего языка. Степенный аптекарь не одобрял занятий своего брата, считая их несолидными. Бранислав, в свою очередь, презрительно отзывался о «торгашах» и их способе зарабатывать деньги.

Второй брат, Леонид, остался бедняком, едва содержал семью, но нрав у него был веселый и общительный. Нушич не терял его из виду, как он потерял своего третьего брата, Перикла. Вести о нем дошли только после первой мировой войны. Когда болгары, воевавшие против сербов, захватили город Ниш, он был взят в плен. Журналист Николов был при штабе болгарских войск. Встретив в списках пленных фамилию Нушича, он приказал привести Перикла и спросил его, не родственник ли он Бранислава Нушича. Перепуганный Перикл ответил, что не имеет «ничего общего с этим мерзавцем». Когда Николов объяснил, что до войны они с Нушичем были большие друзья, Перикл поспешил сознаться. После войны Николов рассказал об этом случае Нушичу.

Что говорить, профессиональное занятие литературой еще не удостаивалось того признания, которого оно заслуживало. Да и

сам Джордже считал, что его любимец занимается пустячным делом, пока не пристрастился к театру, где ему обычно отводили лучшие места.

С малых лет Нушич старался развивать у детей художественный вкус. Первые уроки эстетики они получали в связи со странной привычкой отца непрерывно переезжать с места на место. Если Нушичи не меняли квартиру в течение полугода, то начиналась великая перестановка мебели. Во время своих путешествий по югу бывший консул накопил множество всяких восточных безделушек, ковров, декоративных тканей, которыми так богаты турецкие базары. Все это развешивалось по стенам наряду с множеством фотографий, картин, подаренных друзьями-художниками, карикатур на Агу, которых с каждым годом становилось все больше и больше. И каждую безделицу он приколачивал к стене сам, потом отходил и смотрел, красиво ли. Дети должны были непременно присутствовать при этом ритуале. Он объяснял Гите и Страхине, какие цвета гармонируют друг с другом, а какие нет, учил их чувству пропорции и симметрии. Такие упражнения были для Аги удовольствием, для детей — наукой, а для хозяев квартир — сущим бедствием. Нушич переезжал на новую квартиру, оставляя стены старой сплошь в дырах от гвоздей.

Помня, какое впечатление произвела на него в детстве встреча с театром, при всяком удобном случае Ага брал с собой сына и дочь на спектакли. Вскоре он предоставил им возможность сыграть детские роли в своей одноактной пьесе «В сербском доме», которые написал специально для них. Ага водил детей в мастерские знаменитых художников, на выставки, всюду, где мог развиться их художественный вкус.

Хороша или нехороша такая система воспитания — вопрос спорный. Но, конечно, если хочешь развивать у детей художественные способности, надо прежде всего, чтобы у детей эти способности были.

Сын Страхиня, играя в пьесе «В сербском доме», задирал голову и не спускал глаз с занавеса. Он мечтал об одном — лишь бы поскорее опустилась плотная ткань и спрятала его от зрителей.

В память о своей детской мечте Ага основал детский театр. Вместе с учителем Михаилом Сретеновичем он писал пьесы, малевал декорации. Нушич в этом театре был костюмером, кассиром, суфлером, режиссером, а играли на сцене дети. Детский театр даже выезжал на гастроли и имел у своих маленьких зрителей громадный успех. Гита выходила на сцену с бóльшим удовольствием, чем Страхиня.

С возрастом серьезный и умный мальчик стал давать отпор отцу, пытавшемуся найти у него то музыкальные способности, то склонность к рисованию. Его увлекло совсем другое.

Двадцатый век принес с собой развитие автомобилизма и авиации. Подросток Страхиня первым в Белграде стал мастерить модели самолетов, а потом даже сконструировал планер и поднял его с друзьями на вершину горы на окраине Белграда. Планер со Страхиней, пущенный с края обрыва, благополучно приземлился. Финансировала его увлечение Даринка, которая настолько уверовала в сына, что ходила вместе с детворой смотреть на его смелые эксперименты. Страхиня собирал всевозможные сведения об авиации и даже переписывался с конструкторами планеров, жившими в других странах. Авиация еще только начиналась, и мальчик подавал большие надежды.

Сам Бранислав Нушич имел дело с авиацией единственный раз в жизни, и это событие наполнило сердце Страхини невыразимым счастьем, за которым последовало жестокое разочарование.

Незадолго до того, как Сербия начала свои войны, сорвавшие Нушичей с относительно насиженного места, в Белград прибыл со своим аэропланом некий известный в Европе летчик. Он собирался продемонстрировать перед белградской публикой полеты, производившие в то время впечатление чуда. При громадном стечении народа он садился в хрупкую «этажерку» и под гром оваций летал невысоко над землей. Продемонстрировав свое искусство в одиночку, летчик предложил совершить еще три полета с пассажирами. Первым вызвался лететь сын короля Петра принц Джордже. Потом госпожа Хартвиг, жена друга Нушича, русского посла в Сербии. Оба полета прошли благополучно, и смельчаки были награждены аплодисментами.

Третьим лететь выпала честь Аге. Но радовался этому не он, радовался его сын Страхиня, предвкушая поклонение всех белградских мальчишек, представляя себе, как он будет купаться в лучах славы своего отца.

Попрощавшись с женой и детьми, не без страха приблизился Нушич к хрупкому аппарату и надел шлем. Оттуда он помахал публике рукой. Самолет затарахтел, побежал по траве и… остановился. Зрители дружно захохотали. Кто-то крикнул:

— Эй, Нушич, такое только с тобой может случиться!

Кто-то высказал предположение, что Нушич заранее испортил самолет, чтобы превратить все в комедию. Впервые в жизни обрадовавшийся провалу своего выступления Бранислав Нушич вылез из самолета.

Профессиональная честь летчика была задета. Он настоял на

второй попытке. Успокоившийся было Нушич теперь уже встревожился серьезно, но пойти на попятный не мог. Снова его торжественно проводили, снова пожелали ему счастливого полета, и снова самолет не оторвался от земли.

Летчик настоял на третьей попытке. Но и она оказалась неудачной. Летчик несколько ошеломленно посмотрел на своего пассажира и, решив, что с ним он никогда не добьется успеха, от дальнейших попыток отказался, к радости Нушича и его супруги и к величайшему сожалению Нушича-младшего.

В свою очередь, Ага отказался от приобщения Страхини к искусству и возложил все свои надежды на Гиту. Дочь была послушной девочкой и позволяла проделывать над собой любые эксперименты. Ага решил сделать из нее музыкантшу. Он определил Гиту в музыкальную школу, но не в класс фортепиано (это было бы слишком обычно), а в класс виолончели (ни одной женщины-виолончелистки Ага еще не видел). Бедная девочка, неспособная взять ни одной верной ноты, целых два года мучилась сама и терзала слух учителей, которые из ложно понятого чувства такта не осмеливались ничего говорить отцу. Выручил и девочку и учителей композитор Стеван Мокраняц, старый друг Аги, преподававший Гите теорию музыки. Однажды он попросил Гиту сыграть ему что-нибудь, но после первых же фраз велел ей оставить виолончель в покое, погладил по голове и сказал:

— Иди домой. Скажи Аге, что у тебя нет слуха.

Авторитет великого сербского композитора был непререкаем. Нушич прекратил музыкальные занятия Гиты и определил ее в художественную школу. Но Ага и тут не был бы самим собой, если бы ему не пришла в голову «свежая» мысль учить девочку не живописи, а ваянию. А это считалось тогда делом отнюдь не для женских рук. Скульптора из Гиты тоже не получилось, хотя отец не жалел денег и посылал ее постигать искусство ваяния в Загреб и Прагу.

В Скопле вся семья была снова вместе. Ага, Даринка, Страхиня, Гита, старый Джордже. У директора первого сербского театра в Скопле дел было по горло. Сколачивание труппы, переделка под театр громадного деревянного строения, оставшегося от турок… Всем этим Нушич занимался увлеченно, с громадным удовлетворением, которое понятно всякому, кто помнит, почему в свое время он напрашивался на дипломатическую работу в Македонию, как ревностно подготавливал он освобождение и воссоединение славянских земель. Нушич питал особое чувство к родине своего отца, усиленное многими годами дипломатической работы в этих краях

и общением с македонцами. Правда, Сербия не признавала за македонцами их языка и права на культурную автономию, однако есть сведения, что Нушич относился к этому неодобрительно и старался хотя бы собственным поведением сгладить неприятное впечатление от политики сплошной сербизации, проводившейся правительством.

Приходя усталый домой, Ага говорил, что получает двойное удовольствие — он видит, как его труд приносит плоды, и ему тем более радостно, что труд этот связан с театром.

Однако Нушич не забывал и журналистику. В Скопле он предпринял издание газеты «Сербский юг», в которой сотрудничал уже и его сын Страхиня, учившийся в последнем классе гимназии. Статьи юноши были настолько искусно написаны, что Ага пророчил ему блестящую журналистскую будущность.

Дети как-то вдруг повзрослели, но между ними и отцом не было того отчуждения, которое появляется, когда молодое поколение начинает жить собственными интересами. Ага, всегда искренний в своих побуждениях, никогда не фальшивил с детьми. Более того, в нем не иссякала детскость, привносившая во все его дела и отношения с другими людьми ощущение увлекательной игры. Для Страхини и Гиты он был кумиром, но не холодным и недоступным, а отзывчивым, всегда готовым веселой шуткой развеять сомнения и преувеличенно тягостные думы, присущие переходному возрасту. Его великолепный интеллект не подавлял, а, наоборот, подстегивал умы, вселяя в них радостное творческое возбуждение. Короче говоря, в доме Нушичей царили любовь и согласие.

В Скопле Гита встретилась с молодым драматургом Миливоем Предичем, которого все называли Мимой. Ага познакомился с ним еще в 1907 году, когда оба они получили государственные премии за свои пьесы, представленные на конкурс.

Мима находился в Скопле в качестве редактора газеты «Новая Сербия». Нушич настоял на том, чтобы его назначили в театр драматургом. Вместе они подбирали репертуар, приглашали актеров и даже писали декорации.

Уже в декабре 1913 года театр показал свои первые спектакли. Нушич заранее собрал труппу и сказал, что все они делают великое дело, несут культуру людям, которые еще никогда не видели театра. Он призвал актеров отказаться от пьянства и прочих дурных привычек, усвоенных в Белграде. Актер — это полномочный представитель Сербии, и отныне всякое отступление от норм поведения будет караться немедленным

увольнением.

Как это ни странно, призыв Нушича подействовал. Актеры увлеклись работой и вели себя с большим достоинством в личной жизни. Возможно, их заразил пример директора, трудившегося по шестнадцать часов в сутки. Больше всего Нушич был доволен самим собой.

— Это настоящий успех, — говорил он. — Раз мне удалось обуздать себя и Ольгу Илич, то теперь я верю, что все пойдет на лад.

Красавица Ольга Илич, очень талантливая актриса, вела в Белграде довольно беспорядочный образ жизни, о котором Нушич, вероятно, знал не только по слухам. Вскоре игра Ольги Илич, Милорада Петровича, знакомого нам по «Хаджи Лойе», и других актеров, а также труды их директора были замечены столичными газетами. Так, в «Пьемонте» поэт Боич писал:

> «За эти сорок дней даны 24 представления с репризой „Капрал Милое“ (переработка французской пьесы, сделанная Агой. — *Д. Ж.),* и г. Нушич никогда, возможно, не выбирал так удачно репертуара. В этом репертуаре отличилась вся труппа, которую с большим вниманием и знанием дела отобрал г. Нушич. Действуя искусно, смело и с любовью, он сумел из актеров, прибывших из разных славянских краев, сколотить нечто единое целое…»

Впрочем, через сорок дней новому театру пришел конец. Но это уже было просто отчаянное невезение.

Третьего февраля 1914 года рано утром случилась беда. Из-за небрежности трубочиста деревянное здание сгорело дотла. Удалось спасти только кое-что из мебели.

Несчастье глубоко тронуло и жителей Скопле и белградцев. Уже на другой день депутат скупщины Йован Скерлич потребовал, чтобы правительство немедленно отпустило средства на новое здание «без бюрократической медлительности и формальностей».

Да, тот самый Скерлич, некогда жестоко расправившийся с Бен-Акибой, теперь говорил с трибуны скупщины:

— Первые спектакли, которые были даны за этот месяц, имели необычный и неожиданный успех. Этот успех был настолько существенным и значительным, что даже белградский Народный театр мог бы ему позавидовать. Мало того, это успех моральный. Театральный зал регулярно заполняли не только чиновники и переселенцы, но и местная публика.

Скерлич сказал, что за короткое время скопльский театр стал

бастионом национальной культуры, и это было признание заслуг Бранислава Нушича. Мы не знаем их личных взаимоотношений в последние годы жизни Скерлича (он умер в 1914 году), но, возможно, фраза Нушича о том, что знаменитый критик «во многом изменил свое мнение», основывается не только на его речи в скупщине.

Стараниями Скерлича деньги на строительство нового здания были отпущены, но пока труппе приходилось совершать турне по другим городам, а в Скопле давать спектакли во временном помещении.

Двадцать восьмого июня, в годовщину Косовской битвы, театр показал одну из исторических трагедий, посвященных этому событию. Случилось так, что на спектакль были приглашены крестьяне из окрестных сел. Увидев на сцене знакомых по эпосу героев — царя Лазаря, Милоша Обилича, Юга-Богдана и других, — зал разразился бурными аплодисментами. Почти все зрители были в театре впервые, их неподдельное ликование приводило актеров в восторг.

Но играть было тяжело. Летом в Скопле очень жарко. Актеры задыхались в пышных костюмах, париках, бородах… В артистических уборных временного помещения было очень тесно, и при малейшем перерыве актеры выскакивали на улицу глотнуть свежего воздуха.

После спектакля крестьяне не разошлись, а послали на поиски Нушича делегацию во главе с попом и сельскими старостами.

— Что вам угодно? — любезно спросил делегацию директор.

— Царя Лазаря! — в один голос ответили крестьяне.

Выяснилось, что весь зал желает продефилировать перед царем Лазарем и поцеловать ему руку. Нушич попытался объяснить крестьянам, что героя играет обыкновенный человек, актер.

— Да знаем мы это, — ответили ему. — А икона, которую мы целуем, разве она не так же намалевана, как ваш актер?

Крестьянская логика заставила директора сдаться. Он понял, что крестьяне по-своему хотят заплатить дань признательности потрясшему их искусству. Целовать же руку старшим у славян было в обычае.

Пришлось актеру Луке Поповичу, игравшему царя Лазаря, снова загримироваться, одеться и выйти к зрителям. Процедура целования руки продолжалась довольно долго, актер взмок и измучился. Ему приходилось продолжать игру, придумывать приличествующие случаю слова. Он признался, что не волновался так, даже играя Гамлета, и попросил директора никогда больше

не заставлять его играть в Скопле царя Лазаря.

Играть ему больше не пришлось. В ту же ночь пришла весть о том, что в Сараеве убит австрийский эрцгерцог Фердинанд.

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ
ПЕРВАЯ МИРОВАЯ

На родину мою навалилось страшное горе, кровавые реки затопляли наши плодородные поля, кровавые слезы текли из глаз матери, кровавое знамение появилось у порога каждого дома…

Я ждал сына…

Я ждал его и буду ждать! Буду ждать, пока вместе с моей жизнью не погаснет и светильник, который я зажег в душе своей…

Он вернется, он жив, он не погиб! Он — сама молодость, а молодость не умирает, иначе из чего бы возникала новая жизнь? Молодость всегда была плотью, чувством, мыслью своего времени… И потому молодость вечна, как вечна мысль, и потому молодость не умирает, как не умирает мысль, и потому ты не умер, ты живой, ты вернешься!..

Я жду тебя… ты вернешься!

«1915»

ГЛАВА ПЕРВАЯ «HALT! WIR FAHREN FALSCH!»[20]

А было это так:

28 июня 1914 года, в годовщину Косовской битвы, в Сараево прибыл специальный поезд. Из него вышли австрийский эрцгерцог Франц-Фердинанд и его супруга. Наследник престола Габсбургов и фельдмаршал был в форме кавалерийского генерала.

Жена его София, высокая, черноглазая женщина с острым подбородком, принадлежала к старинному, но обедневшему роду чешских графов Котеков. Франц-Фердинанд женился на ней по любви, против воли своего дяди — императора Франца-Иосифа. Брак их считался морганатическим.

На перроне высочайшую чету встречал правитель Боснии и Герцеговины генерал Потьорек. Франц-Фердинанд приехал с маневров, которые демонстративно проводили у западных границ Сербии Пятнадцатый и Шестнадцатый армейские корпуса.

Потьорек предложил эрцгерцогу осмотреть город, живописно раскинувшийся на холмах в долине реки Миляцки. Впереди и позади зеленой спортивной машины эрцгерцога ехали в автомобилях агенты службы безопасности и свита.

В 10 часов 10 минут утра высокий молодой человек бросил гранату в машину Франца-Фердинанда, медленно проезжавшую по набережной. Гранату смахнули с тента, и она взорвалась под колесом следующей машины. Осколки ее никого не задели. Эрцгерцог приказал прибавить ходу.

— Das ist schön! Da kommt man zu Besuch in diese Stadt, und wird mit Bomben empfangen![21] — сказал Франц-Фердинанд. — Это какой-то сумасшедший. Господа, продолжим программу…

Следующим пунктом программы была встреча с именитыми жителями Сараева в городской ратуше. По одну сторону там стояли богатые мусульмане в фесках, по другую — христиане во фраках, с цилиндрами в руках. На улицах было народу немного, но в ратушу верноподданные набились плотно.

В это время неподалеку от ратуши невысокий длинноволосый юноша говорил своему товарищу:

— Надо было бы бросить гранату в ратушу и побить всех этих господ предателей!

Потьорек решил на всякий случай изменить маршрут. Осмотр города продолжался.

Шофер машины эрцгерцога, видимо, забыл указание генерала

и свернул в улицу, как и было указано в первоначальном маршруте.

— Halt! — крикнул Потьорек. — Wir fahren falsch!

Машина остановилась.

Длинноволосый юноша, стоявший в толпе переодетых агентов и полицейских, достал из кармана револьвер. Один из полицейских пытался схватить юношу за руку, но его оттолкнул другой молодой человек.

Юноша стрелял почти в упор. Его схватили.

Сперва показалось, что покушение не удалось, но потом генерал Потьорек увидел, что кронпринц и его супруга неподвижны, и приказал ехать во дворец.

София умерла почти сразу. Франц-Фердинанд успел сказать: — Soferl, stirb nicht, du musst leben für unsere Kinder…[22].

В старинном дворце, оставшемся от турецких времен, лежали два трупа. На шее у Софии на золотой цепочке висела ладанка — от несчастий.

Ни одно политическое убийство в человеческой истории, а их было очень много и до и после Сараева, не имело таких грандиозных последствий, как это.

Двадцать третьего июля Австрия предъявила Сербии ультиматум. Сербское правительство приняло все его пункты, кроме одного — требования разрешить расследование обстоятельств убийства на территории Сербии. 28 июля Австрия объявила войну Сербии. Россия начала мобилизацию. 1 августа Германия объявила войну России. В последующие три дня в войну вступили Франция и Англия.

В итоге — убито 12 миллионов человек. Прекратили свое существование четыре империи: Оттоманская, Габсбургов, Романовых, Гогенцоллернов. В России произошел переворот, с которого началась новая эра в истории человечества.

* * *

Убил эрцгерцога Гаврило Принцип, бросал гранату Неделько Чабринович. И тому и другому не было и двадцати лет. Оба состояли в тайной организации «Молодая Босния».

Входили в нее гимназисты и студенты крестьянского происхождения. Центрального руководящего органа у «Молодой Боснии» не было, как не было и программы. Но каждый твердо знал цель борьбы — уничтожение власти Габсбургской монархии над славянами.

В начале века всего тридцать боснийцев и герцеговинцев

имели высшее образование. Девяносто семь процентов населения было неграмотно.

После 1903 года южные славяне видели в Сербии «второй Пьемонт». В Белград ехали учиться, а заодно становились членами явных и тайных патриотических организаций. Гимназисты из Боснии и Герцеговины объединялись в «пятерки» и «семерки» и переносили свою деятельность на родину. Название организации было подсказано «Молодой Италией» Мадзини.

Часть ее членов верила в теорию «малых дел» и считала, что главное — постепенно занять ключевые посты и вести культурно-просветительскую, воспитательную работу среди масс. Одним из руководителей этого крыла «Молодой Боснии» был Боривое Евтич, впоследствии друг Нушича.

Другие настаивали на индивидуальном терроре и по примеру русских террористов проповедовали теорию «героя и толпы», вождизм. Народ они считали скопищем нулей, впереди которых надо было поставить единицу, чтобы нули превратились в крупное число.

Молодые люди зачитывались Достоевским и Горьким, Бакуниным и Чернышевским. В австрийской тюрьме Гаврило Принцип говорил своему врачу: «Мы читали и социалистические и анархические статьи… но оставались прежде всего националистами».

Вдохновитель двух молодых террористов Гачинович ездил перед убийством в Швейцарию, где встречался с М. А. Натансоном. Натансон говорил Гачиновичу, что «высшее благо в жизни — пожертвовать собой…»

О сараевском убийстве писали и будут писать очень много. Кого только не обвиняли в его подготовке! И евреев, к которым благоволил император Франц-Иосиф, раздававший банкирам баронские и графские титулы, и с которыми враждовал его наследник, считавший, что в их руках сосредоточено слишком много денег и большая власть. И масонов, потому что «каменщиками» были некоторые члены «Молодой Боснии». И Россию. И социал-демократов. И «Черную руку»…

Ни одна из версий до сих пор не получила документального подтверждения. Однако известно, что Принцип и Чабринович жили в 1912 году в Белграде. Чабринович установил связь с «Народной обороной», созданной в результате усилий Нушича в дни аннексии Боснии и Герцеговины.

Гаврило Принцип пришел в Белград пешком. Переходя границу, он поцеловал землю Сербии. Он собирался продолжить учение в пятом классе гимназии, но началась война с турками, и гимназист сделал попытку записаться в отряд майора Танкосича,

члена тайной организации «Объединение или смерть», известной еще под названием «Черная рука».

Эту организацию создал уже знакомый нам Драгутин Димитревич-Апис. В нее входили многие из офицеров, участвовавших в перевороте 1903 года. Это была влиятельная сила в государстве. За разглашение любой тайны организации ее члену полагалась смерть.

«При вступлении в организацию, — писалось в ее уставе, — каждый член ее должен знать, что перестает значить что-либо как личность; он не может ожидать никакой славы, никакой личной выгоды — материальной или моральной». За использование организации в личных целях тоже полагалась смерть.

Легальный орган «Черной руки» — газета «Пьемонт» выступала против всех существовавших партий, считая их аморальными и антипатриотичными. Члены «Черной руки» заняли многие важные посты. Апис уже был полковником и начальником разведывательного отдела генерального штаба.

Это Апис помог стать наследником престола принцу Александру. Старший сын короля, принц Георг, отказался от своих прав в связи со скандальным случаем. Георг был великолепный математик, добрый, но очень вспыльчивый человек. Застав как-то своего камердинера за неблаговидным делом (тот распечатывал и читал письма принца), он ударил его ногой в живот. Камердинер умер в больнице.

В ноябре 1910 года Георг снова стал добиваться пересмотра порядка престолонаследия. Наследник Александр хотел с помощью заговорщиков из «Черной руки» устранить претендента. Началась свара, в которую вмешался в свое время Нушич, вздумавший поучать короля и получивший за это три месяца тюрьмы.

Кстати, Апис отказался отравить Георга, хотя и поддержал Александра, воспитанника Петербургского пажеского корпуса, личность жесткую и сильную.

Весной 1914 года в Сербии возникло напряженное положение. Добрый старик король Петр больше занимался своими болезнями и долгами, чем делами государства. С личными долгами он предпочитал расплачиваться сам, не запуская руки в государственную казну. Газета «Пьемонт» справедливо обвиняла главу правительства Николу Пашича в присвоении крупных имений в отнятых у турок краях. Пашич поднял на ноги полицию и жандармерию, приказав стрелять в любого офицера, который идет с подразделением к Белграду. И Пашич и Апис ушли в отставку. Король Петр, сославшись на болезнь, передал власть наследнику Александру, который, став

регентом, снова призвал Пашича и Аписа. За Пашича вступился русский посол Хартвиг, вскоре отравленный в австрийском посольстве. За Аписом стояла «Черная рука».

16 мая 1914 года Гаврило Принцип в качестве представителя боснийской молодежи нес венок на похоронах Йована Скерлича, а через несколько дней они с Чабриновичем пересекли границу с шестью гранатами и четырьмя револьверами…

* * *

Дважды сербская армия отражала натиск австрийцев, нанося им тяжелые потери. Но осенью 1915 года соединенная австрийско-немецкая армия перешла в большое наступление. С юга ударила Болгария, буржуазии которой обещали возможность поживиться за счет Сербии. Остатки сербской армии уходили через горы к Адриатическому морю. Тысячи солдат и мирных жителей погибли во время этого похода от голода и болезней. Под проливным дождем изможденные люди спускались к морю, бормоча: «Хлеба, хлеба!» Оставшихся в живых сто двадцать тысяч солдат союзники перевезли на остров Корфу.

Соперничество Пашича и Аписа продолжалось. Регент Александр колебался, не зная, с кем из них разделаться. Но его уже начал тяготить человек, который помог ему прийти к власти. Александр создал свою организацию, которая была названа «Белой рукой».

15 декабря 1916 года Аписа и его сторонников арестовали и обвинили в организации покушения на короля и Пашича. А летом 1917 года, когда сербские войска высадились в Салониках и вместе с союзниками освобождали родину, Аписа расстреляли. Перед смертью он крикнул: «Да здравствует Сербия! Да здравствует Югославия!» Жандармы дали три залпа, прежде чем в его гигантском теле погасла жизнь.

Летом того же года на Корфу южнославянские националисты разработали план объединения в одно государство Сербии, Черногории и всех хорватских, словенских и сербских земель, входивших в Австро-Венгрию. Во главе нового государства должен был стать честолюбивый Александр Карагеоргиевич.

Нарождалась Югославия, о которой мечтали и Нушич, и Гаврило Принцип, и принц Александр, и Апис, и миллионы других славян, хотя представление о будущем у всех было разное.

Но не все, далеко не все дожили до этого события…

ГЛАВА ВТОРАЯ «Я ПАЛ В БОЮ…»

Страхиня-Бан Нушич к началу войны получил аттестат зрелости. Юноша, как и отец, был небольшого роста, крепкий, темпераментный. По возрасту его еще не брали в армию. Но в первые же дни войны он решил записаться в добровольческую роту, формировавшуюся из выпускников школ и студентов. Ага пытался удержать его от этого шага, стал уговаривать подождать немного.

И тут Ага, воспитывавший детей в патриотическом духе, услышал возражение, которого и следовало ожидать:

— Какое право ты имеешь отговаривать меня? Ты, записывавший чужих детей в добровольцы в девятьсот восьмом году?

Нушич вспомнил свое детство. Вспомнил, как он бежал из дому, чтобы присоединиться к ученической роте, шедшей сражаться с турками. Могло ли яблоко упасть далеко от яблони?.. И Ага с Даринкой, обливавшейся слезами, проводили своего единственного сына на фронт.

В первом же бою от ученической роты почти ничего не осталось, Страхиня был ранен в ногу. Лечиться его отпустили в Скопле. Даринка, выхаживая его, с ужасом думала о том времени, когда ей снова придется расстаться с сыном, рвавшимся на фронт. Она тайком поговорила с одним из друзей Аги, врачом Светозаром Пешичем, который был председателем военно-медицинской комиссии, и попросила его во что бы то ни стало освободить Страхиню. Тот дал слово сделать все, что в его силах, и молодого Нушича забраковали.

Дело кончилось великим конфузом для добрейшего врача. Страхиня взбунтовался. Он открыто обвинил друга своего отца в недобросовестности и потребовал нового освидетельствования, но уже другой комиссией. И добился своего.

Мать не могла успокоиться. Влиятельные знакомые Нушичей, среди которых были генералы, уговаривали юношу остаться служить в тылу, убеждая его, что «интеллигенция после войны будет для Сербии нужнее хлеба». Уговоры не помогли. Страхиня снова выехал на фронт.

Даринка заставила Агу поехать в штаб Верховного командования сербской армии, находившийся в Крагуевце. Писателя встретили там почтительно. В коридоре штаба его увидел главнокомандующий, принц-регент Александр, и пригласил к себе на обед. За обедом регент спросил:

— Вам ничего не нужно, Нушич?

— Спасибо, ничего, — ответил Ага.

Свое состояние во время этого обеда Нушич, вернувшись в Скопле, объяснил так:

— Я имел возможность освободить его от фронта и не мог…

Ага знал своего сына. Тот никогда бы не простил такого предательского поступка… даже отцу.

Во время этой поездки Ага встретился в городе Нише с председателем совета министров Николой Пашичем. Патриарх радикалов сказал ему, что хочет послать драматурга Миливоя Предича в Россию — представлять сербскую культуру, помогать ставить там сербские пьесы в связи с повышенным интересом русской публики ко всему, что было связано со славянским союзником России.

Казалось бы, такая преамбула не имела никакого отношения к Нушичу. Но вдруг Пашич заговорил о том, что представитель Сербии должен быть степенным человеком. Он не сомневается в деловых качествах Миливоя Предича, но было бы лучше, если бы тот поехал в Россию женатым, а так как ходят слухи, что молодой драматург ухаживает за дочерью Нушича, то, возможно, есть смысл соединить их узами брака…

Миливою Предичу, или Миме, как его звали все, было тридцать лет. Красивый, способный, бойкий, он вел в Белграде рассеянный образ жизни и славился своими любовными похождениями. Естественно, что отец Гиты с неодобрением наблюдал за стремительным сближением Мимы с дочерью. Дочь Нушича обладала той спокойной женской мудростью, которая так привлекает мужчин, устающих от взбалмошных и ветреных прелестниц. Гита, безумно влюбившаяся в Миму, уже пыталась получить согласие отца на свой брак с легкомысленным холостяком, но всякий раз ее попытки кончались ничем.

На этот раз вернувшийся из поездки Нушич велел Даринке подготовить все, что нужно, для венчания. Возможно, Ага решил, что он не вправе стоять на пути у молодых людей. Могло сыграть свою роль и нежелание подвергать дочь превратностям войны — обширная Россия казалась самым безопасным местом на земле. К тому же Миливой Предич был близким родственником друзей Аги — знаменитого художника Уроша Предича и композитора Стевана Мокраньца. Породниться с ними было заманчиво.

Двухэтажный дом, в котором жили Нушичи, к лету 1915 года переполняли беженцы из Белграда. Многих из них Ага прежде и в глаза не видел, но все они называли себя либо родственниками Даринки, либо его собственными, и не принять их у себя в доме он не мог, тем более что найти для них квартиры в Скопле, куда переселилась половина Белграда, было невозможно.

Порой за стол садилось одновременно до двадцати человек, и сам Ага бывал вынужден днем спрашивать: «А как мне сегодня пообедать?», вечером: «А где я сегодня буду спать?» Пришельцы обжились, начали сплетничать, ссориться…

В надежде отстоять хотя бы свой кабинет Нушич, простудившись, договорился со своим врачом Светозаром Пешичем объявить родственникам, что у него тиф, эпидемия которого начиналась в Скопле. Номер не вышел. Посовещавшись, родственники порешили отправить Агу… в инфекционный барак. Пришлось немедленно выздороветь.

Нашествие беглецов из Белграда имело и свои приятные стороны. В труппу театра влились лучшие столичные актеры и актрисы: Милорад Гаврилович, Пера Добринович, Сава Тодорович, Перса Павлович и многие другие. Театр продолжал давать спектакли, а Нушич снова оказался в знакомом окружении, так вдохновлявшем его в лучшие времена. Актеры мирились с теснотой, в которой им приходилось жить, с сокращением жалованья в связи с отчислениями на военные нужды. Пример им показывал директор, который отказался даже от гонораров, причитавшихся ему за постановку его пьес.

Свадьба Гиты и Мимы была веселой и многолюдной. Актер Пера Добринович подготовил большой хор, но не отрепетировал службу со священниками, из-за чего в церкви получилась смешная неразбериха. Милорад Гаврилович успокаивал молодых, говоря, что их венчание лишь первая репетиция, а на первой репетиции еще и не то бывает.

На свадебном пиру отличился Ага. Давно он уже не писал ни своих смешных фельетонов, ни комедий — время не располагало. Но он продолжал рассыпать шутки, вокруг него вечно толпился народ. Рассказы его вследствие живости изложения и остроумия надолго оставались в памяти всех, кто знал Нушича. Не мог он удержаться и от забавных проделок, и пострадавшим приходилось смеяться над собой вместе с окружающими. Выберем из великого множества знаменитых нушичевских розыгрышей тот, который он приготовил к свадьбе своей дочери.

Врач Светозар Пешич гордился своей дружбой с Агой и окружавшими его актерами, литераторами, художниками. Когда ему объявили, что он избран на роль шафера, Пешич пришел в восторг. Но вскоре его начала мучить забота, которую он и поверил Нушичу.

— А шафер должен произносить речь на свадебном обеде? — спросил он.

— Разумеется, — ответил Ага.

— Но я же никогда в жизни не говорил речей!

— А ты напиши ее заранее и заучи наизусть, — посоветовал Ага.

Пешич особенно боялся осрамиться перед актерами, способными не пощадить и отца родного, когда речь идет об устном слове. Он написал речь и, усердно жестикулируя, в сотый раз репетировал ее перед женой:

— Милые мои молодожены, почтенные родители и дорогие гости! Пришел час, когда…

Чем ближе был день свадьбы, 15 июля, тем чаще жаловалась супруга Пешича на бессонные, полные ораторских трудов ночи и тем больше худел врач.

Не выдержав бремени сомнений, он обратился к актеру Милораду Гавриловичу с просьбой прочитать речь и поправить ее, где нужно. Знаменитый актер, барственно важный, с подчеркнуто аристократическими замашками, благосклонно изъявил свое согласие, унес рукопись и забыл о ней. Мало того, он где-то посеял ее и теперь избегал встреч с Пешичем. Врач ходил за Нушичем по пятам и просил достать рукопись. Наконец Ага вместе с Гавриловичем разыскали ее. Поправив несколько фраз, Нушич не поленился переписать речь дословно и выучить ее наизусть. Рукопись он вернул врачу.

И вот начался свадебный обед. Шафер от волнения ничего не ел, ждал своей очереди говорить. И только жена подала ему знак, как Нушич вскочил со стула и, опередив Пешича, начал:

— Милые мои молодожены, дорогие друзья! Разрешите мне нарушить обычай и, как отцу, первым поздравить новобрачных. Пришел час, когда…

Шафер с ужасом отметил, что Ага слово в слово произносит его столь выстраданную речь. Особенно жаль ему было фразы, на которую он возлагал особенные надежды: «В эти тревожные дни, когда тучи застлали небо не только Европы, но всего мира, наш здоровый дух и уверенность в победе…»

Нушич тут же сознался в шутке, и веселье стало еще более бурным.

Это был последний всплеск веселья в доме Нушичей в 1915 году. Кончилось лето, и началась трагическая осень…

Умер больной Стеван Мокраняц. Композитор вместе с другими бежал в Скопле из разбомбленного Белграда. Впоследствии Нушич вспоминал:

> «Он жил на первом этаже старинного двухэтажного домика, стоявшего на берегу Вардара, который громко шумел под самым окном, полноводный от осенних дождей. Если бы в доме было пианино, он бы сидел за

ним и не выходил из дому, но так как вся семья жила в одной тесной комнатенке, он охотнее гулял по берегам реки, по кривым восточным улицам, по виноградинкам на склонах Водной горы. Приходя усталый домой, он сразу же брал карандаш, нотную бумагу и писал, писал, не переставая, писал ноты. Он еще не потерял веры в свои силы, и когда его спрашивали, как идут дела, он отвечал:

— Вот, работаю над Шестнадцатой сюитой.

А однажды после долгой прогулки композитор вернулся домой, и жена ясно прочла по его глазам, что он выходил из дому последний раз. Все мы собрались возле постели, предчувствуя, что это последнее свидание со Стевой. Он потерял уже дар речи, душа его уже угасла, жил только взгляд, неподвижно остановившийся на единственном сыне.

Ночь с 16 на 17 сентября (по старому стилю) была темная и дождливая. Небо затянуло тяжелыми черными тучами, а поднявшаяся в Вардаре вода бурлила, шумно проносясь через спящий город.

До полуночи мы все находились возле Стевы, а с полуночи у его постели остались только моя и его супруги. Стева закрыл глаза и заснул вечным сном, тихо, спокойно, без ропота и вздоха.

На другой день все Скопле сошлось, чтобы отдать последние почести великому композитору. Процессия двигалась сначала по левому, потом по правому берегу Вардара, а далеко на севере гремели вражеские пушки, грозя смертью сербской столице…»

Вскоре и над домом Нушичей был вывешен траурный флаг.

Перешли в наступление армии Австрии, Германии, Болгарии и Турции, заключившие Четверной союз. На сербском фронте появились войска императора Вильгельма.

Еще 26 сентября Страхиня-Бан Нушич записал в своем дневнике: «Впервые с тех пор, как существует сербский народ, мы дождались исторической чести встретиться на поле боя с прусской армией, которая пришла с далеких фронтов, увенчанная победами. Встреча эта дорого досталась победоносному войску Вильгельма… Мы увидели не армию из немецких газетных легенд, не армию, которая завоевала Гинденбургу маршальский жезл, а своему императору славу первого солдата нового века. Это были слабые и недоразвитые дети, изнуренные, хилые люди. Армия Потьорека была куда более надежной и бравой. Мы

победим их! Встреча с ними принесла нам непоколебимую уверенность, и эта уверенность — уже половина нашей победы».

Эти строки говорят о патриотической зрелости девятнадцатилетнего юноши, о задатках хорошего журналиста, о чем угодно, но только не о знании военной и политической обстановки. Через несколько дней Страхиня-Бан был тяжело ранен.

Сначала в Скопле пришла телеграмма о новом ранении, потом другая… в черной кайме.

Из полевого госпиталя Аге переслали закапанное кровью солдатское письмо:

> «30 сент. 1915 г.
>
> Дорогой Ага, не горюй. Я пал в бою за родину и осуществление тех наших великих идеалов, которые все мы так дружно проповедовали в 1908 году.
>
> Я не говорю, что мне не жаль погибать, мне хотелось бы принести будущей Сербии как можно больше пользы, но… такова судьба.
>
> Дедушка, мама и ты, простите меня. Гиту и Миму поздравь.
>
> Твой сын Бан»[23].

* * *

Я стою на лестнице дома Нушичей в Скопле, и мне слышится голос старой Гиты Предич-Нушич…

— Мы с мужем доехали только до Ниша. Немцы пошли в наступление, и нам пришлось вернуться в Скопле. У меня сохранился паспорт, в котором стоит русская виза. Я нашла отца в театре, в его кабинете. Он не сказал мне ни слова. Только посмотрел в глаза и протянул телеграмму. Я была одна. У мужа не хватило духа пойти со мной. Я так и не прочла телеграммы. Она выпала у меня из рук. По одному виду отца я почувствовала, поняла все. Впервые я видела его в таком горе. Мы молчали и в ту минуту были, как никогда, наверно, близки друг другу. Когда мы поднялись в квартиру, он захотел лечь и потребовал, чтобы к нему никого не пускали. Вспомнил еще про старого дедушку Нушу и велел послать за ним в кафану. Несмотря на свои девяносто четыре года, дедушка регулярно ходил туда в полдень, чтобы выпить кружку пива. Отец напомнил мне, чтобы старику ничего не говорили, пока он не дойдет до дому. И еще попросил, чтобы кто-нибудь встретил мать, которая должна была приехать

из Приштины. Перед приездом матери отец встал с постели. Он хотел сказать ей правду, не обманывая… «Не хочу колоть ее ножом, мучить; воткну нож сразу, глубоко». Это было страшно. На дом, в котором всегда смеялись, шутили, шумели, опустилась вдруг тоска и тишина. Человек, который всех встречал шуткой и улыбкой, совершенно изменился — он задыхался от слез. А я думала, что мой отец не умеет плакать! Боль была так велика, что он надолго потерял веру в себя. Думал, что никогда уже не вернется к какой бы то ни было работе, не говоря уже о комедии…

* * *

После трех дней затворничества Нушич все-таки нашел в себе силы встать и действовать, помогать другим, вести их за собой.

Он знал известный случай, который произошел с престарелым королем Петром I, устранившимся от власти. После одного из боев конца 1914 года, когда австрийцы были отброшены, король встретил другого старика, изможденного крестьянина, в глазах которого застыло горе.

— Чем я могу помочь тебе? — спросил король.

— Боюсь, что ничем, дядюшка Пера, — ответил крестьянин королю, обратившись к нему так, как звали его в народе.

— Скажи мне, что у тебя на душе, что в твоем сердце, — настаивал король. — Мне кажется, ты кого-то ищешь…

— Я ищу тело своего шестого, и последнего, сына. Говорят, он погиб в бою два дня назад.

— Шестого, и последнего? — переспросил король.

Крестьянин кивнул.

— Четверо моих сыновей погибли в Балканских войнах. Пятый убит в начале этой. Теперь шестой, и последний…

Король стал утешать крестьянина, говорить что-то об исторической необходимости. И тогда крестьянин перебил короля:

— Я никого не обвиняю. Такова уж судьба нашего народа. И, конечно, не виню тебя, дядюшка Пера. Если уж кого и винить, так это наших предков, которые пришли сюда сотни лет тому назад… Почему они выбрали Балканы? Весь мир хочет захватить их. Все народы топчут их, проходя куда-нибудь войной. В том и была наша ошибка. Наши предки не должны были покидать России…

Крестьянин, наверное, слышал о том, как в середине первого тысячелетия на Балканы вторглись славянские племена, жившие до этого где-то между Днестром и Одером… «в России», по его

представлениям. Народная память хранила все беды, выпавшие на долю малых славянских народов, и наивно связывала их с тем, что эти народы оторвались от матери-родины и бьются с врагами в одиночку.

Как и крестьянин, Нушич не был склонен обвинять кого бы то ни было в своей беде. Он сам мечтал об объединении славянских земель, сам воспитывал сына неукротимым бойцом. И будь Ага моложе, сам взял бы в руки винтовку…

Немецкие войска рвались на юг. Ходили слухи, что в Салониках высадились союзнические войска. На каждой железнодорожной станции висели плакаты: «Да здравствуют наши союзники!» Жители Скопле часто приходили на вокзал. Они ждали эшелонов с союзниками, пока не пришел приказ отступать.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ЧЕРЕЗ ГОРЫ

Пес был непонятной, но явно неблагородной породы. Звали его Риста. Еще в те дни, когда Нушич занимался в Скопле своим театром, пес подошел к нему на улице, и Ага, ласковый с любыми животными, бросил ему завалявшуюся в кармане конфетку. Риста увязался за щедрым прохожим, и с тех пор провожал его от дома до театра, часами ждал его у подъезда, пока продолжались репетиции. А когда театр сгорел, пес регулярно бегал к пепелищу и тоскливо скулил.

Осенью 1915 года сербские власти и войска оставили Скопле, в городе начались беспорядки и грабежи. В те дни Риста исправно нес сторожевую службу, ночью он басовито лаял во дворе, а днем ходил за Нушичем по пятам.

Ага был захвачен новой, необычной для него деятельностью. Чужие страдания немного заглушили собственную боль.

Нушич решил навести в городе порядок. Он разыскал брошенный военный склад, роздал оружие и боеприпасы и организовал «гражданскую гвардию», разместив штаб ее в редакции газеты «Сербский юг». Командирами отрядов он назначил журналиста Тошу Параноса и своего зятя Миму Предича.

Гвардейцы патрулировали город, направляли раненых, стариков, женщин с детьми на вокзал. Нушич старался приободрить их. Теперь все стали его детьми.

Ночь с 4 на 5 октября была самой тяжелой. Стало ясно, что в городе больше оставаться нельзя. На станции стояли два эшелона. Один уходил на юг, в Салоники, другой — на северо-запад, в Приштину. На юге беженцев ждали мирные города, относительно сытая жизнь и возможность уехать дальше. Приштина же была тупиком, откуда путь к морю лежал через заснеженные горы, в которых многих беженцев ждала смерть от голода и стужи.

Нушич никак не мог поверить в поражение Сербии и считал, что уезжать далеко не следует. Он надеялся на чудо и оставался в стране. Гиту с Даринкой и старым отцом он отправил в Приштину. После гибели внука девяностопятилетний Джордже очень ослаб, дни и ночи плакал и стонал.

Сам Ага в сопровождении зятя и неотступного Ристы выехал последним поездом, когда грохот пушек и треск пулеметов уже был слышен в Скопле. Из ящиков письменного стола он выгреб

свои рукописи и отобрал наиболее, с его точки зрения, ценные. Среди них была так и не увидевшая сцены «Подозрительная личность». Связка получилась килограммов в пятнадцать.

В Приштине Нушич провел месяц. Целыми днями он не уходил с улицы, наблюдая отступление Моравской дивизии, разговаривая с солдатами и офицерами, подбирая оптимистические вести, чтобы сообщить их родным.

— Бои ведутся под Приштиной, но наши упорно держат Качаничкое ущелье и ждут, когда придут на помощь союзники, — говорил он до последнего дня.

На том, чтобы идти дальше, настояла семья. Все знали — если враги схватят Нушича, в живых ему не быть. (В 1909 году, когда он собирался в Новый Сад, австрийский полицейский комиссар, хорват по национальности, предупредил его на границе, в Земуне, чтобы он немедленно возвращался, так как после демонстраций в Белграде в 1908 году австрийской полиции было дано указание схватить Нушича.)

В середине ноября Нушичи вместе с войсками выехали из Приштины. В обозе им дали повозку, запряженную волами. Старому Джордже, который не выдержал бы тяжелого пути, оставили еды и денег.

Ага еще раз перебрал рукописи, разложив их на полу в доме арнаута, у которого жила семья.

Тяжело было расставаться с отцом, нелегко было расставаться и с рукописями. Нушич взял с собой столько бумаг, сколько их поместилось в кожаную сумку, прицепленную к поясу. «Подозрительную личность» он долго держал в руках, листал, читал и наконец бросил на пол в кучу рукописей.

— Прощай, бедолага!

Возница «экипажа», который дали Нушичу, был местный, приштинский. Он отпросился на минуту домой и больше не вернулся.

На другой день ударил мороз, началась метель. Нушич шел по снегу впереди волов, ведя их за железную цепь, перекинутую через плечо, обходя время от время трупы, валявшиеся на дороге.

Путь был знакомый. В свое время приштинский консул проделал его в сопровождении своих телохранителей.

Вскоре немного потеплело, и дорогу развезло. Приходилось пересекать вброд десятки речек, ночевать под открытым небом, разыскивать корм для волов. Так они добрались до Призрена, последнего города Сербии.

Здесь Нушич оставил в одном из сербских домов последние рукописи, и они были утеряны навеки.

Несмотря на горе, на лишения этого крестного пути, в

Нушиче ни на секунду не умирает писатель. Он ко всему приглядывается, всем интересуется, делает заметки на память… Тяжелые государственные катастрофы нередко смещают понятия о моральности поступков. Лишения порой будят дикие инстинкты. За одно слово, показавшееся оскорбительным, солдат или офицер может разрядить оружие в товарища. Никто больше ни во что не ценит ни чужой жизни, ни даже своей.

Вот призренская зарисовка:

> «Там солдат продает палатку, сапоги, одеяло; другой заклал казенного вола, разделал его и, став на углу с топором, торгует им на вес — прикидывает тяжесть на руке; третий тянет за узду продавать казенного коня, четвертый предлагает консервы, пятый — седло, шестой — целую повозку.
>
> И через эту толпу продавцов проталкиваются генералы, депутаты, солдаты, раненые, беженцы, иностранные дипломаты, черногорские жандармы… Арнауты ходят от группки к группке, скупают за мелочь ценные вещи и волокут их домой».

Нушичевские волы миновали Призрен и перешли через реку Дрим по мосту, обледенелому, скользкому, без перил. Они поскальзывались и едва не свалились в реку.

Справа и слева от моста из реки торчали перевернутые повозки и трупы людей, упавших с моста. Приходилось бросать под ноги волам мешки и одежду. Благополучно миновав мост, Нушич отдал волам все, что осталось от припасов.

— Вот, дети, теперь мы эмигранты!

Здесь была граница с Черногорией. Все отвернулись, чтобы не видеть слез в глазах Аги.

Волы приближались к Печи. Нушич рассказывал своим о местных старинных монастырях, о Дечанах, о Печской патриархии и немного забылся. В Печь войти было трудно, дорога на много километров была забита солдатами, повозками, орудиями. Поздно ночью Нушичи вошли в город и заночевали у одного арнаута.

Дальше дороги не было.

В Печи Нушич с Мимой купили на базаре коня. Надо было двигаться дальше, несмотря на то, что у Гиты началось воспаление легких. На одной маленькой лавке Ага заметил вывеску «Реджеп Нушич». Может быть, родственник Герасима Нуши? Ага давно потерял надежду узнать в конце концов свое происхождение, узнать, кто такой был Бело.

Реджеп Нушич оказался албанцем. Он говорил, что у него

есть родственник в Белграде, который пишет «на газете». Вскоре Ага понял, что они с Реджепом просто однофамильцы, но тот упрямо продолжал считать себя родственником Нушича. Заботился о нем, носил еду. Через несколько дней он зашел и доверительно сообщил, что его соплеменники арнауты готовят налет. Аге и Миме он посоветовал уйти с солдатами.

— А рабынь оставь у меня, — добавил Реджеп, подразумевая Даринку и Гиту. — Пусть они побудут в моем гареме, ничего с ними не случится. Вернешься, заберешь.

От этого предложения пришлось отказаться. Оставив волов и повозку в Печи, 2 декабря 1915 года беглецы двинулись дальше.

Тот, кто хоть раз начинал подъем в горы со стороны Печи, никогда не забудет этого пути. Дорога идет вдоль речки Бистрицы, минует Печскую патриархию — три старинных церкви, построенные стена к стене, так, что они слились в одну, — и входят в узкое ущелье. Дорога ползет по узкому карнизу, внизу гремит река с какой-то совершенно необыкновенной, бирюзовой водой. Все выше и выше, до воды сотни метров. Даже лихие, ничего не боящиеся шоферы-черногорцы ведут здесь свои автобусы с чрезвычайной осторожностью, останавливаясь перед каждым поворотом и включая особую, очень громкую сирену.

Пятьдесят с лишним лет назад над пропастью вилась лишь вьючная тропа, к тому же в декабре заваленная снегом и камнями. Солдаты расчищали путь взрывами и на некоторых участках вбивали в скалу костыли. К ним привязывались веревки, за которые держались люди, проходя над головокружительными пропастями. Тропа была обледенелая, нередко в пропасть срывались солдаты, женщины, дети, лошади… Взрывам зарядов, расчищавшим тропу, вторили выстрелы, доносившиеся из Печи, там орудовали шайки грабителей. Нушич как мог поддерживал дух своей семьи, показывал особенно живописные скалы, говорил о романтичности обстановки. Колонна часто останавливалась.

Ночевали под открытым небом, не разжигая костров, так как боялись привлечь внимание грабителей, да и дров почти не было.

На другое утро колонна двигалась быстрее — она вышла на более широкую дорогу, которая вела к Андриевице. Группа Нушича потерпела урон — свалился в пропасть конь, которого он купил в Печи…

Все уже еле передвигали ноги. Даже Нушич как-то сник и перестал подбадривать своих, а дорога то взбиралась на перевалы, то спускалась в долины, и не было ей конца.

Подгорица встретила путешественников еще не разрушенным укладом жизни, и здесь впервые Нушич с семьей нормально пообедали в первой же попавшейся кафане. К Нушичу вернулась

бодрость, и он заторопился в тогдашнюю столицу королевства Черногории — Цетинье, до которого было уже не больше тридцати километров. Однако, проезжая через Риеку Црноевича, он решил отдохнуть здесь. Очевидно, приглянулись окрестности и мирный вид селения. Дома, похожие на крепости, вселяли спокойствие и уверенность в измученные души путников. Отдых продолжался почти две недели, и 10 декабря семья отправилась в Цетинье.

Король Никола со своим двором находился в Цетинье, и Нушичу показалось, как он тогда выразился, будто он «прибыл в Париж». Тут была масса знакомых черногорцев и белградцев.

Вскоре Нушичу сообщили, что черногорский король Никола, узнав о его прибытии, пожелал встретиться с ним. Король принял писателя очень любезно.

— Нушич, дорогой, поверь, мы с королевой две ночи не спали, когда узнали о гибели твоего сына…

Королям не жалко слов участия, этому их воспитывают с детства, так властители приобретают любовь своих подданных. Нушич знал это, и все-таки слова короля тронули его до глубины души.

— Ваше величество, у меня осталась дочь, и мне бы хотелось спасти ее. Скажите откровенно, отправляться ли мне дальше? Встреча с австрийцами не сулит мне ничего доброго.

Король был самоуверен.

— Сиди ты тут, Нушич, и не заботься ни о чем. Пока есть мои черногорцы и снег на Ловчене, бояться тебе нечего!

От слов короля отдавало фанфаронством, но им хотелось верить. Нушич всем передавал то, что было сказано на аудиенции.

А 20 декабря австрийский флот начал круглосуточный обстрел Ловчена из тяжелых орудий. Все Цетинье сотрясалось. Вскоре над ним появились австрийские самолеты. Пронесся слух, что король покинул город. Нушич написал письмо принцу Мирко, с которым был знаком еще по своим прежним посещениям Черногории.

> «Ваше высочество, Ваш отец сказал мне три дня назад, когда я был у него на аудиенции, чтобы я остался в Цетинье и ничего не боялся. Однако события развиваются иначе, сегодня французские артиллеристы ушли с Ловчена. Пожалуйста, сообщите мне, что вы советуете?»

Мима отнес письмо и тотчас принес ответ:

«Дорогой Нушич, не могу Вам ничем помочь. Поздно. Бегите. Отец обманул меня так же, как и Вас.

Мирко».

Собрался семейный совет, на котором присутствовали и друзья. Друзья решили остаться, так как получили заверенье, что австрийцы их не тронут. Нушич с семьей решил идти к морю, откуда сербские войска должны были эвакуироваться на французских кораблях. От Цетинье до Которской бухты по прямой нет и двух десятков километров, но именно там гремели австрийские пушки. Нушич двинулся обратно, на Риеку Црноевича, в которой останавливался по пути в Цетинье.

Там он встретил генерала Бабича, представителя сербского командования при черногорском штабе, и тот сказал, что король Никола выехал из Цетинья в тот самый день, когда разговаривал с Нушичем.

Трудно понять, почему король лгал. Король Никола, любимый народом в первые годы пребывания на престоле, в конце концов разочаровал своих подданных, лишивших его престола и присоединившихся после войны к государству сербов, хорватов и словенцев.

Нушичи двинулись к морю, на юг.

В Баре от долгого пути пешком, от бесконечных волнений (всю дорогу слышна была канонада, у самой обочины выли волки) с Нушичем стало плохо, и он упал. Это случилось перед домом одного столяра, немца, который выбежал и помог внести больного в дом. Нушичу дали лекарство, напоили чаем и уложили в постель. К утру стало лучше. Но все было не слава богу. В это самое утро австрийский флот начал обстреливать пристань в Баре и сам город.

Пришлось идти дальше на юг, в Улцинь. Проходя по Бару, Нушич и его близкие видели, как народ начал со стрельбой грабить провиантские склады. Шли под проливным дождем…

Что ни говорите, а южное солнце и море действуют целительно. Только вчера было пасмурно на душе, и казалось, нет сил жить дальше, а сегодня выглянуло солнце, припекло сквозь одежду спину, и на душе стало легче. Можно, не уставая, смотреть, как накатываются на берег волны, откатываются, подшибают друг друга, рождая все новые пенные узоры. Смотреть на ослепительно сверкающее море, на нестерпимо голубое небо, на зеленые горы, на приморский городок…

Улцинь и в самом деле красив — это нависшее над самым морем пиратское гнездо. Давно уже жители его превратились в мирных рыбаков, но дух средневековья еще живет в нем, в его

узких, выложенных плитняком улицах и старых стенах крепости.

С тех самых пор, когда дом местного священника принял под свой гостеприимный кров вымокших до нитки Нушича, Даринку, Миму и Гиту, дела путников пошли на поправку. Прежний план — двигаться на юг как можно дальше — под влиянием чудесной погоды изменился. Воспользовавшись предложением председателя местной общины, путники решили пожить немного в городке, тем более что южнее, в албанских гаванях, пока не было ни одного парохода. Нушич повеселел и размечтался — какой красивый дом он построит на этом берегу после войны.

Здесь, в Улцине, Нушич написал первую страницу книги о трагедии сербского народа. Там были такие строки:

«…Спасибо Улциню! Пять дней отдыха и покоя, которые он нам дал, были долгими, как век человеческий, и прекрасными, как первые весенние дни, особенно после стольких бессонных ночей и тягостных, утомительных дней».

19 января 1916 года стало известно, что южнее, в Медове, пристал большой французский пароход. И снова в путь, и снова налеты австрийских самолетов, и снова переправы вброд.

Французский пароход «Чад» пришел за ранеными и больными. Четыре тысячи двести человек уже разместилось на его палубах и в каютах. Всем прочим предлагалось идти дальше на юг. Солдаты оттеснили от сходен большую толпу, в которой затерялся Нушич с семьей…

И вдруг послышался голос офицера, руководившего погрузкой раненых:

— Где же вы пропадали, Нушич? Мне уже трижды звонили о вас из штаба Верховного командования. Три дня я вас жду. Поднимайтесь на борт!

Пес Риста за время похода через горы ни разу не отставал и не терялся, он сторожил утомленных путников на привалах, он был выносливым и преданным другом. Но теперь и речи не могло быть о том, чтобы взять его с собой на борт парохода, на берегу оставалось столько измученных людей.

Риста носился с лаем по гальке, подпрыгивал, чтобы обратить на себя внимание. А когда пароход отчалил, он сел, поднял морду и завыл.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ЭМИГРАНТ

Пароход шел, не гася огней. В ту войну санитарные корабли еще щадили. В открытом море всплыла немецкая подводная лодка. Немецкие офицеры взошли на борт «Чада» и потребовали сведений о пассажирах. Полковник медицинской службы французской армии сообщил им, что на корабле только раненые и больные сербы. Немецкий офицер спросил:

— Где гарантия, что ваши сведения верны?

— Гарантия — слово французского офицера!

Пароход и подводная лодка благополучно разошлись. О, рыцарские времена!

В море Нушич усердно помогал врачам-французам. Трижды в ночь его будили для участия в церемонии спускания в море умерших. Корабль останавливался. Вместе со священником Нушич подписывал нужные документы.

Двадцать четвертого января корабль прибыл к острову, торчащему из моря неподалеку от Марселя. А после пятидневного карантина всех перевезли в город. Раненых разместили в госпиталях и казармах, здоровым, по заранее составленному списку, выделили номера в гостиницах.

В списке против фамилии Нушича значилось «писатель». Соответственно, ему выделили роскошный номер в первоклассной гостинице «Женева». Вылощенный портье с изумлением взирал на странную четверку, появившуюся в холле гостиницы. Нушич, Даринка, Мима и Гита выглядели оборванцами в своей видавшей виды одежде, к тому же еще прошедшей дезинсекционную обработку в карантине. С отчаянием во взоре портье разглядывал документы, которые удостоверяли право этих оборванцев на вторжение в гостиничный рай, сверкавший полированным деревом, мрамором и осененный мохнатыми пальмами в больших кадках.

Не согласится ли мсье переночевать в другой гостинице? Все будет устроено. Там не так комфортабельно, но, мсье сам понимает… Короче говоря, Нушичи заночевали на четвертом этаже какой-то третьеразрядной гостиницы и лишь на другой день, разыскав представителя сербского правительства и разжившись у него деньгами, а следовательно, и новой одеждой, вернулись в «Женеву».

В Марселе Нушич пробыл недолго. Выяснилось, что за роскошный номер гостиницы платить будет нечем. Агу известили,

что с 1 января 1916 года, в целях экономии, его имя вычеркивается из выплатного листа. В письме министру просвещения от 19 февраля 1916 года Нушич писал:

«Я верю, что эта бюджетная экономия проводится не для того, чтобы оставить меня с семьей на чужбине без куска хлеба и заставить под старость искать работу на фабрике, и прошу господина министра исправить положение как можно скорее…»

А пока Ага с Мимой и в самом деле пошли наниматься рабочими на оружейный завод. Об этом прослышали французские власти. К Нушичу явились два французских чиновника и сказали, что французское правительство считает своим долгом позаботиться о сербском писателе. Пусть он не ходит на завод, а сидит и пишет. Ежемесячно ему будет выплачиваться определенная сумма.

Нушич смутился и стал говорить, что произошло недоразумение. Он не может принять денег, так как считает, что сербское правительство само позаботится о нем.

Действительно, вскоре Нушичу положили маленькое жалованье, назначив секретарем сербской скупщины, которая находилась в Ницце.

Ожидая назначения, Нушич работал. Как-то он сказал зятю:

— Я тебе прочитаю «Подозрительную личность», которую записал по памяти. Если рукопись в Сербии пропала, я думаю отдать в театр это. Кажется, написал все полностью, ничего не пропустил.

Нушич раскрыл рукопись и прочитал оба действия «Подозрительной личности». Впоследствии выяснилось, что он действительно восстановил комедию дословно. Некоторые места он улучшил, кое-что добавил. Например, во втором действии, третьей сцене чиновник Жика спрашивает просителя, есть ли у него свидетели, и тот отвечает: «Бог мне свидетель, господин Жика!» Нушич дописал такую реплику Жики: «А есть у тебя какие-нибудь другие, более надежные свидетели?»

Вскоре зять уехал на Корфу, где разместились остатки сербской армии.

В залитой солнцем и напоенной запахом цветов прекрасной Ницце Ага пробыл недолго. Еще весной он оказался с Даринкой в Париже. Там их покинула дочь, уехавшая к мужу.

Париж, Париж! В бытность свою Бен-Акибой, в обществе владельцев «Политики» братьев Рибникаров он уже посещал этот город, столь привлекательный для всякого художника. Они повеселились тогда от души, обходя подряд все кабачки и кафе, заглядывая в мансарды художников, общаясь с разноязычной наезжей богемой… в общем, они выполнили обычную программу

знакомства с парижской экзотикой.

Теперь же Нушич равнодушно смотрел на парижские улицы. Одолевали заботы — в Париже военного времени была дороговизна, денег на жизнь едва хватало. И главное, смерть сына надломила писателя. Из Приштины пришла еще одна черная весть — умер старый Джордже. Ага с Даринкой сидели в своей квартире и всю ночь, не зажигая света, плакали.

Друзья старались как-нибудь отвлечь их от горьких дум. Часто навещавший Нушичей белградский профессор Мирно Попович сообщил Аге будто бы по секрету, что театр «Комеди Франсэз» по настоянию правительства хочет показать какую-нибудь сербскую историческую пьесу. Ложь приятеля заставила Нушича сесть за письменный стол и написать на французском языке одноактную пьесу «Ne désespère jamais!»[24] (впоследствии утерянную) и романтичную историческую драму «Тибалская княгиня».

За работой он забывался. Закончил пьесы. Вырисовывался замысел большой книги о военной трагедии сербского народа. Нушич стал разбирать свои записи, писать эпизоды, объединяя их в книгу, которой вначале дал название «Под лавиной», а потом — «Девятьсот пятнадцатый».

Готовые главы книги он публикует в сербском журнале для французских читателей «La patrie Serbe»[25], но только после длительных переговоров с издателем, проходивших в знаменитом кафе «Дом». Издатель вспоминает, что Нушич был страшно бледный, словно в воду опущенный. Непрерывно курил; прикуривая свежую сигарету от догоревшей, он вновь и вновь говорил о погибшем сыне. Сперва Ага отказывался от сотрудничества, но его подкупила теплая заметка о жизни и гибели Страхини-Бана и портрет сына в военной форме, помещенные на страницах первого, октябрьского, номера журнала.

* * *

В начале 1917 года Нушич с женой покидают Париж и поселяются в городке Барбаст, находящемся на юго-западе Франции, почти у самой испанской границы.

Почему Нушич уехал из столицы? На это было две причины. Во-первых, он думал, забившись в глушь, не общаясь с соотечественниками и усердно работая, вылечиться от депрессии. Во-вторых, парижская жизнь была ему не по карману, так как сербское правительство, само стесненное в средствах, платило

эмигрантам буквально гроши.

В апреле он пишет сердитое письмо издателю журнала «La patrie Serbe», выговаривая за несчетное число опечаток и искажений в «отрывке из неопубликованного романа», напечатанном в приложении для сербских читателей.

Но постепенно гасконская природа начинает действовать на Нушича благотворно. Письма его к парижским знакомым становятся все более остроумными. В письме, озаглавленном «Ага из Барбаста и двенадцать парижских ребят», он в стихах вспоминает о своей парижской жизни.

> «Привет вам, дети города Парижа,
> Где возвещается сиренами заря,
> Где под землею ходят поезда,
> А по земле — в коротких юбках девы[26].
> И где семь франков — за баранину цена,
> Зато три франка — литр хорошего вина».

Письмо было подписано по-турецки. Природная живость Нушича берет верх. В письмах Мирко Поповичу и другим он подробно описывает свою жизнь в Барбасте. Увлекаясь, он сообщает уморительно смешные подробности, по которым друзья узнают прежнего Нушича.

> «Барбаст расположен в красивой местности неподалеку от испанской границы, что заметно по контрабандным спичкам и очень низкой цене на спирт, который продается из-под полы. Возле села есть лес. До террасы, на которой я утром и вечером глотаю свежий воздух, долетало бы дыханье соснового бора, если бы не нужник поблизости…
>
> На село оказывает свое влияние южный климат: это чувствуется по теплому ветру по вечерам и по тому, как ужасно врет местное население. В остальном же народ здесь вежливый и набожный. Люди живут совсем по Евангелию — шесть дней лгут и воруют, а седьмой день посвящают господу богу и, прежде чем напиться и начать поножовщину, отстаивают службу в церкви. Женщины почти богобоязненны; у попа красная крепкая шея, а пономарь женат в четвертый раз и сейчас обещал одной девушке жениться на ней, как только умрет четвертая жена. Все местные верят, что слово свое он сдержит, так как считается человеком слова.
>
> Из достопримечательностей здесь есть очень

красивая церковь. Но, по-видимому, знаменито не само здание, а орган… очень много о нем говорят. Пошел я в церковь послушать… Если бы ты слышал этот орган!.. Мороз по коже дерет, а сердце начинает так колотиться, будто в город ворвался неприятель…

Другая достопримечательность городка Барбаста — большая водяная мельница, построенная Генрихом IV. Как видишь, это историческая достопримечательность. Судя по всему, эта мельница оказывает известное культурное влияние на местное население — у мельницы легче всего рождаются лживые сплетни, которые, распространяясь, приобретают воспитательное значение… Этот прекрасный культ в здешнем народе очень распространен.

Третья достопримечательность — местный театр, то есть кинотеатр, который размещается в бывшей церкви. В то время, когда во Франции велись споры между государством и церковниками, один местный еврей забрался в церковь и устроил там кинематограф, считая, что таким образом он радикально решает спор между чиновниками и церковниками о принадлежности здания. В первое время против этого протестовали и чиновники и церковники, но с тех пор как еврей стал время от времени показывать пикантные фильмы, на сеансы зачастили как представитель государства, так и представитель церкви, и спор улегся сам собой.

В Барбасте есть и своя знатная чаршия. Упомяну несколько важных лавок. Например, аптеку, которая открыта только по вторникам и пятницам после полудня. Местное население привыкло к такому распорядку и умудряется болеть в определенные дни. В аптеке имеются аспирин, какие-то желудочные пилюли, похожие на катышки из мяса, порошок от блох, затем пиво бутылочное, уксусная эссенция и горчица. Есть еще и козье сало, которое местное население закладывает в нос против простуды.

Сапожник здешний, имеющий привычку пускать в ход нож, за что дважды побывал на каторге, занимается еще обучением соек (птиц) человеческой речи и рвет зубы по американскому способу.

Что это за способ, сказать не могу, но один местный говорил мне, что охотнее пошел бы на фронт, чем еще раз позволил вырвать себе зуб по американскому способу…».

О почтмейстере Барбаста поговаривали, что он охотно крадет посылки для военнопленных и взносы в Красный Крест. Нушичу он показался похожим на некоторых сербских деятелей, но этот был несербского происхождения. «Если бы ты его лично увидел, то его физиономия убедила бы тебя, что все это провинциальная клевета, не больше. У него такая разбойничья физиономия, что просто невозможно представить себе, чтобы он разменивался на мелочи».

Одним из соседей был старый капитан в отставке. Нушичу он напоминал Тартарена из Тараскона (кстати, расположенного в тех же краях, что и Барбаст). Барбастский Тартарен бодро занимался контрабандой и даже получил две раны в стычках с таможенниками. «Капитан заверил меня, что Испания вступит в войну, как только в Европе заключат мир. Он говорит, что хорошо знаком с обстановкой в Испании — испанский народ с его темпераментом долго не выдержит».

Нушич вел длинные разговоры с мэром. Мсье Борель был уверен, что исход мировой войны зависит от авиации. О русской революции у него было особое мнение — не надо было русским воевать с японцами, от этого-то революция и случилась. С другой стороны, мсье Борель осуждал Михаила Александровича, отказавшегося от трона. Надо было согласиться, получить годовое царское содержание и только потом издать манифест об отказе от престола.

А мадемуазель Кабане? Это была еще одна местная достопримечательность. Нушичу говорили: «Надо вам посмотреть мадемуазель Кабане», словно речь шла еще об одной мельнице Генриха IV. Ей было за шестьдесят. Учитель рассказывал о ней душещипательную историю, где были и влюбленный граф, и дуэли, и таинственные убийства. Жаль только, что он, по местному обычаю, врал, слово в слово пересказывая роман, который Нушичу довелось прочитать еще до приезда в Барбаст.

Посещение мадемуазель Кабане оказалось приятным развлечением. У Нушича было такое ощущение, будто он читает 217-ю страницу какого-нибудь пухлого романа Дюма-отца. Кожаные старинные кресла, ширмочки, громадные хрипящие часы и слепая бесхвостая кошка, история которой была, наверное, не менее романтичной, чем история ее владелицы. Пузырек на камине (наверное, лекарство от ревматизма) был похож на сосуд с ядом, которым мадемуазель Кабане, подобно Лукреции Борджиа, отравила своего первого любовника. Веничек из перьев, которым мадемуазель Кабане смахивала крошки со стола, был похож на страусовое перо, выпавшее из шапочки красивого пажа Густава, бежавшего через окно по веревочной лестнице, когда

перед дверьми послышалось ржание коня, с которого слезал рыцарь де Лавардак (название соседнего села), приехавший на свидание со своей неверной любовницей. И наконец, кочерга, мирно прислоненная к камину, напоминала Нушичу окровавленный меч, которым рыцарь де Лавардак перед самой дверью проткнул рыцаря де Марманда (название еще одного соседнего села).

Мадемуазель в молодости не было равных по красоте (во всяком случае, так гласила легенда). Теперь же на переносице у нее устроилась большая бородавка, на которой очки сидели так ловко и прочно, как наездник между горбами верблюда. Верхнюю губу красавицы украшали усы, приличествовавшие молодому человеку лет двадцати пяти.

Между сербским юмористом и осколком романтической Франции состоялся занимательный разговор о подорожании картошки и горячительных напитков, до которых мадемуазель была великая охотница.

Нушич попросил любезную Кабане сыграть какую-нибудь вещь на арфе, стоявшей у камина. Мадемуазель извлекла из этажерки в стиле Луи XV килу порыжевших нот. Звуки, вылетавшие из-под костлявых рук мадемуазель, показались Нушичу немного странными, но недоумение его вскоре прошло, ибо музыкантша объяснила, что в арфе не хватает главных струн, а купить их невозможно, так как за время войны они тоже подорожали. На полях нот, «ровесницах средневековых Евангелий», были свежие записи. Приглядевшись к ним, Нушич тотчас проявил живейший интерес к музыке и попросил мадемуазель дать ему переписать некоторые ноты. Она выбрала сонату и романс. Дома Нушич переписал с сонаты… рецепт паштета из гусиной печенки, а с романса — рецепт настоящей испанской колбасы.

Кроме посещений мадемуазель Кабане, игравшей на бесструнной арфе, были и другие развлечения. Например, кинематограф.

Публика охотно плакала на мелодрамах, герои которых в эпоху «великого немого» выражали свои чувства неистовыми жестами. Рыдая, героини закрывали лица руками, раскачивались и сучили ногами. Особенно горячо был принят фильм, в котором полиция преследовала разбойника. Разумеется, с непременной беготней то в гору, то под гору. И тут Нушич заметил, что вся публика единодушно, с мэром во главе, всеми возможными способами помогает разбойнику. Она кричала ему, чтобы бежал быстрей, когда погоня приближалась, сообщала ему о засадах, радостно вопила, когда ему удавалось избежать опасности. В

конце концов по всем правилам драматургии правда восторжествовала и, разбойник был схвачен, но зато публика свое недовольство таким варварским концом выразила свистом.

Однажды по распоряжению мэра Бореля в кинотеатре Барбаста в честь Нушича показали «сверх программы» картину «Храбрая сербская армия».

Начался фильм, и ошеломленный Нушич увидел на экране… греческих солдат в шапочках с кисточками и коротких юбках. Французы, успевшие полюбить приветливого иностранца, бешено зааплодировали, а пианист вместо сербского гимна заиграл русскую песню «Эй, ухнем!». Когда фильм закончился, мэр громко крикнул «Vive les Serbes!»[27].Публика сердечно приветствовала Нушича, который только посмеивался в усы, а потом, несмотря на свое скверное произношение, отважился провозгласить здравицу в честь французской армии, после чего пианист под общее ликование исполнил «Марсельезу».

ГЛАВА ПЯТАЯ
ПО ПУТИ ДОМОЙ

Стоило Нушичу летом 1917 года уехать из Барбаста, как снова начались неприятности, снова одолели его прежние тоскливые мысли. Особенно сдала Даринка, от которой осталась только тень. Самого Нушича мучили ревматические боли.

Нушичи перебрались в Женеву. На всякий случай он отправил все рукописи в сербское посольство в Париже, а оттуда получил телеграмму, что паспорт с швейцарской визой ему выдадут в Экс-ле-Бене, неподалеку от границы.

До Экс-ле-Бена супруги добирались по югу Франции, делая многочисленные пересадки. Для Нушича это было невыносимым испытанием.

По рассказам дочери писателя и воспоминаниям ее мужа, драматурга Миливое Предича, Ага очень любил путешествовать. Но всякий раз с ним случалась «дорожная лихорадка». Если он выезжал во вторник, то еще в воскресенье начинал спрашивать, упакованы ли вещи, хотя брал с собой лишь небольшой чемоданчик да несессер. На вокзал он обычно приезжал часа за три, всех дергал, без конца посылал узнавать, к какому перрону подадут поезд…

Во Франции то было время Мата Хари, время всеобщей шпиономании, время многочисленных документов, справок, облав.

В городе Сете требовалось пересесть в поезд, который отходил через двадцать пять минут. Нушич посадил в него Даринку, а сам побежал компостировать билеты.

В кассе потребовали, чтобы он показал паспорт. Нушич стал объяснять, что паспорт он получит в Экс-ле-Бене, но у него есть телеграмма из посольства и другие документы. И… о ужас! Ага обнаружил, что чемоданчика, в котором он хранил документы и деньги, при нем нет. Украли!

Нушича препроводили в жандармский участок при вокзале. К этому времени двадцать пять минут, остававшиеся до отхода поезда, уже истекли, и Нушич представлял себе состояние Даринки, которая сидит в поезде, уносящем ее к Марселю, без мужа, денег и документов.

Старший жандарм выслушал Нушича с сочувствием и стал расспрашивать подчиненных, не видели ли они чемоданчика, описание которого дал этот растерянный иностранец. Один из жандармов сказал, что он только что видел такой чемоданчик у

пассажира, выходившего из вокзала.

Нушич в сопровождении двух жандармов выскочил из вокзала и помчался по улице. Как это обычно бывает, за ними увязалась толпа. Все с гамом догнали вора, который оказался почтенным гражданином, а чемоданчик его нисколько не походил на нушичевский. Толпа излила на Нушича свой гнев, и он устало побрел обратно к вокзалу.

У входа его встретил сияющий старшой, сообщивший, что чемодан найден и настоящий вор дожидается в участке очной ставки.

Жандарм добавил, что вор по-французски не говорит, но в чемоданчике у него оказались документы на имя Нушича. «Вот это полиция!» — подумал Нушич.

Жандарм распахнул дверь, и Нушич увидел… собственную жену.

— Бранислав, ради бога, объясни, чего хотят от меня эти люди?

Совершенно сбитый с толку, Ага долго не мог уразуметь, что чемоданчик все время оставался у госпожи Даринки, что с собой он его не брал.

— Est-ce votre valise?[28] — спросил жандарм.

— Oui, c'est ma valise, mais… c'est aussi ma femme[29], — ответил Нушич.

Еще через полчаса Нушич сидел с жандармом в привокзальном кафе и подводил под недоразумение теоретическую базу.

— Вы женаты? — спросил он жандарма.

— Женат.

— Ну, тогда вы все поймете. Это, дорогой, нечто вроде самовнушения. Оно возникает из-за постоянных женских страхов и недоверия. Уже и сам перестаешь надеяться на собственную память и забываешь, что с тобой только что было. Видите ли, брак у меня здоровый, нормальный. Вечерком поговорим с женой о том, что ей готовить завтра на обед, сыграем в карты и спать… Жена дремлет, а я листаю газеты, которые днем только так, мельком, проглядел. Когда меня начинает клонить ко сну, я сворачиваю газеты, кладу их на столик и гашу лампу. Сперва, разумеется, надо найти удобное положение для сна. Переворачиваюсь на любимый бок, подтыкаю подушку и начинаю потихоньку дремать… Только стану засыпать, и в это самое мгновение, ни раньше, ни позже, жена меня сквозь сон спрашивает: «А ты входные двери запер?»

Жандарм, внимательно слушавший Нушича, вдруг оживился, и хлопнул его по плечу:

— Точно! То же самое и у меня бывает!

— Вот видите, — продолжал Нушич. — Только погодите, еще не все… Я отвечаю жене, что запер, ведь я точно помню это. Но тут, дорогой мой, меня начинает грызть червь, который называется сомнением. А действительно ли я запер дверь? «Конечно, запер», — говорю я себе. Но червь грызет: «А может, это было вчера или позавчера?» Сна как не бывало. Вижу я, что борьба с самим собой ни к чему не приводит, вылезаю из постели, иду к двери и убеждаюсь, дверь заперта… Вот это и есть самовнушение.

— Поистине, все как есть, в точности! — говорит жандарм и смеется.

— Теперь вам понятно, почему так случилось? — спрашивает Нушич.

— Понятно, понятно, — отвечает жандарм, не подозревающий, насколько лукав и находчив его собеседник, которого он всего полчаса назад видел совершенно растерянным и подавленным.

* * *

Сербское посольство должно было переслать рукописи Нушича в Женеву дипломатической почтой. По-видимому, Нушич боялся еще и того, что при провозе рукописей через границу могут возникнуть непредвиденные осложнения. Однако посольство послало пакет не с курьером, а почтой, и посылка в дороге пропала.

7 декабря 1917 года Нушич послал письмо в Париж. Но не послу, которому он уже устал писать, а своему другу писателю Ристе Одавичу. Письмо было похоже на крик отчаяния.

«Я в Албании доверил часть рукописей одному албанцу, объяснив ему, что такое рукописи, и он понял. Королевское же сербское посольство не могло этого понять…». Он называет посольских бюрократов преступниками. Дипломатические курьеры привозят и брюки господ депутатов и женские панталоны, только рукописи сербского писателя нельзя было доставить в сохранности. «Тьфу! Как это постыдно и отвратительно!»

Нушич перечислил, что было в пакете. И уже одно перечисление говорит о том, как много и упорно работал писатель во Франции.

«1. „Тибалская княгиня“. Оригинал и перевод на

французским язык.

2. „Страстная неделя“. Драма в четырех действиях, о нашем отступлении.

3. „Мировая война“. Комедия в одном действии.

4. „Ne désespére jamais!“ Одноактная комедия на французском языке.

5. Три одноактных пьески на тему „Наши дети“.

6. „Под лавиной“. Трагедия сербского народа. Четыре сотни страниц большого формата. Роман или, скорее, очерк о нашем отступлении.

7. Заметки, сделанные во время отступления, и некоторые документы.

8. Все мои заметки о наблюдениях во Франции.

9. Последние письма Бана, в том числе и то, что он мне написал с поля боя, когда лежал окровавленный. Оно было реликвией в моем доме, иконой, перед которой жена зажигала лампаду…

Как мне быть теперь, что ты мне советуешь делать? Если мои рукописи и в самом деле пропадут — а это вероятнее всего, — клянусь тебе, что больше никогда ни слова не напишу. Я принял такое решение после смерти Бана, но друзья уговорили вернуться к работе, и в ней искать утешения. Разумеется, эти друзья не приняли во внимание сербского посольства, когда думали, что работа принесет мне утешение. Ты не представляешь, какие гибельные последствия будет иметь для моей семьи эта трагедия, небольшая по сравнению с прежними, но, словно капля воды, переполнившая чашу. Я болен, из-за этого я серьезно болен. Врачи, которые меня смотрели, определили сильную душевную депрессию. Прописали мне спокойствие, легкую пищу, запретили алкоголь, курение, кофе и любые волнения… С моей женой еще хуже, она совершенно сломлена, у нее даже, как мне кажется, появляются нехорошие мысли. Вот уже десять дней, как она ничего не ест и не спит. Не раздевается, не ложится в постель, а сидит дни и ночи на стуле.

И знаешь, в чем причина? В пакете были письма Бана, и в том числе его окровавленное последнее письмо, написанное за два часа до смерти. Оно было для моей жены святыней, оно было алтарем, иконой, перед которой она каждый день зажигала лампаду, оно было могильным холмом, над которым она каждый день плакала и который украшала цветами. То, чего не

сделали ни болгары, ни австрийцы, сделали сербские варвары-бюрократы — отняли у нее, уничтожили могилу, могилу единственного сына.

Роман „Под лавиной“ я посвятил Бану. Он, в сущности, должен был стать плитой на могиле сына. Писал я его мучительно, вкладывая отцовскую боль… На гонорар от книги я хотел перенести прах сына и построить над его могилой часовенку. Даринка это знала и с трепетом следила, как продвигается работа. Сломленная, она ободряла меня, заставляла работать, писать, строить часовенку для нашего сынка. И по мере того, как книга росла под моим пером, росло и утешение в ее душе. И когда я закончил роман, она успокоилась, утешилась. И теперь… этот храм ее и моего единственного сына разрушают варвары-бюрократы, и поверь, я предвижу это, она погибнет под обломками. Я предвижу это!»

В посольстве к бесконечным просьбам и требованиям Нушича относились несерьезно. Даже острили по этому поводу. Нушич просил Одавича учинить розыск пакета, умолял обратиться к самому французскому министру путей сообщения…

Через несколько месяцев стараниями Одавича пакет все же был найден и вручен владельцу.

Получив свой военный дневник, Нушич продолжал работать над книгой о страшных днях отступления сербской армии.

Завершил он свой роман уже в Риме, куда перебрался из Женевы. Собственно говоря, романом книгу можно назвать лишь условно.

Это, скорее, гигантский очерк, если возможен очерк объемом в два тома. В письме из Рима (25 июля 1918 года), направленном начальнику штаба сербского Верховного командования, Нушич задает ряд вопросов об операциях, проводившихся во время войны, и в шутливой форме высказывает интереснейшее соображение по поводу книг, которые пишутся по следам событий.

«Мы, писатели, представляем собой страшную опасность, когда дорываемся до исторического предмета. Мы не дожидаемся, пока история перемелет событие, не берем его в готовом виде, чтобы замесить на нем легенду, а хватаем его, спешим опередить историческую науку и рассказываем все по-своему. Опасность тем более велика, что рассказ распространяется в народе быстрее исторической истины, которая, обычно

запаздывая, уже неспособна вытеснить то, что мы рассказали. Оттого-то у нас в истории и путаница, внесенная устными рассказами и эпосом, который и поныне наука не может опровергнуть… Я в состоянии совершить подобное же преступление, если вы вовремя не схватите меня за руку…».

В конце 1918 года Нушич вернулся на родину. В Галиполи, где он присоединился к дочери и зятю, зашел итальянский пароход, направлявшийся в Дубровник. Ага с Даринкой сели на него, пересекли Адриатическое море и тотчас через Сараево выехали в Белград. Как только была починена дорога на Скопле, он отправился к месту прежней службы, где стал собирать труппу и собственные рукописи.

Даринка выехала в Приштину, чтобы разыскать могилу покойного Джордже. На улице ее случайно увидел тот албанец, в доме которого Нушич бросил на полу рукописи.

— Госпожа, зайдите ко мне, — сказал приштинец. — Когда вы отсюда бежали, то побросали какие-то бумаги. Я их собрал и сохранил.

Среди прочего госпожа Нушич привезла и «Подозрительную личность».

Рукописи, оставленные в Призрене, погибли. А всего за время войны у Нушича пропало семь пьес, не считая других произведений.

Во временном здании театра у оккупантов была конюшня. Нушич выпросил солдат, которые очистили здание, но для представлений оно все равно не годилось. Тогда он выехал в Белград, чтобы похлопотать о кредитах на постройку нового театра, а заодно и о собственном жалованье, которое во время войны сократили так, что он с семьей едва перебивался.

«До сих пор, — говорилось в его прошении, — я не предпринимал никаких шагов не потому, что мне хватало сокращенного жалованья (о том, насколько было мало жалованье, свидетельствуют мои нынешние долги за границей), просто я терпеливо ждал возвращения в Сербию…».

В Скопле Нушич уже не вернулся. Его неожиданно назначили начальником только что созданного отдела искусств при министерстве просвещения, но уже не Сербии, а Соединенного королевства сербов, хорватов и словенцев.

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ
НЕДОСТАТОЧНО АКАДЕМИЧЕСКАЯ ФИГУРА

Одно время меня подвергали настоящей травле. Все, в ком пробуждался писательский зуд, считали своим долгом почесать об меня свои языки, так что я стал чем-то вроде домашнего задания для всех, кто начинал литературные упражнения на поприще критики. Все они в один голос твердили, что у меня нет ни души, ни таланта. Когда же таким образом мне была создана репутация человека без души и таланта, то начали шептать, что такая репутация может привести меня прямо в члены Академии наук и искусств…

«Автобиография»

Я люблю людей, люблю со всеми их слабостями, и это не дает мне быть жестоким. Тот, кто читает какой-нибудь мой рассказ, где я смеюсь над чьей-нибудь слабостью, чувствует в то же самое время, что я симпатизирую тому, над кем смеюсь, и прикасаюсь к его ранам нежно, боясь причинить ему боль.

О моем юморе говорят, что он легкий. Не знал я, что в литературе существуют два юмора: тяжелый и легкий — мне известно, что есть только один юмор, один-единственный, тот, который вызывает смех, смягчает суровость жизни.

Из письма к дочери

— Дети, к следующему разу приготовьте письменное задание: «Бифуркация патагонцев на материале данных об оседлости эскимосов».

«Автобиография»

ГЛАВА ПЕРВАЯ
ИСКУССТВО, ХУДОЖЕСТВЕННИКИ, АНАФЕМА И ПРОЧЕЕ

Послевоенный Белград был городом мужчин с траурными повязками на рукавах и женщин в черных платьях. Люди возвращались в город и находили развалины своих домов. Они оплакивали погибших и брались за работу. Ненависть и горе постепенно уходили в прошлое. Возводились здания, лица людей светлели.

Единственным уцелевшим залом в городе было «Казино», нынешний кинотеатр «Козара». Тут устраивались первые политические собрания, тут давались и театральные представления. В городе появились афиши, возвестившие о том, что в «Казино» выступит Бранислав Нушич.

После всех невзгод Белград жаждал радости, смеха, и уже одно имя Нушича на афишах вызвало предвкушение удовольствия. Белград ожидал, что остроумие и живость юмориста развеют грустные воспоминания.

Режиссер Йосип Кулунджич вспоминал, что само появление Нушича на сцене «Казино» было встречено так, будто публика уже услышала шутку. Лицо его ассоциировалось с радостями былых дней, публика аплодировала ему, смеялась, слышались веселые восклицания: «Добро пожаловать!»

Когда Нушич сел за слабо освещенный стол и достал толстую рукопись, воцарилась тишина. И только теперь в публике заметили, что дорогое лицо «мастера смеха» бледно и хмуро.

Тихо, но внятно Нушич прочел:

— Девятьсот пятнадцатый…

> «Словно волна неосознанного разочарования накатилась на людей, заполнивших зал в надежде на радость. Но только на мгновение. После нескольких фраз массой завладело новое чувство. Вот кто-то вздохнул, у кого-то выступили на глазах слезы, кто-то всхлипнул. Минут через десять не было в зале человека, который бы не плакал. Ага пришел, чтобы отслужить панихиду по своему сыну, воину, павшему в бою за родину. Обманул нас Нушич, но в публике не было никого, кто бы за этот обман не сказал со слезами на глазах: „Спасибо!“»

Читал он свою книгу не только в Белграде. В городе Осиеке

после чтения Нушич гулял по берегу реки Дравы. Люди узнавали его.

— Так вы тот самый Нушич, что пишет комедии?

— Да. Пишу комедии, — отвечал Ага, — а в жизни у меня все больше случаются трагедии.

После публичных чтений своей книги о трагедии сербского народа, этой «плиты на могилу сына», Нушич опубликовал ее. На гонорар он перенес прах сына на белградское кладбище и построил там склеп в виде небольшой остроконечной пирамиды. Ныне над входом в склеп высечена надпись: «Дом Бранислава Нушича», на другой грани пирамиды — «Страхиня-Бан Нушич», на третьей — «Даринка Нушич», на четвертой — «Миливой Предич».

* * *

Пост начальника отдела искусств был одним из значительнейших в новом государстве южных славян. В его ведении находились все театры страны, все учреждения, связанные с искусством.

Внутренне к этой должности Нушич был подготовлен. Более того, он сам подал идею создания «отдела просветительских учреждений и искусств».

Этот подавленный отцовским горем человек не сидел в эмиграции сложа руки. Много написано, много передумано. Его заботила будущность государства, развитие культуры. Еще из Женевы, 30 июня 1917 года он послал министру просвещения обширное письмо, в котором проявил рачительность, выдвинувшую бы его в ряды незаурядных государственных умов, если бы удалось осуществить все то, что он задумал. Оставим в стороне план административного устройства, придуманный Нушичем, и скажем о некоторых идеях, осуществление которых оплодотворило бы всю культурную жизнь страны.

Он предлагал создать Высшую школу искусств с факультетами живописи и ваяния, музыки и театра, разработал систему поощрения молодых деятелей культуры, систему конкурсов для всех форм и видов литературы и искусства. Здание Народного театра Нушич хотел превратить в консерваторию, а под театр построить новое здание, «большое и современное». В каждом округе он предлагал построить народный дом, в котором разместились бы исторический и этнографический музеи, хозяйственная выставка, библиотека, читальня, большой зал для разнообразных представлений, торжеств, концертов…

Нушич разработал систему законоположений, способствовавших бы процветанию культуры, газетно-издательского дела и книготорговли.

Но не только это решило назначение Нушича на высокий государственный пост. Велика была популярность драматурга и фельетониста. Статистические данные, опубликованные в 1919 году, показали исключительное место произведений Нушича в репертуаре Народного театра. Почти за пятьдесят лет существования театра из отечественных классиков драматургии на одном из первых мест по числу поставленных пьес был Йован Стерня Попович (19 названий). Из иностранных — Скриб и Сарду (20 и 18 названий), Шекспир (14 названий). И все-таки «абсолютным чемпионом» оказался Бранислав Нушич. В репертуаре театра были 22 его пьесы.

Возможно, немалую роль в назначении Нушича сыграл и старый друг Павел Маринкович, сохранивший свое влияние на государственные дела и вскоре, в свою очередь, назначенный министром просвещения.

Милан Грол, неоднократно занимавший пост директора Народного театра и другие высшие должности, писал о новом отделе министерства: «Это было нечто новое, о чем Павел Маринкович, советуясь со мной, не имел ясного представления, как не имел его и Нушич, когда сел за пустой стол… Но именно то, что еще не определилось, ничем его не ограничивало, не связывало, давало возможность проявить инициативу, только то и интересовало Нушича. Он мечтал об открытии музеев, театров, академии искусств, пантеона, об организации фестивалей, издании книг миллионными тиражами, мечтал покрыть всю Югославию памятниками, и все это требовало инициативы, которая бы исходила с того самого нового стола в министерстве».

Но финансировать его проекты было некому. Правительство больше занимали вопросы дороговизны, экспорта, репараций, аграрных отношений, новых партий и новой конституции.

Нушич был необычайно энергичным администратором. Писатели, актеры, художники быстро нашли дорогу в его кабинет. Предложений и планов было в избытке. Нушич с радостью всех выслушивал, все записывал, но это были всего лишь мертвые слова на бумаге. Ему говорили откровенно: кредитов не будет, на бюджет не надейтесь! И Нушич стал терять надежды, а с ними и интерес к своей работе. Так продолжалось до лета 1923 года, пока он не попросил министра уволить его в отставку. Во-первых, административная работа изматывала, писать самому было некогда. И во-вторых, его грызла совесть, так как, по его словам, «жалованье шло, а за что — непонятно».

Но и до своей отставки и после нее Нушич, как и в прежние времена, был постановщиком различных государственных спектаклей.

В 1921 году умер старый король Петр Карагеоргиевич, и новым королем был провозглашен Александр. За год до этого, в качестве регента-правителя Государства сербов, хорватов и словенцев, он впервые посетил столицу хорватов Загреб и столицу словенцев Любляну. Но прежде туда выехал Нушич, который собрал необходимые сведения и написал для него речи. Эти речи имели громадный успех, будущего короля считали прекрасным оратором. На самом же деле у него была просто хорошая память.

В 1922 году Александр женился на Марии, дочери румынского короля Фердинанда. И свадебные торжества тоже режиссировал Нушич.

* * *

Среди театральных событий в эти годы, пожалуй, самым впечатляющим была первая встреча белградцев с «художественниками».

В июне 1919 года группа актеров Художественного театра, в которую входили Качалов, Книппер-Чехова, Берсенев, Тарханов, Бакшеев, Греч, Павлов, Массалитинов и другие, решила показать несколько спектаклей харьковчанам. Они рассчитывали пробыть в Харькове две-три недели, но судьба распорядилась иначе.

Во время одного из спектаклей в город вошли деникинцы, в антракте на сцене появился офицер, приказавший продолжать представление. Артисты оказались отрезанными от Москвы. В 1920 году они выехали на юг России, в Крым, а затем в Грузию. Так, кочуя с места на место, артисты оказались в Болгарии. Здесь их ждал триумф. Вместо запланированных пяти спектаклей «группа Качалова» дала тридцать пять.

В конце 1920 года и в начале 1921-го они уже выступали в Белграде и Загребе. И здесь их пребывание растянулось на несколько месяцев.

Первый спектакль не собрал полного зала. Зрители отнеслись к артистам с опаской, говорили, что русский язык будет непонятен. Отпугивали высокие цены на места.

На все последующие спектакли билеты были раскуплены вперед. Не было дома, семьи, в которых бы не говорили об искусстве русских. Люди записывались в кружки по изучению русского языка. Повысился интерес к русской драматургии,

появились переводы многих русских пьес. На спектаклях югославские актеры битком набивались в оркестр. Русских артистов забрасывали цветами.

Фраза «Сегодня я в первый раз был в театре» стала ходячей среди заядлых театралов Белграда.

«Как можно не полюбить народ, у которого такие артисты», — писали газеты.

Восторг публики можно себе представить. В спектакле «На дне» Массалитинов играл Сатина. Тарханов — Луку, а также Соленого в «Трех сестрах». Качалов с блеском выступал в роли Гаева в «Вишневом саде». Раневскую играла Книппер-Чехова. Артисты показали «Дядю Ваню», «Братьев Карамазовых», «У жизни в лапах» Гамсуна… «Группа Качалова» посетила еще несколько европейских столиц и всюду имела грандиозный успех.

Эмигрантская пресса старалась подчеркнуть, что их искусство будет будто бы неприемлемо в Советской России.

В 1923 году в Париже Бальмонт восторженно писал:

«…Она летит, простерши крылья, птица,
Ее полет — за Дальний океан.
И видит чужеземная столица:
Идет Россия. Строен этот стан.
Глубок и строен Русский женский голос,
Мужской еще красивей и сильней.
Все, что в чужих умах давно боролось,
Наш звук, наш дух сказал в безумствах дней.
Наш конь, когда бежит, так бег — заправский.
Цветет нежнейшим цветом Русский лен.
Москвин, Качалов, Лужский, Станиславский
И Чехова, — какой расцвет имен…»

Артисты Художественного театра вернулись на родину. Правда, не в полном составе. Тут, возможно, сыграли свою роль газетные статьи, появившиеся в печати, в которых артисты безответственно обвинялись чуть ли не в предательстве. Массалитинов занял пост главного режиссера Софийского государственного театра.

Впоследствии новая Болгария удостоила его самых почетных наград и званий.

Нушич был с Массалитиновым в приятельских отношениях и радовался, когда тот ставил его комедии.

Как начальник отдела искусств, Нушич должен был принимать артистов Художественного театра, отдавать распоряжения относительно их устройства и прочего. К

сожалению, сведения об этом чрезвычайно скудны. Среди бумаг, хранящихся у дочери Нушича, удалось разыскать его запись, в которой он выразил свое отношение к их искусству.

> «В том, что обычно, что близко, что естественно, человек не видит мастерства. Это определяет его отношение к искусству. Помню первые гастроли художественников; они не произвели такого глубокого впечатления на наше общество, как Новелли, Сумбатов. У тех мастерство было видно, а художественники были обыкновенными, близкими, естественными. Разумеется, я здесь имею в виду не настоящую театральную публику, глубоких знатоков, а среднего зрителя. Художественникам, по его мнению, не хватало эмоциональности, выразительности; движения их были совсем обычными, и говорили они так, как говорим мы, обыкновенные люди. Один не слишком выдающийся актер сказал мне тогда: „Не понимаю, почему столько разговоров об искусстве этих художественников; я не вижу никакого особого мастерства в их игре, не вижу, чему бы мы могли научиться у них…“
>
> Чем ближе к природе, тем незаметнее мастерство, но ближе к подлинному искусству…».

* * *

В январе 1923 года Народный театр в Белграде торжественно отмечал свое пятидесятилетие. Начальник отдела искусств произнес речь о зарождении и развитии сербского театра.

«За эти пятьдесят лет сцену увидели 280 отечественных пьес. К литературным достижениям можно отнести и переводы. Считая и их, со дня открытия театра поставлено около 1100 пьес».

В юбилейные вечера публике были показаны картинка Нушича «Перед театром 30 октября 1869 года», комедия Стерии Поповича «Белград прежде и теперь», а также историческая трагедия «Найденыш». В ней Нушич обратился к далекому прошлому своего народа. К временам правления царя Душана, когда Сербия была славна и сильна. Замысел был шекспировский, но трагедия получилась многословной, перегруженной псевдоисторическими подробностями.

Момир, незаконный сын царя Душана, воспитывался при дворе. Ему было известно, что царь нашел его где-то на дороге и приютил. Момир влюбился в царскую дочь Гроздану, не зная, что

это его сестра. Узнав правду, Момир покончил с собой, и вместе с ним погибла любившая его Гроздана. Таков сюжет трагедии.

На постановку трагедии была истрачена фантастическая сумма — 800 тысяч динаров. Роль царя Душана играл выдающийся актер театра Добрица Милутинович.

О пышности постановки можно судить по одной сцене, когда перед публикой продефилировали трубачи, царский воевода на коне, восемь всадников, восемь лучников, восемь соколятников с соколами, восемь псарей с царскими псами, царь на коне с двумя пажами, многочисленные вельможи. Спектакль произвел сенсацию, но на автора трагедии тотчас посыпались неприятности.

Газеты критиковали дирекцию за то, что она пошла на гигантские расходы. Пришлось Нушичу отвечать на эти нападки публично. В статье «Государство и театр» он объяснил, что после войны в костюмерной театра было хоть шаром покати. Почти полмиллиона динаров истрачено на роскошные национальные костюмы, но они будут необходимы для многочисленных исторических пьес, намеченных к постановке.

Еще один удар нанесен был немного раньше. Правительственный орган «Време» в номере от 24 января 1923 года опубликовал заметку под заголовком «Патриарх против Нушича». В ней говорилось, что до сих пор театр и церковь жили в мире. Теперь же «патриарх потребовал, чтобы министерства просвещения и внутренних дел запретили показ „Найденыша“, так как в пьесе подвергаются оскорблениям духовные лица».

И в самом деле, в трагедии есть сцена, когда монах охотно приударяет за женским полом и произносит несколько кощунственных, с точки зрения церкви, фраз, свидетельствующих о том, что он охотно нарушит данный им обет воздержания.

Министр просвещения, посовещавшись с Нушичем, решил вынести этот вопрос на обсуждение Союза писателей, которые и постановили — не дразнить церковников и сохранить невинность монашку. Но было поздно — церковь предала Нушича анафеме. Впрочем, никаких последствий от этого отлучения не предвиделось. Разразившаяся гроза воспринималась с юмором.

Неожиданно разрешилась история с многострадальной «Подозрительной личностью». У белградских рабочих была своя самодеятельная труппа. Любители купили в театральном архиве за пятьдесят динаров рукопись «Подозрительной личности» и поставили ее у себя. Успех был настолько громкий, что дирекция театра сочла своим долгом извиниться перед драматургом за самовольничайте. Явилась к нему и делегация от любительской труппы. Нушич принял рабочих очень приветливо и разрешил

показывать бесплатно не только «Подозрительную личность», но и другие пьесы по их выбору. Через месяц комедия была поставлена и на сцене Народного театра.

Прошло почти сорок лет с тех пор, как была написана «Подозрительная личность», которую читали и отвергали все директоры Народного театра, включая и Нушича, и наконец автор ее мог принять запоздалые поздравления публики. Прошло еще лет сорок, а комедия все не сходит со сцены.

Неумирающую злободневность ее объяснил сам Нушич.

> «…И если все же в комедии есть аллюзии, которые не устарели; если встречаются слова, которые можно сказать и сейчас; если показаны явления, на которые и сейчас можно показать пальцем, — это только доказательство того, что в бюрократии всего человечества, всех народов и рас есть нечто общее и вечное, и это нечто будет давать материал комедиографам будущего, как мне дало его прошлое».

* * *

Уйдя со своего поста, Нушич много работает и месяцами гостит у своей дочери Гиты.

В бывших австрийских владениях у эрцгерцога Фридриха было крупное имение Беле, целый сельскохозяйственно-промышленный комплекс со своими бойнями, сахарными заводами, элеваторами, охотничьими угодьями. В этом имении, ставшем государственным, муж Гиты драматург Миливой Предич устроился заведующим административным отделом.

Кроме Нушича с Даринкой сюда наезжало веселое общество из Белграда, знаменитый писатель Велько Петрович, художники, актеры. Все они сытно ели и много пили на даровщинку вместе с государственными чиновниками, вознаграждая своих хозяев потешными рассказами. Они даже организовали самодеятельный театр.

Сам Мима Предич был великолепный имитатор. Он необыкновенно смешно копировал местных чиновников. Вот управляющий имением повязывает голову полотенцем, потому что у него болит голова от бесконечных схваток с Мимой. Вот «больной» подходит к волам и, разводя руками, кричит: «Вы одни меня понимаете!»

Госпожа Даринка по-прежнему в черном. Она не смеется шуткам и только вздыхает. Нушич веселится от души. С великой

неохотой он покидает приятное общество и едет в Белград, где у него есть важное, очень важное дело.

ГЛАВА ВТОРАЯ
«Я ЮМОРИСТ, А НЕ САТИРИК»

В феврале 1924 года должны были состояться выборы в Академию наук и искусств. Первые после войны. И поэтому общественность проявляла к ним особенно повышенный интерес. Еще задолго до выборов обсуждались кандидатуры. Среди литераторов чаще других называлось имя Нушича.

Постепенно он и сам привык к этой мысли, а в кругу близких избрание Нушича подразумевалось как нечто само собой разумеющееся.

Но случилось так, что его не только не избрали, но даже не выдвинули в число кандидатов. В Академии поговаривали, что Нушич «недостаточно глубок», что академик-юморист — явление несолидное, а его драматические произведения не дают ему основания стать «бессмертным», что есть писатели постарше (Нушичу исполнялось шестьдесят), давно уже ждущие признания. В общем, складывалось мнение, что Нушич «фигура недостаточно академическая».

Члены Академии, симпатизировавшие Аге, вовремя разобрались в обстановке. Они поняли, что Нушича забаллотируют и тем самым их любимцу будет нанесено такое оскорбление, от которого он нескоро оправится. И они нарочно воспрепятствовали даже выдвижению его кандидатуры.

Действительным членом Академии стал скульптор Иван Мештрович, а членами-корреспондентами писатели Иво Войнович и Йован Дучич.

Расчеты друзей не оправдались, Нушич тяжело пережил свою неудачу.

— Стыдно мне, — признавался он в семье. — Иду я по улице и все боюсь, не спросит ли кто, почему меня не выбрали.

Дочь, ставшая его самым близким другом и поверенным, написала Аге из Беле письмо, в котором утешала и ободряла отца. Первого марта он ответил ей посланием на двух десятках страниц.

Журналисты долго охотились за этим письмом. Гита прочла его знакомым, и по Белграду ходили самые противоречивые слухи. Нушич обычно отвечал: «Письмо у дочери. Когда умру, она может его опубликовать, если сочтет нужным». Содержание письма стало известным лишь через двадцать лет после смерти Аги.

Это письмо впервые раскрывает перед нами Нушича,

которого мы до сих пор знали мало. Человека, глубоко задумавшегося над смыслом собственного творчества и способного на большие теоретические обобщения. Правда, приходится делать скидку на уязвленное самолюбие.

Ага (так было подписано письмо) благодарил дочь за участие и признавался:

> «Не хочу скрывать от тебя, что это невнимание, это игнорирование современниками моего труда показалось мне тяжким оскорблением и вызвало глубокую боль. От друзей я эту боль скрываю и даже весело смеюсь — арлекин должен смеяться и с кровоточащим сердцем, — но испытываю большую потребность в сострадании близких и в дружеской поддержке. И то и другое в твоем письме есть».

Нет, он ничего не имеет против тех, кого избрали в Академию, и даже упрекает дочь, очевидно, сказавшую несколько ядовитых слов по их поводу. Ага не знает, что друзья настояли на том, чтобы его имя даже не упоминалось в числе кандидатов, и ему кажется это совершеннейшим неуважением. Одно из двух — или его творчество не заслуживает высокой оценки, или Академия неспособна давать какие-либо оценки. Что ж, он попробует разобраться…

Или — или. Первое — его творчество не заслуживает высокой оценки. И Нушич разражается яростной филиппикой против самого себя — он отлично помнит все горькие слова, сказанные критикой в его адрес.

> «…Прежде всего, я много и быстро писал, а следовательно, писал поверхностно и даже неряшливо. Юмор у меня легкий, а порой и дешевый, иногда я не брезгаю и порнографией. Для сатирика я неглубок; я не макаю перо в кровь, которая каплет из общественных ран, я не вижу людских пороков и не хлещу их жестоко кнутом. А если я иной раз в своих произведениях и приближаюсь к той или иной проблеме (в драме), то у меня не оказывается ни препараторских, ни аналитических способностей, чтобы подойти к явлению всесторонне, понять суть его, и тогда из-за трудностей я срезаю углы, останавливаясь лишь на внешней стороне явления, на положении, интриге, анекдоте, бью на эффект, нахожу решения технические, но не психологические. Из комедий я выбираю самый легкий их род, комедию нравов, избегая, сторонясь комедии

характеров, а посему мои комедии не обещают надолго сохранить свое значение. И вообще, в литературе я не представляю собой большой, выдающейся фигуры, требующей отдельного пьедестала, чтобы выделиться среди множества тех, кто заполняет пробелы между этапами в литературе.

Вот так! Разве я был недостаточно смел, обвиняя себя, разве я не излил столько желчи, сколько ее могло излить только чужое перо, и разве, наконец, совершая харакири, я не получил права защищаться?»

Легче всего было сравнить, что сделал за свою жизнь Нушич, а что — любой из академиков литераторов. Но это было бы несолидно. Важно разобраться, чем он заслужил неуважительное отношение. И в нем ли самом дело?

«Моя трагедия заключается главным образом в том, что я юморист. Во все времена и у всех народов юмористы расплачивались за сладость своих успехов горечью недооценки».

Он ссылается на слова Тристана Бернара, французского юмориста: «Я больше ценю суд публики, чем суд критики, так как юмористы не стремятся удивлять, а хотят любви общества».

Нушич с горечью говорит о предрассудке, питаемом в отношении остроумных людей. Некогда деды, сидя на завалинке, с удовольствием слушали остроумца, но потом представление о легковесности этого человека укоренялось и переносилось в суждения о любом его деле или поступке.

Ага вспоминает «грешного» Йована Стерню Поповича, который в свое время поддался уговорам стать «серьезным человеком», бросил фельетон и комедию, создавшие ему имя, и вернулся к писанию сухих патетических драм, не имевших никакого успеха. Но зато Стерня вырос в глазах профессоров.

И вот тут хочется остановить внимание читателя и отметить, что в ходе рассуждений Нушича намечается резкий сдвиг в целом его творчестве. Где-то в глубине сознания он понимает, что и сам он потратил слишком много сил, чтобы понравиться профессорам. Что он напрасно ударялся в патетику, сдерживая в себе редкостный талант юмориста.

Беспокойство, ощущение вины перед собственным талантом приводит его в состояние раздраженности. Его бесят лицемеры-академики, прячущие свою убогость за выспренними речами. Посредственности прячутся за тщательно разработанную фразеологию, придающую вид учености любой глупости, сказанной ими.

«…Они, как плохие пловцы, не имеют ни силы, ни смелости

удалиться от берега посредственности… Как и все смертные, они подвержены предрассудку, будто остроумие — синоним несерьезности, и, забывая об Аристофане, Плавте и всех их литературных потомках, считают средневековых придворных шутов праотцами остроумия».

Нушич никогда не защищал себя в печати от нападок критики, и теперь он делает это здесь, в письме к дочери.

«Поколение импотентов ставит мне в грех плодовитость; это они-то, чьи сочинения похожи на натужный стон, упрекают меня в том, что я быстро пишу…».

И следует признание, которое подтверждает мнение его современников, утверждавших, что Нушич творил «с буйной легкостью природы», как Моцарт или Байрон, что он не знал мук Флобера и Горация.

«В то время, как я пишу какой-нибудь рассказ, мне не дают покоя еще пять или шесть других мотивов, а когда я пишу комедию, то замыслы пяти-шести готовых, совершенно разработанных сюжетов, толкаясь, обступают меня, теребят и торопят, чтобы я за них принялся. Напротив, я очень мало дал по сравнению с тем, что мог бы дать, если бы в жизни у меня были условия получше».

А судьи кто? С вершины академического Олимпа ему выносит приговор какой-нибудь критик, за полстолетия написавший всего полдесятка эссе; поэт, разразившийся за тридцать лет всего двадцатью стихотворениями; «некий прославленный талант, который двадцать пять лет назад оседлал сцену с одной-единственной пьесой».

А ведь это и в самом деле так. Критиками Нушича были по большей части драматурги, которые после одной-двух поставленных пьес целиком посвящали себя составлению пространных статей, в которых, становясь в позу мэтров, поучали других. Теперь никто не помнит даже названий их произведений. И большинству из них подняться на сцену помогал не кто иной, как Нушич.

Нушич обнаруживает глубокое понимание национальной сущности литературы. Он считает, что современные ему критики сформировались под иностранным влиянием.

> «Они с шекспировской сцены поглядывают на нашу драму; они с Достоевским в руке оценивают наш рассказ; прочитав Диккенса, они судят о Нушиче. Однако они не учитывают, что в юмористике, больше чем в каком-либо другом роде литературы, всякое явление должно проистекать из характера мышления данного народа и

данной среды, другими словами: у каждого народа свой юмор. Разве нет различия между юмором Твена и Чехова, между юмором Диккенса и Куртелана, разве всякий юмор не является выражением остроумия данной среды?.. И если бы кто-нибудь, выслушав эту ясную и очевидную истину, надулся бы и стал в фальшивую профессорскую позу, восклицая: „Но литература не должна поощрять недостатки своей среды, а ей надо и т. д.“, я бы ему ответил, что юмор не ставит своей целью воспитание народа, хотя и оказывает этому воспитанию неоценимую услугу, показывая в смешном виде человеческие слабости».

Говорили, что юмор Нушича не глубок, что он не имеет силы сатиры. Ученые до сих пор спорят о том, что есть сатира и что есть юмор. Иногда за сатиру принимают даже критику безбилетных пассажиров.

Судя по тому, что мы уже знаем о Нушиче, это был замечательный сатирик. Но еще полстолетия назад считали, что для сатирика он слишком комичен, хотя и умудряется сказать все, что ему нужно.

В 1924 году критик Милан Богданович сравнивал сатиру Радое Домановича и Бранислава Нушича таким образом: «Если считать, что сатирик должен обладать темпераментом Радое Домановича, быть едким, как уксус, и выполнять роль общественного бича, то тогда Бранислав Нушич вообще не столь уж сатиричен. Но, на взгляд внимательного наблюдателя, у Нушича есть скрытая сатира, если можно так выразиться, „контрабандная“ сатира… Доманович агрессивен, дерзок; это политический темперамент, соединенный с талантом рассказчика. И наконец, он смел. Нушич же — „грекос“, человек хитрый, любит прикинуться простачком и все-таки сказать свое. Доманович уязвит, оскорбит, ударит; ему не прощают. Он писал сатиры, которые создали ему смертельных врагов и могли привести его на каторгу или в изгнание. Нушич, хоть и со смехом, но говорит не меньше. Он из тех, кто не „испортит отношений“, но все-таки скажет, что нужно, и скажет много».

Кстати, следует заметить, что Доманович «мог» оказаться на каторге, но сидеть в тюрьме довелось все-таки не ему, а Нушичу. Сам он писал дочери следующее:

«Я признаю, что я юморист, а не сатирик. Но не признаю, что я не подвергал осмеянию те явления нашего быта и общественной жизни, которые того заслуживают. Вот мои „Листки“, „Народный депутат“,

„Подозрительная личность“, „Протекция“, „Свет“, вот мои бесчисленные рассказы, в которых высмеяны человеческое тщеславие, фальшивая благотворительность, половинчатость, подхалимство, в которых во всей своей красе изображена наша бюрократия и высмеяна необузданным смехом наша администрация. И все же этот смех не горек, не желчен, не ядовит…

Я люблю людей, и это одна из моих ошибок в жизни и, если верить моим критикам, в литературе. Сатира, та самая острая, злая сатира, на мой взгляд, очень часто макает перо во всякую пакость. Человек должен быть либо горбатым, либо туберкулезным, либо уродом, к тому же презираемым, отверженным, чтобы он сел и, кровавя сердце ногтями и изгоняя пену на губах, ради отместки обществу написал такую сатиру, которую наши критики называют „острой“, бичующей… и т. д.

Вот и еще одно обвинение, против которого я не хочу защищаться и могу спокойно стоять перед судом присяжных, а выслушав речь обвинителя, сказать: „Виновен!“»

Для Нушича разница между сатирой и юмором в том, что сатирик ненавидит все, над чем издевается, а юморист любит людей, но высмеивает их недостатки или обстоятельства и явления, которые их порождают. Ненавидел же Нушич саму ненависть, злобность. Ненавистников, одержимых лихорадкой разрушения только потому, что они чувствуют себя обделенными. Выродков, которые разрушают весь уклад человеческой жизни в своем стремлении к власти над народами, к тому, чтобы «пасти народы жезлом железным».

И наконец, Нушич дает определение своим комедиям.

«Литературные судьи говорят, что моя комедия — комедия нравов, которая по своему значению менее ценна, чем комедия характеров, которой у нас занимался один Стерия Попович.

Я и в самом деле дал комедию нравов, и я считаю, что в переходное время, на которое приходятся мои занятия литературой, можно было дать только такую комедию. Я живу в смутное время, время преобразований, время, когда периоды и эпохи сменяются с кинематографической быстротой, когда одни события громоздятся на другие и прошлое исчезает за одну ночь, чтобы уступить место настоящему. Я видел,

как разрушали мечети, чтобы на их месте воздвигнуть современные палаты; я видел, как срывают железные ставни, чтобы устроить современные витрины; я видел отцов в народных костюмах и сыновей в цилиндрах; матерей в фесках, дочерей в кринолинах, внучек в коротеньких, как у кокоток, юбках; я застал то время, когда матери считали за стыд чихнуть в обществе, и видел дочерей, купавшихся вместе с мужчинами в смелых купальных костюмах; я присутствовал на вечеринках, где наши матери танцевали отдельно от мужчин, в другой комнате, и я видел, как их дочери, делая чувственные телодвижения, танцуют уанстеп апашей, позволяя танцору держать ногу меж своих ног.

И все это не имело промежуточных форм, ни один период не переходил в другой постепенно, в соответствии с тем великим законом прогресса, которому должны подчиняться и общество и человек, — перемены наступали с кинематографической быстротой, да так, что иногда ночь, отделяющая один день от другого, выглядела как промежуток в пятьдесят лет.

День, который исчезал из календаря, был иногда похож на отжитую эпоху, на книгу, которая прочитана и больше никогда не будет перечитываться».

И в этой кутерьме трудно было останавливаться возле одиночек, он мог замечать лишь самые большие и общие явления и вносить их в свои комедии. Но, писал Нушич, «тот, кто придет после меня, сделает еще один шаг и даст комедию характеров». Он еще не знал, что успеет сделать это сам.

Впрочем, Нушич считает, что «и „Народный депутат“, и „Подозрительная личность“, и „Протекция“ развиваются на широкой основе, они показывают целое общество, целое время, и каждая из них целая галерея типов».

Ссылаясь на Скерлича, критики твердят, что комедия Нушича, комедия нравов, вскоре забудется. И тут Нушич делает совершенно убийственный ход. Он цитирует Скерлича, который писал о творчестве Йована Стерии Поповича: «До сих пор Йован Ст. Попович разрабатывал *комедию характеров,* изображая отдельные типы и разоблачая в них такие человеческие недостатки, как тщеславие, скупость, злонравие, высокомерие. Но он *делает еще один шаг* и *дает комедию нравов»* (подчеркнуто Нушичем. — *Д. Ж.)*.

Критики еще не разобрались в иерархии комедий, в том, какая из них выше чином, но пропуска в бессмертие уже

выписывают.

И кстати, «о бессмертных»…

Возвращаясь к своей неудаче с выдвижением в Академию, Нушич пишет: «Академия, как мне известно, нашла, что я недостаточно академическая фигура (в литературном смысле), и не сочла возможным принять меня в число своих членов…

„Академическая фигура“ — это тот, кто тридцать лет роется в старых книгах и в результате столь упорного труда делает открытие, что Досифей[30] впервые посетил Хопово 27 марта, а не 14 апреля, как полагали до сих пор. Одним словом, „академическая фигура“ — это тот бессмертный, чье имя забывают через неделю после панихиды».

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
«АВТОБИОГРАФИЯ»

Поговорим о смехе…

Г. Спенсер утверждал, что это «особый род мышечного действия»…

Комизм пробовали объяснять по-всякому. Платон отдавал искусство смеха в удел «рабов и чужестранных наемников». Бергсон не видит смешного вне человеческой природы. Фрейд разбирал анекдоты, разыскивая в них бессознательные биологические инстинкты. Юрий Борев настаивает на том, что «комическое вызывает социально окрашенный, направленный на известный объект смех», и поясняет: «Смех есть форма особой, эмоционально окрашенной критики, эстетическая форма критики»…

Но что же все-таки смешное? «Отклонение от нормы», «контраст», «эмоционально окрашенная критика»?..

Проанализирован десяток анекдотов, переставших навеки быть смешными. Остался еще миллион, и вряд ли кто-либо возьмется за их анализ…

Пожалуй, придется согласиться с автором старого учебника драматургии В. Волькенштейном, который, не тратя много ученых слов, чистосердечно сознается:

«Смешное, как объект исследования, представляет собой трудность: а именно — при анализе этот объект исчезает. В то время как, анализируя драматический момент, мы сохраняем впечатление трогательного или ужасного, любой анекдот, если его начать анализировать, перестает быть смешным».

Изложение комических произведений — тоже дело неблагодарное. Испытываешь томительное чувство неловкости всякий раз, когда приходится пересказывать какую-нибудь нушичевскую комедию или юмореску.

Например, повторы в комедиях Нушича вызывают у публики смех. В «Народном депутате» Еврем трижды рассказывает, как «господин начальник подошел ко мне, положил руку на плечо, словно брату родному». Публика смеется — она знает, что это явление необыкновенное, что начальник — человек грубый и отнюдь не склонный к панибратству, что Еврем ему очень понадобился, раз он обращается к нему, словно к брату родному. Надо еще передать состояние самого Еврема, настолько пораженного таким обращением, что оно не идет у него из головы. Читатель на протяжении этого абзаца даже не улыбнулся.

Как говорится, «при анализе объект исследования исчез».

Можно заявить, что Нушич часто достигает комического эффекта, вкладывая в уста людей, движимых низкими побуждениями, слова благородные, произносимые с самых высоких трибун, хотя и немного стершиеся от частого употребления. И даже привести примеры. И примеры эти повиснут в воздухе.

Если в маленьких анекдотах есть тысячи и тысячи оттенков смеха, то в больших комических повествованиях оттенков этих не счесть. В них может звучать смешно любая фраза, так как читатель уже предрасположен к смеху. Часто играет роль уже сама личность рассказчика — мы заранее ждем, что он предоставит нам возможность произвести «мышечное действие особого рода», и улыбнемся, если даже он покажет нам палец.

Мы давно уже ждем от Нушича юмористических произведений, и он наконец пишет «Автобиографию».

В очень короткий срок, за полгода, он создает одну из самых смешных книг в мировой литературе. Она была задумана как пародия на мемуары, которым «академические фигуры» обычно посвящают остаток своей жизни.

Но пародия — жанр несамостоятельный. Нушичу с его могучим творческим темпераментом и фантазией скучно было бы следовать канонам этого жанра, и потому он разражается самой блестящей из своих импровизаций. Вот так, наверное, лились его рассказы в кругу кафанских друзей, не устававших слушать его годами и всякий раз разражавшихся гомерическим смехом, от которого осыпалась штукатурка с низких потолков.

Он нанизывает анекдот на анекдот, сопрягает самое высокое с самым низким, глушит читателя парадоксами, подмечает тысячи смешных черточек в людях, социальных явлениях и быту. Иногда он доходит до полного абсурда, но это ничего: чем абсурднее, тем смешнее. Абсурд — старое оружие юмористики.

В предисловии к «Автобиографии» он рассказывает о том, как пишутся биографии великих людей. Художника, композитора или, скажем, писателя.

«Помню, например, один случай, свидетелем которого я был и о котором позднее мне довелось читать.

Однажды утром совершено пьяный поэт-лирик Н. Н. встретился со своим будущим биографом. При жизни великий покойник частенько бывал свинья-свиньей, и на этот раз он так нализался, что не мог найти дорогу домой.

— Послушай, друг, — говорил он, стараясь сохранить равновесие и всей тушей наваливаясь на будущего биографа, — люди скоты: пили вместе, а домой отвести некому. Бросили! На

небе я даже сейчас Большую Медведицу отыщу, а дом свой, хоть убей, не найду».

Об этом же эпизоде в биографии («Воспоминание о покойном Н. Н.») говорилось так: «Однажды утром встретил я его печального и озабоченного; чело его было мрачно, а глаза, те самые глаза, которыми он так глубоко проникал в человеческую душу, были полны невыразимой печали и упрека. Я подошел к нему, и он, опираясь на мое плечо, сказал: „Уйдем, уйдем поскорее из этого мира. Все друзья покинули меня. Ах, мне легче найти путь на небо, чем отыскать дорогу в этом мире. Я чувствую себя одиноким. Уведи меня отсюда, уведи!“

Вслед за этим биограф предлагал читателю обширные комментарии, показывающие всю глубину мысли покойного…

Вот так кроят одежду великих людей. Вот так пишут биографии великих людей в портновских мастерских по изготовлению биографий».

За саркастическим предисловием следуют все этапы человеческой жизни вплоть до женитьбы. «После женитьбы у человека уже нет автобиографии, а писать биографию я не собираюсь».

А что у человека может быть до женитьбы? Первый зуб, первые брюки, школа, первые стихи, первая любовь (а за ней еще двенадцать), армия…

Вот глава «Человек в брюках». Можете ли вы вспомнить о том, как надели свои первые брюки? Разумеется, нет. А юморист может. Вернее, он не помнит тоже, но какой это великолепный повод для иронических рассуждений.

> «Брюки помогают определить не только пол, но и вид. Когда наденешь брюки, сразу видно, что ты двуногое. Брюки и в моральном отношении дают преимущество, но не потому, что их можно застегнуть, а потому, что если уж вы их надели, то, будете ли вы стоять на ногах или на голове, все равно вы будете в брюках. Кроме того, брюки значительно выгоднее и надежнее, но не потому, что „юбка — символ податливости“, а потому, что она делает человека слабым и безвольным. Это можно доказать и на исторических примерах. Древние классические народы, носившие юбки, вымерли и исчезли с лица земли. Но трагедия человечества не столько в том, что они исчезли, сколько в том, что народы исчезли, а юбки, остались. Есть тут и еще одно странное обстоятельство: если юбка действительно символ податливости и мягкотелости (из-

за чего и погибли народы, носившие ее), то почему она и теперь еще сохранилась в одежде сильных мира сего: царей, попов, женщин?»

О чем же все-таки книга? Обо всех и о каждом. И очень немного о себе.

Исследователи говорят, что «Автобиография» свидетельствовала о новом творческом подъеме, о возрождении таланта Нушича-юмориста после многих лет невеселых литературных занятий.

«В этом произведении, — пишет А. Хватов, — писатель издевается над мещанством и его косным бытом, над буржуазной школой и ее невежественными учителями, способными вызвать у учащихся лишь отвращение к наукам, над бюрократами и взяточниками, клеймит тупость и продажность министров, лжеученых и лженауку, буржуазную печать и пр.»[31].

Я всегда завидовал литературоведам, умеющим одной отточенной фразой вскрыть, как консервную банку, анализируемое произведение и добраться до его (или ее) содержания.

Болгарский исследователь Боян Ничев считает, что Нушич похож в «Автобиографии» на хирурга, анатомирующего буржуазное общество с его школой, религией, казармой, тюрьмой, браком…

«Автобиография» переведена на русский язык и доступна каждому, кто нуждается в остроумном собеседнике, в общении с человеком сердечным и умным.

Большая часть «Автобиографии» посвящена школе, и каждому предмету — глава. Полистаем их наугад.

Сербский язык.

«Есть, например, слова непостоянные и капризные, как истерички, они то и дело меняют свои туалеты…».

История.

«Древняя история — возведение пирамид, продолжительные и красноречивые беседы, философствование, поклонение многим богам и многим женщинам.

Средние века — вера в одного бога и постоянные войны и кровопролития из-за этого единственного бога. Преклонение перед женщинами и постоянная борьба и убийства из-за них.

Новая история начинается исторической фальсификацией, а заканчивается фальсификацией истории».

Естествознание.

«К естествознанию, или к естественным наукам, относятся минералогия, ботаника и зоология. Все остальные науки, как-то:

математика, история, география, закон божий — по всей вероятности, науки неестественные».

А вот портрет учителя естествознания:

«Он был высокий, сухой, узкоплечий и с такими длинными руками, что казалось, будто ходил на четвереньках и только недавно встал на ноги. Когда говорил, в горле у него что-то булькало, и было похоже, что он, — да простит меня бог, — ржет; а когда смеялся, смех его напоминал ослиный крик. Одним словом, не человек, а слюнявый конь в пенсне».

Предметов много, а следовательно, глав и причин посмеяться от души.

Остановимся на географии.

Учитель объясняет строение солнечной системы. К доске вызваны трое.

«Планетами были Живко, Сретен и я.

— Ты, Живко, как известно, Солнце. Стань вот сюда и тихо и спокойно вращайся вокруг себя. Ты, Сретен, также должен вращаться вокруг себя и в то же время вращаться вокруг Живко, который, как ты знаешь, представляет Солнце.

Затем он поставил на место и меня.

— Ты Луна. Ты будешь вращаться вокруг себя и в то же время вокруг Сретена, а вместе с ним кружись вокруг Солнца, то есть вокруг Живко.

Разъяснив нам все, он взял палку и стал в стороне, как укротитель, готовый в любую минуту стукнуть по голове того из нас, кто ошибется. И вот по его команде началось вращение. Живко вращался вокруг себя, бедный Сретен — вокруг себя и вокруг Живко, а я — вокруг себя и вокруг Сретена, вместе с ним кружась вокруг Живко. Но не успели мы сделать и одного полного круга, как в глазах у нас потемнело, и мы все трое рухнули на пол. Сначала упал я, Луна, на меня свалилась Земля, а на Землю рухнуло Солнце. Получилась такая свалка, что нельзя было разобрать, где Луна, где Солнце, а где Земля. Видно только, как торчит нога Солнца, нос Земли и зад Луны.

А учитель с гордым видом стоит над этой „кучей малою“ и, не обращая внимания на наши стоны, объясняет строение планетной системы и движение небесных тел в мировом пространстве.

Можете себе представить, какая поднялась паника, когда учитель, покидая наш класс, сказал:

— В следующий раз я объясню вам, что такое вулкан.

Зная, как ревностно он придерживается системы наглядного обучения, мы с ужасом думали: кому из нас на следующем уроке придется извергать огненную лаву?»

Да-а, Нушич явно был недостаточно академической фигурой.

* * *

В октябре 1924 года Браниславу Нушичу исполнилось шестьдесят лет. Почти сорок пять лет он уже занимался литературной деятельностью. 6 ноября Югославия отмечала этот юбилей.

Юбилейный комитет возглавлял президент Академии наук. Через Пен-клуб были оповещены литературные организации других стран. Нушич получил десятки поздравлений от именитых деятелей литературы, включая Гауптмана и Томаса Манна. Из России пришла телеграмма от А. И. Сумбатова-Южина: «Шлю самые сердечные поздравления дорогому юбиляру, с горячей любовью вспоминаю ваше незабываемое гостеприимство 1901 года, желаю славному писателю долгих лет здоровья, бодрых сил, полного счастья».

Юбилей отпраздновали пышно. Торжественное заседание в университете в полдень, в три часа дня — спектакль «Обыкновенный человек», в пять — прием в отеле «Палас», а вечером в Народном театре «капустник», написанный другом Ристой Одавичем, которому Нушич передал должность начальника отдела искусств. Актеры, загримированные под славных классиков сербской литературы — Стевана Сремца, Милована Глишича, Янко Веселиновича и других, — вели шуточную словесную дуэль с Нушичем, тоже стоявшим на сцене. Никого из тех, кого изображали актеры, давно уже не было в живых, но живы были воспоминания бурной молодости…

Утром в университете юбиляра приветствовал министр просвещения. Вечером его поздравлял уже другой министр просвещения. Так бывает.

На другой день театр дал одноактную комедию Нушича «Наши дети» (режиссер Гита Предич-Нушич), «Семберийского князя» и третье действие трагедии «Найденыш». На торжества явился в народном костюме Реджеп Нушич, тот самый албанец из Печи, который считал себя родственником Нушича.

Юбилейные торжества продолжались в театрах Загреба, Сараева, Нового Сада… Нушич с триумфом ездил из города в город.

В первый день юбилейных торжеств, 6 ноября, в родной Нушичу «Политике» появилась статья за подписью «В. П.» (очевидно, Велько Петровича, уже знаменитого в то время своими изящными новеллами), который писал:

> «Бранислав Нушич чрезвычайно интересен и как писатель и как человек. Нарисовать его духовный портрет почти невозможно, и очень трудно определить источники его деятельности, границы его оригинальности и область его творческой фантазии. Это, наверное, тот самый случай, когда перед нами личность, которая воплотила в себе черты целого сословия или даже нации…»

Наверное, так оно и было. В Нушиче отразился противоречивый характер сербской нации, ее балканско-чаршийский дух, ее восточный фатализм и в то же время способность, подобно безродным американцам, неожиданно собраться с силами и сделать гигантский скачок из века патриархальности в век буржуазной кутерьмы. В ней уживаются легкомыслие и мотовство нуворишей с ледяным калькуляторским занудством французского буржуа. По сербу, так ни одно правительство ни к черту не годится; ни один министр не стяжал лавров честного человека; ко всем власть имущим у него непочтительно-фамильярное отношение. И в то же время сербам и в голову не приходило привлечь к ответственности тех же министров, оказавшихся совершенно беспомощными и бездарными руководителями во время войны.

В статье подводится итог литературной, дипломатической, общественной деятельности Нушича. Десятки строк уходят только на перечисление жанров, в которых работал писатель. «Тридцать лет держит, так сказать, исключительно на своих плечах Нушич нашу сцену. И теперь еще его произведения составляют большую часть сербского репертуара. Целая эпоха носит его имя, и мы еще не знаем, вышли ли мы из этой эпохи. И тот, кто захочет начать другую, станет неминуемо возводить стены на этом фундаменте».

Мог ли предполагать В. П., что эти стены начнет возводить сам Нушич, что рано еще подводить итоги, что небывалая творческая энергия еще придет к нему, что близится тот рубеж, за которым Нушич создаст свои лучшие комедии?

Но и то, что он уже написал, не сходило со сцены, каждый год

появлялась новая постановка или возобновлялась старая. В одном и том же здании Народного театра ставили свои спектакли оперно-балетная и драматическая труппы. Тогда говорили: «В Опере прибыль приносит балет, а в Драме — Нуша!»

Нушич, как никто другой, понимал, почему публика «валит» на его комедии.

> «С публикой я с первого своего появления в хороших отношениях. Мои вещи всегда выхватывались непосредственно из жизни, и это делало меня близким публике. Прибавьте к этому живость и веселье, с которыми я показывал жизнь, и вы поймете, откуда такая интимность и любовь, которая существует между мной и публикой. Я не упускал случая сказать иной раз и резкое слово этой публике, но она меня охотно выслушивала, так вот мать иной раз принимает грубость своего ребенка за проявление любви…».

Тогдашний директор театра Милан Предич вспоминал впоследствии, что Нушич «как хозяин комедии» редко вмешивался в распределение ролей и режиссуру при постановке своих пьес. Зато его всегда заботил репертуар театра. На заседании Союза драматургов ряд писателей, объединившись, подвергли жестокой критике директора театра за то, что он отдавал предпочтение иностранным пьесам и редко ставил отечественные. И Нушич (в который раз!) присоединил свой голос к хору возмущавшихся. Это вызвало неожиданную реакцию одного из писателей.

— Мне совершенно ясно, — сказал он, — почему все мы «бомбардируем» дирекцию и господина Предича. Мы требуем, чтобы он оказывал должное гостеприимство отечественной драме. Но мне неясно, господин Нушич, почему вы нападаете на господина Предича — ваши-то пьесы он включает в репертуар регулярно?!

— Пардон, мои комедии включает в репертуар не господин Предич, а главный бухгалтер театра! — под общий смех ответил Нушич.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
САРАЕВО

— Актеры как дети. Окажите им сотню услуг, но откажите в одной, и они забудут про эту сотню, а один отказ или несправедливость запомнят хорошо, — жаловался директор Сараевского театра Бранислав Нушич, снова отважившийся взять на себя бразды правления. Белградский, Новосадский, Скопльский театры уже видели его своим директором. Добром это редко кончалось. Теперь он решил принять предложение своего преемника на посту начальника отдела искусств Ристы Одавича возглавить театр, который сам же открывал в 1921 году, выступив с блестящей речью.

После отставки Нушич получал крохотную пенсию, гонорары с постановок поступали нерегулярно, а он никогда не был прижимист и порой тратил больше, чем зарабатывал. Сараево прельстило его хорошим жалованьем, атмосферой полувосточного города, к которой он привык, составом труппы, успевшей вобрать в себя многих из его старых знакомых, и, главное, возможность снова дышать воздухом театра, окунуться в родную суетливую стихию, распоряжаться, шутить, творить…

В декабре 1924 года он получил назначение, а в феврале следующего года уже восседал в большом, залитом солнцем директорском кабинете театра. Из окон кабинета видна река Миляцка. В нескольких кварталах вверх по набережной в мостовую вделана цементная плита с отпечатками ног: на этом углу Гаврило Принцип убил эрцгерцога Фердинанда. Нушич сразу подружился с драматургом и режиссером Борой (Боривое) Евтичем, товарищем Принципа по младобоснийскому движению. Эта дружба сохранилась до конца жизни Аги. Боре он поверял свои планы и написал много писем, впоследствии опубликованных.

Мы сказали, что Нушич «восседал»… Нет, человек огненного темперамента, он не мог усидеть на месте. Несмотря на свои шестьдесят лет, он был необычайно крепок и так подвижен, будто «в его небольшом и худом теле сидела тысяча чертей».

Новому директору приходится туго. Публика в Сараеве к театру не приучена. Незадолго до его приезда газеты писали о «полном моральном и материальном банкротстве театра». Громадная труппа, делившаяся на драматическую и опереточную части, сжирала доходы, прихватывая и кредиты, обрекавшие театр на жизнь в долг. Дисциплины в театре не было, прежняя

дирекция не имела никакого авторитета.

Как человек с громадным опытом, Нушич был призван на роль спасителя театра. Начал он с рекламы. Направляемая опытной рукой, газетная братия стала писать о театральных событиях и планах, сдабривая свои заметки доброй дозой юмора, на который не скупился новый директор.

В семь утра господин директор уже в театре. Всегда чисто выбрит и тщательно одет. Уже давно вошли в моду пиджаки, но Нушич прекрасно знает, что при своем маленьком росте в кургузом пиджачке он выглядел бы несолидно. Длиннополый сюртук, а по торжественным дням — фрак, белоснежный пластрон, на голове — цилиндр или котелок, прибавлявшие роста, — вот неизменный костюм Нушича на протяжении последних сорока лет его жизни.

Пальто и сюртуки, которые Ага шьет даже из твида, у него всегда в талию. Галстук, тонкая черная трость с кривой серебряной ручкой и щегольская зажигалка носят печать отменного вкуса и строгости. Никаких золотых цепочек и цветков в петлице. Со своим большим носом и квадратным выдающимся подбородком особенно внушителен бывал он в парадном фраке, усеянном сербскими и иностранными орденами. В таких случаях он говорил домашним: «Вот теперь я похож на рождественскую елку».

Не успел господин директор войти в свой кабинет, а ему уже несут кофе. Буфетчику театра приказано доставлять крепкий турецкий кофе каждые полчаса, не дожидаясь специального приказания. Директор всегда считал кофе полезнейшим бодрящим напитком (как, впрочем, и почти все на Балканах), и дневная норма его доходит до четырех десятков чашечек в день. Курение он считает занятием куда менее полезным, но не может отказать себе в удовольствии выкуривать в день до ста штук сигарет. Если комната, в которой он находится, не слишком велика, то, по выражению одного из его современников, «дым в ней можно резать ножом».

В сербском театре директор — это монарх, властитель со всеми прерогативами абсолютной власти. Но Нушич — монарх просвещенный. Он может казнить или миловать и предпочитает миловать. Он превосходно понимает актеров. Чтобы сыграть одну роль, нужны такие усилия, такой темперамент, столько нервов! И за эту роль еще надо бороться. Нушича не тяготила вечно грозовая закулисная атмосфера.

— Все это естественная и понятная борьба за самоутверждение художника, — говорит он.

Однако оговоров и интриг не любил. Вот приходит к нему

актер и начинает издалека искусно критиковать своего конкурента на роль. Нушич протягивает ему чистый лист бумаги.

— Вы напишите, дорогой, напишите все по порядку, а я рассмотрю…

Но одно дело постараться уронить конкурента в глазах директора, а другое — охаивать его официально. И тем не менее один из двух обойденных в конце концов закатывает сцену, с пафосом говорит о своей популярности у театральной публики и протягивает заявление об уходе.

Директор вызывает секретаря.

— Зарегистрируйте.

Через два дня актер снова входит в кабинет.

— Знаете…

— Знаю, знаю, дорогой, — снисходительно говорит директор.

Он понимает, что у актеров детская психология, что издержки их профессии накладывают свою печать.

— Вы напишете книгу — она остается, какой бы ни была. Или создадите картину, статую, композицию… А что остается от творчества актера, даже самого замечательного, после того как опустится занавес? Впечатление? Впечатление, дорогой мой, остается лишь до тех пор, пока вас не сморит сон.

Наверное, Нушич был прав. Говорят, туземцы на Огненной Земле превосходно рисуют пингвинов… пальцем в воздухе. Гениальность актера тоже повисает в воздухе. Даже новейшие технические средства не могут запечатлеть великих театральных побед. Ибо исключается публика, настроение зала.

При распределении ролей директор особенно осторожен. Он превосходно знает тексты всех пьес репертуара, очень много и быстро читает. Читает на добром десятке языков, изученных на дипломатической службе и в эмиграции. Со времени его пребывания на посту начальника отдела искусств сохранились короткие аннотации, которые он сделал собственной рукой на каждую из прочитанных им за короткий период ста пятидесяти французских пьес.

Репертуар… Сколько с ним мороки! Какие страсти пробуждаются при той или иной постановке! Всем не угодишь.

В одной из статей, посвященных деятельности Нушича в Сараеве, мы читаем: «Большая и сильная еврейская буржуазия, как главный контингент посетителей театра, хотела смотреть венско-будапештскую оперетту и французские бульварные пьесы. Местное мусульманское население требовало постановки пьес по мотивам боснийско-герцеговинского фольклора. А интересы остальной публики поделились между этими двумя направлениями».

Нушич пытается угодить всем, и поэтому дело его заранее обречено на неудачу. А под угрозой была сама национальная основа, народность искусства. Надо было твердо решать, на чьей ты стороне.

Австрийская оккупация оставила Боснии и Герцеговине в наследство сплоченную еврейскую колонию, при помощи венских банкиров прибравшую к рукам большую часть торговли и фабричной промышленности. Финци, Кабильо, Саломоны старались влиять и на культурную жизнь боснийской столицы. Оперетта в театре возникла еще до приезда Нушича при финансовой поддержке богача Финци. Космополитическая по своей природе, эта прослойка не желала вдаваться в тонкости сербского языка, не понимала народного юмора и вообще считала всякое проявление национального духа в искусстве скучной чепухой.

В Боснии и Герцеговине только что закончившаяся победой освободительная борьба выдвинула молодую национальную интеллигенцию, горячо ратовавшую за возрождение собственного, народного искусства, загнанного во время оккупации в подполье. Младо-боснийцы, и бывшие террористы в том числе, были не из тех людей, которые легко уступают свои позиции. Вчерашние гимназисты и студенты выросли в активных деятелей, часто совмещавших занятия политикой с литературой. Да и в самой еврейской общине в те времена не было единства. Такие писатели-евреи, как Исаак Самоковля и Михаил Мирон, писавшие о еврейской бедноте, эксплуатируемой и забитой собственной буржуазией, предпочитали общество мятущейся, горячей боснийской молодежи обществу своих богатых единоверцев. Шаблонные мнения сильных мира сего, их симпатии и антипатии высказывались так единодушно, словно бы определялись беспрекословным подчинением чьим-то приказам.

Громадное здание синагоги, почти примыкавшее к театру, слишком бросалось в глаза, чтобы можно было игнорировать мнение богатых и щеголеватых людей, с одинаковым усердием посещавших и храм искусства.

Новый директор реорганизовал ансамбль, набрал хороший хор, пригласил известных солистов — оперетта стала процветать. Драма старалась привлечь и задобрить «главный контингент» современными французскими бульварными комедиями. Нушич объяснял свою политику тем, что сараевская публика еще не приучена к серьезному репертуару, Бора Евтич яростно противился этому, требуя, чтобы директор обратил внимание на «серьезную литературу».

— Сараевская среда, — объяснял ему Нушич, — среда в

театральном отношении неискушенная. Главное сейчас — привлечь публику, научить ее вообще посещать театр, стараться, чтобы она привыкла к нему, полюбила. А что касается вашего стремления повысить театральный вкус публики… это мы сделаем без труда! Все придет само собой. Сама публика будет требовать, от сезона к сезону, постановки все лучших пьес.

— Но это же не варьете! — горячился Евтич, кривя худое аскетическое лицо. — Государство отпускает нам деньги не на эти венские и мадьярские опереточные гуляши. Это духовное рабство хуже и опаснее того, что было прежде, — физического. И какая польза, наконец, нашей духовной культуре от всего этого? Учтите, здесь Босния, господин директор!

Много лет спустя Бора Евтич писал: «Старый боец и патриот, отдавший единственного сына ради того, чтобы страна была свободна, только посмеивался и поглядывал на меня с почти искренним сожалением.

Это меня взбесило еще больше. Я говорил о вредном влиянии опереточного актерского шаблона на развитие молодых талантов. Это все трюки, дешевка, немного голых ног, и… дешевые ненужные аплодисменты. А что будет, если вкус широкой публики совершенно испортится? Кто за это ответит?

Но у старого комедиографа были свои особые взгляды на театр и репертуарную политику. Он верил в некоторые „дедуктивные методы“, когда шла речь о той стоглавой гидре, которую мы называем театральной публикой. Я… не верил.

Потому я и до сих пор не убежден, что Нушич был прав».

Боривое Евтич слишком пристрастен к Нушичу. В полемическом задоре, не выветрившемся и за десятки лет, он забыл о том, какое участие принимал Нушич в судьбах молодой боснийской литературы. Он устраивал в театре чтения, он превратил театр в центральное культурное учреждение города. Нушич поставил на его сцене фольклорный спектакль Йована Палавестры «Алмаса», «Чудеса Хаджи Насреддина» Милана Чурчича, «Царские когорты» Боривое Евтича, «Старину Новака» Михаила Мирона и многие другие произведения сараевских писателей.

Бора Евтич, отсидевший три года в австрийской тюрьме по делу «Молодой Боснии», в 1924 году написал книгу о сараевском покушении, которая расходилась с официальной версией и вызвала серьезные нападки на нее. Возникла даже угроза ареста. Нушич предложил Евтичу уехать на казенный счет в Вену и поучиться режиссуре в тамошнем «Бургтеатре». Между ними завязалась оживленная переписка. В декабре 1925 года Нушич сообщал Евтичу, что работает над спектаклями «Анна Каренина»,

«Пигмалион», «Путешествие вокруг света» и хочет поставить «Ревизора». Спрашивая о венских постановках, директор советовал: «Прошу вас, не ходите в оперетту, не тратьте денег. Мне кажется, особенно выбирать тут нечего. Лишь бы оперетта, лишь бы голые ноги, и публика валит как сумасшедшая. Директор театра предстает в скверном виде, но что поделаешь, если дотация так мала, если государство само толкает театр на то, чтобы он вносил в свою программу погибель вкуса».

Очевидно, директор уже стал прислушиваться к словам своего молодого друга.

Со временем репертуар становится все серьезнее. Шекспир, Бальзак, Ибсен, Шоу, Толстой, Мольер, Софокл, Голсуорси и многие другие классики занимают прочное место в репертуаре театра, разумеется, наряду с отечественными классиками — Поповичем, Трифковичем, Янко Веселиновичем и самим Нушичем, представленным «Народным депутатом», «Путешествием вокруг света», «Найденышем» и прочими произведениями.

Нушич пропадал в театре с утра до вечера, устраивая себе перерыв лишь с полудня до трех часов, которые тратились на обед и непременный дневной сон. Он присутствовал на всех важных репетициях, а собственные пьесы ставил сам. По воспоминаниям актеров, он не любил шаржирования в своих комедиях, запрещал шутовство, требовал реалистической игры.

— Это же люди, а не куклы, — говорил, он. — Надо, чтобы в них верили.

Но свободы актера не стеснял. Темп и пластичность — таковы были основные требования Нушича-режиссера. Он не придирался к актерам по пустякам, но они побаивались его иронии.

Театр выезжал на гастроли. Самым веселым из путников обычно бывал директор. Он рассказывал анекдоты, разыгрывал актеров, импровизировал.

Однажды по пути в Мостар он на пари за сорок минут сочинил комическую сценку «Запонка», в которой «чиновник первой категории шестой группы» получает приглашение на ужин от самого министра. Одеваясь, он роняет запонку, в поиски которой постепенно включается весь дом, ибо от нее, и только от нее, зависит будущее, карьера. Сценка кончается всеобщим препирательством и баталией. Запонка так и не найдена, карьера погублена, брак под угрозой…

Через несколько дней ее уже сыграл молодой талантливый, но рано погибший от туберкулеза актер Летич, который вышел на сцену, загримировавшись под Нушича. Это было на одном из многочисленных вечеров, которые актеры устраивали для узкого

круга. Обычно директор сам составлял программы таких вечеров, выступал на них в качестве конферансье и… фокусника.

Он же ввел в Сараевском театре обычай после каждой премьеры вручать цветы и денежную премию актеру, игравшему лучше всех. Вместе с Евтичем директор организовал школу для молодых актеров и сам учил их играть, двигаться по сцене.

* * *

В сараевский период жизни Аги появились первые признаки нездоровья (если не считать нервных расстройств после смерти сына). Он начал страдать от жестоких болей в желудке.

Как все редко болеющие люди, при первых же болезненных симптомах он ударился в панику и помчался в Белград на обследование. Столичные врачи нашли у него язву и даже предупредили, что, если он в ближайшие три дня не сделает операцию, дело кончится плохо. В тот же день Нушич оформил документы и выехал с Даринкой в Вену, где работал известный врач, профессор Ковач. Посольство помогло попасть к нему на прием вне очереди. После приема Нушич писал Миме и Гите:

> «Странный человек этот Ковач. Я ему пространно рассказывал о своей болезни, а он вроде бы меня и не слушал, и при этом постоянно перебивал вопросами, не имевшими никакого отношения к болезни. Спрашивал, продолжаю ли я писать, много ли пишу, хороший ли у меня аппетит, вспыльчив ли я, легко ли сержусь, сколько пью и т. д. Тут уж я его перебил и спросил:
>
> — Господин профессор, мои врачи думают, что завтра я умру, но, если завтра ничего со мной не случится, я хотел бы знать, что мне делать со своей язвой?
>
> — Придерживайтесь строгой диеты, и ничего больше, — ответил Ковач.
>
> — А что это за диета? — спрашиваю я его.
>
> — А почем я знаю, — говорит Ковач. — Ешьте то, что желудок принимает, не ешьте того, что приносит ему беспокойство.
>
> — Ради этого не стоило ехать в Вену. Значит, завтра я не умру и могу еще сегодня взять на завтра билет в „Бургтеатр“?
>
> — Вполне можете, — сказал Ковач, возложив таким образом на меня обязанность прописывать диету самому

себе…»

У В. Глигорича, одного из исследователей творчества юмориста, есть указание, что Нушич во время своего пребывания в Приштине, подобно своему другу Воиславу Иличу, харкал кровью. Глигорич утверждает, что обоих друзей отправили на юг специально, как бы в ссылку, чтобы, во-первых, удалить их от белградских дел и, во-вторых, погубить их в гнилом климате. Ни устные, ни письменные источники не подтверждают болезни Нушича, а также подобных мотивов его пребывания на дипломатической службе.

Судя по всему, здоровье у Нушича было железное. Ни работа на износ, ни ночные бдения с приятелями (правда, крепких напитков Ага не пил), ни бесчисленные чашечки кофе, казалось, не отражались на его организме. Впервые заболев в шестьдесят два года, он почти не изменил своим привычкам и, по воспоминаниям Боривое Евтича, нисколько не утратил прежней живости.

«Нушич теперь весь в движении, и есть у него только две большие страсти: театр, который он возглавляет, и работа за письменным столом. Некогда, в молодые годы, особенно в Белграде, он был склонен к богемному образу жизни, вероятно, под влиянием тогдашнего литературного круга, который находил удовольствие в богемных чудачествах, как в единственно возможном протесте против мещанской полугородской-полусельской среды; теперь же он вроде бы солидный человек и примерный семьянин: из театра — домой, из дома в театр. Не любит он больше ночных сборищ, не посещает кафан, не пьет алкогольных напитков (вместо них глотает ложками соду), но курит много, сигарету за сигаретой, гася каждую в пепельнице после нескольких затяжек, и пьет чашку за чашкой кофе, приготовленный в джезве по-турецки. Его общественная деятельность очевидна, всякий это знает, и все же его преследует молва, раздутая, как обычно, театральным людом, поскольку у него молодое и горячее сердце, которое легко разнеживается перед женской красотой (что нельзя считать большим грехом, учитывая среду, в которой он вращается; впрочем, он никогда и не старался притворяться святым, он не страдал тартюфовским лицемерием)».

Действительно, для «молодого и горячего сердца» театральная среда таила в себе много соблазнов. Особенно настойчиво старались завладеть вниманием директора обольстительницы из хора и кордебалета, мечтавшие сделать карьеру самым легким и приятным способом. Примерно год

директор крепился, по-отечески одаривая прелестниц, называвших его «папочкой», лишь мандаринами и сыром пармезаном, которыми всегда были набиты его карманы.

Так продолжалось до тех пор, пока в театре не появилась Любица Д.

В то время ей было около девятнадцати лет. Родители ее, актеры бродячей труппы, скончались очень рано: отец, призванный в австрийскую армию и попавший в плен к русским, умер в Киеве в 1915 году, мать пережила его на шесть лет. Круглая сирота, Любица осталась на попечении бабушки, с которой они едва сводили концы с концами, добывая хлеб насущный рукоделием.

Труппа в Сараевском театре была громадная — около шестидесяти человек. Кроме того, директор создал еще актерскую школу, в которой преподавал и сам. Впрочем, он скоро отказался от своей затеи и прикрыл ее, сказав по этому поводу:

— Искусству нельзя научиться. Его можно только совершенствовать… если есть талант.

Часть учеников была отчислена за неспособностью, а талантливые влились в труппу драматических актеров и в ансамбль оперетты. Среди них была и Любица.

Знакомство ее с директором театра началось едва ли не в первый день учения. Воислав Турински, режиссер оперетты, проводя смотр новому пополнению будущих актрис, велел им приподнять юбки и показать ноги. Ноги женственной Любицы были столь длинны, а форма их столь совершенна, что профессиональный интерес режиссера тотчас сменился чисто мужским, и он тут же попытался обнять и поцеловать вспыхнувшую девушку.

Любица расплакалась и побежала искать защиты у директора театра. Увидев перед собой прелестнейшее существо с громадными серыми, какими-то совершенно прозрачными глазами, тонким правильным носиком, золотистыми вьющимися волосами, шестидесятидвухлетний Бранислав Нушич пришел в восторг и не замедлил оказать Любице свое покровительство.

Нушич влюбился. Это была его последняя и, пожалуй, самая жестокая любовь.

Душа Любицы была мятежной, неистовой. Она никогда не любила «папочку». И любила других. Всякая любовь ее была трагичной. Она могла бежать со сцены и броситься в реку, увидев в зале возлюбленного с другой женщиной. Она изводила Нушича капризами, нервными припадками, и он был готов на что угодно, лишь бы увидеть на лице ее улыбку, услышать снисходительно-ласковое слово. Он исполнял малейшие ее прихоти и не

задумываясь тратил на ее туалеты и забавы все деньги, которые у него были и, как говорили злые языки, которых у него не было…

Ханжи и скаредники, берегущие свое нерадостное спокойствие и невесть для чего набитый карман, наверное, никогда не поймут щедрой натуры Бранислава Нушича, который подобно очарованному страннику, швырявшему под ноги цыганке сторублевых «лебедей», испытывал величайшее наслаждение даже оттого, что имел возможность одарять прекраснейшее из творений природы — любимую женщину. В извечном споре о неразделенной любви (что лучше — любить или быть любимым?) прав тот, кто утверждает, что любовь — это счастье, мучительно-жестокое, но все-таки счастье.

Красота Любицы не была холодной, спокойной. В каждой черте ее прекрасного лица, в каждом движении совершенного тела сквозила нервность и страстность…

Внимания ее домогались самые блистательные мужчины высшего сараевского общества, из-за нее устраивали поединки молодые офицеры. Ее взбалмошность терпеливо сносил директор театра, а скандальная хроника их отношений вскоре стала притчей во языцех. Любица оказалась способной актрисой. Не без содействия господина директора она стала получать заметные роли — Лизы в «Смерти Гоголя» Донадини, Зоны в «Зоне Замфировой», некогда написанной по нушичевскому сюжету… Играла в оперетте, где с блеском пела и танцевала.

В одной из анонимных рецензий, помещенной в местной газете, помимо прочего говорилось о ней и о Нушиче в связи с постановкой комедии Мэннерса «Пег, мое сердце»:

«Г. директор Нушич двинулся по пути так называемого развлекательного репертуара, которым угождает нашей публике, желая постепенно завлечь ее на драму… Это первая большая роль мадемуазель Д. У мадемуазель красивая театральная внешность, довольно хорошая мимика, уверенные движения… Она усердно поработала над своей благодарной ролью. Наш театр получает в лице мадемуазель Д. большое дарование, и ей можно пророчить хорошую театральную будущность…

В постановке заметна заботливая рука режиссера г. Сибирякова, хотя вещь и не годится для режиссерского дебюта. Хотелось бы видеть в постановке г. Сибирякова более сильную вещь».

Среди режиссеров сараевского театра мы встречаем имена Александра Сибирякова и Лидии Мансветовой, часто фигурирующих в переписке Нушича с Евтичем. Русских в Югославии в послевоенные годы было много, более двадцати пяти тысяч человек. Кроме офицеров и солдат белой армии,

которых приютил король Александр, в эмиграции оказалось много писателей, врачей, актеров, художников, ученых. Почти все они тосковали по родине, но, не имея возможности вернуться, честно и много работали и заслужили глубокое уважение югославов.

Нушич общался с известными режиссерами Андреевым, Ракитиным, Верещагиным, бывшими артистами Художественного театра Греч и Павловым. В его доме бывали Лиза Попова и Ксения Роговская, ставшая женой известного композитора Христича. В белградском Народном театре работал художник Леонид Браиловский. Жена его, Римма Браиловская, создала костюмы к постановке исторической трагедии Нушича «Найденыш». Учениками Браиловского были Жедринский, Загоренюк, Исаев, Вербицкий и известнейший югославский художник Сташа Беложански, который оформлял все нушичевские спектакли, кроме «Госпожи министерши» (художник Вербицкий). Юрию Ракитину принадлежит первая послевоенная постановка «Путешествия вокруг света». В опере были известны Холодков, Юренев, в балете — Кирсанова, Фортунатов…

Попытка привлечь публику опереттой, а затем приучить ее к серьезным вещам оказалась несостоятельной. Хотя театр и ставил хорошие пьесы, оперетта постепенно стала пожирать драму. Требовались хорошие оркестранты, роскошные костюмы. В сезон 1926/27 года публика принесла в кассу 2 миллиона динаров. Из них оперетта дала миллион 300 динаров, но истрачены на нее были и те 700 тысяч, которые заработала драма. Театр просил дотации. Оперетту прикрыли, но было уже поздно.

Еще в первый год своего пребывания в Сараеве директор решил усовершенствовать техническое оснащение здания. Городская община обещала 750 тысяч динаров, но когда работы были окончены, обозначился долг в 2 миллиона динаров.

Долги росли, и в поисках выхода из положения Нушич предложил министерству просвещения слить театры в городах Сараево и Сплит в один театр, надеясь этой мерой сэкономить деньги на театральном инвентаре и получить возможность распоряжаться сразу двумя государственными дотациями.

Предложение Нушича приняли, но дотацию оставили только одну. Многих актеров пришлось уволить, что вызвало гнев Союза актеров. Положение еще больше обострилось, когда из-за отсутствия денег в кассе актерам стали выплачивать половинное жалованье. Дело кончилось забастовкой. Актеры покинули театр, и 11 марта 1928 года основали собственную труппу в кафане «Европа». В самом театре разыгрывались неприятные сцены. Судебные исполнители выносили из здания все ценное

имущество. Фоторепортеры публиковали сенсационные снимки.

У Нушича опустились руки. 1 апреля 1928 года он тайком покидает город, в который приехал преисполненный радужных надежд. О том, как встретил его Белград, мы узнаем из письма Нушича Боре Евтичу, после отъезда Нушича исполнявшему обязанности директора театра. Письмо помечено 14 мая.

> «Поверьте, сегодня я впервые сел за письменный стол. Вы и сами знаете, что в Сараеве у меня была депрессия в тяжелой форме, и я едва дождался возможности бежать из той среды и отдохнуть душой. Но никакого отдыха не получилось. Только я приехал в Белград, как мне пришлось пережить смерть доброй старушки, матери моей жены… Похороны, горе в доме, плач и все новые расстройства. Только это прошло, как перевернулся транспорт с вещами, прибывшими из Сараева. Вся моя мебель переколочена, о чем вы, наверно, читали в газетах. Убыток оценивается в более чем 27 тысяч динаров.
>
> А когда я наконец вселился с поломанными вещами в квартиру, меня загнала в постель неимоверная нервная слабость. Вот почему я не выполнил своего первейшего долга и не написал Вам…
>
> Я Вас не спрашиваю, как идут там дела. Знаю, что ничего хорошего и быть не может, раз театр находится в таком тяжелом финансовом положении. Вашим нервам можно только позавидовать, так как после всех неприятностей вы все еще способны трудиться. Я потерял целый месяц и только сейчас начинаю работать. Посмотрим, что из этого получится…
>
> Я не получил жалованья за январь, февраль, март. Я здесь нуждаюсь, так как вынужден жить исключительно на свою пенсию в 2500 динаров ежемесячно, а за квартиру плачу 3000 д. Разве нельзя высылать мне деньги небольшими суммами, в счет неполученного мною жалованья? Как сейчас дела у новой труппы? Есть ли у вас что-нибудь новое в репертуаре? Как с посещением? Раскаиваются ли диссиденты (отколовшаяся и создавшая собственный театр часть труппы. — *Д. Ж.),* что не приняли нашего первого предложения? Что они собираются делать дальше?..»

Денег из Сараева Нушич не получил — их попросту не было в театральной кассе.

ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ
ТРИУМФ И СМЕРТЬ АГИ

Спасое. Идеал, дитя мое, все то, чего человек не может достичь.

«Покойник»

Станойло. …Уничтожены обычаи, уничтожены люди, уничтожена целая жизнь! Новое, как метель, налетает, кричит, орет: прочь с дороги, а не то растопчу!

«Белград прежде и теперь»

…Однажды он, преисполненный восторга и гордости, изложил мне план моего погребения: во главе процессии понесут подушечки с орденами, потом венки, хоругви, потом пойдет хор певчих и так далее…

— Только прошу вас, — прибавил он, — вы уж постарайтесь умереть летом. Летом день длиннее и церемонию не приходится сокращать.

Как видите… я не только примирился с содержанием этой последней главы моей биографии, но и сделал все необходимые приготовления. Теперь мне остается только умереть, чтобы публика, ожидающая конца представления, могла разойтись по домам. Я обещаю вам, что и в этом отношении я сделаю все от меня зависящее.

«Автобиография»

ГЛАВА ПЕРВАЯ
О ПОЛЬЗЕ НЕПРИЯТНОСТЕЙ

Год 1928-й принес Нушичу большие неприятности.

Суд лишил его всех отчислений со спектаклей Белградского и Загребского театров. Белградские сплетники злорадно пережевывали слухи о его сараевских неудачах. Опутанный долгами и отлученный от театрального кипения, Ага чувствовал себя несчастным и никому не нужным. Мучительная нервозность выгоняла его из-за письменного стола и отправляла в продолжительные прогулки по городу. Он заходил в кафаны, заказывал кофе и курил, курил, курил…

В одной из кафан к нему подсел пожилой человек.

— Господин Нушич, из-за вас мой сын провалился на школьном выпускном экзамене.

— Каким это образом? — удивился Нушич.

— Видите ли, экзаменатор попросил его перечислить все, что вы написали, а он не знал и половины.

— Э, друг мой, — сказал Нушич, — да я и сам провалился бы на экзамене, если бы мне задали этот вопрос…

Впрочем, от славы утешение было слабое. Нушич уже чувствовал себя настоящим пенсионером. Во время прогулок его окликали старики, сидевшие на лавочках на бульваре, и заводили разговор о ревматизме. Он слушал их жалобы на болезни и горестно помалкивал. Потом вставал и шел дальше.

— Куда ты? — спрашивают его старики. — Садись, Нуша. Наше дело пенсионерское, спешить некуда…

— Да ну вас, — говорит Нушич. — От ваших разговоров у меня у самого начинают кости болеть… Пойду к молодым.

Заходил в редакцию «Политики» и с наслаждением наблюдал за редакционной суетой.

Неподалеку от редакции, на Теразиях, с которыми были связаны первые детские впечатления, возводились громадные здания, кругом новые вывески, новые фирмы.

После войны в жизни буржуазного Белграда появилась новая черта — чаршия, наживавшая капиталы степенно, отошла в прошлое. Новые дельцы старались нажиться как можно быстрее, не брезгуя никакими спекуляциями, никакими аферами. Нувориши толпились в «Жокей-клубе» и «Аэроклубе», щеголяя утрированными «аристократическими» замашками. Кафаны, отданные теперь «простонародью», в центре города уступали место ресторанам и дансингам.

Пример практичности показал сам король Александр. Его цивильный лист достигал почти 60 миллионов динаров в год и был одним из самых крупных в мире. На всякий случай большую часть денег он перевел в швейцарские банки.

Мало того, монарх скупой и деловитый, Александр был главным акционером одного из крупных банков, владельцем магазинов. Король скупал шахты, золотые прииски. А уголь продавал государству.

Когда по приезде из Сараева Нушич слег, король вспомнил о том, как драматург некогда помогал ему завоевывать симпатии народа, писал речи. Александр справился о больном и послал ему 10 тысяч динаров, которые ушли на уплату самых срочных долгов. Поправившись, Нушич просил аудиенции у короля, но его не приняли, видимо, считая человеком скомпрометированным и конченным.

Больше Нушич никогда при дворе не бывал, а король ни разу не поинтересовался писателем до самой смерти (он пал от руки террориста, подосланного главарем усташей Анте Павеличем и его покровителями гитлеровцами).

Спекуляциями занимаются теперь и бюрократы. Прежние политические партии растеряли даже остатки идейности. Главное — пробиться к власти, отхватить теплое местечко и лихорадочно нажиться. Король и тот жаловался Нушичу, когда еще нуждался в его услугах: «Прежде, когда я разговаривал с человеком, то знал, что говорю с представителем партии, а теперь каждый сам за себя».

Постепенно образовались новые партии и политические коалиции. Но уже на другой основе.

В политике Югославии главным вопросом стал национальный. Сведенные в одно государство сербы, хорваты, македонцы, черногорцы, боснийцы, герцеговинцы, словенцы, из которых 48 процентов было православных, 37 — католиков и 11 — мусульман, жили в обстановке постоянных противоречий. Монархические сербские круги отрицали право других народов на самобытную национальную культуру. Национальные партии — от либерально-буржуазных до фашистской хорватской, созданной евреем Франком и возглавлявшейся Павеличем, — были чрезвычайно деятельны. Страну лихорадило.

28 июня 1928 года произошло трагическое событие. В скупщине правительственный депутат Пуниша Рачич издевательски потребовал произвести медицинское освидетельствование лидера оппозиции хорвата Степана Радича с целью установления его психического состояния. Посыпались взаимные оскорбления. Рачич выхватил пистолет и, не сходя с

трибуны, в упор перестрелял лидеров оппозиции, сидевших в первых рядах.

Следствием этого события были большие волнения в стране, а затем и государственный переворот. Совершил его король Александр, который распустил скупщину и при помощи тайной офицерской организации «Белая рука» установил режим военной диктатуры.

Нушич, всю жизнь занимавшийся пропагандой освобождения и объединения южных славян, с болью наблюдал за неистовствами и сербских и других националистов. Исколесив еще в молодости всю нынешнюю Югославию, он с одинаковой теплотой относился и к хорватам, и к македонцам, и к черногорцам… Австрийцы и турки были врагами, поработителями, нынешние же разногласия между народами одной крови казались ему противоестественными. Сербский национализм, превратившийся в великосербский шовинизм, потерял для него всякую привлекательность.

Остается творчество. Но в театре сейчас застой, публика на спектаклях едва заполняет половину зала. Расплодившиеся кинотеатры по дешевке удовлетворяют вкусы спешащей толпы. Чтобы снова привлечь ее в театральный зал, нужны пьесы, способные выдержать конкуренцию «великого немого».

За театральной площадью начинается торговая Князь-Михайлова улица. Прекрасно одетая публика прогуливается не спеша, глазея на выставленные товары. Нушич больше смотрит не на витрины, а на публику. Такой до войны не было — крикливость костюмов и вульгарность «скоробогачей» и выскочек бросаются в глаза.

Нушич роется в развале перед книжной лавкой Райковича и вдруг замечает на витрине странную пишущую машинку. У нее необычный шрифт — в буковках на клавишах он узнает глаголицу.

— Добрый день, господин Нушич! — раздается за его спиной голос хозяина книжной лавки Светы Райковича. Нушич рассеянно приветствует его своим характерным жестом — прикасается указательным пальцем к полям котелка.

— Вы забыли меня, — продолжает Райкович, — а мы, господин Нушич, знакомы еще по Скопле…

— Скажите, ради бога, — перебивает его драматург, — где вы приобрели такую забавную машинку?

— Видите ли, эта машинка у меня для рекламы, — объясняет Райкович. — Я заказал ее в Германии, там заменили обычный шрифт каллиграфическими старославянскими буковками…

— Давайте посватаем мою старенькую машинку системы

«Ундервуд» за вашего старославянского молодца, — шутит Нушич.

— Ну, раз так, — радостно говорит Райкович, — зайдите ко мне в лавку, поговорим о приданом.

Писатель и книготорговец мгновенно почувствовали симпатию друг к другу, и это было предвозвестием большой дружбы.

Нушич попросил у Райковича разрешения написать кое-какие деловые бумаги. Ему приходилось подрабатывать теперь на жизнь, пришлось вспомнить старую профессию — право, которым он не занимался уже несколько десятков лет.

На другой день в час открытия лавки Нушич был уже у ее дверей и спрашивал приказчика:

— Хозяин пришел?

— Сейчас будет.

— Тогда приготовь две чашки кофе, — распорядился Нушич и прошел в небольшую комнатку, отделенную от лавки стеклянной стеной.

Вскоре пришел Райкович.

— Кто у вас работает за вторым столом? — спросил Нушич, и, когда выяснилось, что второй стол пустует, писатель попросил «сдать» ему это место. Райкович, человек добродушный и общительный, охотно согласился, чтобы Нушич работал у него в кабинете. В тот же день Нушич написал за этим столом юмореску, которую приказчик по прозвищу «Ципеллин» отнес в редакцию «Политики». Гонорар за юмореску был первым взносом в «кофейный фонд» — чашку кофе получал всякий знакомый Аги и Райковича, наведывавшийся в лавку.

В течение последующих лет лавка Райковича была веселым клубом столицы, рабочим кабинетом юмориста. Здесь он написал серию очерков «Из полупрошлого», детский роман «Хайдуки» и свои лучшие комедии. Год 1928-й в жизни Нушича можно считать переломным, а для его творчества — счастливым.

Неприятности обернулись удачей. Помаявшись, Ага засел за письменный стол. Ему было уже почти шестьдесят пять лет, но он сказал себе: «Посмотрим, что из этого получится». За оставшиеся девять лет жизни он написал семь комедий, и почти все они вырвались на широкий простор мировой сцены.

Может быть, все, что делал Нушич прежде, было ошибкой? Дипломатическая работа, руководство театрами, журналистика на износ, сочинение псевдоисторических трагедий… Не лучше ли было продолжать то, с чего начал девятнадцатилетний студент, прочитавший свою первую комедию друзьям под ореховым деревом в саду у Иличей?

Первые комедии были талантливы, но, что бы ни говорили исследователи, все-таки подражательны. Очевидно, надо было пройти весь путь, сложиться в особое явление, в Нушича, чтобы приступить к созданию собственной драматургии, заговорить языком самобытным и в то же время понятным и близким миллионам людей.

Теперь он знал жизнь со всех ее сторон, знал людей, знал, как никто другой, законы сцены. Замыслы по-прежнему обступали его плотной толпой, торопили, подталкивали под руку, только писать теперь было намного труднее, потому что относиться к написанному он стал гораздо строже. Появилось стремление к недосягаемому совершенству, стремление мучительное, но вкупе с поразительной способностью к выдумке, усидчивостью и, конечно же, непревзойденным чувством юмора, оно давало добрые результаты, порой неожиданные даже для самого драматурга.

ГЛАВА ВТОРАЯ
«ГОСПОЖА МИНИСТЕРША»

За стеклянной перегородкой у Райковича в том же 1928 году родилась первая (после перерыва в семнадцать лет) многоактная комедия. Называлась она «Госпожа министерша».

Задним числом Нушич иногда пытался объяснить мотивы, которыми он руководствовался, работая над той или иной комедией. «Объяснил» он потом и «Госпожу министершу». И если на минуту забыть, что такие объяснения — тоже литературные опусы, то ход рассуждений, приведших к замыслу «Госпожи министерши», предстает перед нами в стройном и исчерпывающем виде.

Драматург приглашает читателя внимательно приглядеться к тому, что происходит вокруг, и заметить, что в жизни всякого общества ясно обозначается одна «твердая и ровная линия». Предвидя появление «социальных математиков», Нушич говорит, что они бы назвали эту линию нормой поведения, а «социальные физики» — первоначальным, «нулевым» градусом, от которого отсчет ведется вверх или вниз.

Общество движется по этой ровной линии. Лишь единицы не ждут, когда «ртуть в общественном термометре нагреет внешняя температура». Подогреваемые собственным пылом, они достаточно смелы, чтобы подняться над «линией», быть благородными, возвышенными. Подлецы, негодяи, насильники, клеветники, убийцы тоже смелы.

> «Одинаковая смелость требуется как для того, чтобы подняться ввысь к солнцу на несовершенной машине Икара, которую усовершенствовал наш век, так и для того, чтобы опуститься в водолазном панцире на ил морского дна.
>
> У тех людей, которые возносятся над ровной линией жизни или опускаются под нее, есть и большой размах, большие волнения и большие эмоции. Государственный деятель с трепетом стоит перед судом истории, так как он вел государство и народ путем, оказавшим влияние на их дальнейшие судьбы; великий финансовый деятель с лихорадочным возбуждением стоит перед биржей, где в этот час или увеличится втройне, или погибнет его миллионное состояние; у полководца дрожит каждый нерв от возбуждения, когда он ведет армию в

решительный бой; поэта возбуждает вдохновение; художника — процесс созидания; ученого — то неведомое, что должно быть открыто. Это все великие чувства, великие эмоции, великие движения души.

Сильные побуждения, сильные эмоции и сильные движения души есть также и у тех, кто опускается ниже нормальной линии. Разбойник бывает возбужден более всего, когда он вонзает окровавленный нож в грудь своей жертвы, насильник дрожит и трепещет перед судом; распутная женщина страдает от клейма презренья; а отступник под виселицей переживает множество чувств — от боли и тоски до самоотрицания и апатии.

В эти области, области сильных чувств, сильных эмоций и сильных движений души — будет ли это над или под линией, — драматург охотно проникает, так как здесь он может всегда найти глубокие источники, откуда он извлечет богатый и обильный материал. Потому и наибольшее число драм берется из этой области.

Гораздо труднее между тем искать и находить материал в мелкой среде, в том обществе, среди тех людей, у которых нет ни силы, ни храбрости отойти от ровной линии жизни вверх или вниз; среди тех людей, у которых нет сил быть хорошими, а также нет храбрости быть дурными, среди тех, которые связаны и опутаны мелкими условностями и являются рабами устарелых традиций и все существо которых являет собой малодушие. Жизнь этой среды течет однообразно и размеренно, как качается маятник на стенных часах; движения в этой среде незначительные, тихие, без волнения, без глубоких борозд, без заметных следов, они подобны легким волнам, которые расходятся кругами по стоячей воде, если на поверхность ее упадет птичье перышко.

В этой среде нет ни бурь, ни непогоды, ни землетрясений, ни пожаров; эта среда ограждена плотной стеной от бурь и ветров, которые волнуют общество. Она живет в своих комнатах, улица для нее целый мир, заграница; события, потрясающие континенты, — для нее только газетное чтение.

В этой среде, не отделяющейся от ровной линии жизни, нет событий, нет эмоций, нет сенсаций. „Нынче день рождения тети Савки“ — вот событие в этой среде; и все в этот день суетятся, бегают, одеваются, покупают букеты, пишут поздравления, наносят визиты. Это

событие, целое событие. „Мила дяди Стевы оставила мужа“. — „Ию, ию, ию, — вся родня бьет себя в грудь, — что скажут люди?“ Вот та эмоция, которая волнует всю родню, но это волнение вызывает не столько причина, которая заставила Милу оставить мужа, сколько то, „что скажут люди“. А знаете ли вы, что такое сенсация в этой среде? „Сноха Зорка родила близнецов!“ И эта сенсация переходит из дома в дом, о ней только и говорят, рассказывают, толкуют, и эта тема заполняет целиком интересы какой-нибудь семьи и целой среды. Пера получил повышение, Джока заболел, Стева выдержал экзамен, Йову перевели, госпожа Мица купила новую спальню, госпожа Савка остригла волосы, госпожа Юлка сшила новое платье из крепдешина, у родственницы Мацы подгорела сдобная баба, а родственница Анка истратила на вечеринку 170 динаров. Вот это сенсации, это эмоции и события в мелкой среде.

И вот отсюда, из этой-то среды, взяв за руку, я выхватил одну хорошую жену и хорошую хозяйку — госпожу Живку Попович и вознес ее нежданно-негаданно над ее нормальной линией жизни. Такое нарушение равновесия на весах жизни может повлечь за собой нарушение равновесия у людей этой среды, и они не в состоянии удержаться на ногах».

Госпожа Живка Попович не хватает звезд с неба. Муж ее, добросовестный чиновник, получает жалованье, которого едва хватает на жизнь. Приходится выкручиваться, делать мелкие долги «до получки», перелицовывать старую одежду…

Но вот сорванец сынишка приносит новость о демонстрации на Теразиях. Там «все еще дерутся, и правительство должно подать в отставку, потому что убили одного рабочего, а троих ранили». В мирную жизнь семьи врывается эпоха. Многих критиков сбивала с толку пометка Нушича: «Действие комедии происходит на рубеже прошлого и нынешнего веков». Нет, это уже 20-е годы. Это чувствуется и по лексике комедии. Но в том-то и неувядаемость нушичевской драматургии, что зритель находит в ней прежде всего жизненные ситуации и характеры, которые не меняются с переменой правительств и режимов.

Скромному мужу госпожи Живки внезапно предлагают министерский портфель. Есть от чего закружиться голове бедной женщины. О чем думает обыватель, изредка вспоминая о тех, кто им правит? Прежде всего о привилегиях сильных мира сего. Об их большом жалованье, роскошных загородных виллах, обнесенных

высокими заборами, персональных средствах передвижения. Он говорит об этом с жгучей завистью… и только. Он находит несправедливым такое распределение жизненных благ только потому, что сам обделен. Случись ему стать «слугой народа», и он тоже без всяких угрызений совести будет пользоваться всем, что дает высокое положение. Поэтому естественна первая реакция новоиспеченной министерши.

— Распорядись, чтобы сразу после обеда, в четыре часа, сюда подали министерский экипаж.

— А зачем он тебе? — спрашивает муж.

— Оставь меня, пожалуйста! Я хочу три раза прокатиться от Калемегдана до Славии, а после этого хоть умереть.

Но Живка не умирает. Перед ней обширное поле деятельности, на котором может проявиться тщеславие и невесть где скрывавшаяся доселе эксцентричность.

Она запрещает своему сыну дружить с уличными мальчишками и велит играть только с сыном английского консула. Она заказывает сотни визитных карточек, которые фиксируют перемену простонародного имени Живка на элегантное Живана. Она ставит себе на здоровый зуб золотую коронку. Она принимает секретаря министерства иностранных дел Нинковича, который считается официальным любовником всех министерш по очереди и учит их светскости.

— Уверяю вас, сударыня, вы сможете стать светской дамой, дамой высшего общества, ин фам ди монд, только играя в бридж, куря и имея любовника…

И, наконец, она решает, что муж дочери, мелкий чиновничек и порядочный прохвост Чеда, не пара ее дочери. Уверившись в собственном могуществе, она собирается выдать замужнее чадо за почетного консула Никарагуа, а в миру — богатого торговца кожами Тодоровича.

Намечается сплав комедии характеров и комедии нравов. Но Нушич не был бы Нушичем, если бы все это не вписывалось органично в комедию положений.

Мастер сюжета начинает плести интригу.

Госпожа министерша сообщает зятю, что отныне «он освобождается от должности» мужа ее дочери. Но дочь не соглашается расходиться со своим супругом. Она его любит и расстанется с ним только в том случае, если он ей изменит. Ах так! У госпожи Живки готов план. Она подговаривает служанку завлечь к себе в комнату зятя Чеду и заставить его снять пиджак, Далее события развиваются в головокружительном темпе. Зять перехватывает розовое надушенное письмо, которое пишет по добровольно взятой на себя обязанности «любовник»-дипломат, и

случайно встречается с женихом своей жены «почетным консулом Никарагуа». Выдав себя за дядю собственной жены, он выведывает план госпожи Живки, а потом, напугав жениха своей жены рассказом, будто бы муж, то есть он сам, купил револьвер и ищет соперника, вталкивает торговца кожами в комнату служанки. Госпожа министерша получает известие, что мышь в мышеловке, вызывает полицию для составления акта и… в присутствии многочисленных свидетелей и дочери находит там не зятя, а человека, которого прочит в мужья своей дочери, да еще без пиджака, потому что в комнате специально жарко натопили.

На другой же день газеты делают скандал достоянием города. Госпожа министерша получает отставку у «любовника», а господин министр — у короля.

Живка уже успела перевести зятя, который всю ее «судьбу измолол, как мясо для фарша», в провинцию, и он уезжает туда с ее дочерью. Экс-министерша в отчаянии, рухнуло все — персональные экипажи, поездки в салон-вагонах на курорты, и все из-за этого пентюха-мужа, который почему-то подал в отставку. Теперь ей не нужно «соблюдать хороший тон», и она сочно честит всех, включая хохочущую публику. Ничего, не сегодня-завтра она снова будет министершей.

Нушич нередко писал роли, имея в виду определенных актеров. Теперь он тоже заранее решил, что роль Живки должна играть знаменитая актриса Жанка Стокич. Он словно воочию видел Жанку, слышал ее интонации, когда писал пьесу.

Как и «Дядюшка» Илья Станоевич, она была любимицей театральной публики. Как и он, актриса училась у жизни, выхватывала свои типы прямо из белградской среды, перенося их с улицы на сцену. К тому времени, когда ей досталась роль госпожи министерши, Жанка уже около тридцати лет выступала на подмостках.

О жизни Жанки Стокич известно немногое. Не сохранилось ни дат, ни точных сведений о происхождении этой замечательной актрисы, яростной картежницы и прожигательницы жизни. По рассказам, детство она провела в доме попа-расстриги Санды, который взял ее мать-вдову к себе «экономкой». Крестьянка прибилась к попу, когда ее дочке Живане было всего пять лет. Годами девочка наблюдала дикие сцены пьяного разгула, азартной игры, неистовых драк и примирений между попом и его сожительницей, пока в четырнадцать лет не вышла замуж за портного из города Заечара. Очень скоро она исчезла из дому. Портной нашел ее у актера бродячей труппы, гостившей в городе, и привел домой, основательно измолотив по дороге. Жанка бежала во второй раз, как только в город прибыла новая труппа.

Теперь уже она нашла более стойкого покровителя — «первого любовника» труппы Ацу Руцовича. Она стирала любовнику белье, а он учил ее актерскому мастерству. Вскоре ей пришлось подменить заболевшую актрису. Это было в 1902-м. Муж-портной ходил вокруг театра и требовал выдачи беглянки, но Жанка, насмотревшись мелодрам с громкими тирадами в защиту бедных сирот от жестоких угнетателей, верила, что труппа не даст ее в обиду. Не дал ее в обиду актер, серьезно влюбившийся в страстную, порывистую Жанку. Они вместе перешли в другую труппу. И начались скитания по театрам с новыми ее спутниками, которые, едва успев вкусить рай Жанкиной страсти, получали отставку…

В 1911 году она поступила в белградский Народный театр и там, вероятно, познакомилась с Нушичем. Жанка не была универсальной актрисой. Лучше всего ей удавалось играть в комедиях Мольера и Нушича. Разучивая и репетируя роль, обычно она сама интуитивно находила интонации и жесты. И никогда не ошибалась. Но если режиссер настаивал на своей интерпретации, а она не понимала его или была не согласна с ним, актриса приходила в состояние нервной неуравновешенности и терялась. В отличие от актеров, которые больше доверяют разуму, чем чутью, и способны весело болтать перед выходом на сцену, Жанка всякий раз, хотя бы и в пятидесятый, так бывала взвинчена, что никто не осмеливался заговорить с ней.

На генеральной репетиции «Госпожи министерши» Жанка не понравилась Нушичу. Роль была написана для нее, но чувствовалось, что актрисе что-то мешает. Она как-то тушевалась, держалась на сцене деревянно. Драматург мгновенно догадался, что на репетициях ее «ломали».

Первый постановщик «Госпожи министерши» Йосип Кулунджич писал: «Нушич относился к людям доброжелательно и доверял им. Он не любил вмешиваться в работу режиссера. Он даже не присутствовал на репетициях, а на генеральной репетиции молчал, не делал замечаний. Сначала это казалось очень неприятным. Даже после премьеры он ничего не говорил. Только раз, после особенно успешного спектакля, он подошел ко мне, пожал руку и сказал: „Я верил в вас!“»

Предчувствуя провал, Ага по возвращении домой тотчас попросил дочь сходить к Жанке и убедить ее, чтобы она играла так, как хочет, а не так, как ее заставляют. Пусть никого не слушает.

Гите долго не открывали дверь квартиры. Наконец она увидела Жанку, хмурую, злую.

— Чего тебе? Сказать хочешь. Ничего не хочу слышать. Садись, пей кофе и уходи.

Разговора не получилось.

Тревога Аги все росла. Нервозность Жанки тоже. Пока не поднялся занавес, она непрерывно чесала руки, раздирая их до крови.

Но вот первая реплика:

«Живка *(стоит у стола, на шее у нее висит сантиметр, в руке большие ножницы; приложив ножницы к губам, задумалась, глядя на брюки)*. Смотрю, как бы скроить, чтобы обойти вот это протертое место».

Жанка произнесла эту реплику не сразу. Холодок ножниц у губ успокоил ее. Фраза получилась сочной. Родилась Живка — рачительная хозяйка, а к концу первого акта — темпераментная министерша.

В антракте Жанка Стокич попросила разыскать Гиту. Когда Гита передала ей слова Аги, она довольно воскликнула:

— Да я так и играю! Эх, почему я не узнала об этом раньше! Извелась вся, чуть жива. Последние дни я сама не своя была от бешенства.

25 мая 1929 года стало днем триумфа Жанки Стокич и Бранислава Нушича. Премьера шла под непрерывный хохот публики. С тех пор Жанку называют «нушичевской актрисой». Кто видел спектакль с Жанкой Стокич, повторявшийся сотни раз, все говорят, что лучшей «госпожи министерши» не было, нет и не будет.

30 сентября 1934 года «нушичевская актриса» получила от драматурга письмо:

> «Дорогая Жанка,
>
> у нас с Вами сегодня маленький интимный праздник. Моя МИНИСТЕРША будет показана сегодня вечером на белградской сцене в сотый раз, и Вы в сотый раз выступите в этой роли перед белградской публикой.
>
> События могут менять режимы, кризисы могут раскачивать и свергать кабинеты; Вас не может свергнуть никакой кризис, Вы остаетесь министершей, единственной министершей, навек министершей. Быть в сотый раз министершей — это рекорд, которого до сих пор никто не устанавливал, кроме Вас, вы имеете все качества, необходимые в жизни для рекордов.
>
> Позвольте мне сегодня вечером, при сотой встрече, пожать дружески руку. Давайте с глазу на глаз, тихо, незаметно, поздравим друг друга с этим нашим

маленьким совместным торжеством.

Преданный Вам Бранислав Д. Нушич».

Это был сотый спектакль в Белграде. «Госпожа министерша» уже не только обошла почти все театры Югославии, но и появилась в столицах других стран, словно бы претворяя в жизнь мечту Живки Попович о роскошной жизни и заграничных поездках.

В январе 1933 года после премьеры «Госпожи министерши» в Пражском народном театре актрису Балдову, игравшую роль Живки, режиссера Звонимира Рогоза и других вызывали двадцать пять раз. Получив это радостное известие, в апреле на двадцать пятый спектакль в Чехословакию приехал Нушич.

Он сидел в директорской ложе. Рогоз, игравший Нинковича, забежал к нему в перерыве между выходами. Нушич смотрел на публику, веселившуюся от души. Рогоз спросил его: «Ну, мастер, как вам это нравится?» А в зале публика смеялась и аплодировала очередной шутке. «Очень нравится. Вы только посмотрите на публику, это же удивительно!» Немного погодя он обернулся и спросил Рогоза: «Скажите… а это я написал?» — «Да, мастер». — «Значит, хорошо написал!»

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
«МИСТЕР ДОЛЛАР»

Жить стало немного легче, когда Нушич получил почетную должность заведующего библиотекой скупщины. Во многих странах парламентскими библиотеками заведуют известные писатели. Место это — чистая синекура. Ага почти не показывался на службе, а оставался дома или шел работать за стеклянную перегородку к Райковичу.

Закончив «Госпожу министершу», он сразу же приступил к новой комедии. На этот раз уже по замыслу своему сатирической. Что явствует даже из названия — «Мистер Доллар».

Общество, выведенное в ней, уже совсем не похоже на обычную патриархальную среду нушичевских комедий. Драматург не любил новое «высшее» общество послевоенных скоробогачей и преуспевающих бюрократов. Редко бывал в фешенебельных клубах. Светскую хронику поставляли ему газеты и дочь с зятем, вращавшиеся в самом разнообразном обществе.

Действие «Мистера Доллара» протекает в клубе «Элита». Его завсегдатаи не имеют имен, так как герои комедии не они. Герой ее «мистер Доллар», а они лишь безликие слуги золотого тельца. Толпа, поклоняющаяся «желтому дьяволу».

Однако комедия не тот жанр, когда можно отделаться голой абстракцией, персонажами, лишь обозначающими явления. Одному из господ, собирающихся в клубе, все же дается имя. Господин Маткович бродит среди праздно болтающей и сплетничающей светской черни, он плоть от плоти ее, но сейчас он недоволен, ущемлен, разочарован и потому резонерствует, оповещая зрителей об активной нушичевской неприязни ко всей этой грязной пене, вынесенной на поверхность волной капиталистического бума:

> «— Вы заметили, как человек, поднимающийся в высшее общество, постепенно теряет человеческое достоинство? Казалось бы, человек должен терять достоинство, когда он опускается вниз. Но не тут-то было — происходит обратное…
>
> — Наши дамы становятся передвижными выставками вечерних туалетов, а наши мужчины теряют свои имена и обезличиваются. Вы слышали, что говорил Жан об этом пожилом господине? Никто не знает, кто он и как его зовут. Известно лишь то, что у него сто

шестьдесят тысяч динаров ежемесячного дохода. И этого достаточно. Никто у него даже не спросит ни имени, ни фамилии. Точно так же и со всеми остальными. Вот об этом, если вы спросите, вам скажут: „Это Господин из порядочной семьи“. А вот про того — „Господин с хорошими связями“. А это — „Господин, ожидающий богатое наследство“. Ну, а этот вот — „Послевоенный господин“. Есть тут и господин, о котором ходят всякие нехорошие слухи. Говорят, будто у него темное прошлое. Но от таких разговоров ему ни холодно, ни жарко; если его настоящее подкреплено хорошими доходами, то прошлое очень легко забыть. Вот, например, взгляните на этого господина. Когда-то он был замешан в одной очень крупной спекуляции, а его сосед прославился умением составлять фальшивые отчеты, а вот тот, третий, давно уже лишен права участвовать в каких-либо финансовых операциях. Но все это было давно, а сейчас они уважаемые и добропорядочные господа, которых всюду хорошо принимают…

— Вы, вероятно, думали, что к членам Элит-клуба должны предъявляться „сверхповышенные“ требования? Нет. Для нас достаточно, если человек имеет трехэтажный дом и автомашину „кадиллак“. Вот вам и все условия!»

Господин Маткович получил наследство, которое дает ему возможность вести беспечную жизнь, но оно оказалось не настолько велико, чтобы удержать привязанность его невесты Нины, отдавшей предпочтение более богатому наследнику. И тут озлобленному Матковичу подворачивается случай отомстить и бывшей невесте и всей этой расфуфыренной толпе, помешанной на деньгах…

Клубный лакей Жан получает из Америки извещение о смерти родственника и наследстве в сто долларов. Жан не умеет читать по-английски и обращается за помощью к Матковичу, у которого мгновенно созревает в голове план мистификации. Он объявляет за ужином, что Жан получил наследство в три миллиона долларов.

Господин Маткович знал, что делал. В мгновение ока Жан возносится в глазах клубной публики на недосягаемую высоту. Только что его обзывали «скотиной», минуту назад он получил расчет за то, что опрокинул бокал с вином на платье Нины, бывшей невесты Матковича, и вот уже толпа торопится заручиться дружбой миллионера, Нина готова еще раз сменить

жениха…

Все забыли, ради чего пришли. Напрасно ждет внимания старый профессор, которого должны были чествовать. А профессор говорит об этике, о которой забывают в век материализма и механизации, о том, что «техническая наука изыскивает все новые и новые средства для удушения культуры». Ни книги, ни идеи старика никого не интересуют, как не интересовали критиков Нушича идеи, высказанные им в «Мистере Долларе», тридцать лет назад. Напрасно! Симптомы, замеченные писателем, ныне выросли в проблему…

Симпатии Нушича на стороне Жана. Бывший лакей после провозглашения его миллионером не приобрел никаких выдающихся качеств. Он по-прежнему любит свою Маришку, мечтает о приобретении маленькой кафаны и тяготится своим новым положением. Но в глазах общества эта единица, к которой присоединили полдюжины нулей, становится вместилищем самых разнообразных талантов, каждое его слово попадает в газеты, «госпожа советница с репутацией» с одобрения своего супруга «господина советника без репутации» идет на интимное свидание к бывшему лакею только для того, чтобы получить меховую шубку.

«Доллар, мистер Доллар — властелин мира!» — восклицает Маткович. Ему вторит «деловая женщина», убежденная, что на деньги можно купить не только дом, автомобиль, но и «положение в обществе, честь, совесть и вообще все, что продается».

И вот общество узнает, что его разыграли, и мгновенно отворачивается от Жана. Но Маткович удовлетворен, он мстительно клеймит завсегдатаев клуба «Элита»:

> «— Ну, уж тут, господа, я ни при чем. Напрасно вы пытаетесь переложить на меня всю вину. Да, я допустил ошибку, я неправильно перевел письмо, я объявил, что Жан миллионер, но я никого не заставлял ему кланяться, никого не принуждал приходить на тайные свидания, устраивать в его честь чаи, проектировать браки, пить с Жаном на брудершафт, избирать его почетным членом ваших обществ, называть его именем улицы, корабли, шляпы, провозглашать ему хвалебные тосты, стряхивать пылинки с его воротника, называть его „всемогущим благотворителем“, „великим гражданином“, „национальным деятелем“ и кричать „живео“. Нет, уважаемые господа, этого я вам не предлагал. Уж если я и положил на стол кусок сахара, то, смею вас уверить,

мух слетаться на него я не уговаривал».

Кончается комедия патетически. Разбегаются разочарованные господа из клуба «Элита», Маришка и Жан трудятся в приобретенной стараниями Матковича кафане, а сам Маткович провозглашает:

> «Счастье без труда — сплошная ложь. Только труд — единственная прочная основа настоящего счастья! *(Издали доносится фабричный гудок.)* Слышите? Фабричный гудок — это тот же колокол, который зовет к заутрене. Верующие, молитесь! Но молитесь не золотому тельцу, а благородному хозяину мира — почтенному труду. Взгляните, при первых лучах восходящего солнца расползается туман и исчезает мрак. Там, вдали, идут люди, много людей — мужчины, женщины, дети, — они идут навстречу заре. Они тоже верующие. Мозоли на их руках заменяют им хоругви, им не нужны золотые паникадила. Они верят в труд. И только они, люди, верящие в труд, смогут разрушить безбожное царство мистера Доллара!»

На радость современным литературоведам, в этих пространных репликах высказано так много общеизвестных истин, и притом так недвусмысленно, что невольно хочется изъясниться слогом современных критиков и воздать должное «прогрессивному и честному художнику, написавшему значительное и острое произведение», «увидевшему в труде силу, способную изменить человека и разрушить буржуазный строй». Все это несомненно. Но почему же тогда комедия «Мистер Доллар» даже в нашей стране, стране победившего труда, в театрах которой с неизменным успехом одновременно идет до полудесятка комедий Нушича, не нашла своего сценического воплощения? Почему, поставленная в 1932 году в Белграде, она быстро сошла со сцены?

Да потому, что правда, даже откровенная, высказанная прямо в лицо, не может заменить собой правдивого искусства. Проще всего можно убедиться в этом, сравнив недолговечного «Мистера Доллара» с бессмертной «Госпожой министершей».

И в той и в другой комедии речь идет о власти над людьми, которую дает либо общественное положение, либо деньги. Это излюбленная тема Нушича. Но всякий раз он решает ее по-разному.

Создавая царство «Мистера Доллара», драматург подгоняет под готовую идею и действие и типы. Так творят агитки-

однодневки. Во всей комедии нет ни единого живого человека, каждый несет определенную идейную нагрузку, вещая либо мнение автора (Маткович), либо авторское представление о «высшем обществе» (члены клуба «Элита» — «послевоенный господин», «госпожа советница с репутацией» и др.). Нушич совсем не знает их, вся эта «элита» — плод рационалистического конструирования, которое современными структуралистами выдается за сам творческий процесс. При таком соседстве даже симпатичные Жан и Маришка начинают складываться из стандартных деталей опереточного арсенала. А какими же им быть, если приходится на протяжении четырех действий разговаривать с безликими манекенами?

Было бы несправедливостью по отношению к Нушичу совершенно зачеркивать его «Мистера Доллара». Опытной рукой он ведет действие комедии, ни один из сюжетных ходов не повисает в воздухе, комедийные ситуации смешны, и все-таки… он сам бы отдал за одну сцену из «Госпожи министерши» всего «Мистера Доллара». Госпожа Живка, живая Живка бранится, рыдает, важничает, раздает оплеухи, строит козни и зарывается вовсе не потому, что ей надо доказать тезис автора «о загнивании бюрократического аппарата в эпоху усиленного развития капиталистических отношений и обострения классовой борьбы в странах Балканского полуострова в первой трети XX века».

Он видел в своей жизни сотни Живок, он превосходно знает их психологию, манеры, лексикон, интонации. Вся речь его любимых героев интонационно насыщена, при произнесении каждой реплики так и просится жест. Не надо быть особенно наблюдательным человеком, чтобы уловить нушичевские интонации в речи современных нам белградских женщин, их восклицания, жесты. Порой, читая пьесу, чудится, будто самим расположением слов Нушич передает низкий тембр их голосов.

Может быть, его министерша слишком локальна, может быть, она белградский уникум? В таком случае почему «Госпожа министерша» неизменно делает полные сборы и в других странах?

Да именно потому, что эта комедия — шедевр национальной драматургии, а все подлинно национальное достоверно для любого человека в любом уголке земного шара. Потому, что в этом, и только в этом, высшая правда искусства.

Что же касается «условий загнивания», то и они есть. Только их никто не декларирует. Вдумайтесь — Живка, став министершей, мгновенно заболевает доморощенным снобизмом, у нее появляется невыносимая спесь, она считает для себя возможным вмешиваться в государственные дела и раздаривать

родственникам и знакомым привилегии и чины… Откуда все это? Не сама же изобрела. Значит, она кого-то копирует, но только делает это по простоте душевной откровенно, считая, что таковы нормы поведения людей, на которых она прежде смотрела снизу вверх. Так оно, между прочим, и есть. Но в жизни «загнивание» задрапировано вуалью такта, смягчено лоском манер, которых недостает Живке.

Простота Живки срывает покровы с всего и вся, и тут уже не нужны никакие декларации и пояснения. И зритель, наблюдая с живейшим интересом за Живкиной «эпопеей», как бы вводится за кулисы, откуда видна убогая изнанка роскошных декораций.

Но хватит о Живке… Драматург сидит за стеклянной перегородкой в лавке Райковича и пишет новую комедию.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
«ГОСПОДИН АКАДЕМИК, ВАШИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ…»

Нельзя сказать, что лавка Райковича была спокойным местом для работы. Целый день в лавку заходили покупатели, то и дело писателя навещали здесь друзья. Он бросал перо, прерывая фразу на полуслове, заказывал кофе, шутил, рассказывал, а когда «пришельцы» удалялись, снова брал перо и как ни в чем не бывало продолжал прерванную работу.

Писал он всегда все одним и тем же пером. Перо было отвратительное — приходилось по нескольку раз макать им в чернильницу, для того чтобы написать единственную фразу. Один из молодых писателей выразил удивление, почему он не сменит перо.

— Э, дорогой друг, — сказал, посмеиваясь, Нушич, — тем временем, пока я напрасно пытаюсь начертить этим дрянным пером буковку и все вожу им по одному месту, у меня сочиняется нужная фраза и находится самое ловкое слово.

— А я думал, что вы из-за этого пера только время теряете, — сказал молодой писатель.

— Спешить не надо, — задумчиво произнес Нушич. — Важно работать непрестанно, терпеливо, заниматься делом, за которое взялся…

А вот разговор еще с одним писателем — Божидаром Ковачевичем.

— Удивляюсь, господин Нушич, почему вы целые дни проводите в этой комнатенке у Райковича, где вас постоянно беспокоят и сосредоточиться невозможно. Дома же работать спокойней.

— Дорогой мой, я бы и дня не прожил в одиночестве, — сказал Ага. — Поверьте, я бы ничего не мог написать, если бы не слышал шума улицы, если бы не видел все новые лица, если бы мне не о кем было выпить кофе и перекинуться самым обыкновенным житейским словом.

Росли стопки больших листов бумаги, исписанных бисерным неразборчивым почерком. Каждая строчка к концу непременно изгибалась книзу.

Заметив, что Нушич любит писать на линованной бумаге, Райкович однажды спросил его:

— Почему это, господин Нушич, вы всегда пишете на линованной бумаге — ведь вы все равно этих линий не

придерживаетесь?

Нушич рассмеялся.

— А это, господин Стева, чтобы было наглядно, насколько я в своих писаниях отступаю вправо или влево от линии!

Устав, Нушич для развлечения выходил в лавку и помогал покупателям выбирать книги. При этом он говорил:

— Вы уж доверьтесь моему вкусу!

— Да из вас, господин Нушич, получился бы прекрасный торговец! — сказал как-то Райкович.

— Видно, отцовская кровь дает себя знать, — весело отвечал тот.

Первый постановщик многих комедий драматурга, режиссер Йосип Кулунджич, вспоминал:

«Сам Нушич, который ходил в театр только на генеральные репетиции и премьеры своих пьес, часто говорил, что любит писать в лавке у Райковича, потому что чувствует себя, как в театре: через стеклянную стену, отделявшую контору Райковича от лавки, он рассматривал покупателей, наблюдал их движения, жестикуляцию, мимику, словно в немой сцене, и пытался воображением наделить типичными особенностями каждого…»

Уже недалек был и семидесятилетний рубеж, но Ага был все тот же — худощавый, подвижный, остроумный. Он — душа всех начинаний культурной жизни столицы, непременный председатель или член правления творческих союзов, различных обществ.

И он по-прежнему влюблен в Любицу Д. Она вышла замуж за актера и тоже переехала в Белград. Нушич бывает в их доме. Ему дозволено любоваться красотой молодой хозяйки и делать богатые подношения. Щедрость его настолько велика, что Любица с мужем получают возможность открыть собственный театр — джаз-оперетту «Жужу».

Если до сих пор домашние Аги еще как-то мирились с этой «внебрачной прогулкой», то теперь, получив весьма вещественные доказательства его глубокой привязанности к молодой актрисе, они забеспокоились. Взялась «спасать» Агу его дочь Гита, старавшаяся скрывать от ревнивой Даринки увлечение отца. Она пробовала поговорить с самой Любицей. Такие переговоры обычно обречены на неудачу — Любица «сделала большие глаза», и Гита ушла ни с чем.

Тогда она подступила к самому Аге и прижала его к стенке жестким требованием — если уж он увлечен настолько, что не может жить без «этой женщины», то пусть расскажет все матери и разведется с ней. Ага воспринял это без всякого юмора. Он вдруг задумался в сказал:

— Неужели ты думаешь, что я мог бы разрушить брак после всего того, что он дал мне за сорок лет?

Ага не поскупился на заверения, что порвет связь, нежелательную семье.

Вечный должник вдруг получил заманчивое предложение. Известный белградский издатель Геца Кон усмотрел выгоду в издании собрания сочинений Бранислава Нушича. Он даже обязался уплатить самый срочный долг Аги — около 30 тысяч динаров.

— А не рано ли, господин Кон? — мрачно пошутил Ага. — У нас собрания сочинений издают обычно, когда писатель уже обеими ногами в гробу, а я — лишь одной…

Наконец занятия литературой принесли ему обеспеченность. Отныне Ага получал 5 тысяч динаров ежемесячно. Кон нажил на издании миллион.

Большие доходы стали приносить театры. С 1920 по 1932 год белградский Народный театр включал в свой репертуар шестнадцать новых и старых пьес Нушича. Нападки критики, казалось, разжигали интерес публики. «Путешествие вокруг света» дало театру более полутора миллионов динаров. «Госпожа министерша» за сравнительно короткий срок принесла в кассу театра 872 716 динаров, из которых Нушич получил 167 тысяч. Только поступления от белградского театра составляли 5100 динаров в месяц, а пьесы его ставились еще и в Скопле, Загребе, Сараеве, Новом Саде, Сплите и других городах, зарубежные театры тоже присылали значительные деньги.

Но пока долгов у Нушича было еще больше. Жил он всегда на широкую ногу. Дом его (все еще наемная квартира) всегда наводняли знакомые Аги, а теперь еще друзья дочери и зятя, живших на его иждивении. Порой Ага садился за стол сам-тридцать.

Среди частых гостей бывали актер Милорад Гаврилович, литератор Риста Одавич, драматург Милан Предич и много молодежи — журналист Милан Джокович, режиссер Йосип Кулунджич, художник Сташа Беложански…

— Каков секрет вашей молодости? — часто спрашивали семидесятилетнего Нушича, всегда веселого, готового подшутить и даже напроказить.

— Никогда не дружите с людьми старше вас или со своими сверстниками, — отвечал комедиограф. — Посмотрите на меня, всегда в окружении молодых.

С появлением звука в кино неутолимое любопытство заставило его согласиться принять участие в создании фильма —

музыкальной комедии «Солдат и девушка» — в качестве… актера. Фирма «Парамаунт-ревю» в 1930 году пригласила его на съемки фильма в Вену, предложив роль конферансье в этом фильме-концерте.

Когда съемки закончились, усталый Нушич, отирая пот со лба, сказал своим товарищам-актерам:

— Только теперь я убедился, что писать легче, чем играть…

В 1931 году он уже смотрел этот фильм в белградском кинотеатре и весело смеялся странному впечатлению, которое произвело на него собственное появление на экране. К сожалению, все попытки найти эту старую ленту пока оказались неудачными.

В том же году, когда Нушич снимался в кино, совершенно случайно он занялся и еще одним делом, результаты которого оказались чрезвычайно плодотворными.

Мы уже знаем, что Нушич был великолепным оратором. Где бы он ни выступал — на эстраде ли, на официальном банкете или на похоронах, — речь его всегда была своего рода художественным произведением. Он виртуозно владел логикой выстраивания фактов. Веселое или трагичное настроение слушателей создавалось им тонкой нюансировкой. Обычно тщательно подготовленные речи его благодаря коротким метким отступлениям, как бы подчеркивавшим главную мысль, производили впечатление случайной импровизации.

Однажды Нушич оказался на похоронах военного министра. Генерал, произносивший надгробную речь, казалось, задался целью изложить весь послужной список покойника — он перечислял даты жизни, должности и награды. Нушич был раздосадован и довольно громко выразил свое недовольство убогостью речи:

— Если военачальник не умеет говорить, то каким образом он может воодушевить армию, прежде чем двинет ее на защиту отечества! Надо научить военных произносить речи!

Новый военный министр, прослышав об этом, тотчас обратился к Нушичу:

— Ловлю вас на слове!

В лавке Райковича Агу вскоре посетил начальник военной академии. Пришлось драматургу стать профессором и возглавить кафедру риторики в военной академии. Остроумные лекции его собирали множество слушателей, на них ходили почти все высшие чины югославской армии.

«В те лекции, — писал Нушич, — я внес много и своего опыта». Однако они требовали огромной теоретической подготовки. Нушич перерывает всю возможную литературу по

ораторскому искусству — от древних греков и римлян до современных педантов-немцев. К концу второго семестра драматург приболел и вынужден был отказаться от дальнейших лекций, но стремление дать исчерпывающий труд по риторике не оставило его, и в результате свет увидел толстенный том.

Ага привлек к работе над своей «Риторикой» многих приятелей, которые переводили ему нужные материалы. Приходилось рыться и в библиотеках, но там работать Ага не любил — нельзя было курить, мешала непривычная обстановка. Он обращался в иностранные посольства, и ему присылали горы книг.

Для Нушича искусство оратора неразрывно связано с литературным мастерством, и потому его «Риторику» мгновенно раскупили не только офицеры, священники, педагоги, политики, но и литераторы.

Пожалуй, не было еще книги об ораторском искусстве, написанной с такой живостью и столь разносторонне.

И ценность ее не в занятных случаях из жизни знаменитых ораторов и в известных цитатах из Шопенгауэра («Тот, кто небрежно выражает свои мысли, недостаточно дорожит ими»), Бюффона («Стиль — это человек»), Цицерона, а в манере изложения, лишенной псевдонаучной занудливости и показывающей как на ладони психологические, литературные и даже физиологические основы умения говорить. Нушич тонко подмечает психологию массы, слушающей оратора. Он рассказывает, как оратору владеть собой, как справляться с волнением.

Вторую часть книги Нушич посвятил истории ораторского искусства. Русского читателя в этой книге, наверное, привлекли бы оценки знаменитых русских ораторов начиная с XVII века (Димитрий Ростовский) и до самой Октябрьской революции (В. И. Ленин). Среди громадного числа русских имен есть Ломоносов, Сумароков, Срезневский, Сеченов, Достоевский, Бакунин, Плеханов, Кони, Плевако…. К книге Нушич приложил антологию творчества великих ораторов от Будды до Жореса.

Тысяча девятьсот тридцать третий год был не только годом выхода в свет «Риторики», он стал годом общего триумфа Аги. В феврале состоялись новые выборы в Академию наук и искусств. Задержка с приемом Нушича в Академию уже всем казалась неприличной. Это понимали и сами «бессмертные».

Сохранилась официальная записка, подписанная членами Академии критиком Богданом Поповичем, художником Урошем Предичем и скульптором Джордже Йовановичем. Обращаясь к Королевской академии, они перечисляли заслуги Нушича и

указывали на то, что его обходили с приемом несколько раз. «Но дальнейшая отсрочка становится несправедливостью», — писали они, ссылаясь на то, что действия Академии вызывают негодование многочисленных почитателей таланта Нушича.

Десятого февраля его избрали единогласно, но объявили действительным членом Академии только 28 декабря. На другой день, 29 декабря, вся столичная пресса писала об этом, как о большом событии. Желающих послушать вступительную речь Нушича оказалось так много, что заседание состоялось в так называемом Коларчевом университете, имевшем самый большой зал в городе. Собрались писатели, историки, художники, актеры…

«На фоне темного занавеса, — сообщал журналист, — у сидящего за столом прославленного комедиографа очень академичный и очень серьезный вид. Под аплодисменты всего зала он неторопливо встал, и его взгляд — взгляд старого театрального деятеля — остановился на галерке, которая на сей раз (не то что в театре — здесь в партере места бесплатные) была почти пуста…».

В течение всей речи Нушича президент стоял лицом к нему и… улыбался. Речь была академична, Нушич блистал эрудицией, но говорил он о своем предтече, комедиографе Йоване Стерии Поповиче, и потому сквозь академичное изложение стал неодолимо пробиваться юмор.

— Самая старая академия наук, — начал Нушич, — основанная Ришелье в начале XVII века, создала прекрасную традицию. Новый академик, становясь в ряды бессмертных, своей вступительной речью платит дань уважения и признания своему предшественнику, кресло которого он занимает. По этой прекрасной традиции, хотя и без претензии на бессмертие, по сегодняшнему поводу я должен был бы остановиться перед тем креслом, которое со дня основания Академии остается незанятым, но которое, если бы было возможно смещение времени, достойно занимал бы отец нашей драмы, великий творец комедий Йован Стерия Попович…

Нушич защищал Стерию от обвинений в подражании Мольеру. Это было глубокое исследование творчества великого серба.

Но вот Нушич заговорил о жизни Стерии, который остался без средств к существованию и женился на богатой пожилой вдове Елене.

— Своему супругу, кроме денег, она принесла и дом, в котором Стерия позже умрет, но с этим имуществом она внесла с собой в брак три тяжелые черты: необузданный язык,

самодовольство и скупость.

Ее несдержанный язык часто причинял много боли и без того сломленному жизнью поэту. Она задирала нос, потому что была женой великого писателя. Но это не мешало ей не уважать, не ценить, а порой и унижать самого писателя.

— Спесивость ее иногда бывала комичной. Современники Елены вспоминают ее триумфальные походы к службам в Николаевскую церковь.

Она всегда немного запаздывала и входила в церковь, уже заполненную прихожанами, приподняв переднюю часть своего кринолина и ступая с королевской важностью, кивая то налево, то направо, уверенная, что ее появление в церкви — подлинное событие и что все взгляды устремлены на нее.

— Самой тяжелой чертой ее характера была скупость, легендарная скупость. Она в буквальном смысле слова голодала, только бы не потратить лишнего, а с нею вместе голодал и Стерия, и именно тогда, когда болезнь его требовала хорошей пищи. Супруга Йована Стерии Поповича была средоточием дурных черт его «Злых жен», «Спесивца» и «Скупца». Если бы он не написал их раньше, то написал бы их в браке, почерпнув все три комедии из одного и того же источника…

Нушич возвращается к академизму — первый период творчества Стерии Поповича, второй период, третий… Но пора и кончать.

— Лафонтен, восхищенный Мольером, написал эпитафию, которая гласит: «Здесь спят вечным сном Плавт и Теренций, и все же Мольер», и мы тоже могли бы сказать о Йоване Поповиче: «Он наш Мольер, и все же Стерия».

Газеты напечатали и речь президента Академии Богдана Гавриловича.

Она начиналась словами: «Господин академик, ваши произведения читаются свыше четырех десятков лет» и кончалась фразой: «С редким удовольствием провозглашаю вас действительным членом Сербской академии».

Словно и не было долгих лет несправедливого непризнания. Теперь уже «ваши произведения читают все слои общества и все края нашей страны», уже «ценность их не имеет национальных границ» и т. д. и т. п.

На торжественном вечере критики Нушича фальшивыми голосами произносили хвалебные тосты. Ага не удержался, чтобы не сказать по их адресу несколько острот, на другой же день ставших известными всему Белграду.

ГЛАВА ПЯТАЯ
МОРАЛИСТ НА «СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ»

И сразу же столица увидела новую комедию Бранислава Нушича «Белград прежде и теперь». Комедия под тем же названием была и у Стерии Поповича, который написал ее в середине прошлого века. Нушич как бы хотел подчеркнуть, что он — преемник Стерии. И при этом взял не только название старой комедии, но и сюжетную завязку. У Стерии из дальнего вилайета в Белград приезжает старая бабушка Стания. Она удивляется новым обычаям города, в котором турецкий быт начал вытесняться европейским. Вместе зурны в комнате фортепиано, люди садятся не на устланный коврами пол, а на стулья, время отсчитывается не по намазам, а по часам…

У Нушича сталкиваются патриархальные нормы морали и современные буржуазные. В прологе драматург выводит на сцену самого Йована Стерию Поповича, который начинает свою речь на старом сербском литературном языке, который так напоминал русский:

«Почитаемы слушатели, без соизволения моега, сачинитель веселога…»

Короче говоря, сочинитель веселого действа решил вывести на сцену Стерию, чтобы довести до сведения публики, что цивилизация — штука неплохая, но если люди усваивают лишь внешние приметы ее, то тем самым они уподобляются ослу, напялившему на себя львиную шкуру. Уши-то все равно торчат, а уже этим не преминут воспользоваться писатели.

В Белград приезжает провинциальная супружеская пара Станойло и Перса. У сына своего Николы они застают маникюршу, полирующую ему ногти. И хотя почтительный сын бросается, как и прежде, целовать родителям руки, они вскоре понимают, что он переменился неузнаваемо.

Старики торопились в Белград, так как прочли в газетах, что сын их обанкротился. Они боялись, как бы он не покончил с собой. Но самоубийства из-за банкротств бывали прежде, а теперь… Теперь банкрот, беззаботный и веселый, платит на их глазах маникюрше целых сто динаров. За что?! Выясняется, что теперь банкротство — всего лишь выгодная махинация. Сноха, появляющаяся перед стариками в прозрачной пижаме, занимается вопросами женской эмансипации, внук бросил школу и увлекается футболом, внучка оспаривает звание «мисс Белград», снимается в рискованных позах и мечтает о Голливуде. Молодые

люди заводят патефон и хотят вытащить перепуганную старушку Персу танцевать фокстрот.

Война кончилась как будто совсем недавно, но старик Станойло не может найти никого, кто бы хотел послушать его воспоминания. «Мы кровь проливали», — говорит старик. «Мы все уважаем прошлое, — отвечает обиженному деду внук, — только… знаете, скучно это». И с жаром рассказывает о последней футбольной игре.

Старик в ужасе: «Прежде дом был церковью, храмом… а посмотри, что вы теперь из дома сделали. В улицу превратили: заходи сюда кто хочет, выходи кто хочет. Выбросили из дому икону, а повесили голых женщин, метлой повымели уважение, любовь, покой, а втащили безобразие… А мораль… ты мне скажи, есть ли еще мораль?.. Стыд забыли, а где нет стыда, там нет и морали».

Внучка приходит домой и говорит, что вышла замуж. «Вчера еще мы об этом не думали. Вечером, когда возвращались из кино, Дуле провожал меня до дома, и вдруг мне эта мысль в голову пришла. Я и говорю ему: „Дуле, давай-ка завтра повенчаемся!“ Узнав, что и сын и внук пользуются одновременно благосклонностью горничной, старики бегут из Белграда. „И в Содоме такого не бывало!“»

Нушич становится моралистом. Не унылым брюзгой, которому все прошлое кажется идеальным по сравнению с настоящим. Он по-прежнему все воспринимает с юмором. Его тревожит одно — исчезновение стыда как сдерживающего начала. Может быть, драматург хочет, чтобы соблюдались внешние приличия? Защищает лицемерие? Нет, дело совсем в другом.

Уничтожаются хорошие обычаи, исповедуется нравственный нигилизм, искореняются и сами приметы нации. Проповедью разврата занимаются газеты, кино, бульварная литература. Нушич прекрасно видит новую опасность. Кто-то сегодня провозгласил лозунг «Все дозволено!», надеясь, что завтра бездумное поколение начнет оплевывать святыни, и тогда его легче будет прибрать к рукам. Лишив народ духовного стержня, традиций, обычаев, легче превратить людей в рабов.

Моралистов обычно никто не слушает. На веселой комедии «Белград прежде и теперь» зрители смеялись, но не делали для себя никаких выводов, так как слово способно пошатнуть мораль, но для укрепления ее нужны более действенные меры. Смеялись зрители и 4 сентября 1935 года, на премьере еще одной комедии с моралью «ОЮЭЖ», название которой составлено из начальных букв названия популярного женского общества («Объединение югославских эмансипированных женщин»).

Нушич высмеивал женщин, забывающих о своем долге перед семьей. Пока, по выражению Зощенко, «жена передовыми вопросами занята» и толчет воду в ступе на различных заседаниях женской организации, муж не находит себе места, домашняя жизнь разваливается, дочь под руководством опытной горничной проходит школу отнюдь не платонической любви, а сын становится взломщиком.

Комедия вызвала взрыв негодования в женских организациях. Критики единогласно осудили «консервативную позицию» автора комедии. Женский вопрос в Югославии был наболевшим. Кое-где давали себя знать гаремные традиции турецких времен. Комедия была воспринята как вызов всему движению за раскрепощение женщины. В различных городах велась подготовка к демонстрациям во время премьер «ОЮЭЖ».

Юмористический еженедельник «Остриженный еж»[32] поместил серию карикатур — черногорки встречают Нушича с пистолетами, а в Скопле его бьют зонтиками…

Случилось так, что Нушич и в самом деле приехал в Скопле на открытие памятника павшим бойцам добровольческого отряда, в котором сражался и погиб Страхиня-Бан. Приезд его совпал с премьерой «ОЮЭЖ» в местном театре. Вечером он собирался присутствовать на представлении.

Его предупредили, что студентки, возможно, попытаются устроить обструкцию. Нушич усмехнулся и попросил расклеить дополнительные афиши о беседе, которую он собирался провести перед началом спектакля. Публика, подогретая «Остриженным ежом» и с любопытством ожидавшая перепалки Нушича со студентками, повалила в театр.

В зале негде было яблоку упасть. Зрители не только заняли все места, но и стояли в проходах. Нушич сидел с актерами в артистической уборной, попивал кофе и докуривал сотую сигарету. Когда его спросили, не надо ли поставить на сцену стол и стул, он сказал, что ему понадобится лишь обыкновенная скамья. Актеры гадали, для чего бы комедиографу скамья, а он только посмеивался.

Появление Нушича на сцене было встречено бурными аплодисментами. Здесь Нушича помнили и любили.

— Я приехал в Скопле, — сказал Нушич, — по другому поводу. Я даже ничего не знал о премьере. И вдруг мне говорят, что тут собираются устроить обструкцию. И кто же? Женский пол, который я всегда уважал, ценил и любил. Я вижу здесь студенток… Хорошо! Каждому, даже самому закоренелому преступнику дается право на последнее слово. Дайте его и мне, а потом уж осуждайте, девушки!

Нушич взял скамью, поднес ее к рампе и сел.

— Вот я и сел на скамью подсудимых!

Начало публике понравилось. Когда стихли аплодисменты, Нушич произнес большую речь. Говорил он горячо и серьезно.

— Всякое социальное явление влечет за собой как неотступную тень извращение, искажение. Всякая возвышенная идея имела в истории своего развития свою пародию. За большими кораблями, надеясь чем-нибудь поживиться, всегда плывут акулы; за большими идеями, за большими движениями, которые не дают цивилизации стоять на месте, всегда следуют эпигоны, которым плевать на идеи, ибо ждут они от всего лишь выгоды. Игнорируя сущность движения и стремясь воспользоваться лишь его формой, они-то и порождают извращения. Из этих извращений испокон веков, от Аристофана и до наших дней комедиографы черпали материал для своих творений. Обрушиваясь на эту сторону всякого движения или явления, комедиографы тем самым не осуждали и не отрицали самого движения или явления, а лишь высмеивали то, что бросало на него грязную тень. Аристофан, например, в своей комедии «Облака» жестоко высмеивает философов и философию. Но он обрушивается не на значение философии, не на ее ценность, а лишь на извращение, которое являет собой софистическая философия, то есть не на Платона, а на его эпигонов. Таков и Мольер. Известно, например, большое значение тенденции, которая получила свое начало в салоне мадам Рамбуйе и повлияла не только на французскую литературу, породив элегантность стиля, но и на само французское общество XVII века, так как эта тенденция была сильной реакцией на тогдашнюю свободу поведения и свободу изъяснения. Когда эта тенденция, увлекшая всю элиту французского духа, вызвала неминуемое извращение, явился Мольер со своими «Смешными жеманницами». На представлении комедии мадам Рамбуйе и ее подруги аплодировали Мольеру громче всех. И мадам Рамбуйе и ее подруги считали, что это сатира не на всю тенденцию, а на ее извращение. Грибоедов первым в русском театре ударил в колокола и возвестил духовную революцию против порока чванства и бюрократизма, но и он не упустил случая высмеять либеральную болтовню, «репетиловщину», хотя комедию он писал с либеральных позиций. Гоголь, который весь материал своего «Ревизора» черпает из извращенности русской бюрократии, не отрицает этим необходимости существования чиновничества. Да и «Патриоты» Стерии Поповича высмеивают не патриотическое движение в Воеводине в 1848 году, а извращенность, которая привела к пустой фразеологии и псевдо-

патриотической болтовне…

Нушич оглядел притихший зал. Премьеры обычно посещает публика начитанная. Он понял, что может продолжать в том же духе.

— Итак, когда комедиограф пишет о смешной стороне известного явления, то он не смеется над самим явлением. Напротив, он приносит пользу этому явлению, он похож на мойщика окон, который оттирает мушиные следы, дабы было больше света… Я сам инициатор и основатель двух женских обществ, из которых одно на национальной, а другое — на культурной ниве функционируют многие годы с завидным успехом. Разве после этого мог бы я высмеять необходимость существования женских организаций и участия женщин в общественной жизни? Другое дело — высмеивать извращения. Всем известно, что в свалки на заседаниях женских обществ требовалось порой вмешательство полиции. Разве не судили женщин за нанесение увечий на этих заседаниях?.. У меня в комедии, которую вы сейчас увидите, чиновник два действия мыкается с коляской, разыскивая жену, чтобы накормить грудного ребенка. Его в конце концов увольняют со службы…

Публика улыбается. Она, разумеется, знает этих напудренных крикливых буржуазных дамочек, с наигранной серьезностью восседающих на видных местах в роскошных ресторанах, за столами, непременно уставленными бутылками пива. Эмансипация так уж эмансипация, черт побери! Дамы курят сигареты и даже пытаются говорить басом, срывающимся на визг, когда они в дебатах пускают в ход накрашенные ногти.

Критики не желают видеть все это в смешном свете. Они упрямо твердят, что Нушич консервативен. Кстати, насчет консерватизма любопытную мысль высказал Боривое Евтич в письме, которое Ага получил от него через неделю после белградской премьеры «ОЮЭЖ». Он писал, что эта вещь — сатира, а сатира всегда консервативна, потому что сравнивает одно время с другим, прошлую мораль с современной. А «современное» по сравнению с «прошлым» неизбежно выглядит несформировавшимся, невыкристаллизовавшимся, оно еще не имеет своего настоящего облика, «еще течет», как сказали бы древние греки. Поэтому сравнения прошлого с настоящим всегда должны быть не в пользу последнего.

Рассказав об этом письме, которое позволяло ему перевести разговор о сатире в иную, непривычную для любителей шаблонных объяснений плоскость, Нушич продолжал:

— Надо ли в подтверждение этого приводить примеры консерватизма великих сатириков всех времен и народов? Разве

Мольер не консервативен в своей комедии «Ученые женщины», мораль которой такова: наука отвлекает женщин от их истинных обязанностей. Разве Диккенс не типичный консерватор, что, однако, нисколько не умаляет его славу великого сатирика? Разве Гоголь, который высмеял чванство и бюрократизм, не глубоко консервативен по духу? Не говоря уже о крайне консервативных «Избранных местах из переписки с друзьями», он в другом произведении, самой знаменитой сатире своей, в «Мертвых душах», целиком склонен к консерватизму, традиции и патриархальности. И, наконец, разве наш великий и единственный сатирик на сцене, Йован Стерия Попович, не консервативен как в «Белграде прежде и теперь», так и в своем «Спесивце»? Поскольку это не первый случай, когда критики обвиняют меня в консерватизме, поскольку такое мнение каким-то образом проникло даже в русскую советскую энциклопедию, которая в статье, посвященной мне, считает меня буржуазным писателем с отсталыми взглядами, то я имею достаточно оснований остановиться немного на этом моем консерватизме. Должен признаться, что мне этот термин — консерватизм, — стертый от излишнего употребления как пятак, давно ходящий по рукам, и по сию пору, несмотря на мой солидный жизненный опыт, кажется неясным, неопределенным и мутным. Я склонен верить, что это происходит из-за его неопределенности, пустоты и поверхностности. В бурной смене жизненных ценностей, в адском темпе культурных ориентаций и переориентаций нет консервативного элемента, который бы не был в свое время передовым, прогрессивным, либеральным. Я оправдываю критику, эту непременную часть современного модного базара. Далекая от непосредственного литературного творчества, она быстрее и легче ставит себя в зависимость от «духа времени», всегда перенасыщенного социально-политическими тенденциями. Я очень хорошо помню критику Йована Скерлича, протагониста тогдашнего рационалистического просвещения, который в угоду мещанской морали ядовито восставал против моего якобы «литературного равнодушия» к вопросам этики. Из-за него меня та же самая критика, органический отросток скерличизма, осуждает и сейчас. Но я не писал ни социально-политического трактата, ни научного исследования, а лишь показал частичку действительности, не касаясь существа доктринерских споров по женскому вопросу… Если и после этой моей исповеди останется упорное мнение, что мой консерватизм, мои «отсталые» взгляды в «ОЮЭЖ» — нечто дурное, то я поставлю вопрос прямо: разве призыв к женщине вернуться домой, к своей семье, и в самом деле такой великий грех, что его надо предавать анафеме?..

Художники видят дальше социологов. Они часто видят будущее в явлениях еще не совсем оформившихся, не дающих материала для научных выводов. Нушич предвидел, что укрепление семьи станет вскоре практической потребностью, что даже великие нации будут считать это непременным пунктом своей культурно-идеологической программы. Он предложил взять хотя бы пример коллективистской России, который считал «ясным и убедительным». Он был обижен на вульгарно-социологическую статью о нем в советской «Литературной энциклопедии», вышедшей в 1934 году. Автор ее переврал факты — совершенно очевидно, что он не читал, не видел нушичевских произведений на сцене и говорит с чужих слов.

Нушич был выше личных обид. В условиях профашистской реакции он говорил о событиях в Советском Союзе с большой симпатией.

— Сейчас Россия стоит озабоченно перед проблемой семьи, и все, от старых фанатичных деятелей революции до комсомольской молодежи, от тех, кто в Кремле, и до фабричных рабочих, в многочисленных анкетах, на собраниях и конференциях провозглашают: муж должен посвятить себя жене, жена — мужу, а оба — семье и детям. И сейчас это один из насущных лозунгов второй пятилетки. Это движение так захватило новую Россию, что даже соответственно меняется законодательство. Россия чувствует, что для нее и сейчас и в будущности «беспризорные» — самая большая опасность, а «беспризорные» — это орды маленьких бедняг, которые не прошли через культуру домашнего очага…

Нушич вышел победителем. Спектакль имел успех. Ни о какой студенческой обструкции не могло быть и речи.

ГЛАВА ШЕСТАЯ
АГАНА

Но еще до «ОЮЭЖ» была написана, а в 1934 году поставлена комедия иного рода.

В истории литературы известно немало примеров, когда великие драматурги использовали сюжеты полузабытых пьес. Наполнив их новым содержанием, вдохнув жизнь в персонажей, они создавали шедевры, предыстория которых впоследствии не интересовала никого, кроме литературоведов. Достаточно привести в пример Шекспира или Мольера. Сюжеты ранних комедий Нушича тоже не оригинальны. «Народный депутат» и «Подозрительная личность» могли быть подсказаны некоторыми комедиями Трифковича, не говоря уже о сильнейшем влиянии Гоголя. Чем старше становился Нушич, тем больше росла в нем способность к придумыванию совершенно оригинальных сюжетов. Напрасно также мы будем искать в его комедиях отражения его собственных переживаний. Напрасно будем перерывать хронику современных ему событий, пытаясь найти скандальное происшествие, которое бы дало драматургу сюжет комедии в готовом виде. Всегда бывает заманчиво преподнести действительную историю и тут же показать, как она преломилась в сознании творца. Увы! Таких комических хитросплетений и сюжетных зигзагов, какими насыщены комедии Нушича, действительность подсказать ему не могла. Неутомимый выдумщик нигде не отступал от жизни — зрители узнавали ее во всех сценах и персонажах комедии, но в целом они были похожи на слиток редкого металла, почти не встречающегося в чистом виде.

Ага рассказывал приятелям, что к нему часто ходят и пишут письма, предлагая «материал» для комедий. Он лишь улыбался наивности подобных заблуждений, потому что все его пьесы родились в результате личных наблюдений какого-нибудь жизненного явления. Когда оно становилось характерным и захватывало Нушича настолько, что он считал себя уже обязанным взяться за перо, начинался процесс придумывания. Иногда процесс созревания комедии продолжался годы, иногда был коротким, но вынашивал он произведение всегда дольше, чем писал его.

Нушич был верен жизни, как неиссякаемому источнику вдохновения, но более важным для творчества считал воображение. Современникам тот или иной герой его комедий

мог напомнить какую-нибудь реальную личность. И все же личность в комедии всегда была совсем иной, более занятной и колоритной, чем реальная. Таким получился и Агатон Арсич.

В комедии «Опечаленная родня» есть пометка: «Происходит всегда и везде». Теперь он уже не ставил в тупик критиков, как в «Госпоже министерше», которую он относил к прошлому (что могло быть сделано и из цензурных соображений).

Умирает богач Мата, и в доме собираются родственники покойного. Только что, на людях, они «изображали» великое горе, но теперь им нечего притворяться, тем более что покойный и впрямь был порядочная свинья. Все родственники — мелкая сошка, перебивающаяся с хлеба на квас, — общинный чиновник, лавочник, бездельник-картежник, вдовушка, уездный начальник на пенсии Агатон Арсич… Глаза их, еще не просохшие от притворных слез, горят от жадности. Но, к всеобщему разочарованию, оказывается, что покойный приказал вскрыть пакет с завещанием лишь через сорок дней после своей смерти. «Легко ему, мертвому, быть терпеливым!» — восклицает вдовушка. Каждый боится, что другие за сорок дней разграбят богатый дом, и поэтому вся орава поселяется в нем. Все с ненавистью следят друг за другом, припрятывают понравившиеся вещи. Уже само такое начало обусловливает напряженность действия.

И напряжение растет. Родственники начинают делить наследство, которого еще не получили. Дело доходит до ожесточенных споров и драк. Обнажаются самые дурные человеческие черты. Мизерность этих людей — великолепная карикатура на большой мир, в котором акулы покрупнее, как пауки в банке, стараются перегрызть друг другу глотки в борьбе за лакомый кусок.

Тут уж Нушичу раздолье для комичнейших сцен. Вдовушка Сарка, например, крадет серебряный будильник, а когда он начинает звенеть в неподходящий момент, садится на него и громко поет.

Адвокат, видя, что за несколько дней дом будет разграблен, использует оговорку в условиях вскрытия завещания и оглашает его. Почти все наследство получает незаконная дочь покойного. Через все действие комедии развивается невинный роман молодого адвоката и будущей наследницы. Как всегда у Нушича, «положительные герои» бледны, любовная линия оставляет убогое впечатление. Но не это, не это главное в комедии.

Агатон Арсич — вот главная удача Нушича. Представьте себе Еротие Пантича — уездного начальника из «Подозрительной личности», — вышедшего теперь на пенсию, но не стяжавшего

себе на административном поприще сколько-нибудь приличного состояния. Здоровенная глотка. Смесь наглости, важности, хитрости. Агатон ловко приспосабливается к меняющейся обстановке — он то давит своим авторитетом родственников и рычит на них, то елейным голосом врет как сивый мерин. Сперва он уверяет, что назначен управлять имением покойного. Кто же, как не он, бывший уездный начальник!

«Знаешь, что такое уезд с населением 52 374 человека? А я только крикну: „Смирно!“ — и все 52 374 человека становятся во фронт, едят меня глазами и трепещут!»

Когда «делят» имущество, Агатон, тонко проводя политику кнута и пряника, отхватывает себе большую часть пока еще призрачных денег покойного. Убедившись, что наследство уплыло из рук, он строит планы отторжения имущества, хорошо зная, что «закон растяжим, как его повернешь, так и будет». Агатон интригует, льстит и в стремлении утвердить себя доходит до абсурда, объявляя своим внебрачным сыном молодого адвоката, за которого выходит замуж богатая наследница — внебрачная дочь покойного.

Сложность этого характера, чрезвычайно богатая нюансировка его сделали роль Агатона Арсича привлекательной для лучших актеров страны. И они с неизменным успехом проявляли в ней свой талант.

Постановкой «Опечаленной родни» был отмечен семидесятилетний юбилей Нушича.

В 1935 году вместе с делегацией драматургов он едет в Софию, где «Опечаленную родню» поставил Н. О. Массалитинов. Эта поездка стала для Нушича триумфальной. В Болгарии Нушича стали переводить еще в конце прошлого века. Там знали почти всю его прозу. Не раз он присутствовал на премьерах своих пьес в Софии. Теперь его поразил великий болгарский актер Крстьо Сарафов, игравший роль Агатона.

* * *

На семьдесят первом году жизни Нушич стал владельцем недвижимого имущества. Осенью 1935 года он приобрел на окраине Белграда земельный участок и решил построить дом.

Пора было кончать со странной привычкой то и дело переезжать с квартиры на квартиру. Жил он на улице Двух белых голубей, Скандербеговой, Страхинича-Бана, Йовановой, Добрачиной, Зетской, Бранковой… всех не перечтешь. Мысль о доме пришла, разумеется, как только появилась уверенность, что

гонораров хватит на его постройку.

Хоть Ага и говорил, что не мог бы ничего написать, не слыша шума улицы, однажды летом он все-таки не выдержал. Случилось это, когда он жил на Добрачиной улице. Стояла страшная жара, и окна во всех домах были распахнуты. И все бы ничего, если бы в доме напротив не жил контрабасист, часами упражнявшийся на своем инструменте. В соседнем доме обитала хорошенькая девица, имевшая обыкновение играть на пианино нечто бравурное, причем поставлено оно было у самого окна, с таким расчетом, чтобы от молодых людей, проходивших мимо, не укрывались ни музыкальный талант, ни прочие достоинства девицы. В угловом доме преподавали музыку, а известно, что разучивание гамм способно вывести из себя кого угодно. В довершение всего хозяин дома, у которого Нушичи снимали квартиру, тоже любил помузицировать и часто приглашал к себе приятелей — профессоров университета и Музыкальной академии, игравших на флейте, скрипке и виолончели.

По словам Гиты, вскоре Ага стал проявлять беспокойство. Он тяжело вздыхал, часто вскакивал из-за стола и с треском захлопывал окна. Но не выдерживал жары и через десять минут, покрытый испариной, распахивал их снова.

В один прекрасный день он вернулся домой с рассыльным из магазина, который тащил громадный пакет. Это был граммофон и пластинки. «Самооборона!» — лаконично объяснил Ага это явление своей Даринке и велел поставить граммофон на подоконник.

Превосходство техники над всеми прочими непрогрессивными источниками шума проявилось тотчас. Уже через полчаса окна в других домах захлопнулись…

Разумеется, не эти анекдотические неприятности заставили его взяться за строительство дома. Просто у него теперь были деньги, а с ними появилась и тяга к большему комфорту и покою.

> «Рассказывали легенды о его больших заработках, о его широкой жизни, — вспоминает Милан Джокович. — В последние годы своей жизни, когда гонорары ему посылали на лавку Райковича, он ежемесячно имел около двадцати пяти тысяч динаров. Это было примерно пять больших жалований. Регулярно выдавал ему деньги и издатель Геца Кон за собрание сочинений. Я не говорю о театре, но Кон во много раз больше зарабатывал на нушичевских книгах, чем платил Нушичу. Во всяком случае, деньги у Нушича в те годы были. Он построил дом. Это, разумеется, был большой расход. Но кроме

того, он постоянно кому-то платил, вечно вокруг него порхали какие-то векселя с его подписью, а ведь он деньги в долг брал чрезвычайно редко. Платил он молча. На судьбу не роптал».

Джокович не договаривает, что к Нушичу шли получать крупные карточные долги его зятя, что «папочку» эксплуатировала Любица и кое-какие старые приятели.

Добротный одноэтажный дом Аги и поныне стоит на улице Шекспира, неподалеку от чаши большого армейского стадиона, и жила в нем со своей семьей дочь драматурга Гита Предич-Нушич. Когда дом еще только начал строиться, Нушич привел к нему домочадцев. Проделавшие значительный путь от центра, они с удивлением смотрели на мужа, отца, тестя.

— Вот и я спрашиваю себя, что я делаю? — задумчиво сказал Ага. — Боюсь, к нам сюда, к черту на кулички, никто ходить не будет.

Ага ошибся. Здесь его не забывали ни друзья, ни репортеры, которые взяли за правило интервьюировать популярного писателя по любому поводу.

Крыша дома была покрашена в красный цвет, ставни — в зеленый, а все именьице, как с торжеством объявил журналистам Нушич, получило название «Агана», что по-турецки значит «Дом Аги».

Домовладелец-неофит радуется приобретению, как дитя, но это нисколько не изменило прежнего порядка вещей, вернее, их беспорядка, потому что Ага продолжает время от времени переставлять мебель, перевешивать картины, переворачивая, к ужасу Даринки, весь дом вверх дном.

Особенно гордится он своей «турецкой комнатой» с ее ларями, громадной медной жаровней, низкими резными столом и табуретами…

Одна из стен кабинета сплошь завешана оригиналами карикатур на Агу, подаренными художниками.

В новом доме непрерывная работа над все новыми и новыми комедиями, начавшаяся с «Госпожи министерши», продолжалась. Это был титанический труд, если учитывать возраст Аги и его начавшее пошаливать усталое сердце. При этом он считал себя обязанным помогать всем и каждому, быть застрельщиком самых различных начинаний в области культуры. Его заботами Белград получил первый постоянный павильон для художественных выставок, по его инициативе при Народном театре открыта актерская и балетная школа, принят закон об авторском праве.

Не забывает он и журналистики, часто выступая на страницах

«Политики» и вечерней газеты «Правда», в которой в 1936 году появилась его статья «Почему пишу, для кого пишу».

> «В те давние времена, когда я еще только начинал, среди главных причин, побуждавших меня к труду, было и тщеславие. Я радовался, когда видел свое имя под опубликованными работами; мне льстило, когда за моей спиной шептали: „Это тот самый, что написал то-то и то-то!“ Позже, когда я всем этим пресытился, труд стал для меня потребностью, без него я не представлял себе жизни. И сейчас я пишу, потому что чувствую потребность писать».

В молодости Ага любил работать ночью. Теперь же распорядок изменился. Ага вставал в шесть утра, пил кофе, садился за письменный стол и вставал из-за него в одиннадцать, чтобы приступить к церемонии бритья, в которой на правах подносчиков горячей воды, зрителей и слушателей принимал участие весь дом.

В двенадцать Ага обедал и тотчас, по заведенному обычаю, ложился спать. Встав часа в четыре, он работал до ужина. Теперь он из-за дальности расстояния не ходил в лавку Райковича, в которой прежде непременно отсиживал с восьми утра и до полудня.

В молодые годы Нушич был неприхередлив, никаких особых удобств и покоя для работы ему не требовалось. Как только приходил в голову сюжет для фельетона или статьи, он тотчас садился в кафане ли, в кабинете или даже на кухне — был бы лишь стол — и начинал писать. Писал быстро, начисто, особенно для газет. Рукопись тут же сам относил наборщикам, присутствовал при наборе, объясняя неразборчивые места. Почерк у него был уж очень мелкий.

Но времена Бен-Акибы давно прошли, и Ага уже ничего не делает впопыхах.

Письменный стол его покрыт большим листом бумаги, испещренным заметками. «Наводить порядок» на столе не разрешается никому. Не дай бог, потеряется какая-нибудь из пустых сигаретных пачек с записанной внезапно пришедшей в голову мыслью. Он делал записи на пакетах из-под продуктов, на полях газет… Часто одной фразы достаточно, чтобы напомнить ему всю задуманную статью.

Пьесы он всегда писал иначе. Заготавливал специально небольшие тетрадки. На первой странице выписывал имена действующих лиц, а далее — краткий план действий и сцен. Набрасывал впрок диалоги, которые после разрабатывал

подробнее. Исписав тетрадку, он брал стопу чистой бумаги и писал пьесу.

Имен обычно никогда не менял. Сохранились в его бумагах списки мужских и отдельно женских имен, и этими списками он часто пользовался. Начиная новую вещь, он нередко советовался с близкими, какими именами ему наделить действующих лиц. «Идите крестить», — звал их Ага. Советы он часто отвергал, говоря: «Эти уже было в „Протекции“, это — в „Подозрительной личности“». Последние годы ему приходилось трудно — столько имен он использовал в своих пятидесяти пьесах! Каждое имя к тому же должно было соответствовать характеру действующего лица.

Если работа не шла, Ага брал лежавшую на столе колоду карт и раскладывал пасьянс. Но раскладывал он его механически, продолжая обдумывать вещь. И как только в голову приходило то, что нужно, бросал карты и снова писал.

Начав действие, Ага старался уже не отрываться от письменного стола. «Чтобы не терять всей картины», — говорил он. Готовые действия читал сначала сам, а потом звал близких и изучал впечатление. Если оставался недоволен, тут же садился переписывать. И переписывал до тех пор, пока воздействие на слушателей не удовлетворяло его.

Только фельетоны свои и газетные статьи Нушич писал и, не читая, сдавал в набор. Каждую комедию он переписывал до четырех раз от руки. Писал на машинке или диктовал стенографистке только деловые письма.

Закончив комедию, Нушич приглашал друзей. «Чтецом Ага был изумительным, — вспоминал режиссер Кулунджич. — Во время чтения он поглядывал поверх очков, которые вечно спускались на кончик носа, на свою первую „публику“ и внимательно следил за всякой реакцией. Слушая, мы, естественно, держались за животы, но Ага всегда точно определял, как мы смеемся: неожиданно ли для него, от всего сердца, рефлексивно или машинально; как мы воспринимаем сатирическую фразу и как — шутку; злораден ли наш смех или он простодушен и участлив. Все нюансы реакции каждого из нас Ага как бы записывал и оценивал, чтобы затем учесть это при переработке комедии».

Критику на этих чтениях он не только признавал, требовал ее. Не любил слышать непрестанные похвалы, и про одного слушателя сказал:

— А этот мне совершенно не нравится…

— Почему, Ага?.. Такой вежливый, культурный человек… — удивилась Даринка.

— Ему все кажется хорошим, что бы я ни написал, — махнув рукой, сказал Нушич. — Не могу поверить в это!

После «вечеров чтения» Ага по заметкам исправлял произведение по нескольку раз.

Регулярно бывал на генеральных репетициях своих пьес и, уходя, говорил жене:

— Кажется, все будет хорошо.

— Почему ты так думаешь? — спрашивала она.

— Я во время репетиции наблюдал за рабочими сцены.

— И что же?

— Когда рабочие смотрят мою пьесу с интересом, то это значит, что все в порядке — публика тоже не будет зевать…

На премьерах собственных пьес Ага всегда сидел в ложе № 7, а «нушичевской ложе», и, если актеры играли хорошо, смеялся от души.

В новом доме Ага завел собаку, двух ангорских кошек, попугаев и громадную клетку с тремя десятками певчих птичек. Всех он их чистил, кормил, лечил, и ему всегда помогала Даринка, тоже большая любительница животных.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
«ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ»

Казалось, чем старше становился Нушич, тем больше он работал. Работал, превозмогая подкравшиеся болезни, слабость, усталость. В 1932 году, когда его впервые свалило с ног воспаление легких, врачи в клинике обнаружили, что сердце сдало. С тех пор он каждый год примерно по месяцу лечился в санаториях. Зимы проводил на красивом острове Хваре, в живописном рыбачьем селении. Адриатический климат поддерживал в нем силы, которые он продолжал растрачивать с безудержной расточительностью.

Все свои болезни Ага переносил с завидным мужеством, подшучивая над собой и над врачами. В 1935 году его положили на операцию простаты. Врачи заверили его, что будет совсем не больно. Гита ждала в коридоре конца операции, которая и в самом деле была сделана очень быстро и хорошо.

Однако Ага, которого вынесли на носилках, был очень бледен. Подошедшей дочери он сказал:

— Наврали мне, что будет совсем не больно.

Гита удивилась.

— Но, Ага, я же стояла все время у двери, и ты даже ни разу не застонал.

— Я знал, что ты здесь… Потому и не стонал.

Планы у Аги громадные. Им задуман по меньшей мере десяток комедий. И не только задуман. Готовы сюжеты, набросаны отдельные сцены. Одну из них он успешно заканчивает, читает семье и друзьям в своем новом доме. И все в один голос уверяют, что это лучшая из его комедий. Название у нее короткое — «Д-р». В некоторых советских театрах она шла еще и под названием «Доктор философии».

И право же, Ага превзошел в ней самого себя. Это и сатира, и комедия нравов, и комедия положений, и комедия характеров в едином слитке.

У главного действующего лица Животы Цвийовича есть все, что его душе угодно. Он торговал, спекулировал, «потом война, поставки, то да сё — разбогател», стал миллионером. Однако времена меняются, в обществе начинает цениться ученость, и, скорее, даже не ученость, а ученые титулы. Например, как великолепно звучит «доктор» перед именем, как внушительна подпись под деловым письмом «д-р Цвийович». Но Живота уже в возрасте, значит, стать «доктором» надлежит его сыну-лоботрясу

Милораду. Ну, хотя бы доктором философии.

«Куда теперь сунешься без диплома? Не потому, что философия чего-нибудь стоит, я за нее копейки не дам: умный человек не станет тратить деньги на пустые звуки… Мало ли нынче докторов — по музыке, по финансам… Толку-то от них никакого. Зато степень у них есть, а этого уже достаточно…»

Но дело это почти безнадежное — еще в школе перетаскивать Милорада из класса в класс стоило больших денег. И тогда Живота подряжает Велемира, школьного товарища своего сына, имеющего склонность к метафизике, и отправляет его в Швейцарию с заданием окончить там университет и привезти докторский диплом на имя Милорада Цвийовича. А сына на это время выпроваживает «проветриться» за границу.

Диплом привезен, вывешен в богатой рамке в кабинете Животы. Богач любуется им, не ведая, какие злоключения предстоит ему претерпеть из-за этого, вполне невинного, как ему кажется, мошенничества.

Сын по-прежнему не может связать толком двух слов, кутит ночи напролет, поставляя папаше тысячные счета за выпитое шампанское и разбитые в ресторанах зеркала. Живота все-таки старается сделать сыну карьеру. С деньгами, решает он, очень просто подкупить университетских профессоров. Он профессору — дачу, профессор сыну — должность доцента. А там надо посватать за него дочь премьер-министра или, на худой конец, министра путей сообщения. Этот даже поважнее премьера. Сколько он может дать километров железной дороги в приданое! Его шурин и наперсник Благое говорит, что скоро начинается строительство трансбалканской линии.

«А что это такое?» — спрашивает его Живота. «Как что такое… — отвечает тот. — Ты разве не слышал о транссибирской железной дороге? Трансатлантические сообщения?.. Транс… Трансильвания, Трансвааль… Когда говорят „транс“ — знай, что это большое и выгодное дело!»

Дело поручают свахе Драге, которую расспрашивает Мара, жена Животы.

«**Мара**. Простите, мне хочется кое о чем вас спросить.

Драга. Пожалуйста, госпожа Мара.

Мара. А как девушка-то эта — красивая?

Живота. Министерская дочь! Как же не красивая!

Мара. Да скромная ли она?

Драга. Как же, как же. Не была бы скромной, так давно бы вышла замуж.

Мара. А она не старше нашего Милорада?

Живота. Старше, какие глупости! Дочь министра старше!»

Прелестная логика свахи вполне отвечает понятиям Животы.

Остается познакомить молодых людей. Они встретятся на публичной лекции по философии, которую прочтет Милорад по просьбе попечительниц детского приюта. Живота собирается убить этой лекцией сразу двух зайцев. Она непременно сделает сына известным в научных кругах. Лекцию напишет тот самый Велемир, который ездил в Швейцарию и привез диплом на имя Милорада.

Но вот приходит телеграмма, а потом письмо. Телеграмма от швейцарского профессора, который проездом в Афины хочет послушать лекцию своего бывшего ученика. Письмо тоже из Швейцарии, от некоей Клары, которая собирается приехать к своему законному супругу Милораду Цвийовичу с их любимым сыночком Пепиком.

Что за профессор? Какая Клара? Какой Пепик? Недоразумение вскоре разъясняется. Велемир с паспортом Милорада не только получил диплом, но и успел во время ученья жениться на местной девушке и завести ребенка.

Выходит, Милорад Цвийович женат самым законным образом, хотя сроду не видел своей жены. Все планы Животы рушатся. Но не таков он, чтобы быстро сдаваться. Велемир должен играть роль Милорада, а Благое — Животы, задача их — отвлечь профессора от лекции. «Сноху» Клару надо немедленно скомпрометировать, чтобы начать дело о разводе и все-таки женить сына на дочери министра.

Появляется комическая пара Сойка и Сима, «специалисты» по бракоразводным делам. Они дают любые показания и клятвы. Когда-то они были в браке, но развелись, так как показания супругов — это одно показание, а не два. «Нынче мода на политику, футбол и разводы, — говорит Сойка. — Этим современное общество только и занимается. Обвенчаются, поживут месяц-другой, насытятся — и давай развод. А как же обойтись без свидетелей… Слава богу, зарабатываем. Все зависит от свойства дела. Есть у нас и специальная такса за „слышали то-то и то-то“, другая — за „видели то-то и то-то“ и третья — „застали…“».

Такова завязка сложной сюжетной интриги комедии. И читатель, если он не видел «Д-ра» на сцене, может уже представить себе, какая невероятная путаница произойдет, когда приедет швейцарская жена с ребенком и увидит, что муж ее

совсем не тот человек, с которым она венчалась в церкви. И что будет, когда приедет швейцарский профессор.

И как дурак Милорад провалится на лекции, написанной Велемиром на философском жаргоне, слова которого не то что понять, выговорить нельзя. Нушич откровенно издевается над псевдоученой заумью: «В контемплятивном интуиционно-виталистическом изложении флуктальных логоцентрических и биоцентрических проблем мы столкнулись с деризорными профанациями климактерических культур».

Нушич не видит в окружающем его мире управы на миллионера Животу Цвийовича, и он решает наказать его сам, сделав из него посмешище. «Я думал, все можно купить на деньги, — говорит Живота, — но теперь вижу: многое можно купить, но ума не купишь».

Право первой постановки получил Загребский народный театр. Премьера состоялась в сентябре 1936 года. Ага с нетерпением ожидал отзывов критиков и писал уже новую комедию «Покойник».

Он послал экземпляр «Д-ра» и в Сараево, директору тамошнего театра Боре Евтичу, с подробными указаниями: «… Теперь о пьесе. Главное действующее лицо (Живота) — это тот тип, который у меня всюду (Аким, Агатон, Еврем и т. д.)… Хочется, чтобы темп был живым, этого требуют сами сцены…» В конце письма Нушич, привыкший к недовольству критиков, добавлял: «Разумеется, меня будет интересовать критика, и хотя я знаю ее наперед, все-таки, будьте любезны, пришлите, когда появится…»

Нушич боялся, «что очень сложный клубок ситуаций в пьесе заставит критиков увидеть в ней лишь комедию положений и легкую сатиру…».

Опасения Аги оказались напрасными. И сараевская и загребская критика была от «Д-ра» в восторге. Впервые не нашлось критика, недовольного Нушичем. Его даже ставили в один ряд с Мольером и Гоголем. Оставалось дождаться премьеры в Белграде, намеченной на декабрь месяц. Но на премьере Бранислава Нушича не было…

* * *

Нушич был при смерти.

Много дней он находился в беспамятстве. Лишь изредка приходил Ага в сознание и, видя скорбные лица родных и врачей, старался приободрить их шуткой.

Дом наводнили репортеры.

Еще десять с лишним лет назад, в своей «Автобиографии», Ага предвидел, что репортеры станут досаждать ему не только при смерти, но и после нее.

В «Автобиографии» Ага сравнивал себя с Талейраном, после смерти которого люди спрашивали:

— Для чего же он это сделал?

Талейран был способен на любой политический трюк. Нушич приучил публику видеть шутку во всем, что он делал. Могли не поверить в его смерть…

Поэтому Ага советовал газетам не торопиться с извещением о смерти господина Нушича… И мы увидим, что это был дельный совет.

Далее Ага представил себе, как покойника Нушича станет интервьюировать расторопный, очень расторопный журналист, который способен исторгнуть информацию из чего угодно.

«Журналист. Итак, могу ли я рассчитывать на беседу?

Я (хоть и мертвый, но все же закричал). Точно так же, как и я рассчитываю на нахальство журналистов, которые и мертвым не дают покоя. Ну, так чем же могу быть полезен?»

И Нушич рассказывает журналисту, как у его постели собрались врачи и решили, что ему пора умереть. На другой день они снова пришли к нему и очень удивились, что он до сих пор жив.

— Этого не может быть! — восклицали они, остукивая и ощупывая Нушича…

> «Как всегда, мнения разделились. Домашний врач считал, что я должен умереть не позднее, чем через двадцать четыре часа… А его коллега, мой хороший приятель, горячо доказывал, что „в таком состоянии я могу протянуть еще месяц или два“. Все мои попытки примирить их были тщетны. Спор все разгорался, и в конце концов они побились об заклад. Домашний доктор выложил на стол новую ассигнацию в тысячу динаров и заявил, что я умру в течение двадцати четырех часов, а мой приятель прикрыл ее точно такой же ассигнацией, утверждая, что я „протяну еще очень долго“. И попросили меня быть свидетелем. На следующее утро ко мне пришел мой домашний доктор и с первых же слов, которыми мы обменялись, понял, что мои симпатии на стороне другого.
>
> — Ах, как это нехорошо с вашей стороны, — сказал он. — В данном вопросе вам бы следовало сохранять

нейтралитет или, во всяком случае, уж если вы хотите обязательно кому-то симпатизировать, то ведь вы же знаете, что я для вас самый близкий человек.

Я начал оправдываться, уверяя, что ни в коем случае не хочу быть пристрастным и не имею никаких особых причин, ради которых стоило бы стать на сторону другого доктора, кроме той, что он допускает возможность не столь быстрой моей кончины. Эти слова особенно задели доктора. Он вспыхнул и заявил открыто, что считает своего коллегу неучем и что этот неуч обнадеживал меня, только чтобы дискредитировать его как домашнего врача.

— Но, — добавил он возбужденно, — я не позволю себя дискредитировать. Меня не так легко дискредитировать. Вы должны умереть, и не позднее сегодняшнего вечера.

Я попытался было выставить некоторые контрдоказательства, но он упорно настаивал на своем, утверждая, что я, как культурный человек, не должен помогать тем, кто стремится принизить значение медицинской науки, которая в наш век сделала гораздо больше успехов, чем все другие положительные науки. Наконец, придвинув стул, он сел возле моей постели, взял мою руку в свои и перешел на самый что ни на есть задушевный тон.

— Значит, вы надеетесь просуществовать вот так еще месяц, два, а вообще-то давно примирились с тем, что умрете?

— Да!

— Я говорю, дорогой мой, — продолжал доктор дружеским топом, — чему быть, того не миновать. Не так ли? Днем раньше, днем позже. Наш народ мудрый, у него здоровая философия. К ней следует прислушиваться!

И он так взывал к моему доброму сердцу, что в конце концов я вынужден был ему уступить. Вот так я и стал покойником».

Журналист спрашивает покойника о его последних словах перед смертью.

«**Я**. Какие последние слова?

Журналист. Да, знаете, таков уж порядок: когда человек умирает, он должен сказать какие-нибудь последние слова, которые хорошо использовать в

биографии.

Я. Ах да, вспомнил: перед смертью я спросил жену: „Почем на базаре дыни?“

Журналист. Но, помилуйте, я же не могу записать это как последнее слово писателя. Вы же хорошо знаете, что Торквато Тассо, например, воскликнул: „В твои руки, господи!“, Вальтер Скотт сказал: „Я чувствую себя так, словно я вновь родился“, Байрон сказал: „Пойдем спать!“, Рабле: „Опустите занавес, комедия окончена“, а Гёте: „Больше света!“ Так неужели вы так ничего и не воскликнули, умирая?

Я. Нет. Да я и не верю, чтобы эти уважаемые люди, которых вы цитировали, говорили что-либо подобное. Все это биографы выдумали. Я, например, знаю одного своего приятеля, артиста, который перед смертью сказал: „Я бог“, — а лицо сделал такое, будто, играя в очко, к семнадцати получил еще десятку. В газетах мне довелось прочесть, что последние его слова были: „Я кончаю“».

Кое-кто может осудить Агу, считая, что шутки по поводу смерти неуместны. Но Ага не унывал не только в книгах, он оставался самим собой и после смертного приговора, вынесенного врачами.

В свое время Николай Бердяев писал о знаменитом славянофиле Алексее Степановиче Хомякове, обладавшем большим чувством юмора:

> «…Не есть ли это показатель легкости, недостаточной серьезности и глубины, может быть, скепсиса? Такой взгляд на человека вечно смеющегося очень поверхностен. Смех — явление сложное, глубокое, мало исследованное. В стихии смеха может быть преодоление противоречий бытия и подъем ввысь. Смех целомудренно прикрывает интимное, священное. Смех может быть самодисциплиной духа, его бронированием. И смех Хомякова был показателем его самодисциплины, быть может его гордости и скрытности, остроты его ума, но никак не его скептицизма, неверия и неискренности. Смех прежде всего умен, смех будет и в высшей гармонии»[33].

Эти слова, как мне кажется, можно полностью отнести и к Нушичу.

Биографу юмориста остается лишь следовать тону, заданному самим юмористом. И это будет данью уважения «самодисциплине

духа», мужеству Аги.

* * *

Синиша Паунович был расторопным, очень расторопным журналистом. Впоследствии он стал известным и не менее расторопным литератором, опубликовавшим свои воспоминания о многих знаменитых писателях и событиях, потому что обладал удивительной способностью оказываться всегда там, где пахло славой.

В Белграде его называют объемным словом «сваштар». Это нечто вроде русского «во всякую дырку затычка». Он похож на нушичевского Секулича из «Листков», который «пишет стихи, продает лотерейные билеты и чинит старые зонтики — все оптом и в розницу». Паунович грешил и стихами.

В дни болезни Аги репортер «Политики» Паунович не выходил из его дома. Давайте познакомимся с одним из его репортажей о Нушиче, чтобы убедиться, что Ага в своей «Автобиографии» был настоящим провидцем.

> «12 декабря 1936 года.
>
> Славный югославский писатель Бранислав Нушич, который вот уже полстолетия смешит нашу публику, высмеивая ее недостатки и слабости, писатель, произведения которого уже давно перешли границы нашей страны и имели такой завидный успех, человек, который смеялся даже в самые тяжелые минуты своей жизни и не раз прохаживался даже на собственный счет, в последние дни начал уставать, жаловался на плохое самочувствие и вчера вынужден был слечь в постель.
>
> И вместо того чтобы по обыкновению находиться в окружении журналистов и фоторепортеров, как это до сих пор бывало перед каждой его премьерой (15 сего месяца состоится премьера его новой комедии „Д-р“ в Белградском народном театре), рассыпать градом свой неиссякаемый запас метких словечек и шуток, принимать поздравления своих многочисленных читателей и зрителей, он лежит, и возле него со вчерашнего дня дежурят только близкие родственники, его домашние врачи доктор Арновлевич и доктор Буковала. Они не отходят от постели больного и делают все возможное, чтобы помочь славному писателю…
>
> Но и больной, хоть и ослабевший после недавнего

кровопускания, что было сил старается помочь себе. Пьет лекарства. Борется. Хочет во что бы то ни стало „нокаутировать смерть“…

Нушич лежит в своей новой вилле на Дединье. Хотя врачи запретили все посещения, зная предупредительность Нушича по отношению к журналистам, репортеры настояли на том, чтобы он только принял их. Они были упорны и заставили известить о своем приходе больного. Не прошло и нескольких минут, как их впустили.

Разумеется, они пощадили прославленного писателя и не вели с ним обширных разговоров. Они были вообще готовы отказаться от беседы, когда убедились по его виду, что он действительно серьезно болен.

Но Нушич, старый театральный деятель, который и сам многие годы ел не всегда сладкий журналистский хлеб, первый начал разговор с репортерами. Лежа в постели лицом к окнам, он махнул правой рукой и сказал:

— Плох! Совсем плох!

— Но мы это слышим уже не в первый раз. Вы и прежде болели, а к премьере всегда каким-то образом поправлялись. Любите вы пошутить…

— Плох! — в третий раз повторил Нушич.

— Хватит! — вмешалась госпожа Нушич, боясь, очевидно, как бы больному не стало хуже.

— Мы сейчас, мы недолго… Поскольку нам не удалось взять интервью, которое нам было обещано по случаю последнего дня рождения господина Нушича, так не могли бы мы в связи с премьерой…

В разговор вмешивается дочь Нушича, госпожа Гита Нушич-Предич.

— Отец мне сказал, что вам надо знать о премьерах „Доктора“. Комедия обошла все театры страны, получила свою долю хулы и похвалы и только теперь добралась до белградской сцены. С прежними отцовскими комедиями почти всегда было наоборот…

Нушич кивает в знак согласия головой.

В эту минуту госпожа Нушич приносит больному стакан компота из вишен.

— Не смейте снова писать, господа журналисты, чем питается отец во время болезни… В прошлый раз написали, что он ест одни бананы, а теперь, наверно, напишете, что ничего не берет в рот, кроме компота.

— Это же он написал, вспомни! — вдруг говорит Нушич, глядя на меня и улыбаясь.

В какое-то мгновение мне показалось, что передо мной совершенно здоровый человек, который вот-вот встанет с постели.

Госпожа Нушич приносит стакан воды и хочет напоить больного. Он сердится, берет стакан из рук жены и пытается напиться сам.

— Видите ли, мне пустили кровь, рука ослабела, но я все же могу сам…

Все мы радуемся, что он говорит, бодрится. Но мне почему-то кажется, что говорит он не с нами, не со своей женой, а с кем-то третьим, с кем-то, кого здесь нет…

В разговоре прошли не две минуты, которые мы обещали быть у постели больного, а целых полчаса. Хотелось бы нам остаться и еще, но совесть не позволила. Уходим.

— Папа работал до вчерашнего дня, — говорит дочь Нушича.

И действительно в кабинете нам сразу бросается в глаза рукопись „Покойника“, пьесы, над которой он работал уже давно. Она была уже написана, но теперь он ее перерабатывал, переписывал действие за действием.

— Как раз на днях он закончил первое действие новой редакции „Покойника“, — объясняет госпожа Нушич.

Рядом с рукописью „Покойника“ видны и другие. Тут же лежит „Риторика“, которую Нушич написал уже давно. Со стен глядят на безжизненный письменный стол и на нас бесчисленные карикатуры и портреты великого писателя. Это целая галерея, путь славы самого великого живого югославского комедиографа.

Как и прежде, весть о болезни Бранислава Нушича с невероятной быстротой разнеслась по Белграду, и весь вчерашний день в его доме не отходили от телефона, давая справки о состоянии здоровья писателя.

Хотя семья очень озабочена здоровьем больного, хотя врачи велели Нушичу ни на минуту не покидать постели, мы, учитывая, что с ним случались недомогания и прежде, надеемся, что и эта болезнь, как бы серьезна она ни была, не продлится долго, и вскоре опять увидим любимого писателя если не на премьере его новой комедии, то хотя бы на одном из ее первых представлений».

* * *

Бодрость концовки репортажа Пауновича, казалось, передалась Нушичу.

На следующий день Ага уже интересовался литературными и политическими новостями, спросил о своих любимцах попугаях:

— Что это мои дурошлепы молчат?

— Знают, что вы больны, потому и молчат, — сказала сиделка.

— А где мои ангорки?

Зять принес двух ангорских кошек, и Нушич слабой рукой погладил их.

А потом ему стало совсем плохо.

Пятнадцатого премьера комедии не состоялась. Дирекция театра настаивала на том, чтобы комедия пошла до выздоровления автора. Разрешение показать премьеру 17 декабря было получено от… врачей, которые потеряли всякую надежду на спасение жизни Аги.

Семнадцатого днем Ага ненадолго пришел в себя, сказал несколько слов медицинской сестре, ухаживавшей за ним. Потом обратился к дочери:

— Гита, дорогая, жаль только, что не удалось сколотить хорошую компанию и поехать летом на Охрид, пожить там повеселей. О, мой Охрид…

Он, наверное, вспомнил свою молодость, поездку из Битоля на Охрид, белый город, скатывающийся с горы к озеру, песню рыбаков: «Дай мне, боже, крылья лебединые…»

И снова уколы, забытье. Консилиум врачей находит у него начавшееся еще ко всему воспаление легких. Смерть могла наступить с минуты на минуту.

А тем временем в театре публика весело хохотала над злоключениями Животы Цвийовича… Нушич мог бы порадоваться своему успеху.

Но ложа № 7, которую по желанию семьи не продали никому, была пуста.

В доме Аги стояла тревожная тишина, прерывавшаяся разговорами и сценами, похожими на жуткий фарс. О них мне подробно рассказывала дочь драматурга.

— В день премьеры наступил кризис. В доме врачи, журналисты, фотографы. Все редакции подготовили некрологи и фотографии. Вечером приходит директор театра, извиняется и говорит, что я должна его понять — ему нужно все продумать и быть готовым. Говорит, отец будет лежать в фойе театра и… выражает пожелание, чтобы отец умер во время премьеры —

тогда бы можно было объявить об этом во время спектакля. Просит позвонить. Мать с плачем умоляет репортеров оставить ее одну с отцом. Еле выпроводили их. Остались только мы и врач. В одной из комнат у нас была поставлена кровать для дежурного врача. Я вошла в эту комнату и испугалась… На кровати лежал какой-то человек. Оказалось, что сотрудник «Политики» Синиша Паунович спрятался, чтобы присутствовать при смерти. Он лежал на кровати и ел жареную свиную голову, которую взял с собой про запас. Телефон звонит каждые пять минут — без конца справляются из редакций газет, из театра. Одиннадцать часов. Директор театра сообщает, что премьера прошла успешно, только жаль, что о смерти не объявили. Из редакций сообщают, что звонить больше не будут — номера идут в печать. Сотрудник «Политики» этим очень доволен. Он договаривается с дежурным по своей редакции, чтобы подождали еще. Рядом с комнатой отца сидим мать, муж, я, врач и сотрудник «Политики». Сидим, ждем. Не обращая на нас внимания, Паунович спрашивает врача: «Да скоро ли он умрет? Надо доверстать газету». Доктор уходит к Аге и щупает пульс. «Бьется еще». Паунович уходит звонить, а потом говорит, что так долго не ждали даже при отречении самого английского короля Георга. Врач пожимает плечами: «Что я могу поделать». Два часа ночи. Паунович нервно говорит: «Знаете, во что это обойдется „Политике“!» В полтретьего он звонит в редакцию и говорит, что Ага не умрет. Мне показалось по его тону, что он думает, будто отец не умирает ему назло…

Но спешу сообщить читателю, что эта зловещая, очень и очень современная комедия имела благополучный конец.

Ага не умер в ту ночь. И в следующую тоже. 24 декабря он вышел из критического состояния. Температура упала. А через месяц он уже принимал друзей, оправившись в достаточной мере от, как он говорил, «генеральной репетиции смерти».

* * *

Нушичу рассказали о ночи с 17 на 18 декабря, о Синише Пауновиче. Он оценил юмор ситуации, который ныне, кажется, называют «черным».

Ага даже потребовал, чтобы ему показали некрологи, которые были заготовлены в редакциях. Некоторые ему так понравились, что он согласился, чтобы их опубликовали под заголовком: «Так было бы, если бы Нушич умер». Прочел он и программу похорон, в которую собственной рукой внес свои соображения.

С некрологом и другими материалами, которые должны были

печататься в «Политике», явился к нему Синиша Паунович. Ага принял его добродушно, с удовольствием прочел целую полосу, посвященную себе, и сделал кое-какие поправки.

— Раз уж начали править, исправьте и дату вашей смерти, — брякнул Паунович.

Нушич усмехнулся и покачал головой.

— Чего не могу, того не могу… Это не в моей власти.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
«НЕОТКОРРЕКТИРОВАННЫЕ МЫСЛИ»

Уже более десяти лет Ага время от времени брался записывать свои мысли. Он даже завел большую книгу, наподобие конторской, которую открывал на первой же попавшейся странице и, не ставя даты, излагал в короткой записи свои впечатления, воспоминания или соображения по самым различным поводам.

Это не дневник. Дневника Ага не вел никогда. Черновики комедий рвал и выбрасывал. И вообще относился насмешливо к людям, ревниво берегущим «для потомков» всякую нужную и ненужную бумажку.

Рассказал он как-то о некоем профессоре, который пострадал, потому что оставил после своей смерти слишком много документов. Исследователи так перелопатили его жизнь, что в конце концов опровергли почти все его деяния.

> «Уверяю вас, я бы не удивился, если бы на основе писем и других документов, собственноручно написанных в свое время великим человеком, биографы доказали бы, что его вообще не существовало. И, будьте уверены, в частных письмах покойного, а особенно в тех, которые он писал, еще не зная, что будет великим, они сумели бы найти все, что им нужно. Разумеется, если человек стал великим, то он уже и частные письма пишет так, чтобы их можно было сразу посылать в набор, то есть поступает, как женщина, которая, однажды услышав, что она красива, старается оправдать это мнение. Читал я, например, письмо одного великого человека, академика, в котором он требовал от своего квартиранта возвратить долг. Великий человек писал в нем, что жизнь поистине отвратительна своей материальной стороной, что житейские заботы оскверняют великие души, приводил другие афоризмы о жизни с явным расчетом на то, что письмо попадет в печать. После грустных раздумий над жизнью великий человек написал: „Но существует известный порядок, который никому не дано нарушать“, — и, опираясь на эту истину, хозяин потребовал от квартиранта квартирную плату за три месяца. Правда, причитавшиеся ему деньги он получил только тогда, когда лично

встретился с квартирантом и, чтобы не попало в печать, в устной форме обругал его последними словами, пригрозив переломать ему кости».

Рассказал Ага и о людях, впадавших в другую крайность. Один из них, не желая, чтобы письма его были опубликованы после смерти, делал всякий раз в конце приписку: «По прочтении прошу возвратить».

«Знал я и одного выдающегося ученого, у которого страх оставить после себя какие-либо письменные улики превратился в манию, и он вообще отказывался писать. Умер этот ученый признанным автором научных трудов, хотя за всю свою жизнь не написал ни строчки».

Нушич придерживался золотой середины. Письма, хотя и немногочисленные, возвращать он не требовал. Писал много и почти все опубликовал. И оставил записи, разбросанные по отдельным листкам и по толстой книге. Запись от записи иной раз отделяет несколько чистых страниц. Причем, чтобы прочесть следующую запись, часто приходилось переворачивать книгу на 180 градусов.

На книге есть название: «Неоткорректированные мысли».

Ага не предназначал для печати эти свои записи. Но критики уже начали публиковать их, потому что в силу своей обнаженности и краткости они подсказывают идеи для статей гораздо быстрее, чем скрупулезный анализ произведений драматурга.

В «Неоткорректированных мыслях», как и во всем, что писал Нушич, ощущается полное отсутствие какой бы то ни было злобности. Груз собственных недостатков и слабостей, таких человеческих, никогда не вызывал у него пакостного стремления возвыситься и поиздеваться над другими, жизненные неудачи не побуждали его к мизантропии. Наоборот, они заставляли его еще пристальнее приглядываться к себе самому и к другим, порождали ту высшую мудрую снисходительность к человеческим поступкам, которая неизменно сопутствует любви… не к человечеству, нет — человечество «вообще» любить несложно, — любви к ближнему своему.

Христианская заповедь тут ни при чем. Это либо дано человеку, либо не дано. Любовь — это дар. Как талант. Лишь ненависть ищет логического оправдания.

Критики часто упоминали, что Нушич высмеивал человеческие пороки недостаточно желчно, что он симпатизирует своим героям. И Нушич в «Неоткорректированных мыслях» сознается:

«Я и в самом деле люблю тех грешников, из которых делаю посмешище. Я и в самом деле люблю своих героев: все они в сущности добрые люди, и грех их — не порок, с их точки зрения он оправдан. Аким в „Протекции“ много лет прослужил в провинции, а теперь у него дочь на выданье, и родительская забота вынуждает его добиваться перевода в Белград… Еврем Прокич — хозяин почтенный. Он из своей лавки видит, как люди пробивают себе дорогу, а раз могут другие, менее достойные, чем он, то почему бы и ему не стать депутатом. Агатон — бедняк-пенсионер, и все-таки он самый почтенный в своей семье, и, когда эта семья начинает грабить то, что осталось от покойника, он, естественно, думает, что ему, как самому главному, принадлежит и большая часть имущества.

Все это только грехи, а не пороки. Все эти добрые люди переживают тяжелые трагедии, и все действуют, будучи искренне уверены, что их позиция здрава и оправданна.

Когда в какой-нибудь пьесе я имею дело не с мещанской средой („ОЮЭЖ“, „Мистер Доллар“), я уже не столь милосерден, а когда на главное действующее лицо пьесы обрушивают беды, в которых он не виноват („Свет“), я даже встаю плечом к плечу с героем, и мы вместе боремся против света».

Возникает вопрос — почему Нушич снисходителен к мещанам (по-сербски — «малогражданам»)? Его неприязнь к плутократам, мошенникам и буржуазным снобам совершенно ясна. Но мещане?

Прежде всего надо определить, кто такие мещане? И виноваты ли люди в том, что они мещане?

Интеллигентные снобы относят к мещанам всех, кто не принадлежит к их узкому кругу. Люди действительно могучего интеллекта, люди, занятые тяжелым творческим трудом, люди героической жизни относят к мещанству и то интеллигентское болото, у которого очень высокое мнение о себе лишь по той причине, что оно почитывает книги. Как мы видим, круг мещан расширяется.

Если отойти от презрительно-бранного оттенка, который имеет слово «мещанин», если взять это слово, которым мещане охотно обзывают друг друга, в его сербском звучании «малогражданин», то мы сумеем понять его так, как понимал Нушич.

Пусть читатель вспомнит, как Нушич описывал среду, из которой вышла его «Госпожа министерша». Эта среда редко возносится над «ровной линией жизни», улица для нее целый мир, а события, потрясающие континенты, — только газетное чтение. Мировоззрение ей преподносится в готовом виде, упакованным и даже перевязанным розовой ленточкой. У этих людей много забот, в которых они погрязают так, что им уже нет дела ни до чего другого. Так живет подавляющее большинство. И виновато ли оно в этом? Многое из того, что делают эти немудреные люди, смешно. И Нушич смеется. Смеется сочувствуя. Он не может ненавидеть эту среду, так как это означало бы ненавидеть подавляющее большинство людей. Он хочет только, чтобы эта среда побольше давала героев, способных подняться над «ровной линией жизни».

Публика ощущает сочувствие, любовь в каждой его комедии и отвечает ему взаимностью.

Нушич много думал о своем зрителе. В «Неоткорректированных мыслях» есть запись:

> «Один мой молодой друг (я случайно узнал, что он пишет пьесу, но скрывает это) спросил, в чем тайна моего успеха у публики. Подумав немного, я сказал ему:
>
> — Наверно, в актуальности моих пьес. Я не удаляюсь от жизни, я живу среди людей. Когда поднимается занавес, сцена и зрительный зал для меня — не два помещения, а одно; актеры не отделяют себя от публики, публика чувствует себя как на сцене.
>
> — А эта актуальность не слишком ли удаляет от искусства? — заметил мой молодой собеседник.
>
> — Если писатель даст актуальности как таковой целиком завладеть собой, если он лишь фотографирует современность или пишет ее хронику, в таком случае его творчество действительно не имеет ничего общего с искусством, но если ему удается своим талантом поднять актуальность до такого уровня, на котором интерес к произведению становится непреходящим, то он возвращается к искусству. „Кир-Яня“ Стерии, его „Патриоты“, его „Спесивец“ — все это было актуально в то время, когда Стерия писал, теперь же „Кир-Яня“ — классика непреходящей ценности. Если взять за аксиому, что театральное искусство одно из самых близких публике, то в чем же эта близость, как не в тесной связи зрелища и публики, как не в том, что зритель видит себя на сцене».

Осмысление собственного творчества — процесс трудный и неблагодарный. Но Нушич в одной из своих статей все-таки пытался ответить на вопрос, почему и для кого он пишет:

> «За долгие годы своей работы я приобрел много читателей и слушателей. Я мог бы коротко ответить, что пишу для них, но это весьма неопределенный ответ. Скажу определеннее: пишу для тех, кто жаждет просвета в облачном небе нашей эпохи, пишу для тех, кто жаждет ободряющей поддержки во время утомительного пути по бездорожью современности, пишу для тех, кто не думает, что на мир и жизнь надо смотреть сквозь слезы, пишу для тех, кто ценит значение смеха в жизни человеческой».

Среди «неоткорректированных мыслей» найден и своеобразный свод правил, которые можно сравнить лишь с правилами, изложенными в толстовской критике «Короля Лира». Вот они.

> «ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ ДРАМАТУРГА, ПОДСКАЗАННЫЕ ОПЫТОМ:
>
> 1. Не пиши только потому, что ты решил написать пьесу. Ищи фабулу. Пусть заставят тебя написать фабула или сюжет, встретившиеся тебе в жизни или родившиеся в твоем воображении.
>
> 2. Пусть красота фабулы не обольщает тебя, не берись за нее, если она вне твоих творческих возможностей. Я всегда раскаивался, когда не слушал этого своего совета. Но случалось, что я отказывался от фабулы или сюжета, находя в себе мужество признать, что это не мое амплуа.
>
> 3. Не начинай писать, пока идея, которую ты будешь развивать в пьесе, не созреет полностью в твоем воображении и не приобретет отчетливо видимой формы.
>
> 4. Драма — это архитектурное сооружение, которое строится с соблюдением всех правил. Она имеет фундамент, один или два этажа и заканчивается крышей. Все эти части должны быть правильно соединены, каждое помещение должно иметь достаточно света (ясности); все свободное место должно быть правильно использовано и наличие его оправдано.
>
> Есть два закона архитектуры, которые особенно важны в драматургии, а именно:

а) Сначала необходимо продумать и точно установить, каково будет внутреннее устройство здания, и только тогда приступать к возведению фасада. Фасад должен соответствовать внутреннему устройству и назначению всего здания.

б) Необходимо строго придерживаться архитектурного закона о пропорциях. Подсобные помещения не могут быть больше, чем главные; крыша не может быть намного шире, чем верхний этаж.

5. Не выдумывай сцен, не создавай их искусственно, расположи их так, чтобы одна была продолжением другой. На сцене всякий эпизод должен иметь свою причину и естественное оправдание. Стройное и прочное единое целое может быть создано только на основании логической связи, объединяющей отдельные сцены.

6. Не навязывай действующим лицам свои мысли и сентенции. Твое присутствие в произведении не должно быть заметно. Другими словами, когда пишешь, не влезай насильно в души героев, а разреши, чтобы они вошли в твою душу, чтобы ты всего только выражал их мысли.

7. Не причесывай и не гримируй фразы и диалог. Пусть на подмостках творят, как в жизни, — пусть зритель не почувствует, что слова, звучащие со сцены, заранее написаны и выучены наизусть, пусть ему покажется, что действие, разворачивающееся перед ним, совершается впервые на его глазах.

8. Обращая все свое внимание на главных действующих лиц, не пренебрегай второстепенными. Второстепенных действующих лиц не должно быть, если они не имеют своей задачи в пьесе, а если у них она есть, то и второстепенные персонажи, как и главные действующие лица, должны иметь свои характерные особенности.

9. Как и всякое явление жизни, драма имеет экспозицию, кульминацию и развязку. Драматурги, хорошо знающие технику своего дела, объединяют эти фазы следующим образом: экспозиция и развитие; развитие и кульминация; кульминация и развязка. Как только развязка начинает намечаться, необходимо подходить к ней как можно скорее, не давая зрителю решить вопрос раньше, чем это сделал автор.

10. Перечитывай вслух свое произведение. Воспринимая на слух, можно уловить разницу

впечатления от чтения вслух и про себя.

Твоим слушателем не обязательно должен быть специалист; часто человек, обладающий здравым смыслом, замечает то, что и ты, автор, и слушатель-специалист оставляете без внимания, стремясь прежде всего получить впечатление от произведения как от единого целого.

Читая, не ожидай наперед похвал; советы, даже и самые незначительные, не принимай только из учтивости. Не возражай против высказанных замечаний, лишь бы возражать, но сначала обдумай каждое из них даже и тогда, когда они кажутся тебе не имеющими совершенно никакого значения.

Не будь нетерпим к критике. Если она положительна — не считай ее полисом Страхового общества, а если отрицательна — не считай ее смертным приговором.

Пусть похвалы не уменьшают тех забот и опасений, которые обуревали тебя, когда ты писал свое первое произведение; пусть хулы не ослабят упорства, с которым ты писал его.

Каждое свое новое произведение считай первым. Всегда рассматривай любое свое новое произведение как дебют перед общественностью».

К критике Нушич не раз возвращается в своих «Неоткорректированных мыслях». Отношение к ней у писателя сложное. Боль от несправедливых обвинений так и не прошла, но он понимал, что критика критике рознь.

«Отсутствие относительности как мерила; бескомпромиссное отрицание; нарочитое подчеркивание слабых сторон жирными линиями, и в то же время игнорирование или даже небрежная невнимательность к достоинствам, нарочитая острота выражений и известная непримиримость, от которой остается впечатление личной неприязни, — все эти черты не могут характеризовать критику как творческую силу с определенной и ясной ролью в развитии нашей молодой литературы…».

«Критика необходима всякому искусству, и в первую очередь нашей литературе, которая еще только развивается. Без сотрудничества критики нет настоящего творчества… Критике нельзя быть врагом писателя, она должна, так сказать, сотрудничать с ним. И уж тем более критик (современник) не должен становиться в позу

арбитра, который определяет места писателей. Чаще всего писатели занимали совсем не те места и оказывались не в тех рангах, которые им определила современная критика…».

«Не раз при оценке юмористических и сатирических произведений критика употребляла такую стереотипную фразу: „Писатель поверхностно коснулся больных мест нашего общества или души человеческой, но не проник глубоко, не вошел в сущность проблемы“. По-моему, юморист и сатирик в литературе, изображающей жизнь, — это все равно что диагност в медицине. Их дело — нащупать больное место; за ними идут хирурги, которые будут резать. Случается, правда, и так, что сатирик сам берется за дело и вскрывает нарыв; это оправдано в какой-то мере, пока сатира не переходит в памфлет, что часто случается, если она слишком резка. Итак, юмор и мягкая сатира лишь диагностически отыскивают или нащупывают больное место; резкая сатира вскрывает это больное место, чтобы обнаружить всю тяжесть болезни, но и она сохраняет роль диагноста, оставляя дальнейшую работу социальным хирургам».

И, наконец, мы читаем высказывание иного рода, написанное с болью в сердце, высказывание, которое не могла бы вместить ни одна комедия.

«В многовековом развитии, прогрессе человечества ум человеческий далеко обгонял свое время, а душа человеческая оставалась первобытно-примитивной. В то время как ум возносится над видимыми сферами, спускается в недосягаемые глубины, разгадывает все тайны, покоряет все силы и отнимает у природы небесный огонь, душа человечества остается такой, какой она была в незапамятные времена. И теперь еще, как и в первобытное время, инстинкт властвует над поведением человека. И теперь еще часто убийство отдельной личности называют преступлением, а войну, коллективное убийство масс, славословят и кровавые победы отмечают как национальные праздники.

От позора, который искажает лик человечества, не могут спасти ни великие религиозные проповедники любви, ни могучие вожди духовной жизни человечества, ни гигантские преобразования, ни творческий дух науки и искусства; не могут спасти от этого позора мудрые Гималаи — Сократы, Спинозы, Толстые до тех пор, пока

из-за этих светильников человеческого прогресса торчит кровавый меч, которым варварство размахивает над цивилизацией. Человечество должно стыдиться времени, в которое живет; человечеству должно быть стыдно перед собственным прогрессом, которому не удалось приручить в нем зверя и подавить примитивные инстинкты».

* * *

Этот отрывок «Неоткорректированных мыслей» Нушича, публикующийся на русском языке, кажется, впервые, может очень точно проиллюстрировать его настроения в тот тревожный 1937 год, когда атмосфера была насыщена предвестиями мировой грозы.

После болезни врачи категорически запретили писателю работать.

Но он только отмахнулся от этого запрещения.

— Лучше умереть живым, чем жить мертвым, — сказал он дочери.

Он знал, что не сможет не работать. Он знал это давно. Еще год назад он заявил: «Я боюсь перестать писать. Боюсь пустоты, которая всегда вызывает неприятное настроение. Я предчувствую, что, стоит мне выпустить из рук перо, и я лишусь потребности, которая поддерживает во мне жизнь».

Каждый день он садится за стол. Он уверяет, что его утомляет не работа, а непрерывные депутации, приглашающие на бесчисленные заседания и конференции. Теперь он редко соглашается выступать. Но он не отказался от выступления на учредительном заседании Союза деятелей искусства, науки и литературы, состоявшемся 5 декабря 1937 года. Инициатива создания этого Союза исходила от крайне левых, от коммунистов, сколачивавших «Народный фронт». Нушича прочили в председатели Союза.

В то время главой правительства в Югославии был Стоядинович. Бывший председатель белградской биржи откровенно шел на сближение с Германией. Югославские коммунисты, выступившие против изменнического курса правительства, привлекли на свою сторону большую часть интеллигенции.

Нушич и до этого не одобрял правительственной политики. Он предвидел опасность, которая нависла над страной уже в начале 1938 года, когда была захвачена Австрия. Но сблизиться с

левыми силами ему мешал чересчур строгий безапелляционный тон некоторых критиков его произведений.

В одном из последних писем Ага сказал:

«Странная у меня судьба, левые меня не признают как писателя, говорят, что я *буржуазный пустомеля* (подчеркнуто Нушичем. — *Д. Ж.),* развлекатель, а правые зачисляют в коммунисты, а я ни правый, ни левый. Может быть, это мне и мешает».

Ему мучительно трудно оставаться в стороне.

Но Нушич твердо знает, что с правыми ему не по пути. Он знает, что в новых условиях только левые могут сплотить народ перед лицом военной угрозы.

Потому он и не отказывается от предложения коммунистов стать во главе союза интеллигентов. Потому он и произносит речь на учредительном заседании. Он — как и все тогда — говорит эзоповским языком, но каждый понимает, что он хочет сказать.

— …Молодой культуре, как и всякому ростку, для развития и расцвета требуется погода более ясная, чем та, которую дает наш климат. Под нашим столь часто пасмурным небом молодой росток не может ни окрепнуть, ни дождаться полного расцвета, как не может найти свое полное выражение и наше духовное творчество. И поэтому многие слова остаются недосказанными, многие мысли — невысказанными, многие реки пересыхают у самых истоков своих…

Нушич призвал всех объединиться и изменить неблагоприятный климат. К несчастью, очень скоро эту речь стали называть «Культурным завещанием Нушича».

Ага знает, что его силы на исходе, и он торопится.

В «Неоткорректированных мыслях» у него записана программа, на выполнение которой иному драматургу не хватило бы и целой жизни.

«Темы, которые захватывают меня:

„Покойник“. Комедия высшего общества.

„Маленькая королева“. Историческая комедия.

„Карьера“. Комедия (политическая сатира).

„Да здравствует жизнь“. Психологическая драма.

„Уездный питомец“. Шутка.

„Госпожа Елена Балшич“. Историческая драма.

„Человек из народа“. Комедия (политическая сатира).

„Путешествие с того света“. (Вторая часть „Путешествия вокруг света“.)

„О тех, кто нашептывает“. Общественная комедия.

„Власть“. Сатира.
„Вошел черт в село“. Веселая пьеса».

Ага успел докончить «Покойника» — комедию, которую видел Синиша Паунович на столе драматурга.

18 ноября 1937 года состоялась ее премьера, вызвавшая восторг левой критики и неистовство правой.

Министр просвещения католический священник Антон Корошец не был на премьере «Покойника». Он пришел на второй спектакль, после которого вызвал к себе директора театра.

— Нельзя было ставить эту пьесу!

— Прикажете снять?

— Теперь уже поздно. С Нушичем так поступить не дадут, — сокрушенно сказал министр.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
«ПОКОЙНИК»

Почему «комедия высшего общества» вызвала тревогу у власть предержащих? Почему антикоммунистический «Бюллетень» уже 10 декабря назвал Нушича отщепенцем? Агу обвиняли в том, что он «выставил на посмешище государственную власть, понятие собственности, святыню брака, гражданское сословие… чтобы по дешевке получить бурные аплодисменты галерки, которая стучала ногами об пол и отбивала ладони…». (Галерку тогда называли еще «культурной баррикадой красной молодежи».)

На этот раз Ага не был снисходителен к тем, о ком писал. Острой сатирой он «вскрыл больное место». И хотя «Покойник» как художественное произведение слабее некоторых его прежних комедий, прогрессивная критика единодушно приветствовала старого драматурга.

«Покойник» — это не только один из персонажей пьесы. Нушич поставил диагноз всей системе, которая в Югославии дышала на ладан, хотя в своих проявлениях еще старалась казаться всесильной. И вот как он это сделал.

Павле Марич, инженер и крупный ученый, очень богатый человек, узнает, что жена Рина изменяет ему с его компаньоном по предприятию Новаковичем. Он решает бежать от гнусной жизни, исполненной каждодневной лжи и притворства. Его помощник, русский эмигрант Алеша, доверительно говорит Маричу, что хочет покончить с собой, потому что не желает мешать своей любимой жене, нашедшей счастье с другим человеком. Такое совпадение на руку инженеру. Марич заставляет Алешу надеть свою одежду и устраивает все так, чтобы в самоубийце опознали самого Марича. Уезжая тайком за границу, инженер оставляет на сохранение свой многолетний труд по мелиорации другу детства Протичу.

Проходит почти три года. Рина Марич выходит замуж за Новаковича. У них «счастливый, гармоничный» брак, — изменяя друг другу, каждый бережет спокойствие своей половины. Большую часть наследства — трехэтажный дом, магазины — получает некий Спасое, при помощи лжесвидетельств доказавший, что он родственник покойного инженера. Друг детства Протич присваивает и издает труд по мелиорации, провозглашается гением технической мысли, становится профессором и сватается к дочери богатого наследника Спасое.

Но эту картину всеобщего довольства нарушает странное известие — в городе появился «покойник» Марич. Это так дико, что никто не верит…

— Принимаю даже и то, что Дунай изменил течение и потек вспять! — кричит наследник Спасое. — Принимаю и то, что правительство вдруг решило провести свободные выборы. Все чудеса на свете принимаю!.. Но чтобы ты видел человека, которого мы похоронили три года назад, вот уж этого я никак не могу принять!

Всем грозит тюрьма — за двоемужество, за клятвопреступление и присвоение чужого имущества, за присвоение чужого научного труда.

Но не так-то просто поколебать шайку мошенников, обладающую солидными капиталами и к тому же связанную с высшими правительственными кругами. Дело в том, что они основали финансово-промышленную компанию, акционерное общество «Иллирия», которая взяла у государства крупные подряды на осушение болот, на строительство гидротехнических сооружений. Спасое и Новакович вложили капитал, «гениальный ученый» Протич — технический директор. И самое важное, главным директором избирают господина Джурича, брата самого министра. В членах правления числятся Шварц и Розендольф. «Нашей стране, нашим банкам и нашему торговому миру не импонирует предприятие, в котором не было бы какого-нибудь Шварца или Розендольфа», — говорит Спасое.

Все хотят жить. Никто не даст Маричу, уже затевающему судебный процесс, развалить предприятие. Это объясняет господин Джурич, брат министра:

— Что может сделать закон? Предположим, это моя балка, и я прошу закон вернуть ее мне. Закон есть закон, ему деваться некуда, и он предписывает: твоя балка, возьми ее! Но что может произойти, если на этой балке держится дом? Разве только ради того, чтобы ты взял свою балку, можно допустить, чтобы развалился весь дом? Что больше, что важнее, спрашиваю я вас? Дом или балка?

И сразу же все становится на свои места. Закон, если он может пошатнуть основы общества, хотя бы основанного на лжи и обмане, должен игнорироваться. Джурич предлагает объявить Марича членом «диверсионной ячейки Коминтерна», имеющей цель «уничтожить именно то, на чем зиждется общество». Агент Марич хочет разрушить «счастливую» семью, отнять частную собственность, разрушить репутацию почтенного ученого. А клятвопреступление? «Какие там клятвопреступления, если стоишь на восьмистах тысячах капитала!»

Брат министра вызывает политическую полицию. «Коммунисту» Маричу, чтобы не раздувать дела, дают возможность бежать за границу. Все остается, как было. «Мы продолжаем жизнь!» — восклицает Спасое.

Достается в комедии и продажным журналистам. Вот зловещая фигура «публициста» Джаковича. «Никто не может написать так остро и страшно, как он; у тех, на кого он нападает, даже дедушкины кости в гробу переворачиваются! Никто, как он, не умеет из черного сделать белое, а из белого — черное».

Говорят, что Нушич без юмора — не Нушич, но и юмор без рейдов в сатиру — не нушичевский юмор. В «Покойнике» есть комические персонажи, есть комические реплики. Но в целом — это вещь тяжелая, саркастическая и даже грустная. Она не обладает буйной сценичностью прежних комедий. Но зато Нушич доказал, что он тоже может быть сатириком жестким и бескомпромиссным.

Писатель Божидар Ковачевич вспоминает о впечатлении, произведенном «Покойником»: «Зрители уходили со спектаклей в задумчивости, без улыбок, с тяжелым впечатлением, что общество потонуло во зле. Нам казалось, что комедия не закончена. Наше чувство справедливости ждало, что в последнее мгновение, как в „Тартюфе“, появится блюститель закона, именем общества наказующий зло и помогающий добру одержать победу. После представления мы увидели Нушича и сказали ему: „Да это же трагедия!“ Нушич улыбнулся и ответил: „Всякая комедия есть трагедия!“ Мы сообщили ему свои соображения. Он не защищался. Но тогда мы сами принялись защищать его; поразмыслив, мы поняли, что в нем победил художник, который стремился в конце произведения создать наивысший эффект. Триумф Марича ослабил бы впечатление; побежденный же праведник берет зрителя в союзники и толкает его на поиски лучшего конца комедии».

Есть версия, что, сказав «Всякая комедия есть трагедия», Ага добавил: «Другими словами, моя вещь, как и сама жизнь, — трагикомедия…»

* * *

А тем временем репортер «Политики» Синиша Паунович развил бешеную деятельность.

Как-то Нушичу снова стало плохо. К нему пришел Веснич, постановщик «Покойника». Ага шутил:

— Запретили мне врачи все удовольствия. Прописали мне

безалкогольные напитки, безникотинные сигареты и кофе без кофеина. Не жестоко ли! Теперь когда они пропишут мне женщин без женственности, я буду знать, что стукнул мой час…

Словно из-под земли в комнате появился Синиша Паунович. Ага, по словам Веснича, сказал ему:

— Однажды я уже надул вас… Боитесь, что и теперь обману? Идите, отдыхайте. Я еще поем кутью на ваших похоронах.

Паунович не смущался и регулярно продолжал публиковать репортажи о событиях в доме Аги. Вот два из них:

«14 ноября 1937 года.

Дом самого большого комедиографа Бранислава Нушича, всегда полнящийся смехом, как и его новые пьесы, перед премьерой его новой комедии особенно оживлен. Будто это дебют на столичной сцене, о предстоящей премьере говорят без конца, делают прогнозы, хвалят или ругают исполнителей ролей и так далее. Накануне каждой премьеры домочадцы комедиографа устраивают своего рода генеральную репетицию, все дышит довольством и радостью. Так повелось с тех пор, когда Нушич начал писать для театра. Но вчера все в корне изменилось. Вместо смеха и радости, которыми журналистов встречали перед всякой новой премьерой, в доме славного комедиографа царило неподдельное горе.

— Алло, алло, это квартира господина Нушича? — обратились мы по телефону.

— Да… Это квартира господина Нушича, — ответил какой-то женский голос, совсем чужой и необычный для журналистов, которые знают всех жителей дома.

— Алло, скажите, пожалуйста, кто у телефона?

— Госпожа Нушич, — сказал тот же голос, показавшийся еще более грустным.

— Что случилось, госпожа Нушич? Здоров ли господин Нушич?

— Послушай, дай-ка мне трубку! Умер, умер, что теперь поделаешь, — вдруг послышался голос Нушича. — Алло, говорит Бранислав Нушич… Кто это?…

— Не могли бы вы что-нибудь сказать о своей новой комедии „Покойник“?

— А, это вы… Могу. Сегодня как раз мечтал, чтобы вы позвонили. У меня в доме покойник, горе…

— Какое горе?

— В семейной ссоре, после пяти лет счастливой и

спокойной жизни, погибла госпожа попугаица…

— Какая попугаица?

— Самка попугая. И теперь моя Даринка плачет над ней, как будто, боже меня прости, не знаю кто умер… Видите, даже слова не могла вымолвить по телефону… Супруг попугаицы остался жив, разбойник. А могло и ему достаться. Во время драки до последнего момента было похоже, что победит она, но он улучил момент, когда его супруга поправляла растрепанную прическу, схватил ее и клюнул так сильно, что из нее душа вон…

— А какова причина драки, скажите, пожалуйста?

— Какова причина? Измена, разумеется, исключена, поскольку поблизости нет никаких других попугаев. Разве что поспорили по поводу моей новой комедии».

* * *

«17 января 1938 года.

Как известно, детский театр „Аист“ основан по инициативе людей, среди которых были актеры первого довоенного детского театра, в том числе и дочь Бранислава Нушича, госпожа Гита Предич-Нушич.

Основатели театра „Аист“ не испытывали затруднений с маленькими актерами… Трудности были с декорациями. Настоящие декорации согласился сделать театральный художник Сташа Беложански. К сожалению, трудно было найти мастерскую. Наконец получено разрешение работать в подвале Коларчевого университета. Все шло прекрасно. Беложански неутомимо работал несколько дней. Но когда потребовалось вынести декорации, оказалось, что они не проходят в двери подвала.

Не зная, как быть, госпожа Предич-Нушич обратилась за советом к отцу, опытному в театральных делах.

Хотя Нушич „зарекся“ вмешиваться в какие бы то ни было чужие дела, он не мог не ответить.

— Такое случалось не раз, — сказал он лукаво. — Не горюй, решить эту проблему можно. Нечто подобное еще до войны было со скульптором Петром Убавкичем. Сделал человек большой памятник Милошу Обреновичу в зале начальной школы, а когда потребовалось вынести, смотрят, в двери даже голова статуи не проходит.

Спросил он меня, как быть, и я ему посоветовал подарить памятник общине. Он так и сделал. Община пробила стену и вытащила памятник наружу. Вы тоже подарите декорации университету, пусть ломают подвал.

Разумеется, о разрушении подвала не могло быть и речи…

Самой большой сенсацией в репертуаре театра „Аист“ станет пьеса, которую пишет для детей Бранислав Нушич. Она будет называться „Путешествие внука Йованче Мицича вокруг света…“».

* * *

А через два дня Аги не стало. На столе его лежали наброски одного действия пьесы «Вошел черт в село». Уже написано было много страниц сатирического обозрения «Путешествие с того света». Ага хотел возродить своего Йованче Мицича, этого сербского Тартарена, и вернуть его в страну сербов, хорватов и словенцев. В раю мужчины играют в карты, женщины сплетничают.

Вызволив Йованче из рая, Нушич собирался провести его по всем кругам современного ада. Мицич должен был побывать на заседаниях акционерных обществ и скупщины, на футбольном матче и в театре, в тюрьме для политических, «Главняче», и на аэродроме…

И, наконец, на столе осталась недописанной сатира «Власть», которая обещала стать лучшей из пьес Бранислава Нушича.

Власть — его коронная тема. Власть дразнит воображение обывателей. Уже с первых страниц Ага рисует великолепные портреты людей, неожиданно оказавшихся причастными к власти. Правда, они всего лишь родственники и знакомые только что назначенного министра. Тесть министра, не свыкшийся еще с новым положением, ежедневно ходит в министерство, торчит в приемной и наслаждается властью, которой обладает его родственник, сидящий там, за дверью, в министерском кабинете.

Министр — ничтожество, но какие дела можно делать за его спиной! Можно брать взятки, распродавать страну иностранцам….

А чего стоит диалог, который Нушич набросал для третьего действия:

«— Я слышал, что у нас будет жандарм.
— Какой это еще жандарм?

— У калитки, чтобы нас охранять…

— От кого охранять?

— От народа.

— А что у нас общего с народом?

— Именно поэтому неплохо иметь ангела-хранителя».

В завершенном виде Ага оставил только первое действие.

Конец его таков. Два приятеля разговаривают о власти. Весь фокус в том, говорит один, чтобы уметь говорить с людьми свысока, с высоты своего положения. Он велит другому стать на скамеечку.

«— Ты смотришь поверх моей головы?

— Поверх.

— Правильно! Власть и должна смотреть не на народ, а поверх голов. Это тебе, так сказать, первая ступенька. А теперь поднимись на стул».

Так они добираются до стола. С этой высоты тот, кто внизу, кажется очень маленьким. А снизу почти не видно головы у стоящего на столе. «Поэтому народу и кажется, что власть безголовая».

«Я на высоте!» — звучит последняя реплика со стола.

Нушич написал слово «Занавес», и оно было последним в его жизни.

Можно сказать, что Ага умер с пером в руке.

Внезапно отказало все — сердце, легкие…

Семнадцатого января Ага окончательно перестал курить и слег. Он еще интересовался первой постановкой детского театра. Потом терял время от времени сознание. 19 января с утра ему было лучше.

Собрались родственники и друзья. Старшая сестра Аги, Анка Вукадинович, сухая, крепкая старушка, непрестанно повторяла:

— Отец наш был такой же худой и слабый, а все же дожил до девяноста шести лет.

Пришел книготорговец Райкович.

— Даринка, дай Райковичу стул, — сказал Ага.

Жена то и дело подносила больному пить.

— Даринка, я совсем ослаб. Почему такая слабость? — спрашивал Нушич.

Потом он попросил дочь прочесть, что пишут в газетах о загребской премьере «Покойника». Под чтение он затих, закрыл глаза и, казалось, заснул.

Около полудня Гита вышла из комнаты вся в слезах. Немного

погодя врач взял Агу за руку. Пульса не было…

* * *

Из речей и статей, сказанных и написанных в первые дни после смерти Аги, можно составить целую книгу.

Казалось, с его смертью только и началось его бессмертие. Казалось, только теперь и друзья и враги поняли, что популярность его непреходяща. Левые в те дни окончательно отобрали его у правых, приняли в свои ряды. А сам Ага не мог свернуть ни влево, ни вправо с прямого пути на кладбище.

Похороны были очень пышными. Тысячи и тысячи белградцев со слезами на глазах прощались с человеком, который смешил их, радовал и заставлял задумываться на протяжении полувека.

И все же в день похорон родился еще десяток анекдотов о Нушиче.

— Даринка, а журналисты здесь? — будто бы спросил Ага перед смертью.

— Какие журналисты, Ага?

— Те, что досаждают мне каждый день. Все никак не дают умереть.

— Нет их, Ага.

— Ну, в таком случае я могу умереть спокойно. Открой окна!..

Синиша Паунович оправдывался, что он «по чистой случайности» оказался в тот день не у смертного одра Аги и упустил свою великую сенсацию.

ПРОЩАЛЬНОЕ СЛОВО

В день отъезда из Белграда я пошел на кладбище, чтобы попрощаться с Бранисла́вом Нушичем. Чистые дорожки между рядами могил были пустынны. Пирамидальный склеп смотрел на меня темным отверстием входа строго и печально.

Я стоял с обнаженной головой и думал о тебе, человек маленького роста и большой души. Я мысленно называл тебя Ага, что значит по-турецки «Отец». Я пытался представить себе, что и как бы ты ответил на сотни вопросов, которые накопились у меня к этому последнему дню. И понял, что ответа уже не получу ни от кого и никогда, потому что не найду равных тебе по находчивости и остроумию.

И ты уже никогда не узнаешь о том, что твои комедии в оккупированном Белграде были запрещены, и в то же время они составляли более половины репертуара партизанских театров. Ты, «развлекатель мещан», оказался в боевых условиях очень нужным и верным соратником. На спектакле «Хаджи Лойи» в Боснии сотни партизан устроили пальбу, заставив немецкие гарнизоны в ближайших городах с перепугу занять боевые позиции. Твой когда-то молодой друг Сташа Беложански рассказал мне, как он и другие югославские офицеры, оказавшись в первые дни войны в немецком плену, строчку за строчкой вспомнили твою «Подозрительную личность» и сыграли ее в бараке. А ныне реплики из твоих комедий так же вошли в повседневную речь югославов, как в нашу — реплики из «Горя от ума».

Ты никогда не узнаешь о спорах нынешних критиков, которые объясняют твой успех у народа тем, что ты:

революционер, так как «мотив власти есть основной мотив революции» (М. Хрибар-Ожегович),

представитель театра абсурда наряду с Ионеско и Беккетом, потому что тебя «зацепило неповторимое чувство абсурда как мощного источника смеха» (Й. Чирилов),

представитель антидрамы, потому что ты «по-бунтовщицки не признавал никаких поношенных традиционно-рутинерских прописей» (Б. Глишич), реалист,

надреалист,

ярко выраженный национальный писатель, интернациональный… и т. д. и т. п.

Так кто же ты есть, Ага? Неужели ты с разрушителем театра Сэмюелем Беккетом, который в дублинском Тринити-колледже начал с того, что поставил пародию на «Сида» Корнеля? Он тогда играл дона Диего и держал в руках колокольчик, которым

издевательски звонил после каждой реплики, а однажды, совершенно пьяный, вышел на сцену на четвереньках. Последователи Беккета есть теперь всюду, они пытались читать тютчевское «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить…», испуская дикие вопли, гримасничая, кувыркаясь, изгиляясь над дорогим нам обоим именем России.

Я стоял у пирамидального склепа и думал о человечности Нушича, о том, что он был созидателем, что никому не найти в его произведениях беккетовского «ничего не происходит, никто не приходит». Я думал о том, что разрушителям не удастся завербовать его в свои ряды. И я поклялся рассказать об Аге правду, чистую правду, ничего, кроме правды.

Я это сделал. И если меня обвинят в том, что я влюблен в тебя, Ага, и слишком пристрастен в своих суждениях, то я скажу, что это не самый большой грех, что я волен любить и ненавидеть кого хочу.

Прощай, Ага. Если эта книга даст хоть малейшее представление о прошлом Югославии и тем самым еще больше укрепит традиционную дружбу наших славянских народов, буду считать, что моя цель достигнута.

БИБЛИОГРАФИЯ

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ:

Документы из различных архивов Белграда, Приштины, Скопле, Битоля, Сараева. Цетинья.

Архив дочери Нушича — Гиты Предич-Нушич.

Неопубликованные воспоминания зятя Нушича, драматурга Миливое Предича.

Письма, заметки, хранящиеся у друзей и знакомых Нушича, а также их устные воспоминания.

Докторская диссертация профессора Драголюба Влатковича о творчестве молодого Нушича.

Многочисленные публикации о Нушиче и его эпохе на сербском, болгарском и других языках.

ИЗБРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА О НУШИЧЕ:

Мил пво ј Предић, Нушић у причама, кя. I, II, Београд, 1937.

Боян Ничев, Бранислав Нушич, София, 1962.

Велибор Глигорић, Бранислав Нушић, Београд, 1964.

Милан Ђоковић, Бранислав Нушић, Београд, 1964.

А. Хватов, Бранислав Нушич, М.—Л., 1964.

Бранислав Нушић (1864–1964), Зборник музеја позоришне уметности, Београд, 1965.

Bora Glisic, Nusic njim samim, Beograd, 1966.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ НУШИЧА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ:

Нушич Б., Сербские рассказы, Спб., 1903.

Нушич Б., Хаджи Лойя, Спб., 1912.

Нушич Б., Сын тринадцати отцов. — «Время», 1925. (Перевод романа «Дитя общины» с немецкого. Автором ошибочно указан вместо Нушича переводчик романа на немецкий язык.)

Нушич Б., Комедии, М., «Искусство», 1956.

Нушич Б., Избранное, М., Гослитиздат, 1956; изд. 2 — 1958.

Нушич Б., Юмористические рассказы, М., Гослитиздат, 1957.

Нушич Б., Одноактные комедии и сценки, М… «Искусство», 1959.

Нушич Б., Автобиография, М… Гослитиздат, 1959.

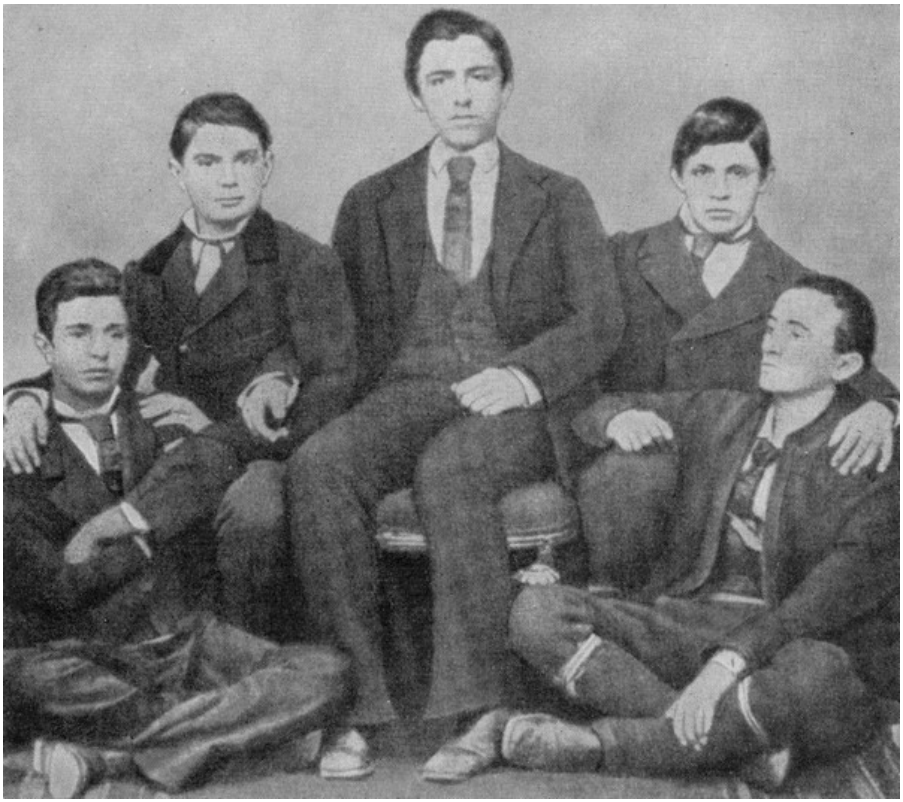
Нушич Б., Ослиная скамья (фельетоны, рассказы), М. — Л., изд-во «Художественная литература», 1964.

Нушич Б., Избранные сочинения в 4-х томах, Белград, «Нолит», 1968.

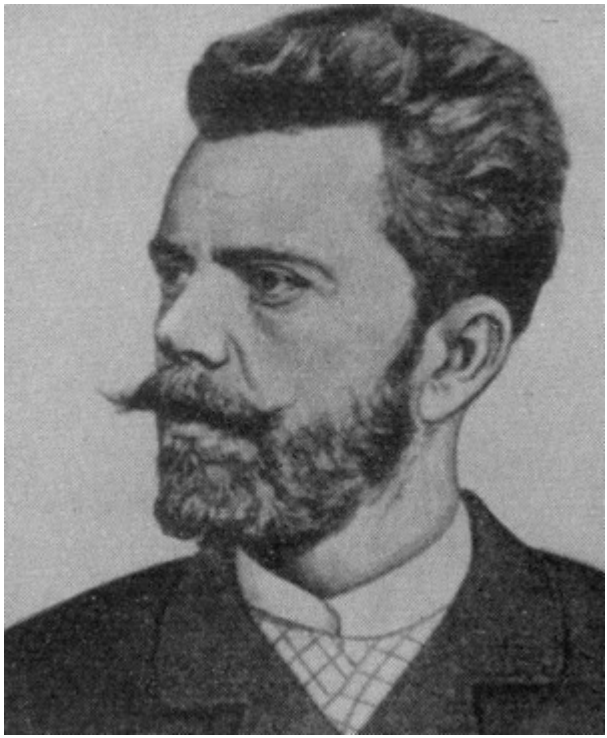
В книге использованы переводы произведений Б. Нушича на русский язык: В. Токарева, Н. Кондрашиной, А. Хватова, Е. Берковой, В. Зеленина, Н. Суркова, П. Дмитриева, Г. Сафронова, М. Рыжовой…

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Родители Б. Нушича — Любица и Джордже Нуша

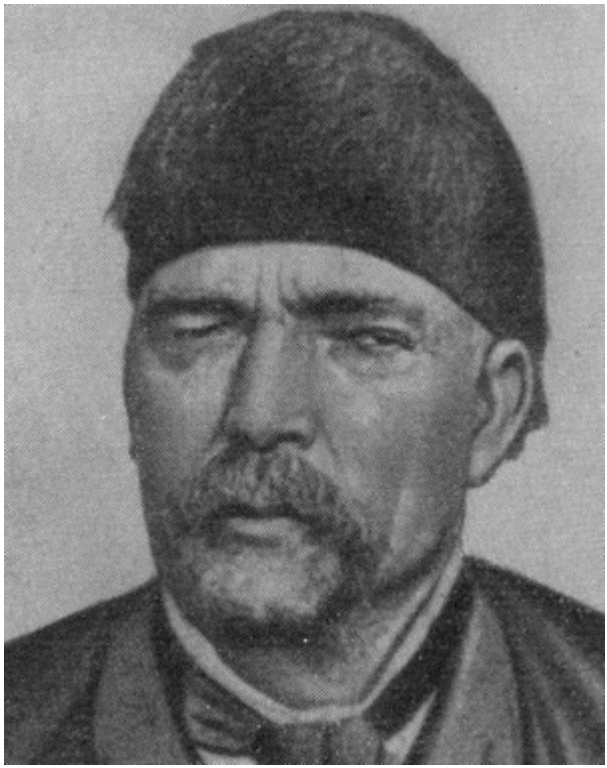


Алка Нуша (первый справа) со школьными товарищами

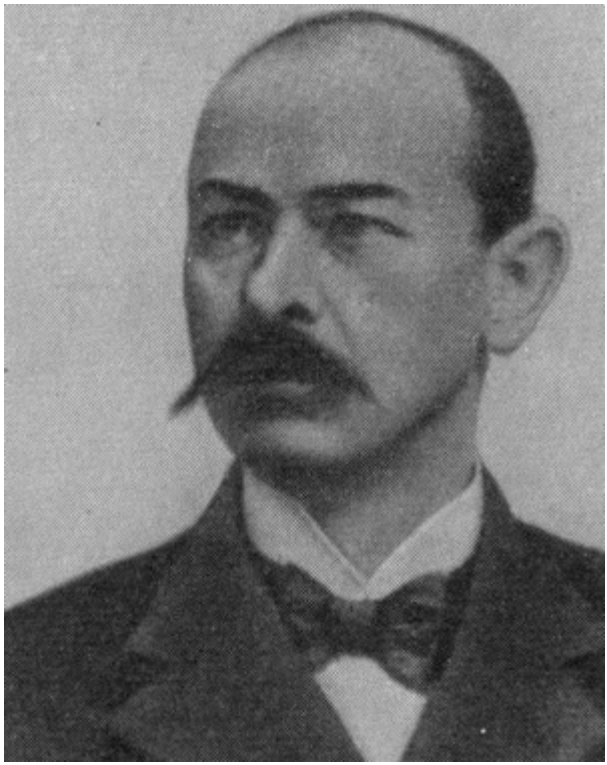


Янко Веселинович — писатель

Иован Стерия Попович — драматург, «отец сербской комедии».



Воислав Илич — поэт



Иован Илич — поэт и государственный деятель

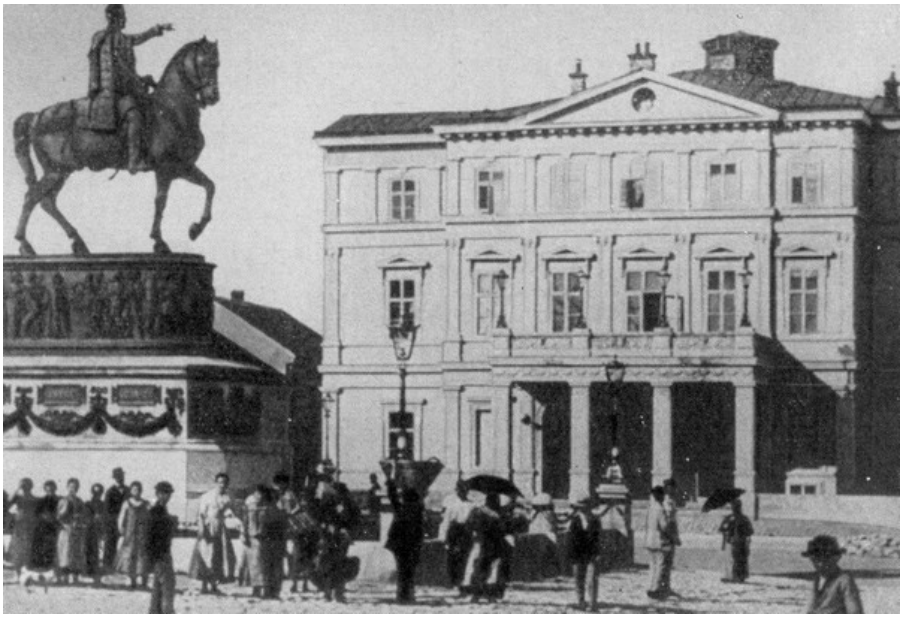
Нушичу девятнадцать лет

Капрал Нушич во время сербско-болгарской войны 1885 г.

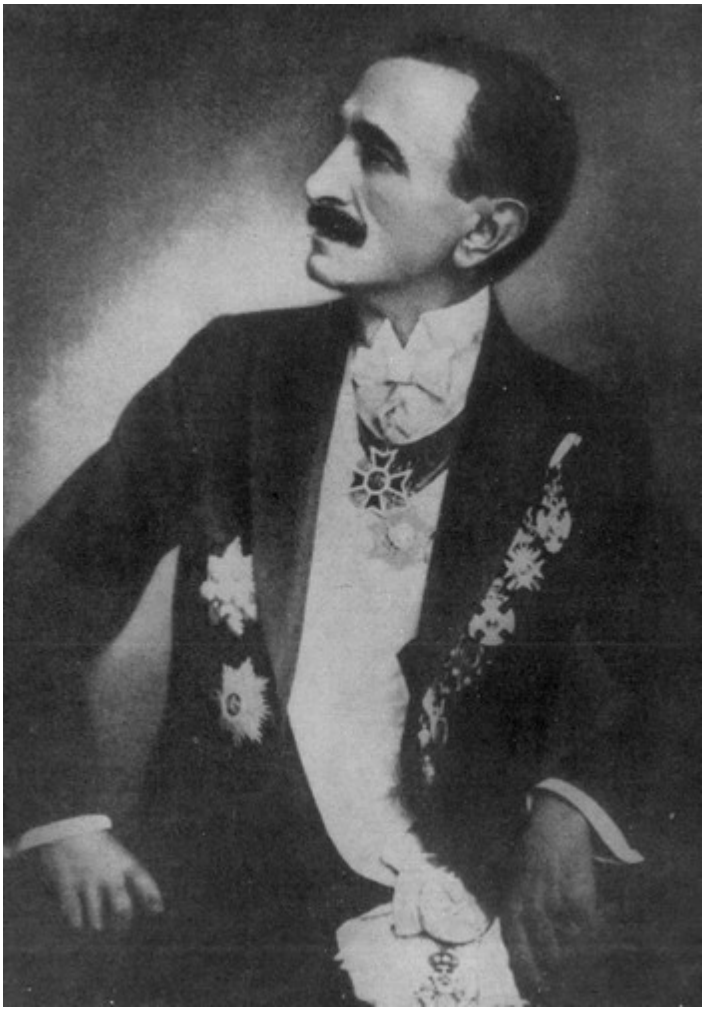
Консул Нушић

Даринка Нушич

Лисолайский монастырь, где венчались Бранислав и Даринка



Народный театр в Белграде



Нушич — директор театра

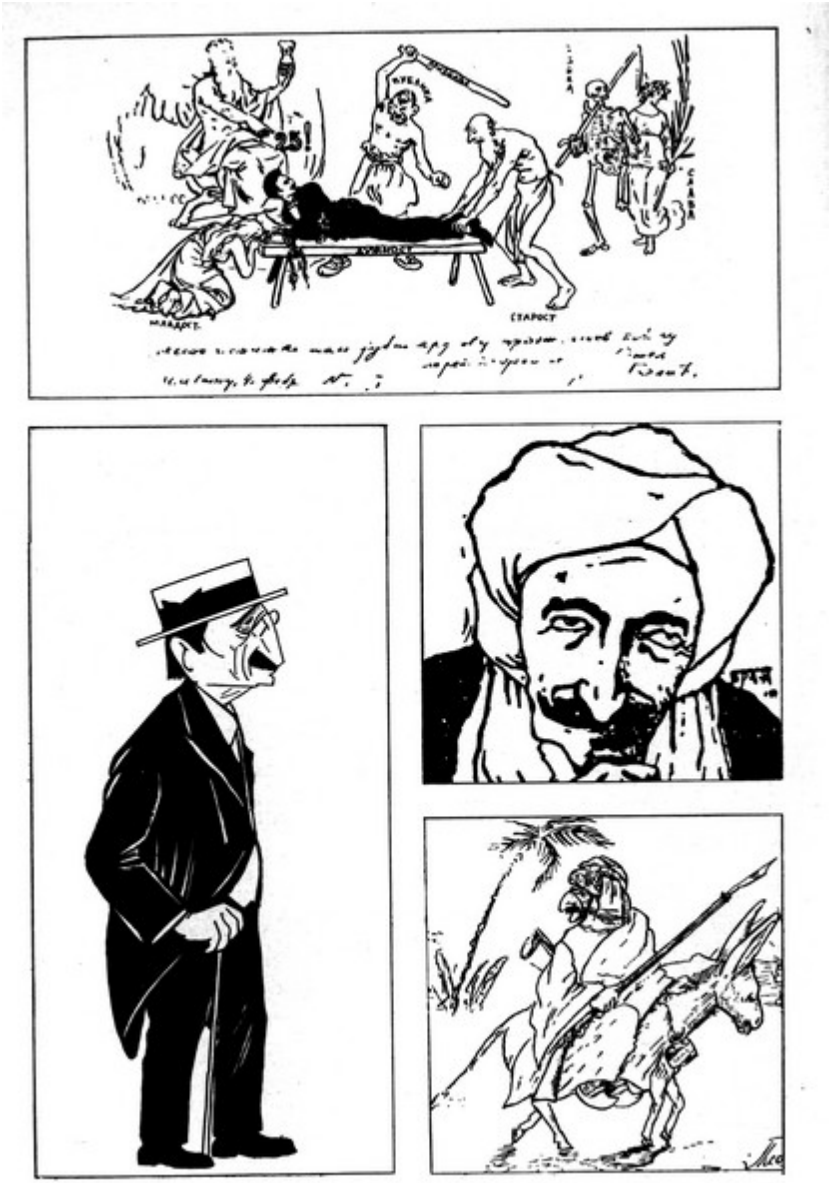
Нушич с семьей

Сын Нушича Страхиня-Бан за месяц до гибели

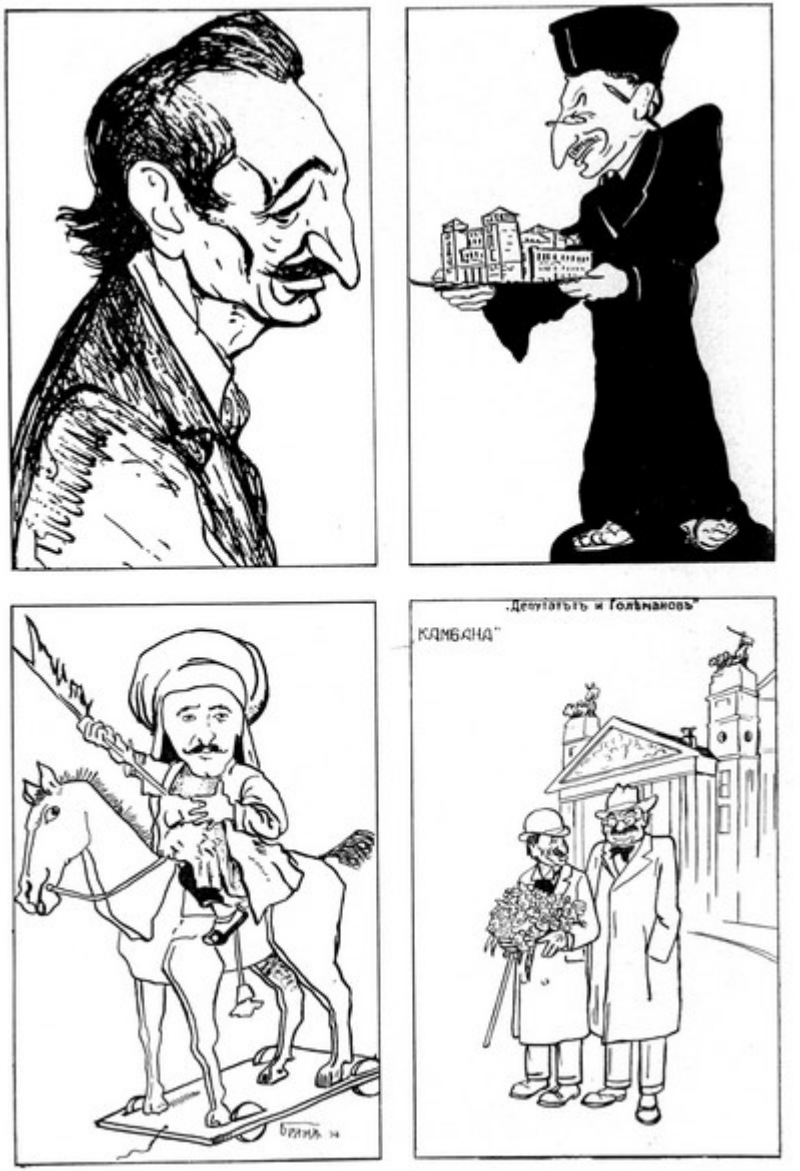
Петр Петрович Негош (1819–1851) — поэт и владыка Черногории

«Турецкая комната» в доме Нушича

В кабинете Нушича — карикатуры на него, подаренные ему художниками



Юбилей Нушича (25 лет творческой деятельности). Карикатура Уроша Предича, 1905 г. Нушич. Карикатура П. Крижанича, 1924 г. Бен-Акиба Бен-Акиба. Карикатура Тхеда

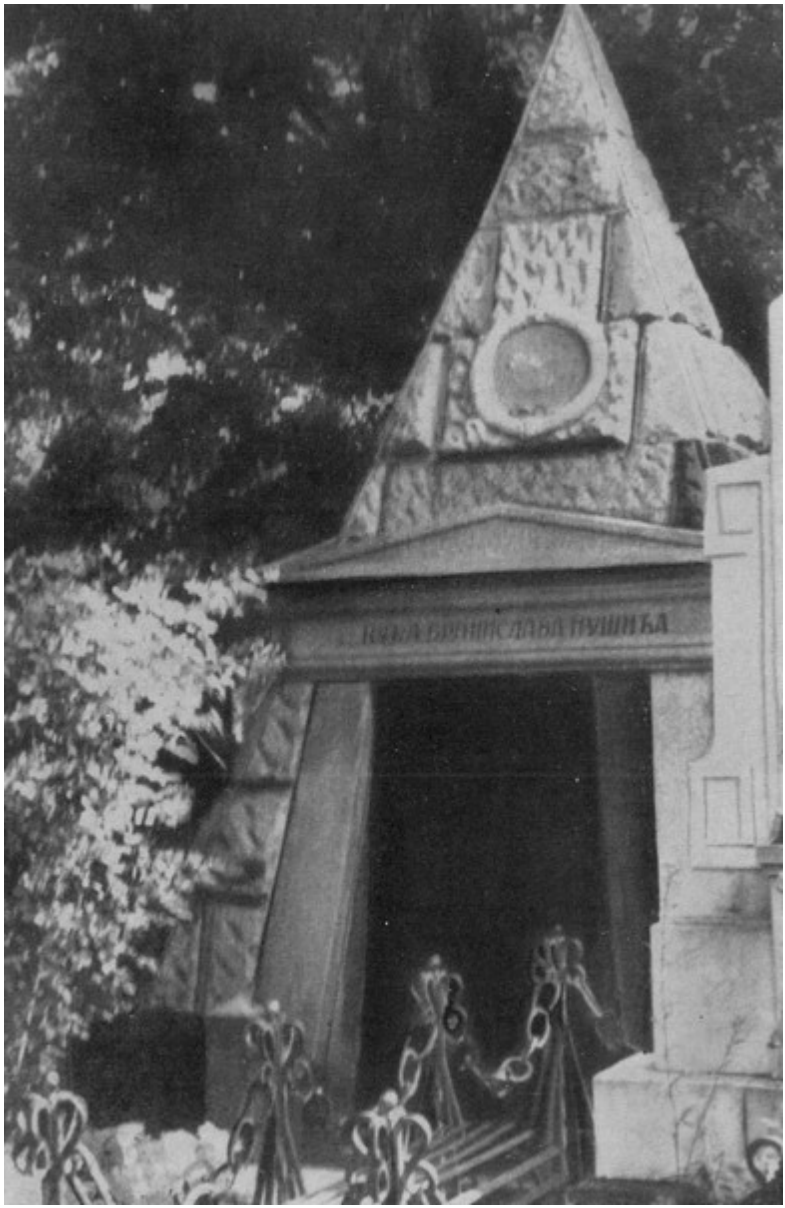


Нушич. Карикатура М. Мурата Карикатура. Б. Цветковича Карикатура П. Николича Встреча Нушича и болгарского драматурга Костова в Софии. Карикатура К. Каменева, 1935 г.

Нушич и актриса Жанна Стокич — первая исполнительница роли госпожи министерши

Нушич выступает по радио, 1937 г.

В день похорон Нушича на улицах Белграда



Склеп семьи Нушича

«Госпожа министерша». Народный театр, Белград, 1964 г. Живка — Любинка Бобич, Чеда — Милан Пузич, Дара — Мира Бобич

«Господин покойник». Народный театр, Белград, 1937 г. Сцена из спектакля

«Д-р». Югославский драматический театр, Белград, 1964 г. Благое — Мия Алексич, Марика — Вера Милованович

notes

Примечания

1

Когда книга была в наборе, из Югославии пришло известие о кончине дочери Нушича.

2

Теразии (весы — *серб.*) — самая широкая улица в центре Белграда, где поныне происходят различные манифестации. В своем очерке об этой улице Нушич писал, что название она получила из-за двух водораспределительных башен, построенных турками и по очертаниям напоминающих весы. — *Здесь и далее примечания автора.*

3

Пожалуй, русское слово «кофейня» не исчерпывающе передает сербское слово «кафана». Это, скорее, трактир, ресторан и вместе с тем клуб, где встречаются с друзьями, а порой и вершатся политические и торговые дела. В кафанах пьют и кофе и кое-что покрепче. Во дворе кафаны, называемом «баштой» — садом, а то и просто на тротуаре расставлены столики. В кафанах побольше играет цыганский оркестр — контрабас, бубен, скрипка и какая-нибудь дудка; поет певичка. Атмосфера царит непринужденная, позволяющая заходить и быть радушно принятым любому, даже оказавшемуся на мели и некредитоспособному сербу. Впрочем, с обширнейшим понятием «кафанская жизнь» нам еще придется сталкиваться не раз.

4

Ф. М. Достоевский, Дневник писателя. — Полн. собр. соч., т. 11, Спб., 1905, стр. 326.

5

Сам Нушич утверждал, что начал печататься еще в тринадцать лет, в Смедереве, где тогда издавалась газета «Фонарь». К сожалению, ни одного экземпляра газеты не сохранилось.

6

Здесь и далее перевод стихов Вл. Корнилова.

7

Ф. М. Достоевский, Дневник писателя. — Полн. собр. соч., т. 11, Спб., 1905, стр. 328.

8

Новый Сад (Нови Сад) — в то время главный сербский город в австрийских владениях.

9

Памятники классикам сербской литературы Воиславу Иличу и Янко Веселиновичу уже несколько десятков лет стоят неподалеку друг от друга на Калемегдане, в прекрасном парке у стен старой крепости.

10

Св. Савва — покровитель Сербии.

11

Письмо от 20 мая 1887 года новосадскому педагогу и литератору Йовану Грчичу.

12

М. Б. Богданов. Сербская сатирическая проза конца XIX — начала XX века и некоторые вопросы сатиры, М., Изд-во Академии наук СССР, 1962, стр. 132.

13

Вали *(тур.)* — здесь начальник области, губернатор.

14

Милош Милоевич — известный путешественник. Издал три тома записанных им «Песен и обычаев народа сербского» (70-е гг. XIX в.).

15

Перевод автора.

16

На сербском флаге есть четыре буквы «С», которые народ расшифровывает словами: «само слога србина спасава» (только согласие спасает серба).

17

Очаровательный, обаятельный человек (*франц.*).

18

А. Хватов. Предисловие к кн.: Бранислав Нушич, Ослиная скамья, М. — Л., изд-во «Художественная литература», 1964, стр. 8.

19

А. Амфитеатров, Мои скитания, Спб., 1907, стр. 215.

20

Стой! Мы едем не туда! *(нем.)*.

21

Это мило! Человек приехал и хочет посмотреть город, а его тут встречают бомбами! *(нем)*.

22

Милая София, не умирай, ты должна жить ради наших детей… *(нем.)*.

23

Письмо на бланке:

«*Кто пишет*: Наредник (фельдфебель) Ст. Нушич 3 р. б-на, 1 п-ка.

Кому: Бранославу Нушичу, „Сербский юг“, Скопле».

Внизу приписка: «Прошу того, кто найдет меня мертвого, это письмо непременно передать адресату».

Кроме этого письма среди бумаг Бр. Нушича мною обнаружены записки Страхини без дат:

«Тому, кто найдет меня мертвого. Зовут меня Страхиня Нушич. Родился в Белграде. Семья живет в Скопле, Кумановска 1. Прошу известить мою семью, где погиб, когда и на каком месте похоронен. Заранее благодарю. Страхиня».

«Моей семье. Прошу простить все ошибки и обиды, которые причинил. Пусть не горюют обо мне и пусть утешатся тем, что я погиб, выполнив долг перед страной. Всем тем, кто обо мне пожалеет, мой искренний привет…».

24

«Никогда не отчаивайся!» *(франц.)*.

«Родная Сербия» *(франц.)*.

26

Перевод автора.

27

Да здравствуют сербы! *(франц.)*.

28

— Это ваш чемодан? *(франц.)*.

— Да, это мой чемодан, но… и жена тоже моя *(франц.)*.

30

Досифей Обрадович — сербский просветитель XVIII века.

31

А. Хватов, Бранислав Нушич (1864–1938), Л. — М., «Искусство». 1964, стр. 90.

32

Юмористический еженедельник основали Нушич, Рибникар, знаменитые карикатуристы Пьер Крижанич, Владимир Филаковац и другие. Сначала было предложено название «Еж», а потом добавлено слово «остриженный» («из-за цензуры»). Бывали дни, когда отряды полиции отбирали или скупали с утра пораньше номера этого сатирического издания.

33

Николай Бердяев, Алексей Степанович Хомяков, М., 1912, стр. 49–50.